11
1967

Иностранная литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

РОЖЕ ШАТОНЕ — Искры (Послесловие автора) 14

ПОВЕСТИ

ФРАНЦ ФЮМАН — Барлах в Гюстрове (Вступительная статья Сергея Львова) 133

РАССКАЗЫ

МУХАММЕД ДИБ — Куда. Наэма не вернулась 176

СТИХИ

ПЕРО, КАК СТРУНУ, ЛЮБОВЬЮ НАСТРОИВ... (Стихи болгарских поэтов. Вступление Христо Радевского). ХРИСТО СМИРНЕНСКИЙ, ДИМИТР ПОЛЯНОВ, ЭММАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ, ХРИСТО ЯСЕНОВ, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ, ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ, ИВАН ДАВИДКОВ, РАДОЙ РАЛИН, ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ, ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 3

КАРЛОС АУГУСТО ЛЕОН — Страна Человека 124

РИТМЫ ВРЕМЕНИ. Стихи чехословацких поэтов (Вступление Б. Вацлавека). ЙОЗЕФ ГОРА, ФРАНТИШЕК ГАЛАС, ЯН РОВ ПОНИЧАН, СТАНИСЛАВ К. НЕЙМАН, ЭЛЬ-КАР, ЯРОСЛАВ СЕЙФЕРТ, ИРЖИ ТАУФЕР 126

11

НОЯБРЬ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» Москва

КРИТИКА

А. СТАРЦЕВ — Десять дней 189

РАБОЧИЙ КЛАСС, ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА (Творческая встреча в редакции журнала «Иностранная литература») АЛАН СИЛЛИТОУ, ДЖОЗЕФ НОРТ, Г. БРЕЙТБУРД, Е. ТРУЩЕНКО, АЛЬФРЕД КЛЕЙН 206

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — Мера времени . . 221

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Жан Кассу о повести Владимира Познера «Испания — первая любовь» 235

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. Земля. Люди (Эскизы южновьетнамских художников) . . . 236

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Ю. С.— Исследуя национальное самосознание... 242

А. СНИГИРЦЕВ — Ренегаты времен «культурной революции» 245

Н. Н.— Равное среди равных 247

ДОКУМЕНТЫ

Письмо Ярослава Гашека председателю Центрального Чехословацкого Бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП(б) Я. Сáлату-Петрлнку 250

НАШИ ГОСТИ

М. САЛГАНИК.— «Без общения — жизнь бессмысленна» (Писатели Индии Кришан Чандар, Шри Шри, Сурендра Мохан Дас, П. В. Гадгил, Дакшина Ронджан Басу, Йоги Суданада Бхарати в «Иностранной литературе») 253

С. М.— О чем мечтают индийские дети . . 257

СРЕДИ КНИГ

А. Сурков — Совесть мира свидетельствует. ◇ С. Машинский — Поэзия народной борьбы. ◇ Марк Соболь — Горы не клонятся. ◇ В. Дмитриев — Эстетика справедливости. ◇ К. Чугунов — На переднем крае. ◇ М. Игнатов — Поэтическая летопись борьбы и братства. ◇ Ю. Данилин — Первое полное издание Потье 259

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 273

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 286

На обложке: СССР — авангард мира, свободы и прогресса. Плакат польского художника БРОНИСЛАВА ЗЕЛЕКА.

Перо, как струну, любовью настроив...

СТИХИ БОЛГАРСКИХ ПОЭТОВ

Такое событие, как Октябрьская революция, до основания потрясшее старый мир, не могло не взволновать поэтов. Особенно тех поэтов, которые жили гражданскими тревогами своего народа. Болгарский народ, измученный продолжительными войнами и грабежами в тылу, увидел в революции путь к своему спасению и потому с восторгом встретил победоносный марш русских рабочих и крестьян.

Этот восторг нашел свое выражение в лирике Христо Смиренского и других поэтов того времени, бывших сознательными свидетелями событий в России. Для них революция была, по словам Маяковского,— «их революцией». Они жили ее огнем, ее страданиями и надеждами. Коммунистическая партия Болгарии, несмотря на бедственное положение народа, организовала отправку продовольствия голодающей и борющейся России, устраивала массовые митинги в защиту советской власти.

Позже — в условиях жесточайшей фашистской диктатуры — прогрессивные силы в Болгарии всеми возможными способами выступали на защиту первого в мире социалистического государства.

Разве могли болгарские поэты стоять в стороне от события, которое решало судьбу нашей планеты?

И каждый поэт каждого следующего поколения сказал по-своему свое слово.

Приведенная здесь подборка, в связи с ограниченными возможностями журнальной публикации,— лишь малая доля того, что создали болгарские поэты о Великой Октябрьской социалистической революции и о ее народе, осуществившем эту революцию.

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ

ХРИСТО СМИРНЕНСКИЙ

Москва

Москва! Москва!
Глаза твои бездонны.
Мне так близка
заря твоей зари.
Москва! Москва! Ты сердце на ладони
теперь навек проснувшейся Земли.
Москва! Москва!
Живой накал металла.
Ты все смогла,
ты горе отмела.
Москва! Москва! Сбылось, о чем мечтала
ты, мать моя, ты, сверстница моя.

Москва! Москва!
Высоты и глубины.
И вдоль виска
шершавый шрам войны...
Москва! Москва! Горят твои рубины,
сердца пятиконечные твои.
Москва! Москва!
С тобой не разминуться.
Врагов войска
мертвы перед тобой.
Москва! Москва! Ты символ революций,
ты хлеб и мир, ты самый главный бой.

Москва! Москва!
Пример тобою подан.
Звучат слова
о счастье всех людей —
и слушают Париж, Берлин и Лондон,
Москва, твое воззвание к народам
с твоих еще горячих площадей.
Москва! Москва!
Пусть нам живется всяко.
Ты, как трубач, походный марш пропой,
Москва,— моя повестка и присяга
на бой святой, на — до победы! — бой!

1921

Красные эскадроны

Утром самой светлой эры с факелами новой веры
красным вихрем эскадроны по моей планете мчат.
Словно во́роны, над ними в черных тучах, в черном дыме
без конца кружат снаряды, стаей черною кружат.

Пена с губ коня упала, и кого-то смерть достала —
храбрый воин распластался бездыханным на земле...
Конь застыл недоуменно, но тотчас за эскадроном
он опять помчался следом с ветром, бьющимся в седле.

Развевает ветер гривы, не сдержать коней порывы,
и летит до облаков,
постепенно оседая, вековая пыль седая
из-под бешеных подков.

Мчат бойцы без остановки, но коварные винтовки
преграждают смелым путь —
с ними смерть играет в прятки, кратки и кровавы схватки:
пуля с пулей, с грудью грудь.

Ах, летите, эскадроны! Обожженный, обновленный
с вами мир сегодня весь.
Ах, летите, эскадроны! Вместе с вами миллионы,
миллионы — их не счесть.

Свергнув рабские законы, вы летите, эскадроны,
обгоняя старый век.
Вы летите вихрем красным в завтра, где под
солнцем ясным
будет счастлив человек.

Ах, летите, эскадроны! Угнетенных смолкнут
стоны —
вы предвестники весны.
Сквозь последние заслоны вы летите, эскадроны,
словно молнии, грозны.

И когда в былое камнем рабство и насилье канут,
станут углями в золе,
вы тогда с коней сойдете и губами припадете
к отвоеванной земле.

1920

Перевод Инны КАШЕЖЕВОЙ

ДИМИТР ПОЛЯНОВ

Красной Армии

*По случаю четвертой годовщины
со дня ее создания.*

«Не хочешь войн — готовься к бою!» —
провозгласил когда-то Рим...
С тех пор, с готовностью слепою
меч поднимая над собою,
мир враждовал с собой самим.

Неправые бросали правых
в объятья плах, темниц, оков —
мир утопал в волнах кровавых,
в бесславьях ратных, бранных славах
и распрях тридцати веков...

Лишь ты под тем мечом взметенным
возникла, чтоб ушла вражда.
Неся свободу угнетенным,
зажглась над океаном темным
пятиконечная звезда.

Твой идеал, велик и светел,
тебе оружье в руки дал,
чтоб новых дней весенний ветер
никто насилием не встретил —
ни царь, ни бог, ни капитал.

Твой фронт — кольцо огня и дыма,
твои победы нелегки.
В снегах Сибири, в водах Крыма
сметали тьму неутомимо
твои штыки, твои клинки...

Закалены ряды стальные.
От скольких зол, от скольких бед
тобою спасена Россия!..
Ты — животворная стихия,
ты — вихрь, несущий людям свет.

Поклон земной, поклон сердечный
погибшим витязям твоим.
Не кончен путь их бесконечный:
их блеск алмазно-красный, вечный
в сердцах людей неугасим...

Хвала тебе, народ могучий!
Вовеки здравствуй и свети —
и мы, одолевая кручи,
развеяв угнетенья тучи,
по твоему пойдем пути.

Людского счастья славя всходы,
о Красной Армии пою:
ты крепнешь в битвах, страж свободы,
и смотрят на тебя народы
как на заступницу свою.

1922

ЭММАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ

Россия

Отрывок из поэмы

Перо, как струну,
любовью настроив,
воспеваю страну
суровых героев —
Россию,
землю великую,
стихию
миллионноликую,
пылающую
от края до края,
алыми искрами воспламеняющую
и Лондон туманный, и шумный Париж...
Я говорю, ее воспевая:
— Ты ярко горишь,
не склоняясь в борьбе —
в борьбе,
какой не велось никогда еще!
Смотри, как сквозь полночь темную
из гнета, из муки

Петроград

Как прежде, Петроград, стоишь непобедим,
и нет голодных дней, и нет ночей сожженных.
И различаю я сквозь грохот твой и дым
победный клич трубы рабов освобожденных.

Ты правишь судьбами, твоя рука сильна,
отбил ты не одну преступную атаку.
Разбилась не одна позорная волна
и откатилась вновь, назад, к ночному мраку.

Я вижу явственно твой стан, одетый в сталь,
твой верный легион, прославленный и гордый.
Но ты в кольце врагов, темна ночная даль:
напали варвары, беснуются их орды.

На город пала тьма — и медный рог трубит:
враг облепил твои гранитные заслоны.
Но снова боевой напевный клич летит,
и мчатся красные стальные эскадроны.

Напали варвары. Но прокатился гром,
и площади гудят, и пыль клубят отряды.
Стоит, как бастион, теперь твой каждый дом,
как гребни волн морских, взметнулись баррикады.

И в твой суровый час, великий Петроград,
твои сыны тебя пред смертью прославляют.
Теряешь сына ты — потерян нами брат,
как факел истины, могилы их сияют.

Стой вечно, как стоял, над всякой суетой,
неуязвим и тверд, подобен мощной глыбе.
Да будет старый мир разбит о камень твой,
пусть рабство навсегда найдет в тебе погибель!

Ноябрь, 1917

Перевод И. ФЕДОРИНА

Пушкин

Россия — мрак.
Россия — гнет.
И кажется, что не проснется
тобой прославленный народ
для жизни, для любви, для слез...
А время медленно плетется,
как за телегой старый пес.
Россия — труд.
Россия — свет.
Россия — негасимый пламень.
Ты знал, роняя пистолет,
что время новое придет
и этот вот рабочий парень
все-все стихи твои прочтет.
Россия — ты.
Россия — он.
Россия — песня и работа.
И он с тобой соединен,
как с хлебом степь, с ковшом металл...
Ты бредил именем «СВОБОДА»,
а он ее завоевал.
Россия — труб фабричных взлет.
Россия — новая эпоха.
А этот парень вспять пройдет,
век с небольшим преодолев,
жизнь Ленского — короче вздоха,
Мазепы малодушный гнев.
Твои ожившие тома
принадлежат ему по праву:
в России солнце, скрылась тьма,
ничто былого не вернет —
тебе поет сегодня славу
тобой прославленный народ.
Россия — первая любовь.
Россия — девушка на поле.
И вновь твои стихи, и вновь
твоя внезапная строка
влюбленной девушке напомнит
молоденького моряка.
Поет девчонка о любви,
поет среди полей бескрайних...
Слова любви — слова твои
звучат над золотом хлебов,
она понятна и близка ей,
твоя бессмертная любовь.
Поет девчонка о себе.
Она — самой России символ.
Она — хозяйка на селе,
и золота ее не счесть!
Все это там, в твоей России,
все это там. А здесь... А здесь
я слышу возрожденья песнь,

внимаю вечному напеву,
ты возвращен России весь,
и нет прекраснее судьбы!
И я твоей любви и гневу
учусь для праведной борьбы.

1937

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ

Октябрь

Мне не забыть вовек об этом.
Как страшен мрак перед рассветом!
Я шел на ощупь, как слепой...
Но вдруг твои поднялись крылья,
и, вмиг прозрев, глаза раскрыл я
и взглядом встретился с тобой.
И ввысь волнующе знакомо
взметнулись красные знамена,
и отступил столетний страх.
Твоим приходом осчастливлен,
пульсирует мой тихий Сливен —
бунт! Женщины на площадях.
Стрельба и кровь... Но город светел,
и даль, прямая, как стрела,
и молода, и весела,
и ветер, всюду майский ветер.
Я нищим был и был солдатом
в угоду сытым и богатым,
но верила моя душа,
что есть борьба, борьба святая.
И с ней меня заря связала,
на севере она взошла!
Ты стал для нас зарею этой,
ты каждый бой венчал победой,
не сосчитать твоих побед.
И мы с тобой непобедимы,
и навсегда для нас едины:
рассвет — Октябрь,
Октябрь — рассвет.

1957

Перевод ИННЫ КАШЕЖЕВОЙ

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ

Россия

Народ, чей дух, окрепший в бурях,
добросердечен и суров.
Страна, где правил дерзкий Рюрик,
где Разин был и Пугачев.

Бессмертной воинскою славой
шумели над тобой века.
Ты гневно в битве под Полтавой
сломила шведские войска.

Псов-рыцарей во время оно
разбила ты, пустив на дно,
и полчищам Наполеона
запомнилось Бородино.

Настал великий час расплаты,
Освобожденья от ярма,
И миру Ленина дала ты,
Вступив на вольный путь сама.

Россия! Ты в боренье снова,
и как тебе ни тяжело,
но нет могущества такого,
чтоб сокрушить тебя могло!

Враг просчитался. Ты вступила
в Отечественную войну.
В твоих просторах ждет могила
захватчиков — как в старину.

Греми, земля! Сражайтесь гордо,
России смелые сыны!
Да будут гитлеровы орды
навек в степях погребены!

Февраль, 1943

ИВАН ДАВИДКОВ

Походная песня

В топоте и гуле
всадники мелькнули —
звонкие подковы,
ясные глаза...
Отчего ты горько
плачешь, Украина,—
горек дух полынный
и горька слеза?..

Горестно поется
кобзарям незрячим,
раззвенелись плачем
струны их навзрыд.
Полыхая в реках
полымем горячим,
степью дым несется,
и полынь горит.

Наклонился хмуро
вешний клен безлистый,
где гулял Петлюра,
где Махно прошел...
На конях гривастых
скачут коммунисты,
скачут комсомольцы
городов и сел.

Мать качает зыбку
над землею черной,
плачет и роняет
слезы в перегной.
Все они, бесспорно,
превратятся в зерна,
и родит пшеницу
чернозем степной.

В сучьях средь извилин
всхлипывает филин.
Лунный рог мерцает
сквозь прозрачный мрак.
Протяни десницу
к блещущему рогу,
протруби гревогу,
молодой казак!

Чтоб свежо и ало
знамя запылало,
запылали сабли
от его огня,
чтоб казачьи бурки
черной мглой воскрылий
пыльный шлях накрыли,
степь и зеленя!

Задымилось ныне
серебро полыни,
и по Украине
пронеслась гроза.
В топоте и гуле
всадники мелькнули —
звонкие подковы,
ясные глаза!

1959

Перевод АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА

РАДОЙ РАЛИН

Красноармеец

Тенисты и непроходимы,
леса на Драве шелестят.
День миновал. Над Вараждином
расплавлен докрасна закат.

Знамена. Праздник возвращенья,
Встречает партизан село.
Тебе лишь, старой, утешенья
найти сегодня тяжело.

«О сын, когда б домой пришел ты,
я не лила бы горьких слез,
коснулась бы ладонью желтой
твоих растрепанных волос».

Но бой был долог и неравен,
и сын твой голову сложил.
Он погребен в седой дубраве
средь свежевырытых могил.

И слезы горче, тяжелее,
и ничего она не ждет.
Но кто-то, вставший рядом с нею,
ладонь на голову кладет.

Кто б это был? Глядит, не смея
поверить. Кажется, не сон —
то молодой красноармеец,
цветы протягивает он.

— Сынок, родной ты мой, спасибо.
Ты жизнью рисковал в бою,
ты отомстить сумел за сына
и скорбь унять пришел мою.

Он мать целует и уходит,
пора: ждет воина отряд.
И долго глаз она не сводит
с дороги, где исчез солдат.

1945

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ

Праздник

Октябрь
всю землю
одарил дарами:
лес раззолочен,
лед на реку лег,
наполнил небо дым,
луга пестрят стадами,
и есть у ветра
тысячи дорог.
Он тюрьмы
срыл,
стоявшие веками,
взбежал в лаптях по лестницам дворцов,
и новый мир открылся перед нами
без дармоедов и без подлецов.
Он счастья
сноп
легко взвалил на плечи,
и, обойдя всю Русь в мятежной мгле,
шагнул моей Болгарии навстречу:
дал людям хлеб
и прочный мир —
земле!

1956

Перевод И. ФЕДОРИНА

ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ

Советская земля

Из тьмы туннельной, на рассвете,
рванулся поезд напрямик:
в дыму, сквозь голубые сети,
ты мне открылась в этот миг.

В мое окно летели нивы,
уткнувшиеся в небеса,
искристый ветер белогривый,
сырые, темные леса,
колхоз, примеченный впервые,

в кругу березок-недотрог,
и розовые, заревые
озерца в колеях дорог,
босые, шустрые девчонки,
двор заводской, машинный гром,
оранжевые пятитонки,
перрон и женщина с ведром,
и провода с их странным звоном,
солдаты на грузовиках,
и в небе синем, в небе сонном,
мелькающая в облаках,
чуть видимая птичья стая...
Все это ты,
все это ты —
величественная, простая,
полна суровой доброты!
Ты рощами расколыхалась,
следя глазищами озер,
и от волненья задыхалась,
навстречу мчась во весь опор.
Меня обдало жарким ветром
дыханье твоего тепла,
и с каждым новым километром
ты ближе для меня была.

СССР, граница

Перевод АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА

РОЖЕ ШАТОНЕ

Искры

РОМАН

Перевод с французского Н. ЖАРКОВОЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

I

Не все ли равно, кто рассказывает эту подлинную историю и как он ее рассказывает. Что такое отдельный человеческий голос в общем гомоне живых? Но даже когда имена людей уже изгладятся из памяти, все еще остается беспокойство, родившее книги, ибо мы не в силах избавиться ни от страха, ни от одиночества.

Как-то октябрьским вечером на севере Франции я повстречался с Лораном Ксавьери. Города в тех краях сплошь окутаны дымом, и трудно отличить один от другого. Кажется даже, что и лица принадлежат одному существу, размноженному в тысячах экземпляров, и осенними вечерами на равнине, где до срока наступают холода, все схожи между собой, под дождем, среди воя ветра, здесь, на этой кромке земель, идущих от северной Германии до Фландрии.

Вместе с нами в поезд вошло двадцать-тридцать человек. Все молчали. От одежды шел горьковатый запах, напоминавший чем-то запах ороглоссы, частой гостьи здешних лугов, дикой орхидеи, расцветающей в июне и выкидывающей на мясистом стебле кисть крапчатых, густо пахнущих мускусом цветов. У всех этих вечерних пассажиров на отвороте куртки красовался черный с серебряным ободком значок, где над тремя буквами «ПРО» был выгравирован номер.

Лоран сел напротив меня. История жизни выбирает себе свидетеля где придется, и даже лучше, чтобы твой слушатель оказался случайным попутчиком, с которым ты никогда больше не встретишься, ибо исповедь охотнее всего адресуется тому, кто ничем не выделяется из толпы, кто с ней на одно лицо.

Люди в пропахших серой спецовках выходили из вагона по одному, и сразу же их поглощала серая дымка вокзалов, а вслед неслись названия городков: Ошэн-Тиан, Пруви-Тиан, Трит-Сен-Леже, Розю, Ланда, Орши, Танплэв. Мне доводится слышать их и теперь, вспоминать назва-

ния городков, где к французскому звучанию примешиваются иностранные слоги, а в вагон входят другие пассажиры, садятся у окна, где сидел тогда Лоран, иной раз худенькая женщина лет двадцати, не больше, вся в черном, с новорожденным на коленях, или старик с отрезанной рукой, или железнодорожник, пьяный от бессонной ночи, но от всех неизменно идет тот же запах серы. Поезда несут нас миллионами через наступившую ночь, через зиму, столь же длинную, как сама жизнь, и Север, сотрясаемый ветрами, говорит с нами сквозь вагонные окна. В истории, которую он рассказывает, необязательно наше участие. Одна судьба ничем не примечательнее другой, я это знал уже давно, все эти годы, когда столько думал о жизни Лорана Ксавьери, так что временами мне даже чудилось, будто я сам знал и Фернана Мазера, и Клэр, и Матильду, а главное Давида, хотя умер он за десять лет до нашей встречи с Лораном.

Потом я узнал этих людей. Они живут рядом. Я встречаю их на заводских улицах в багровом мареве огней металлургических заводов, везде, где ранняя толпа шагает еще в темноте, везде, где грохочут прессы, скрежещут краны, визжат в заводских сумерках моторы. Даже если мне никогда не доведется побывать снова в этих местах, знаю, они все равно будут со мной в предутренних сумерках, освещенных пламенем сталелитейных цехов, отчего лица людей становятся подлинными, настоящими, как лицо ребенка в солнечном свете.

Для них, для детей, написана эта книга, написана для тех, кто еще не окончательно распрощался с детством, для тех, кто вместе с Лораном находится на солнечной стороне жизни, ведь они — сам порыв, они любят то, что выше радости,— любят справедливость. Северная равнина Европы, охватив полукольцом наши земли, устремляется к морю, на запад, и лишь ты, равнина, можешь сказать, почему умер Давид, отец Лорана, и столько еще таких, как он. Человек везде остается собой, ни пески, ни снега — ничто не в силах изменить его пути, и кончина какого-нибудь короля — событие не более поучительное, чем смерть отца Лорана. Но каждую ночь, когда земля поворачивает к луне свой потемневший лик, когда от расплавленной стали встает негнущееся пламя, как шпага, над лесами и ребрами холмов, история, которая бежит по равнине,— единственное, что никогда не сотрется в памяти людской, ибо никогда не переведутся люди, умеющие чертить на небесах эти огненные знаки.

Да, мы — свидетели. В тот вечер Лоран вовсе не выбрал меня из толпы. Он просто заговорил с тем, кого обычно именуют дорожным спутником, кого при встрече даже не узнают, но кого в ту, главную, минуту считают как бы родным братом, так сильна в человеке потребность любить и быть любимым. Хоть я и сидел напротив, но не меня он видел, в одиночку перебирая свои беды. Не меня, а одного из нас, одного из множества. Одного друга мало, чтобы понять сомнения и беду человека. Требуется множество друзей.

II

Разговор начался с некоего Хосина Акенина, вернее, в связи с его убийством. До этого мы молчали, потом, как всегда, кто-то что-то сказал, другой подхватил, а поводом для завязавшейся беседы послужил заголовок на газетной полосе да полицейская машина, катившая вдоль путей, а затем свернувшая к окраине города. Хосина Акенина убили еще четыре месяца назад в Лимбурге. Так что все это почти забылось. Но убийцу арестовали недавно. И неизвестно было, когда начнется следствие.

Сирены на заводе «Прозидер» возвестили о начале ночной смены. Приезжие никак не привыкнут к этому голосу военной тревоги, но здешние жители уже знают что к чему.

— Ночная смена,— пояснил один из этих черных людей.

Он вытащил часы и на наших глазах перевел вперед минутную стрелку. Почти все пассажиры работали на «Прозидере». И хотя Лоран не носил на отвороте куртки значка, он тоже там работал. Даже прежде чем он сказал, что работает чертежником, я сразу об этом догадался. Их всех роднило что-то, какое-то семейное сходство.

Кто-то в коридоре произнес слово «война». Очевидно, нездешний; услышав вой сирены, он вспомнил разбомбленные города, сожженные дома, стоны, доносящиеся из окон подвалов, и сладковатый трупный запах, идущий под палящим солнцем от тех же развалин. Кто-то в нашем купе подхватил:

— Война! О ней больше и не думают. И все-таки никто ее не забывает.

Люди с черно-серебряными значками дружно закивали головой. Среди них один, пожалуй, еще более изможденный, чем остальные, с ввалившимися щеками, типичный шахтер, больной силикозом, все пытался вставить слово. Был он средних лет, лицо его и сейчас после двадцати лет, прошедших с окончания войны, носило следы пребывания в плену. Такие лица мы видели у людей, шагавших бесконечной муравьиной колонной, под бомбами через снега и грязь. Это, разумеется, старая история, на ней поставлена точка. Были другие войны и другие пленные, и женщины, бредущие через всю свою погибшую родину, босоногие, с пустыми руками, с глазами, устремленными в одну точку, безмолвно молящими о чем-то,— все это так. Но сверстникам Лорана трудно втолковать, что такое война, тут нужно иное слово, оно износилось, оно жевано и пережевано, оно ничего не говорит тем, кто не потерял во время войны зрение или близких.

— Моей матери здесь во время войны не было,— сказал Лоран.— Родился я на Юге, в деревне, которая зовется Сен-Прива. Но отец-то, он с Севера.

Достаточно одной, казалось бы, ничего не значащей фразы, чтобы человек вошел в строй чужих воспоминаний. По мере того как старишься, нужно все меньше и меньше времени, чтобы все понять о человеке, столь велики наши общие запасы горя и химер, столь схожи наши жизни. Лоран сказал, что работает чертежником и что его переводят на новую должность в «Прозидер-III», который только что построили на берегу моря.

— Его так просто не опишешь,— продолжал он.— Я делал чертежи прокатных цехов. Но даже и сейчас я все это себе с трудом представляю. Главный там Ворсфельд — как и у нас в Сионе.

Никто не поддержал разговора о Серже Ворсфельде. Слишком он высоко парил над нами, пассажирами дребезжащего поезда, который мчался в сумерках от станции к станции, где его приветствовали криком: «Пруви-Тиан»,— голос удалялся,— «Пруви-Тиан», и третий последний «Пруви-Тиан» потухал где-то вдали за фонарем на задней площадке вагона. В свое время месяцев восемь Вордсфельд ходил в министрах. Теперь ему было уже сильно за шестьдесят. По всему его внешнему облику — высокий лоб, остатки седых волос на висках, светлые глаза, тяжелое, как резцом высеченное, уже обрюзгшее и свисавшее к шее складками лицо; сильные плечи, величественная осанка, улыбка священнослужителя, словом, по внешнему облику — профессор медицинского факультета. Это он командовал артиллерией конвертеров, бросавших ввысь багровое зарево, каждая из дюжины этих рыкающих

груш пожирала тридцать тонн чугуна за четверть часа и осыпала тучей искр железные кружева конструкций. Мир приобретает иную весомость, как только вступаешь в пределы индустриального Севера Франции. Сердце не свыкается с этим столь естественным порядком вещей, но надо же где-то рождаться автомобилям и тепловозам, а вот, поди ж ты, даже сами инженеры чувствуют на себе это бремя. Рано или поздно они, конечно, смирятся, но еще долго будут поглядывать на заводские цеха, как потерпевший кораблекрушение глядит на воду. Потом-то они склонят гордую главу и вплоть до выхода на пенсию будут выводить бесконечные колонки цифр. А под конец перестанут даже с горечью вспоминать о больших городах, о бульварах, где на террасах кафе полно девушек и длинноволосых юношей, которых ничуть не интересуют прокатные станы. В тайниках души они считают себя выше этих бездумных юнцов, они ведь инженеры и заняты серьезным делом. Но как же просто легкомыслие торжествует над огромными блюмингами, слябингами и прочими мрачными махинами, весом каждая в семьдесят тысяч тонн,— легкомыслие и нежные девичьи руки. Надо бы подумать об этом раньше, прежде чем связать свою судьбу с судьбой стали и мокрыми от дождя улицами, где убили Хосина.

Лоран случайно оказался там в вечер убийства. Он видел труп при выходе с танцульки в Лимбурге, главном городе края, мимо которого мы вскоре проедем, в Лимбурге, где тоже имеется свой герцогский замок, свой сад Оранжери, густо заселенный золочеными статуями и фонтанами. И мысль наша сама собой возвращалась к Хосину Акенину — отчасти из-за Вордсфельда, и забастовок на Севере, и заводских сирен.

— Нет, вы только подумайте, заворачиваю за угол и сразу его увидел. Он лежал перед зданием кино в канаве.

Очевидно, это был первый покойник в жизни Лорана. Будучи солдатом, он, возможно, видел мертвых, но в то время они поразили его куда меньше, чем эта неприглядная смерть от руки преступника. Пожалуй, самой ужасной была та минута, когда полиция завернула труп в простыню, откуда торчали прямые, как палки, уже окоченевшие ноги, и красные пятна расплывались по полотну. Завернутый в простыню мертвец становится страшней, а вот когда он лежит с неприкрытым лицом, он вызывает лишь жалость.

А тут еще толпа, которая сбегается неизвестно откуда, только бы поглазеть, в любой час ночи (время было уже за полночь, около половины первого, и Лоран спешил на лимбургский вокзал, чтобы не опоздать на свой поезд).

— Соседи видели каких-то трех или четырех юношей, которые бросились врассыпную. Сразу зажглись все фонари.

Удар был нанесен в левый бок снизу вверх, нож пропорол рубашку, пояс и, очевидно, вонзился в сердце, так как рана обильно кровоточила. Но Лорана потряс не этот темный ручеек крови, не страшная кисть руки, сведенная на груди агонией, похожая на паука,— а бледное лицо. Глаза Хосина были еще открыты, углы рта трагически опустились, как у человека, вдруг сломившегося под тяжестью горя. Полицейские шлепали по лужам вокруг черного фургона, а фара на его крыше бросала вокруг желтые блики.

— Классическая ножевая рана, господин комиссар. Рубашка распорота, пуговицы вырваны.

— Н-да,— сказал комиссар инспектору,— рубашка-то старая, воротничок потертый. У бедняги, видно, не было лишней смены белья.

— Что правда, то правда.

Привратник из дома № 43 пересек прямо в ночных туфлях мостовую, по которой катилась дождевая вода.

— Он у нас жил. В комнате для прислуги, вот уже лет двадцать, если не больше, как он здесь поселился. Ему лет пятьдесят-шестьдесят, холост. Он в полночь вернулся с проволочного завода...

Хосин Акенин вышел купить сигарет. Привратник слышал, как он выходил. Полицейские обвели мелом на асфальте контуры тела. Казалось, все уже было кончено, но толпа по-прежнему торчала на улице и разошлась, только когда укатил полицейский фургон.

— Да,— проговорил кто-то из наших попутчиков,— проволочный завод тогда как раз собирался бастовать, но убийство к этому никакого отношения не имеет. Это дело рук шпаны.

Пассажиры боялись пропустить хоть одно слово. Сидевший на краю скамейки шахтер с изнуренным лицом человека, страдающего силикозом, вдруг весь напрягся, окаменел, как и его легкие. Он собрался выходить. Рука его уже лежала на ручке двери, и все поняли, что он не может уйти, не высказавшись.

— Шпаны!..— выдохнул он.— Это больше, чем дело рук шпаны, голубок, это дело рук фашистов. Нас с тобой — вот кого они убивают.

III

Поезд грозно покачивается на стыках рельсов — недаром уже четыре поколения шахтеров подкапывается под железнодорожные пути. Вся почва между Сионом и Лимбургом — сплошная губка, ноздреватая порода. Поезд продолжает свой путь. Через ночь, через годы и годы он уносит с собой людей и будет уносить их до скончания века. Те, кого он несет,— это реальные люди, из реальной жизни, люди, для которых мерило времени — часовая оплата, и все их существование натянуто, как тетива на лук нескончаемого труда.

Дымный Север дрожит в отдалении и гаснет, вновь возникает высоко в небе колеблющаяся завеса огней, которые и есть «Прозидер». За стенами его как раз в эту минуту часовые в асбестовых доспехах и капюшонах несут вахту у мартеновских печей, где бурлит расплавленная сталь.

Но так ли уж важны эти заводы, и этот поезд, и даже товарищи, которые выходят один за другим, громко хлопая вагонными дверцами, путешественники, пробирающиеся по коридору с чемоданом в руках. И так ли уж важно, о чем говорят в пути и о чем в пути молчат и почему молчат. Оказывается, не один, а множество образов оставляет человек в памяти других после себя. И даже не подозревает, как много оставил следов и признаний. Люди думают: «Этот человек такой-то и такой-то, и с ним случилось то-то и то-то». Люди будто все уже разгадали про нас, но лишь одно идет в счет — твои скрытые, твои нескончаемо длинные раздумья во время длинного пути.

Лоран только-только успел назвать имя «Клэр», как поезд остановился в Лимбурге.

И какая разница, был ли он один в эту минуту, или напротив сидел незнакомый человек, или толпилась вокруг их целая сотня.

— В ту субботу мне стало скучно в Сионе, я сел в поезд и отправился в Лимбург. Нагляделся я на танцульки и бистро в Сионе, хватит с меня! И в дансинге парка, куда я зашел, я тоже скучал, и там полно было всяких ломак, и вдруг я увидел Клэр, она тоже в одиночестве сидела за столиком. И мы танцевали и болтали. И надо же было при выходе нарваться на такое мерзкое дело, и на меня снова напала хандра. Лучше было бы мне пройти мимо. Это всегда лучше.

Снова пошел дождь, дождь, висевший над землей, он сек вагонные окна, сбегал по ним тонкими струйками, похожими на след когтя. От-

дельные капельки вбирали в себя алый отблеск железнодорожных сигналов, и тут же эту кровавую росу жадно слизывал ветер. Лоран думал об убитом человеке, лежавшем в сточной канаве, ему вновь представлялось изжелта-бледное лицо мученика и лицо Клэр.

Каждому свои тяготы, у каждого своя судьба, у всех одни и те же тяготы и, в конечном счете, одна и та же судьба. Придет день, когда Лоран вспомнит, как не мог представить себе свою собственную старость. А все же придет и такой день, когда он задастся вопросом, что же, в сущности, защищает человека от одинокой старости, и ответит: два-три мимолетных воспоминания, которые не поведаешь другому. Глубочайшее удивление, предостережение, тут же смолкающее, и вот уже врата света закрылись. Приходится тогда искать слова, чтобы вернуть чары. Слишком поздно. И на твою долю остается лишь одно — спрашивать взглядом тех, кто только что прошел через эти потоки света.

Он закроет глаза, надеясь воскресить потерянную молодость. Клэр предстанет перед ним, черные ее волосы, податливые, легкие, полные тепла и жизни. Синева под глазами. Ее запах, вдыхая который вспоминаешь аромат вереска, дрока, жасмина, гиацинта. Пройдя через годы, Клэр в его памяти станет еще прекраснее, она приблизится к тому, что нетленно, что отделено от земли божественной благодатью,— утренняя заря, цвет шиповника. И тем не менее забыта. Ибо будут и другие жасмины, другие зори. Не каждый человек ищет именно жасмин. Это себя он ищет в словах других людей, себя в жизни других людей и себя в смерти других людей. Но прежде всего надо научиться говорить «Клэр», не замечая, кто возле тебя, кто на тебя глядит, кто тебя слушает. Те ли люди, другие ли, это ничего не меняет. Земля вокруг пустынна.

IV

Гудят под колесами рельсы. Лоран уперся лбом в вагонное стекло. Спускается ночь и превращает землю в один неразличимый пейзаж, бегущий за окном. Под песню колес тело освобождается от связывающих его уз, расковывается душа, и наступает минута, когда одинокий человек начинает творить себе дорожного спутника, который сумел бы прочесть то, что запечатлено в чужом сердце. Он непременно придет, этот безымянный брат, к которому уже давно взывает дорожная тоска. Придет сюда в грохоте поезда. И по знаку, который он сумеет прочесть на твоем лице, по невысказанным признаниям, по вспышке волнения он угадает все и все исцелит. Он пишет историю бедствий и вынесет ее на свет. Взвалит бремя на свои собственные плечи. Твой ночной брат уже переступил порог. Это он в рабочей спецовке, это он сидит, прикрыв лицо газетой, это начальник поезда, находящийся в последнем вагоне, подтанцовывающем, как пробка на воде, это машинист, который глядит вперед (так, как глядят на страницы десятки раз виденного и перевиденного альбома, где повторяются все в том же порядке теневые узоры), и он грезит наяву, унося с собой свой дом и прижимая своих троих ребятишек к груди, а меж тем зеленые канделябры светофоров бегут навстречу и отстают, спокойные, четкие, похожие на людей, шагающих в бредовых мечтах, похожие на одинокую жалобу виолончели, услышанную иной раз на вечерней улице, на неожиданный крик ночного зверя в лесу. Такова железнодорожная ночь, с органным гудением усталости, с неизбывно долгой скукой, среди спутников, пьяных от утомления, которых несет туда, куда идут все, к смерти или к истине. И снам этим есть свидетель, укрытый мраком,— не важно, ты или я; он все видит, он — свидетель среди всех прочих, некто в толпе, случайно

все знающий, наблюдатель в кильватере жизни, неизменный дух поездов, кораблей, дорожных магистралей. Он был здесь, когда мы бывали одни. И потом он расскажет, как мы умерли.

Свистит паровоз, свистит, от края и до края белого света, и в пустотах качки сжимается гармошка осевых тележек, и звонок на железнодорожном переезде звенит вдоль всего состава. Была ночь, и тут Лоран мысленно обратился к неведомому брату странствий и почувствовал его у своего плеча. Лоран все так же беззвучно стал рассказывать ему о том вечере, когда он возвращался в Сион после первой встречи с Клэр и убийства Хосина Акенина.

...Уже две недели как прекратился снегопад. Под небом, затянутым тучами, Сион казался еще мрачнее. Заводы уже поджидали Лорана, когда он вышел из лимбургского поезда. Давно он не глядел на них, вздыбленных в алом ореоле плавки. Но этой ночью он искал взглядом профиль цехов и стальных башен, как будто убийство в Лимбурге требовало объяснений, и объяснения эти можно найти только здесь. Он прислушивался к дыханию, клубившемуся вокруг доменных печей.

Тот, кто побывает в Сионе, поймет, каким станет в будущем лицо земли. Сегодня стальные цитадели являют собой лишь стайки островков на обширной карте континентов, ибо цивилизация тоже пока лишь узенький архипелаг. Но огонь бежит по всей планете. Целые флотилии грузовых судов и зданий из стальных конструкций нужны народам, которые встают, изголодавшись по счастью, им нужны миллионы метров рельсов и миллионы автомобилей. Каждый день на земле появляется сто сорок тысяч человек, которые тоже пожелают владеть сталью силы, сталью свободы и сталью счастья. Они завладеют сталью любой ценой, даже ценою крови. Пророческие столпы — вот что такое заводские трубы Сиона. Они гласят: все должно походить на Сион, и люди и души.

Лоран направился к рабочему поселку. По мере того как он удалялся от вокзала, перед ним открывались длинные улицы, которые там, вдали сольются с равниной и мглой. До чего же бесконечная выдалась в этом году зима. В течение полугода небеса Сиона не знали иного света, кроме солнечного сияния конвертеров. А эта ноющая тяжесть в каждой косточке, эти клещи холода, который терзает жителей Юга, не прижившихся на Севере, хотя в каждом доме большая печка и на конфорке круглые сутки распевает кофейник. Заводская зима, жар мартенов, жадное ожидание света — разве это не ссылка, не иная мера вещей? Матильда, мать Лорана, все еще пребывала под самодержавной властью родного Юга, веселых ливней ее детства — и в потемках Севера ее любовь ко всем и ко всему превратилась в прах, так бриллиантик светлячка гаснет на человеческой ладони.

Рабочий поселок. Уже четыре года как они поселились здесь, через шесть лет после смерти Давида, в домике, стоявшем в крайнем ряду у самого рубежа песков. Лоран охотно подыскал бы другое жилье, но он предпочел начать новую жизнь на «Прозидере-III». И к тому же дни поселка были сочтены. Скоро здесь воздвигнут светящийся прямоугольник, мавзолей для живых,— колонны лестничных клеток, где зажигается и гаснет свет по мановению рубильника, хоровод силуэтов, словно в театре теней, сверху донизу, движение за окнами в свете ламп, которые живут, подмигивают, одна здесь, три рядом, а там гаснут сразу две, светящиеся вертикально этажи, вечное брожение, движение за стенами этого стеклянного утеса. От поселка не останется ничего, даже памяти не останется.

Для того чтобы попасть в свою спальню, Лоран проходил через комнату матери. Кровать Матильды стояла в углу, ближе к окну. Узенькая кроватка, одна из двух парных, которые Давид купил, переехав в

Сион, чтобы не будить жену, когда он возвращался с ночной смены. С первых же дней это послужило началом отчуждения, и теперь, когда Давид умер, Матильда хоть не чувствует, что рядом с ней, на вдовьем ее ложе, пустое место.

Будильник на ночном столике — подарок Лорана матери. Рамка у него из синей эмали, усеянной звездочками. Маятник — в виде массивного колеса из золоченого металла — медленно вращается в хрустальной призме, установленной на четырех, тоже золотых, шарах. «Ну к чему мне такая роскошь? Да ты просто с ума сошел!» — ахнула Матильда. Лоран упорно отказывался сказать, сколько он заплатил за будильник. Мать все равно не поняла бы, что этот первый дар сына был как бы реваншем за их горькую участь.

Часовые стрелки показывали два. Очевидно, Матильда по своему обыкновению легла в десять. В сорок лет она уже наглухо замкнулась в своем вдовстве. И ждала от грядущих дней лишь одной награды — забвения.

Он приблизился к постели. Мысль его была столь напряжена, что он невольно прошептал вслух: «Ну как, как я могу причинить тебе такое горе?» Но все равно она не имеет права возвращаться в Сен-Прива. Она обязана втолковать Анне, бабушке Лорана, что не могут они бросить могилу Давида. Лоран был уверен в своей правоте, решал за себя, за них обоих, за Давида. Уверен, что только так можно почтить любовь, которая связывала отца и мать, нести ее в руке, как огонек свечи, ни на минуту не забывая праведного гнева.

Того праведного гнева, который и есть мера человеческого сердца. В память о Давиде Матильда должна предать анафеме свое детство, свою деревню, жителей Сен-Прива, осквернивших ее любовь. Они возненавидели Давида, эмигранта, прибитого к Югу отступлением французской армии. Даже его светлые глаза были им не по душе. «Северный бош»,— хихикали они. Как могли они дойти до этого, они, которые, в сущности, еще более жалки, чем горожане? Придет день, и бедняки полей и бедняки фабрик научатся любить друг друга и соединятся. Но в наше время даже среди бедняков есть люди, подобные малым детям, которых учат бросать грязью в то, что непохоже на нас. А потом, есть еще в Сен-Прива гордецы, есть имущие. А у того, кто что-то имеет, никогда не будет иных братьев, кроме других имущих.

Помнить. Уже через месяц после того, как Давид прибыл в Сен-Прива, его прозвали Кепкой. Гадина Блазимон немало потрудился, чтобы распространить эту кличку как можно шире. А потом пошли насмешки над тем, что дочка Лаверней, видите ли, втюрилась в эту самую Кепку. Эскондо, закадычный дружок Блазимона, тоже старый холостяк, специально ходил в город и приобрел там кепку, а затем как-то ночью прибил ее для смеха к воротам Лаверней. Эскондо со своей заячьей губой, с вечно прилипшим к ней окурком, со своим шелудивым псом. Это он любил за аперитивом разыгрывать обличителя: «Ксавьери, наш обормот, в кепке спит и в кепке пьет». Эти шуточки веселили их долго, все детство Лорана. Хотя Эскондо уже давно лежал в могиле, откуда его не выкопал даже его облезлый пес... Письмо, полученное вчера Матильдой, не стерло былых обид. «Значит, Лоран, ты совсем не любишь бабушку?» — «Может приехать сюда, если хочет...» Анна была слабая, больше, чем слабая,— трусиха. О, не будь всех этих обид, как бы сладко было вспоминать их деревеньку на Юге... Дорогу, ведущую в школу Сен-Прива, дерево, приветствовавшее его каждое утро. Иудино дерево за оградой. Величественное под россыпью розоватых цветов, задумчивое, символ глубокого детства, детских снов, видно, названо оно было так неспроста. Не увидит он больше это дерево, единственное, что он простил из прошлого.

И надо же было, чтобы в Лимбурге к нему воззвало уиижеиное смертью лицо в ту ночь, что стала ночью ушедших, спящих и мертвых. Над кроватью Матильды — гравюра, темный крест среди чернильных туч, через тучи пробивается солнце, какое рисуют богомазы. Давиду ее подарил в честь их прибытия в Сион Штраубе из Саара, великан с грудью, обросшей седой шерстью. Штраубе работал литейщиком: «Возьми, Ксавьери,— сказал тогда Штраубе, вручая ему свернутую в трубочку и стянутую резинкой гравюру,— возьми. Моя жена говорит, что твоя жена верующая. Значит, возьми гравюру; она спасла мою жену, когда на нас валились бомбы. Послушай-ка, я сейчас тебе переведу: «Наступит день, и мне откроется то, что на земле повито туманом».

Прядь волос, прошитая серебряными нитями, упала на лоб Матильды. Где она сейчас — в Сен-Прива, в доме своего детства, или, может, разговаривает с Давидом? По лицу не видно, не поймешь. Она уже без возраста, лицо у нее как у всех одиноких и отрекшихся от счастья людей, а рядом — единственное окно, выходящее на полузасыпанные песком садики. В узкой своей кровати под гравюрой Штраубе. Вся Матильда, все Матильдино. Ей хотелось бы вновь очутиться на широкой постели, какие у них в Сен-Прива — из темного дерева, с выгнутыми, как брюхо баркаса, стенками,— чтобы умереть на этом ложе.

Близкая заря принесла с собой ветер. А вместе с ветром прилетел сюда грохот сталелитейных цехов. Когда Матильда вздохнула, Лоран крадучись прошел к себе. На пороге он обернулся, мать не проснулась, но губы ее сложились так, будто она силилась произнести имя, преследовавшее ее во сне. Лоран решил, что она зовет Давида. Но имя, которое она произнесла, было именем ее сына, Лорана.

V

В ту ночь с субботы на воскресенье Лоран долго не мог заснуть. В темноте к нему явился образ Клэр. Ему хотелось бы удержать в памяти один этот образ, чтобы до следующей субботы его с лихвой хватило для сновидений, но лимбургский мертвец стоял у него перед глазами. Он неотступно видел его лицо в сточной канаве. Потом его заслонило другое лицо, все еще живое, хотя со смерти прошло уже десять лет: лицо Давида, отца Лорана. Сионская ночь привела Давида к сыну и жене, и вот почему Матильда не может, не имеет права возвратиться в Сен-Прива...

Сон Матильды в соседней комнате. И ее жизнь, похожая на сон, однообразная и монотонная, как сон узника. Матильда разучилась жить, разучилась надеяться, а ведь это ад, когда у тебя ничего нет и нечего тебе сказать.

Если бы Матильда решила рассказать свою жизнь с первого дня их приезда в Сион, то исповедь ее состояла бы из бесконечных повторений, да и речь шла бы только о тоске и одиночестве. Смерть мужа окончательно превратила ее в отшельницу. Случилось это десять лет назад, когда они жили еще в облезшем домике, стоявшем на холме как раз над заводом-гигантом. Там, на рубеже земли и неба Матильда слышала, как круглые сутки грохочут вагонетки, перевозя руду. Целый день у соседей, украинцев, орало радио. Казалось, будто они нарочно обзавелись радиоприемником, который передавал на полный голос печаль равнин и рек. Соседи между собой не знались, их разделяли обычаи и языки тридцати стран. И в первый же год изгнания лето, наступившее до времени, выжгло до голизны весь квартал, напомнив, что существуют стихийные, первобытные силы, хотя напротив стоит гигантский завод с его зовом, с его огнями.

А теперь, когда прошло десять лет, когда Лоран стал мужчиной, бабка умоляла Матильду вернуться домой. Уже занялась заря, а Лоран все еще не забылся сном. Но мысль его не нуждалась в пособничестве мрака, чтобы улететь далеко-далеко от Сиона — в утро Сен-Прива.

Вот Анна возвращается с мессы. Перед церковью стоят, как два стража, два кипариса — один справа, другой слева от паперти. У тамошней церкви есть свое нищенское благородство, есть даже фронтон, но фигуры святых, изъеденные золотом лишайника, выступают нечетко, коробятся. Неф устроили в строительном сарае и прорезали стрельчатые окна. Тридцать домов в верхнем поселке. Три дюжины — в нижнем, между нижней дорогой и рекой. Дорога, идущая по косогору, вьется среди живых изгородей и соединяет оба поселка — дорога, в которой вся жизнь Анны Лаверн. Ей было семнадцать, когда сразу же после первой мировой войны Альбан. молодой почтарь, женился на ней. Гийом и Венсан ходили по этой тропинке в школу. Теперь мальчики уже не пройдут по ней.

Кладбище, где они покоятся, на противоположном склоне косогора, и ведет туда аллея пробкового дуба. Пять могил, как и каждое воскресенье, ждали в то утро Анну. Ее отец и мать лежали здесь же под осыпавшимся холмиком. А рядом три плиты, одна в одну, потому что три последних покойника легли здесь почти в одно и то же время.

Гийом — старший — двадцати семи лет был убит на войне. Венсан, второй ее сын, в двадцать четыре года тоже убит на войне. Для Альбана, ее мужа, потерявшего двух сыновей, уже не было места на земле. И его тоже убила война. Из-за этой войны Матильда свела знакомство с Давидом. Из-за него уехала на Север, и Анна одна старится в их опустевшем доме.

Столько лет прошло, а раны все не закрылись. Это Блазимон сказал как-то Альбану в дни поражения: «Одним голова с плеч, а другие резвятся себе!» Самого Блазимона не взяли на фронт, как отца девяти детей. «Это ты о ком, пьяная морда?» — спросил Альбан. «О твоей дочке, Альбан, и о том субчике с соломенными волосами, а имя его выговорить не могу, боюсь, язык сломаю!»

Но не Блазимон принес извещение, когда убили Гийома. Пришел сам мэр, бывший фронтовик еще первой мировой войны, так же как и Альбан, и у него на фронте тоже был сын. Альбан сразу все понял. Но сначала налил два стакана водки. Они чокнулись, а руки у них тряслись. Потом Альбан спросил: «Старший?» Мэр кивнул, да, старший.

Он явился снова через месяц. Альбан молча уставился на него. Мэр ушел, положив на стол бумагу, и она так лежала там целый час, пока Альбан не взял ее в руки. Вести во всеобщем хаосе доходили медленно, и потребовался месяц, прежде чем стало известно, что Венсана убило одновременно с Гийомом, и убило на том же участке фронта.

Недолго пришлось ждать сыновьям. Альбан присоединился к ним через год. Но он успел еще узнать, что Матильда беременна от Давида Ксавьери.

«Вот видишь,— сказал Альбан Анне,— пора пришла мне подыхать. Осталась у нас только дочь, и та нанесла нам последний удар».— «Послушай, Альбан, какое же это преступление? Какого тебе еще зятя надо?» — «Нет, не могу я с этим примириться. Для всего Сен-Прива мы станем посмешищем».— «Неужто ты не понимаешь, что они просто завидуют? Уж не Блазимон ли заморочил тебе голову?» — «Оставь Блазимона в покое. Если хочешь знать, он прав. Этот Ксавьери сумел выбрать подходящий момент, когда наших двух мальчиков убило. Не желаю его видеть».— «А Матильду?» — «Пусть убирается с ним вместе».

Никто не пришел на свадьбу Давида, кроме единственного его друга Шарбонье с женой, которые и были свидетелями. Молодожены сняли две комнаты у одной старой девы в домике на краю посёлка, и Матильда с тех пор так и не видала отца. До конца войны они кое-как перебивались с хлеба на воду.

Потом наступил мир. И снова пошли черные дни. Давид нанимался поденно к фермерам. Чтобы переехать на Север, надо было много денег. Один лишь Лоран осмеливался навещать бабку. Возвращаясь из школы, он проскальзывал бочком в молчаливые комнаты, разглядывал портреты дедушки и дядей в рамках, увитых бессмертниками.

Если бы Матильда вернулась сейчас домой, она забыла бы все прежние обиды. Ее ждал дом, где было похоронено ее детство. В комнатах, где она вдохнет привычный запах воска, распахнут ставни. Ее ждут портреты, и они скажут ей, что жизнь лишь тогда жизнь, когда она — нескончаемое детство. Все, что Матильда любила, все, о чем страдала,— исчезнет.

Когда «Прозидер» широко оповестил всю страну о наборе рабочей силы в новые цеха, Давид пошел к Шарбонье. «У меня нет ни гроша, Шарбонье, не на что мне уехать, и мебели для продажи нету, только стол да буфет».— «А разве завод не оплачивает проезд?» — «Да что ты, я ведь возвращаюсь не по контракту. Они могут сказать, зачем, мол, уезжал из Сиона».— «И верно, Ксавьери, надо было бы остаться».— «И это говоришь мне ты! Чего ты хочешь, я считал, что здесь, на Юге, люди покультурнее».— «Они не хуже тебя».

У Шарбонье был клочок земли, чуточку денег, но он был коммунист, и ему это давали почувствовать. Он открыл ящик буфета и сказал: «Отдашь потом. Расписки не надо. Однако я вот что хочу тебе сказать, Давид: здесь ты был несчастлив, но бедняки ненавидят бедняков, потому что кое-кто заинтересован, чтобы они шли врозь».

Лорану было четырнадцать, когда скончался его отец. Страшный день. День горя и сожалений для Анны. Было это в июне, в четверг утром, полным роз и маков. Она распечатала телеграмму. И тут же поняла, что Матильда составила депешу под взглядом ребенка, потому что стояло там только четыре слова — ни ласки, ни привета: «Давид погиб заводе. Матильда».

VI

Смотреть в окно, как уходит вдаль пейзаж, как поворачивается он, рассеченный на лучевые просеки бегом поезда, следить взглядом за школьником, катящим на велосипеде по белой дороге, прочесть мельком рекламу смазочного масла на свежепобеленной стене дома. У фермы с голубыми ставнями еще осталось с десяток роз. Вечерняя дымка мягка. Глядишь и невольно думаешь: да пускай себе мир идет своим путем, пускай идет, куда хочет идти, в грохоте грузовиков и шарканье толпы, лишь бы подальше от утренних смен и бесконечной стрекотни звонков на заводском дворе.

За полями снова цистерны и лампы дневного света, снова стальные башни, блоки на самом верху строительных лесов. Поезд проезжает мимо группы сталелитейных цехов. Сталелитейный комбинат выдвинулся островком почти до самых рельсов, потом отступает и опять подходит к путям, выставляя по обе стороны вокзала свой рогатый полумесяц. Доменные печи стоят так близко, что, даже закинув голову, не видишь их верхушки. Вот они, припудренные ржавчиной, каркас их так раскален, что от него расходятся, морщась в воздухе, тепловые волны, а стонут они, как автоклав на консервном заводе. На коричневом цементном

перроне ожидают поезда девушки, седоволосая женщина сметает на деревянный совок обрывки бумаг, мужчины стоя читают газеты. И все они, как и Лоран, рождены, чтобы жить в вокзальных вечерах и в воскресных заводских улицах.

Изучать воскресенья. А что еще оставалось делать Лорану по возвращении с военной службы? Всю скуку Сиона, пустые воскресенья, пустые до бесконечности, и так вплоть до пенсии,— такое чувство, будто настоящая жизнь идет в другом месте, в столицах, где живут люди, те самые люди, чьи любовные приключения заполняют газетные полосы. И все-таки здесь мой край, значит, это моя работа, это моя комната и к этому надо привыкать. Завтракать попозднее, глядеть, покуривая, в окно, где мимо ограды садика проходят люди с тортом в руках. Учебники алгебры, геометрии и чертежи на стеллаже; надо взяться за книги, чтобы сдать экзамен, чтобы вырваться отсюда; ни к чему нет охоты; развернутая газета валяется на постели, в ней полно объявлений; уехать — ох! — уехать бы!

Мазера́, старый профсоюзный работник, явился в поселок, когда Лорана призвали в армию. «Ты пришел сказать мне до свидания, Мазера?» — «Я пришел сказать тебе прощай. С тобой будет то же, что и с другими! Вернешься сюда и заскучаешь...»

Но надо же было ему случайно встретить Клэр на танцплощадке в Лимбурге, чтобы познать пустоту слишком благоразумной жизни. Мир поворачивается спиной к тому, у кого нет юности, обаяния, кто не умеет жить легко. Ему, Лорану, так и жить с ядром на ноге в своем краю, в краю неуклюжих поденщиков. И остается одно: не замечать горечи, попытаться забыть неизгладимое тавро, делать вид, что не замечаешь верстовых столбов, отгораживающих дорогу, по которой судьба ведет тебя силком. Не сводить свою жизнь к ремеслу, к жалованью, не забиваться в семейный угол, не прилепляться к клочку земли. Когда они жили еще в Сен-Прива, Давид водил сына по воскресеньям в лес, по тополевой аллее. Длинная аллея, особенно прямая в предзакатном свете, идущая напролом через сумерки полей к бледным звездам; и с ним, с Лораном, идет память об отце и бормотание листвы. Что было там, в конце тополевой дороги? Округа, зовущая к себе лишних людей, обетованный край, куда шагают бродяги.

Как знать, а вдруг ему удастся повести с собой Клэр по той сумеречной аллее, прижаться к ней, сказать: «Я был тем самым мальчиком, посмотри, вот какой была моя жизнь до тебя, вот кто были мои родные».

Слишком велико расстояние между Клэр и тем, чей хлеб горек. Не то чтобы окончательно непреодолимое, но все-таки большое. Если бы их разделяли только деньги, Лоран сумел бы найти для матери простые слова: не возвращайся в Сен-Прива прежде, чем увидишь Клэр. Но он не мог сказать этого Матильде. Между танцплощадкой в Лимбурге и домиком в поселке лежало нечто куда более важное, чем деньги.

Она работала секретарем в дирекции лимбургской больницы, работала, чтобы убить время, чтобы не учиться всерьез. У нее было два брата, оба старше нее. Первый мечтал стать командиром военного судна, но потом успокоился, женившись на вдове комиссионера. Второй удовольствовался работой в отцовском предприятии, где ему была предоставлена должность администратора, но случилось это уже после того, как он провалился на вступительных экзаменах в Институт политических наук. Их отец Жан-Пьер Боэн, один из видных граждан Лимбурга, был председателем акционерного общества. Не то чтобы крупный буржуа, но достаточно именитый лимбуржец, чуть повыше коммерсанта, чуть повыше инженера; такие заседают в республиканском центре общества Красного Креста, в церковных благотворительных обществах

фешенебельных кварталов. К правым примыкают они в силу религиозных убеждений, к левым — как люди доброй воли.

Дансинг в парке, неподалеку от Оранжери, в центре Лимбурга, находился по соседству с кафе, куда сходились юноши и девушки из обеспеченных семейств. Все они были между собой знакомы. Мальчики и девочки пили только фруктовый сок. Здесь не было музыкального автомата, зато имелся стереопроигрыватель, шпаривший джазы.

Молоденьких девушек было предостаточно и в Сионе, но Клэр в глазах Лорана была само воплощение неприступности. Она вполне могла выбрать себе мужчину, с которым ее разделяло бы какое-нибудь романтическое препятствие: двадцать пять лет разницы в возрасте, развод, но обязательно из Лимбурга. Однако Лоран знал, что понравился ей с первого своего слова, с первого своего молчания. Он не походил на молодых людей — завсегдатаев кафе «В парке». В этот вечер для Клэр наступила та минута, когда слова, имеющие разный смысл — нравиться и погубить себя, нравиться и не доверять, рисковать, сметь,— чудесно сплавлены в одно единое слово. Прежде всего он был особенный, и лицо у него было особенное. Каждое лицо сотни раз уже существовало в прошлом, и поколения вновь воспроизводят его, награждая добавочным грузом драм. Перед ней, как загадка, возникло лицо Лорана, сына Давида Ксавьери, выходца с Востока, и Матильды, крестьянки с Юга Франции. Казалось, именно слияние двух этих кровей дало ему высокий лоб под пепельно-белокурыми кудрями, именно оно проложило под скулами вмятину теней, которыми отмечен отцовский род в знак давних страданий, именно оно придало его глазам серо-зеленый блеск. Восходя вспять по отцовской линии, Лоран мог бы увидеть многих предков, неотличимо с ним схожих. Но он знал лишь материнскую линию, ибо она прочно пустила свои корни в незыблемую почву. Этому мужицкому корню он был обязан сильными кистями рук, удивительными при тонком запястье. И все те же французские предки наградили его широкими плечами, могучей грудью, передали ему свою физическую мощь, окрепшую за века покорного подневольного труда, который они предпочитали неверному существованию в чужих краях. Но сын Матильды наследовал беспокойный дух отцов, и с этим ничего нельзя было поделать. Видно, Лаверни были почвой, а эта чарующая грусть, пробегавшая вспышками по лицу Лорана, скрытность, мимолетная улыбка, какое-то странное обаяние — все это было даром Ксавьери.

VII

Именно воскресная скука придавала особую остроту воспоминаниям Лорана о Клэр. Воскресенье в Сионе — самый длинный день недели. По улицам густо идут широкоплечие мужчины. Размахивают тяжелыми руками, удивляясь тому, что они праздны. Приходится один день в неделю жить вдали от станков, и люди не знают, куда себя девать. Если бы небезызвестный бес приподнял в воскресное утро крыши домов, он увидел бы, как крановщик со сталелитейного, голый по пояс, сидит у кухонного очага и пьет кофе, руки у него здоровенные, словно ляжки, а на груди хоть рожь молоти. Одним ударом кулака он может уложить соперника на месте. Но никогда сталевар не выйдет из себя, и ничего он не боится. Хозяева специально подбирают для работы на кранах людей, которые не ведают страха, которые проводят всю свою жизнь под океанский гул взрывов и, как кружку пива, проносят над головой товарищей до краев полный ковш, где отливают багрянцем сотни тонн расплавленной лавы.

Таких, как он, этот сталевар, тысяч десять в воскресном Сионе, в этом городе, повитом сажей, двадцать тысяч литейщиков и прокатчиков, больше ста тысяч мужчин и женщин, занятых на металлургических заводах, и воскресным утром все они думают о своей любви, живой или умершей. Быть может, были в их жизни соблазны, а быть может, они никого и ничего не любили, кроме своей размеренно-благоразумной жизни. Один бес это знает. Оттуда, сверху, он глядит в воскресенье на землю, считает слезы, взвешивает желчь, прикидывает, кто станет Каином, а кто — Иудой. Надеется бес, что человек так никогда и не прозреет и не сумеет найти радость. А имя этому бесу — скука.

Скука ходила по пятам за Лораном с того самого дня, когда он стал свидетелем убийства Хосина, когда вышел из кино в Сионе, куда зашел провести послеобеденные часы. На улицах лица людей, казалось, лишены были красок, а сами люди — одежды. Воздух был густ, как янтарь, в который вкраплены окаменевшие насекомые. Здесь над головой не было даже настоящего неба, а какая-то ночная багровость туч, зрелище которых претит и привычным сталеварам. Сосед Лорана, Жеве, собирался бросить поселок и переехать в коммуну в двадцати километрах от города. «Черт с ним, с расстоянием,— говорил Жеве,— зато, когда я выгляну в окошко, хоть не увижу этого чертова огня».

Металлургические заводы, пробуждавшиеся вновь в воскресенье вечером, еще шире раздвигали рамки мрака, где от одного края горизонта до другого, точно ласточки, перекликались локомотивные гудки. Лоран глядел, как за мутными окнами трамвая бежит Национальная улица. Входили старушки в косынках, старики, припудренные капельками тумана. Трамвай разливал вдоль улиц свой металлический грохот, подпрыгивал на мостах, катил мимо бистро. Иногда между двумя плоскостями черных домиков торчала громада доменной печи, вздымавшаяся прямо к небу, алому от света конвертеров.

Лоран вышел в Американском квартале и стал ждать пересадки. За последним островком жилых домов лежала густая сетка рельсов. А там подальше начиналось царство завода. По другую сторону канавы возвышались складские помещения. Дальше выстраивались одни за другим поселки, а еще дальше пирамида неопределенных очертаний, цвета пыли и асфальта, высокая, как виселица, это отвал с поблескивающими точечками искр.

Кто-то окликнул его, он оглянулся и увидел в двадцати шагах от себя Франс-Элизабет Мольян. Франс была давнишняя приятельница Лорана, первый его друг после переезда в Сион. Ребенком она была совсем кругленькая, но с годами вытянулась, хотя и считала, что недостаточно. Лицо у нее осталось все такое же круглое, а короткий прямой нос служил вечной причиной ее отчаяния: она считала, что нос у нее слишком толстый. Лоран знал ее давно, и сам уже не понимал, какое место занимает она в его сердце. Тот, кто видел ее впервые, не назвал бы ее хорошенькой. Надо было приглядеться, чтобы обнаружить исходивший от нее сосредоточенный свет, свет пристального повседневного внимания к жизни. Движения у нее были быстрые, веселые, но изредка ее охватывала какая-то печаль — так в их краю даже в летний зной вторгаются призраки тумана.

С рождения она принадлежала этому краю. Срослась с ним воедино всеми фибрами своего детства. Серо-багровое небо «Прозидера» ее не пугало — таким в ее представлении и должно быть небо. Она не задумывалась над огромностью завода: завод вошел в ее жизнь, как входит в жизнь других пустыня.

Впрочем, ей повезло: половина ее жизни проходила в стороне от гиганта. Эдуар Мольян, ее отец, электрик на «Прозидере», желая вырваться из поселка, построил себе домик на верхушке приземистого пригорка,

что горбился к востоку от равнины, где заводские цеха покоятся на пуховиках собственного дыма. Эдуар строился ради троих своих ребятишек на сэкономленные деньги. Старший брат Франс стал учителем, второй — десятником на стройке. Оба съезжались под отчий кров только раз в году во время отпуска, и то на неделю. В один прекрасный день Франс-Элизабет тоже покинет родительский дом. Эдуар Мольян порой думал об этом, но старательно гнал от себя такие мысли. Он безмерно гордился своей любимицей дочкой. Она одна продолжила его трудовую жизнь в металлургии, правда, этажом выше — в канцелярии, в тех высях, откуда ясно видна судьба каждого. Она работала секретарем 101 273 и была прикреплена к шестидесяти тысячам занесенных в картотеку имен. Держать в ажуре картотеку, приклеивать фото. Сортировать и раздавать значки с серебряными цифрами.

В свое время Лоран часто провожал Франс домой, они шли пешком по залитой битумом дороге до тропинки между кустами шиповника, ведущей их к дому. В Сионе тогда еще не было огромных школьных комбинатов, и дети металлургов посещали сто восемь городских школ, поставляющих «Прозидеру» рабочие руки. Тогда в школе, где практиковалось смешанное обучение и где учились Франс и Лоран, было только шесть классов.

До сих пор Франс помнила, как к ним в класс в середине зимы явился новичок. Он сразу ей понравился. На следующее лето они как-то вечером брели по тропинке. «Это твой дом?» — спросил Лоран. В то время елочки доходили лишь до верха садовой изгороди. Бульдозеры только-только еще начинали выкорчевывать лес, расчищая пространство для новых цехов, и из окна своей спаленки Франс иной раз удавалось заметить зайца, улепетывавшего в заросли вереска. «У нас тоже,— сказал тогда Лоран,— у нас тоже есть дом, у бабушки то есть, большой каменный дом в нашем краю». Фраза прозвучала чуть-чуть глуповато. Но сказал он это столь необычным тоном, что с тех пор Франс стала смотреть на Лорана не так, как на всех прочих мальчиков, своих соучеников.

Потом погиб Давид. Лоран продолжал учение. По своим способностям он вполне мог стать со временем инженером. Все это знали на «Прозидере», начиная с чернорабочего-кабила и кончая главным директором завода, и превыше ненависти, битв, несправедливости, власти денег и адского пламени мартенов было то, что для тридцати тысяч рабочих сын погибшего стал как бы живым символом доменщика, способного победить силою своего труда.

Они стояли на Батарейном мосту. Раздался гудок электровоза где-то там, внизу, на расходящихся веером рельсах, потом, опустив пантограф, он въехал под каменную арку моста — поезд шел от мартеновского цеха. Они услышали дребезжащий перестук вагонов, потом воздух внезапно изменил свой цвет, он стал видимым, сам стал светом. Оба инстинктивно кинули взгляд на цепочку пламени, на состав, везущий изложницы.

Лорану захотелось рассказать Франс-Элизабет об убийстве в Лимбурге. Может, она сумеет объяснить, почему ему так муторно на душе, почему при виде лица алжирца, забрызганного грязью, в нем пробудилось воспоминание о смерти отца, но он промолчал: испугался, что проговорится о танцах в тот вечер. Слева от них под мостом состав, подпрыгивая и скрежеща на стыках рельсов, въехал в ангар, куда легко бы вошел цеппелин. Это был стриперный цех. Крановщик освобождал от скорлупы застывшие стальные караваи. Сидя высоко в своей кабине, он приводил в движение механизм, похожий на клешни краба, снабженный пуансоном, который выталкивал слитки из изложницы. Самого человека не было видно. Но зато они видели, как краснели в полумраке металлические караваи, выстроенные в ряд. Слитки весом в двадцать тонн, хра-

нившие интенсивно-багровый оттенок в самой своей сердцевине, напоминали стеклянные стелы, освещенные изнутри. Вокруг стриперного цеха, там, где расходились рельсы, было пустынно, только перебегали с места на место полосы света да слышался изредка приглушенный удар.

По ту сторону моста возвращался поезд с пустыми изложницами; перевод стрелки, гудок; электровоз задним ходом отвел состав на крайний путь справа; сзади на последней площадке вагона покачивался красный фонарь. Поезд задом вошел под устои моста как раз там, где стояли Франс и Лоран. Вдоль всего настила моста были установлены искрогасители, да и изложницы были уже пустые, но над ними взвихрился горячий воздух, как дыхание жары перед грозой. Лоран схватил Франс-Элизабет за руку; под их ногами изложницы местами были еще темно-вишневого цвета, и их продолговатые силуэты поблескивали на платформах. Поезд прошел, и его обжигающее дыхание проникло в самую глубь легких острым запахом раскаленного металла.

Все тот же бес видит, как в Сионе прогуливаются не только Франс-Элизабет и Лоран, но и множество других юных парочек в других поселках и предместьях на всей земле. Он не слушает их речей. Самые обычные, ничего не значащие слова, произнося которые не рискуешь попасть в ад. Бес не отходит от нас, он надеется помешать людям прочесть правду, запечатленную в глубине наших сердец, не важно, гаснет ли воскресный день в лавровой роще, у теплого моря, не важно, кончается ли он на Севере, где вопят паровозы, развозя по всему краю тонны черных людей и составы изложниц.

VIII

Теперь Лоран был твердо уверен, что в следующую субботу Клэр он не увидит. Зачем только он позволил ей уйти так рано, и все из-за того, что боялся опоздать на последний сионский поезд. А сейчас перед ним была целая длинная неделя, и ее требовалось чем-то занять, как-то убить.

Не придет она на свидание. У таких девушек, как Клэр, неделя делится на семь дней, на семь вечеров. Значит, семь раз ей представится возможность потанцевать не с Лораном, а с тем, кто ближе ей, чем он. Утро понедельника вновь поставит все на свое место, все осветится светом Сиона, совсем непохожим на лимбургский. Над каждым снова возьмет власть его жизнь, собственная, своя. Что осталось от того вечера в дансинге при парке? Аромат, который так радостно было бы удержать при себе подольше и который уже улетучивается из памяти? Очевидно, он совсем спятил, вообразив, что Клэр когда-нибудь приедет сюда.

В понедельник ровно в восемь тридцать чертежники на «Прозидере» приступают к работе. Они входят в те же ворота, что и их товарищи-доменщики, пересекают тот же Восточный, пока еще пустынный двор. Но тут пути их расходятся. Лифт уносит сотрудников конструкторского бюро на четвертый этаж, в большой зал со сплошными стеклянными стенками. Восемьдесят чертежных столов, покрытых белым картоном, стоят в ряд по обе стороны центрального прохода.

Доска Лорана находилась сбоку у окна, и он мог видеть перспективу заводских крыш, но он не отрывал глаз от ватмана. Хотя свет падал слева, он зажег настольную лампу, чтобы разглядеть детали чертежа. Под конусом голубоватого света лицо Клэр не встало между листом бумаги и его взором, хотя он и опасался этого. Завод снова завладевал им. Лоран видел на большом листе кальки, прикрепленном к столу, только одно — будущий «Прозидер», гигант на берегу моря. И карандашом он

набрасывал часть клети гигантского прокатного стана — полумашину, полуживое существо,— самого огромного стана, который когда-либо создавали люди. Умная машина величиной с город, и целого племени металлургов не хватит, чтобы ее заменить.

Гигант сможет выпускать автомобильный лист для целой страны. Тот, кто войдет в цех длиной в два броненосца, где с громовым грохотом катают слиток стали, с трудом различит обслуживающий персонал вокруг клети стана, и, однако, несмотря на автоматику, нужны еще и еще люди, чтобы смотреть за станом там, на берегу желто-зеленого моря, где под жалобное мяуканье чаек и вечную песнь ветра все ждет рождения крупного металлургического центра.

Вчера был убит Хосин Акенин. Пятнадцать строк в газете. На равнине, отданной металлургии, одним человеком стало меньше. Что такое какой-то араб? Что такое рабочий? Власти считают их сотнями тысяч, лишь когда они бастуют. Они — масса и только масса. И существуют только в силу своей численности, только в силу численности. Пока Лоран Ксавьери этим утром, в понедельник, чертил клетки цехов, что возводят на берегу моря, прибывают все новые и новые люди. «Прозидер» почерпнет нужные ему кадры среди бедняков — так рука, погруженная в мешок, черпает зерно с самого дна. Уже заранее они все пересчитаны, перемечены. В один прекрасный день, ничем не отличающийся от сегодняшнего, все они соберутся на набережной, где строится прокатный стан, и день этот наступит с такой неизбежностью, как будто эти люди уже здесь, ибо того возжелал «Прозидер».

Поезд, в котором они едут, выходит из туннеля и, ослепленный дневным светом, останавливается у пограничного вокзала. Справа, слева — горы. Там, вверху пылают под лучами солнца румяные снега и подснежники. Рыжая земля, бесплодные долины, виноградники, прилепившиеся к склону горы. Окна вагонов опущены. Люди толпятся в купе, в коридорах, даже на площадках. Они в пути уже пятнадцать часов. Они ступят на землю только послезавтра. Время от времени гудок курьерского, идущего в противоположном направлении, промяукает вдоль их состава, и вскипающий вокруг него воздух бьет, как пощечина. Курьерский несет к солнцу курортников, а южане едут загорать в жару доменных печей.

Северное лето. Он зовется Севером, этот край, куда едут люди в поезде 10 004, в тесноте, с шестью килограммами хлеба в картонном чемоданчике, где хранится фотография худенькой черноволосой женщины, снятой в садике, она, улыбаясь, щурит глаза от беспощадного солнца их голодной отчизны. Но север северу рознь. География не сводится только к пейзажу, главное — заводы, в них реальность этой земли. Люди катят к доменным печам. Сколько времени потребуется им, чтобы постичь секреты этой высокой башни, тянущей в тумане руки своих трубопроводов? Чтобы узнать, для чего существуют наклонные колонны, ведущие к колошниковой клети, висящей в поднебесье? А скиповая эстакада, по которой день и ночь движутся вагонетки? Вершина этой башни зовется колошником. Ниже — само тело домны, шахта, одетая стальной броней. А совсем внизу — брюхо печи, где фурмы охлаждаются беспрерывно циркулирующей водой. Самый низ домны теряется в чаще стальных и бетонных конструкций. Возможно, их, пассажиров поезда 10 004, пошлют работать сюда, у горна доменной печи под венкообразным трубопроводом — к фурменному поясу, под сень ответвлений, входящих в корпус горна. Но большинство направят работать на блюминг, или в листопрокатный цех, или на электростанцию, или к коксовальным установкам. Там требуются сотни человеческих рук для черной работы, сотни людей, еще не овладевших азами металлургии, еще не научившихся читать ее книгу.

Доменная печь — требовательнейшее существо, и люди с Юга никогда ее не видели. Они были лесорубами, гуртоправами, малярами, кузнецами, землекопами, плотниками, землепашцами, портными, каменщиками, пастухами, кровельщиками, даже сельскими музыкантами, и эти последние даже захватили с собой свои аккордеоны. Само слово «домна» вызывает в их представлении лишь смутный образ. Пока поезд стучит по рельсам, они пытаются собрать воедино все свои представления об этом огне, но все равно предугадать ничего не могут. Не могут вообразить себе этот строй гигантов, эти кирпично-стальные башни. Телом они пока еще в двухстах лье от чрева, где зачинается сталь, от миксеров, конвертеров, мартеновских печей, печей электрических. А душой отсюда за двести тысяч лье.

Их ждут домны — доменные печи; вот они — слова наших дней, ключевые слова, как слово «хлеб» и глагол «жить». Многие другие пришли на свидание с горем раньше, чем пассажиры поезда 10 004. Многие другие сунули в продавленный чемоданчик свои шесть килограммов хлеба, чистую спецовку, грубошерстную рубаху и спрятали в карман карточку матери, детишек или любимой. Давид Ксавьери тоже из их числа. Катят навстречу коксовой блестящей пыли и трепетным искрам металла все воспоминания и вся любовь, катит надежда и катит грусть, катит плоть, приносимая в жертву Молоху. Четыре компонента нужны, чтобы получить плавку. Руда, горючее, флюс — слияние трех этих элементов становится возможным лишь при наличии четвертого: человеческой силы. Или человеческих знаний, или человеческого терпения, или человеческого горя. Или человеческой души.

Катят поезда навстречу заводскому дыму. К заводской дисциплине. Хлебу. Катят чужеземцы. День и ночь, ночь и день заполнены грохотом составов, но кто вслушивается в стук колес? Тысячи поездов визжа подпрыгивают на сотнях тысяч стрелок, квадратные семафоры поворачиваются, как флюгера, скрипят, как кусок толя, прижатый ветром к стене. А там сталелитейные заводы ревут в ночи, тянут свои щупальца к долинам с залежами руды, но кто слышит грохот поездов? Тот, кто еще ни разу не бывал на заводе, думает: «Никогда я не сяду в такой поезд. Даже сам господь бог не присудит меня к поездке на таком поезде. Изгнание не мой удел, и не мой удел раскаленные клещи и челюсти пламени. Да минуют меня чаша сия и крест сей, никогда не стану я чернорабочим, который стоит на площадке вагона поезда 10 004, с карточкой любимой в картонном чемоданчике, ощущая во рту соленый вкус слез. Пусть без меня рождается в своей печи эта сталь! Пусть на мою долю выпадет обычная жизнь».

Там, куда идет поезд 10 004, развешенное для просушки белье досыта набирается копоти и окалины. Пятнадцать тысяч локомотивов выплевывают пар, шестьдесят теплоцентралей рассеивают золу под небом, чреватым бедами, и горят сорок домн, и сверкают пятьдесят конвертеров, и тридцать пять тысяч вагонов воздвигают каждый год по новой горе шлака.

Завтра поезд остановится у серого вокзала. Вот здесь-то и разойдутся судьбы тех, кого вез поезд 10 004. Вокзал уже вдосталь насмотрелся на солдат, выходивших из вагонов при свете синей лампочки военного времени, он уже привык встречать новых пассажиров молчанием. Под его крышей стоит вечный холод, даже когда над городом струится августовский зной. Здесь люди расходятся кто куда. Аккордеонисту предстоит пересадка; в заводской автобус погрузят тех, кто дрожит от бессонницы и молчит. Вон тот с седыми висками — а ему всего тридцать — проведет ночь в предместье, вымощенном грязным булыжником, зато из окна его комнаты виден рукав реки, омывающей островок. Вон тот в какой-нибудь хибарке будет вдыхать кислый запах кузнечных це-

хов. А вот этот поедет сразу на «Прозидер-III», городок В., аллея 14, корпус 6, комната 822. Он уснет среди новых стен — впервые в жизни. Комнатка в городке, который только что отстроили и который тоже лишь придаток к прокатным цехам. Тесная комнатушка — два шага от двери до постели, узенький стол, радиатор, стенной шкаф, хромированный кран, батарея центрального отопления. Родился он в хибарке. Хибарка — это уже прошлое, ее обрек на гибель металлургический гигант. Здание почты еще недостроено, спортивные площадки — пока еще сплошное месиво грязи, школа еще ни разу не слышала ребяческого гомона, все здесь новое, вселенная только-только начинается. Но скоро улицы заполнятся юношами и девушками в пуловерах и джинсах, и средним возрастом города станет возраст необъятных чаяний — двадцать лет.

Но пассажиры поезда 10 004 должны будут уплатить свой обол, выкуп за то, чтобы совлечь с себя свою чужеземную кожу. Они внесут свой сребреник трудом и кровью у проходной завода, который окрашивает одним колером кожу любого цвета, дает одну и ту же родину всем апатридам. Потаенная работа стали! Столько слов, которые не слова даже, а чудо, и созданы они для того, чтобы выразить природу и сущность живого металла, его способность легироваться, кристаллизоваться, невидимое древо под обличьем геммы, сети прожилок, сухожилий, нервов — это сталь, начало человека, начало общества. Для пассажиров поезда 10 004 она станет свободой, которую им не удалось обрести на феодальных полях, где жатва уже принадлежит богатому, хотя зерно еще не брошено в борозду.

Наступит черед детей, а пока что катят и катят поезда. Сначала надо еще добыть тонны железняка, серого, желтого, красного, черного или зеленого, сжечь вагоны руды, дробить, сортировать, обогащать, брикетировать, агломерировать, но все равно дети родятся, это столь же неотвратимо, как сталь. Их отец едет в поезде, идущем с Юга, как приехал в свое время Давид. Это тот, с аккордеоном, который напевает песню, что поют в их краю. Это тот, что дрожит от подступающей к горлу тошноты и бессонницы. Тот, что спит, уронив на колени развернутую спортивную газету. Тот, что пытается разобрать надпись у стоп-сигнала. Тот, что строчит письмо, не обращая внимания на тряску,— да что он может написать, если не доехал еще до места назначения. Тот, что уже выпил всю воду из своей бутылки, а попросить у соседей не решается. Тот, что рассказывает похабные истории, а слушатели — одни вовсю гогочут, другие пожимают плечами. А там в конце пути ковш расплавленной стали ждет вот этого, который сидит, повернув смуглый профиль к окну, и невозмутимо глядит на проносящийся мимо пейзаж. Разливочный ковш с жароупорным стержнем, который называется стопором и служит для открывания и закрывания отверстия, откуда струей вытекают сто пятьдесят тонн расплавленного металла.

Потом, позже люди из поезда 10 004 скажут о домнах: «Наши». С гордостью будут они твердить о новых станах с заранее запрограммированной беспрерывной загрузкой. И в голосе прозвучит гордость, ибо современные машины снимают с человека лежащее на нем испокон веков проклятие, и благодаря им сирены «Прозидера» никогда не завоют, не известят, что пытка Давида Ксавьери началась сызнова.

Всему этому еще предстоит обучиться людям из поезда 10 004. А пока что так непохожие друг на друга доменные печи еще долго будут казаться им все на одно лицо, схожие, как схожи между собой кладбища и порты,— орган заводских труб среди снегов, темно-серые скелеты строек на фоне зеленоватых вод северного моря.

Десять лет назад все это видел и Лоран на долгом пути с Юга на Север. Чужая ночь вползла в захватанное стекло вагонного окна. Давид то и дело выходил в коридор. Поезд часто останавливался, с вокзалов

тянуло запахом кофе. Переполненные трамваи, ползущие в тумане,— за пыльными окнами Лоран успевал заметить даже, что они битком набиты пассажирами. От города до города за поездом шел запах дыма и серы, и казалось, будто вся местность — сплошной вокзал. На утреннем небе уже начинали вырисовываться стальные цитадели. Поезд проходил через мост, пролетал над сеткой рельсов. Навстречу тянулся поезд с рудой, целый состав низеньких вагонеток, и колеса визжали среди сотрясаемых грохотом зданий. Давид тогда сказал:

— Смотри, сталелитейный завод.

Но Лоран ничего не разглядел, не разгадал этот ребус, который предлагала ему разгадать холодная заря судьбы. Завод был средоточием всех кошмаров изгнания. А теперь Давид умер. Он глядел, как сын его делает чертежи цеха, где пять тысяч рабочих, прибывших на рабовладельческих поездах, будут плавить сталь и покрывать все громовым грохотом прокатных станов. Теперь уже Лоран мог бы открыть отцу тайны сталеварения. Мог бы повести отца к подножию титана. Мысленно он шагал рядом с Давидом туда, где кричат чайки, где свистит в песках ветер, на набережную, которая ждет людей, более терпеливых, чем море.

IX

Клэр пришла на свидание в следующую субботу. Лорану вспомнился другой субботний вечер, когда он встретил впервые Клэр в дансинге, тот прекрасный вечер в легкой дымке, которая рассказывала легенды и предвещала счастливые встречи. После танцев она отвезла его в Сион, и они долго сидели в ее машине у первых домов предместья.

Темнота сразу же поглощала полосы света, падавшие из дверей еще не закрытых ночных кофе, посетителей, выходивших оттуда. Туман каплями оседал на одежду, и казалось, весне вовек не суждено вернуться в этот город, затянутый дымом.

Незабываемый вечер. Клэр вспомнила, что она была как-то в Сионе, только забыла когда. Вернее, промчалась в машине вместе с родителями. Не могла же она сказать Лорану, что до встречи с ним ей незачем было разглядывать эти безыменные равнины, показавшиеся ей к тому же в тот серенький денек ужасно грустными.

Да и Лоран предпочитал, чтобы она видела их город ночью, когда он сказочно преображен огнями. Дождь пучил медузообразное небо, сотрясал алые и розовые тучи, рожденные пламенем литейных. Клэр и Лоран залюбовались пурпурными миражами, встающими из сотни заводских печей, где творила свое чудо химия. Так они сидели в машине, что-то говорили — Лоран не мог потом вспомнить ни слова,— забыв о времени, и очнулись лишь тогда, когда оба, захмелевшие от бессонницы, совсем закоченели. Вокруг них в цехах «Прозидера» продолжали гореть смоляные факелы синей меди, фиолетового фосфора. Им это все запомнилось как бивуак, разжигающий костры. Огни на равнине водили хоровод вплоть до гребня холмов, вплоть до отравленной реки. Дождь тоже был пламенем, и этой ночью оба смотрели, как вздымались вокруг багровые фонтаны, как сверкал венок искр.

Смотрели оба, остановив машину у площади, где порхали ночные огни. Когда Клэр нынче вечером ждала Лорана в зале дансинга, только один человек сумел выделить ее из толпы. Да, наверно, никто и не видел Клэр глазами Лорана. Мгновение их встречи оказалось неисчерпаемым. Оно продолжалось здесь, во мраке зарниц и среди звуков гонга и грохота заводов, а на небе стояло красное марево, и дождь, несмотря на холод, был уже весенним дождем.

Но в поезде, который катит сейчас по рельсам, не нужно много слов, чтобы рассказать о любви Лорана и Клэр. И даже не нужно живого человеческого голоса. Голос, который может рассказать об этом, говорит только в серых сумерках под печальными мокрыми небесами, только здесь его можно услышать — ведь русалки поют лишь в море. Его нужно слушать в конце бескрайней равнины, что тянется на Запад. Голос перекликается с ветром. Когда вновь брызнут весенние дожди, в окнах домов поселка расцветут белые гиацинты, низко нависшие тучи, сталкиваясь друг с другом, побегут к пяти морям, морям мечты — Атлантическому океану, Ла-Маншу, Северному морю, Балтийскому и Ирландскому,— а ветер будет шествовать впереди, между дюн. Ветер может рассказать, как всякая любовь на свете похожа на гиацинты, выращенные в рабочем поселке, совсем такие же, совсем смертные. Да и человек тоже лишь дуновение, его радости и горе лишь блестящая пыль слюды на дюнах. Ветер уносит ее, заметает следы шагов. Только он один все знает.

X

В ту ночь Клэр и Лоран оба поверили, что рождены на свет любить друг друга. Им оставалось узнать, что рождены они также, чтобы помогать друг другу, открыть друг другу множество истин. Клэр еще предстояло по-иному увидеть тот мир, где слово «деньги» означает жалованье, выплачиваемое каждые две недели. Ей придется еще учиться видеть людей с черно-серебряными значками, заполняющих вечерние поезда. Еще придется узнать истинное имя этой толпы, над угрюмыми и отуманенными усталостью головами которой начертано огненными знаками пророческое слово «завтра». Узнав, что претерпевает человеческая плоть и человеческий дух, она поймет, что кроме чернорабочих-кабилов существуют не только телевизоры в кредит, но также и сталь Америки и Китая, тысяча банков и миллиард коммунистов, ракеты, устремляющиеся к звездам, и в самом конце их стремительного взлета — новая идея о человеке.

А Лорану, в свою очередь, предстоит узнать, сколько честного незнания таится в сердце тех, кого зовут «буржуа». Клэр и Лоран учили каждый свою азбуку и по-иному читали знаки, начертанные на земле.

После убийства Хосина Акенина в лимбургских кафе то и дело вспыхивали драки. Потом как-то вечером полицейские избили дубинками португальца, который осмелился оскорбить общественный порядок своим сходством с арабом и не спешил показать документы. На проволочном заводе и на других заводах Лимбургского сектора начались стачки против проекта реконверсии, грозившего переселением сотен их товарищей. Перед зданием префектуры делегации потрясали плакатами. Сион тоже глухо кипел. Префект Лимбурга, назначенный на свою должность полгода назад, прибыл из земледельческого департамента, где его не пугали ни забаррикадированные дороги, ни митинги виноградарей. Если он вызвал подкрепление, то лишь потому, что в его представлении стачка немыслима без отряда полиции, и рабочим, мол, необходимы блюстители порядка в касках, дабы защитить рабочих от них же самих. Но он ни за что не дал бы такого приказа, не будь министры того же мнения.

Преторианская гвардия прибыла во вторник к вечеру, за час до захода солнца. Первыми ее заметили металлурги из ночной смены. Робер Гомец, живший в десяти километрах от Сиона, катил по велосипедной дорожке вдоль забора прокатного цеха и вдруг увидел грузовики, битком набитые полицейскими в форме,— машины объезжали поселок с северо-востока и сворачивали у перекрестка на магистраль, ведущую в Лимбург, где находились казармы. Гомец на полном ходу промчался

мимо колонны. Зато успел вовремя добраться до клуба литейщиков. Не выпуская руля велосипеда из рук, он распахнул дверь. Человек двадцать, пивших у стойки вино, сразу замолчали при его появлении.

— Что это с тобой, Робер? — спросил Рангю, главный машинист компрессорной станции.— Что стряслось? На тебе лица нет!

— Еще бы,— подтвердил Гомец.— Они здесь, их сотня, а может, и две. Я сам видел грузовики.

— Ну и что? — подхватил Рангю.— Тебе-то что они сделают? Не из-за нас же с тобой приехали!

— Знаю, не из-за нас, а из-за лимбургских товарищей. С проволочного и «Нор-Меки».

— Да нет. Есть у тебя еще минуточка? Они здесь потому, что надо их чем-то занять, пойми ты это.

Но все лица помрачнели. Это не была война в открытую. Не будет уличных боев ни в Сионе, ни в Лимбурге из-за того, что с полдюжины предприятий прекратили работу, и совпало это случайно с тем, что какие-то бесноватые убили прохожего, а по их примеру другие зверски избили трех молодых алжирцев, которые слишком-де вольно вели себя с девушками. И однако эти самые обычные меры, принятые по распоряжению властей, самое обычное перемещение войск содержали в себе вызов.

По улицам будут разгуливать патрули. Возможно, вокруг префектуры и в бедных кварталах вырастет сплошная стена, частокол невозмутимых физиономий, возможно, даже без касок и уж конечно без оружия, дабы соблюсти правильную расстановку сил, и все это под ширмой напускного благодушия. И однако само присутствие преторианцев означало нечто весьма определенное, и этого не скрывали.

Люди «Прозидера» лучше, чем сами полицейские, знали, для чего требуется полиция. Полицейские отнюдь не жаждут бросаться по приказу начальства в уличные схватки, где они рискуют подстрелить своего брата по классу. Ведь каждый из них хотел лишь одного: найти надежную защиту от безработицы, холода, голода и бесприютной старости и поэтому подписал с невидимыми властями пакт, не лишенный в какой-то степени своеобразного понятия о чести. Большинство из тех, кто подписал этот пакт, так и умрет, не обагрив своих рук даже каплей крови только потому, что та невидимая власть просто не имела случая потребовать, чтобы они полностью выполнили все пункты, вписанные в пакт.

А что, если завтра они услышат команду командиров «пли»? Они выстрелят. Они всегда стреляют. Они же подписали пакт.

Грузовики прибыли в Лимбург. Патрульная машина под окнами префектуры не спеша бросала свой призыв — ля-соль-ля-соль,— и призыв этот терялся где-то в конце проспекта. У центрального вокзала человек африканского обличья ждал автобуса. Стоял он на остановке один, держа под мышкой холщовый мешок с завтраком. Автобус остановился. Все сидячие места были заняты женщинами и девушками, ехавшими из контор и канцелярий. Трое военных стояли впереди, цепляясь за кожаные поручни. Они дружно взглянули на человека у остановки. Вряд ли в их взорах было написано хотя бы любопытство, но он прочел в них угрозу, и так как в этот момент по улице катил джип радиослужбы, африканец побрел пешком.

Враждующие массы людей разделяет не обязательно угрожающий окрик. Чаще их разделяет молчание. И не обязательно колючая проволока оттесняет во мрак людей, не таких, как мы, а иной раз обычный автобус, куда не смеешь войти. И есть такие, что все это понимают. А есть и такие, что никогда этого не поймут.

XI

Новым рекрутам, являющимся в отдел кадров «Прозидера», вручается так называемая «Памятка». Отец Лорана десять лет назад в начале работы тоже получил такую книжицу. В те времена это была тоненькая тетрадочка всего в десяток страниц. В тот день, когда Давид Ксавьери сгорел, она лежала во внутреннем кармане его спецовки. Теперь эти брошюрки распределяет Франс-Элизабет Мольян, одновременно с черными значками, на которых выбит номер из шести цифр. Возможно, преторианцы даже не подозревали, что черная армия труда, шествующая под вой сирены, носит, как и они, билет кабалы на груди. Но тот, что выдают на «Прозидере», более интенсивного серого цвета, более роскошно оформлен, чем воинский билет, и, пожалуй, более загадочен.

Восемьдесят страниц на глянцевитой бумаге. Форматом книжечка не больше блокнота, чтобы новичкам было удобнее класть в карман спецовки и вникать страница за страницей в содержание, попивая кофе в столовке, или читать ее в своей холостяцкой комнатенке в надежде уйти от вечерней скуки. Книжка эта служит им гидом и библией. «Завод сначала покажется вам, пожалуй, даже таинственным,— гласит первая страница,— но если вы будете внимательно следовать нашим объяснениям, вы быстро освоитесь с его генеральным планом. Поймете, каково ваше место в этой стройной системе, в которой со временем вы прекрасно разберетесь».

В первые дни после приезда у многих иммигрантов нет иного спутника, нет иной книжки. Они изучают язык ремесла, которое должно заменить им родину. Перечитывают текст на восьми языках, и на всех восьми главное, ключевое слово — «сталь». Сталь легированная, сталь спокойная, сталь мягкая, сталь кипящая, сталь в изложнице, сталь нержавеющая, мартеновская сталь, томасовская сталь, сталь сернистая, агломерация, прокатный стан, ленточный конвейер.

Иммигрант смущен, никогда ему не запомнить все эти слова, даже не понять их. Неужели, для того чтобы ворочать тяжести и жариться у огня, требуется столько всего знать? Но в конце концов не сложнее же это в самом деле, чем запомнить части автомобиля. И он снова берется за чтение, раз все равно ни о чем не думается. Если он араб, то позднее он будет пересыпать свой прекрасный и суровый язык, созданный для молитв и стихов, словами «блюминг», «слябинг», но в конце концов — как знать? — а вдруг там, где гигантские валки блюминга хватают багровые слитки весом в тридцать тонн, там тоже есть свое заклятье, свое пророчество?

Может статься, что этим иммигрантом окажется поляк, испанец, итальянец, и будет он зваться, к примеру, Антонио Панлека. Или как-нибудь по-другому. Обложка книги черная, как у настоящей библии, но на ней не крест, а только заглавное белое «П» — «Прозидер». На форзаце фамилия и имя владельца книжки. ПАНЛЕКА, Антонио-Рафаэль-Доменико, порядковый номер 707 515, грузчик, родился там-то, завербовался там-то. Вечерами Антонио Панлека листает черную книжицу, разглядывает план города Сиона, схему завода, отмечает непонятные места, которые потом переведет сородич, опередивший его на дороге исхода. «Я,— скажет ему Доменико, или Джулио, или Анджело,— я уже давным-давно забросил эту штукенцию в шкаф. Да на кой она тебе? Какая тебе польза хотя бы от этих слов: «Жизнь моя делится на две части — работа и домашний очаг. На работе я осмотрителен, дома веду строго размеренную жизнь». Будто сам этого не знаешь».

И все-таки Антонио не забрасывает своей книжицы в шкаф. Где-то в глубине души ему кажется, будто это свидетельство, удостоверяющее,

что скоро он возродится в стали, служит ему отчасти защитой. Ему хочется еще и еще раз поглядеть на макет нового городка, на снимки первых жилых зданий — сплошной модерн и сталь,— какие строит «Прозидер». Искусный фотограф позаботился снять на первом плане штокрозу и кружевную тень, которую отбрасывает молоденькая березка на блестящий металлический каркас. На душе Антонио становится спокойнее. До сих пора все дома, которые он видел, были каменными. В мечтах ему грезится, будто металлургия может прекрасно ужиться с солнцем и деревьями.

Когда-нибудь так и будет, возможно, даже раньше, чем кости Панлеки вымостят землю, и, возможно, мы уже идем к этому дню. Слово «рабочий» исчезнет из нашего словаря или приобретет иной смысл. Север перестанет быть краем заводского дыма, а Юг — краем безработных. Море будет доступно каждому, и у каждого будет время читать прекрасные, еще не прочитанные книги, а также время для счастья и славы. И за время это не жалко заплатить любую цену, но Панлека пока еще может платить только своим терпением. Прежде чем знать, куда идет мир и позже помогать строить его, надо научиться азбуке. Легированная сталь. Сталь спокойная. Сталь кипящая. Сталь в изложнице. Сталь сернистая. Мартеновская сталь. Сталь томасовская. Самые обычные слова, их знает каждый. И кроме того, есть еще жалобный вой сирен, седовласый Мазера, делегат профессионального союза, «Клуб литейщиков», где происходят собрания, меланхоличные сионские воскресенья, воспоминания о далекой родине, а иной раз, в самые тоскливые дни, перед глазами вдруг мелькнет картина детских лет, подобно букету еще не совсем распустившихся роз.

Дни и недели, последовавшие за встречей с Клэр, вернули Лорана к этому первому, трудному этапу их жизни на чужбине. Он пытался подвести итог всем событиям: убийство, письмо бабушки Анны, разбудившее память о мертвом деревенском доме. Иной раз он вставал ночью с постели, распахивал окно. Спальня его выходила на длинную цепочку садиков, которым вскоре суждено было исчезнуть вместе с поселком. Поселка он не жалел, но его охватывала щемящая нежность к несчастным яблоням и грушам, с натугой налившим почки, чтобы отпраздновать весну в этом царстве стали.

После того вечера, когда Клэр довезла Лорана до Сиона, когда он почувствовал, как медлит ее рука в его руке, и он обнял ее, под утро, часа в три, его разбудило чье-то постороннее присутствие. Это пришла весна. Со вчерашнего дня буря не успела еще уйти далеко. Она еще тянула руку к городу, и вплоть до рассвета ветер сердито тряс садовые ограды, гонял с громким шорохом прошлогодние листья в шпалерах винограда. Временами шквал замирал, как прохожий, с размаху натолкнувшийся на стену. По отлогости неба сквозь поблескивающую дымку катилась луна. В этот воскресный вечер серебряный свет луны заменял багрянец конвертеров. Ночь была похожа на воробьиные ночи в Сен-Прива.

Его снова охватило раскаяние. Как, должно быть, тоскует Матильда по южным ночам, полным стрекота цикад. Она познакомилась с Давидом летом, на тропинке, ведущей через луга. Лоран знал все тамошние тропки. Должно же хоть что-то остаться там от Давида! Почему нам заказано любить прошлое? Потому что кто-то посмел нас унизить? Почему закон жизни повелевает идти все время вперед, не слабея? В памяти Лорана сохранились те ночи, когда он прогуливался с отцом по длинной тополевой аллее, и еще другие ночи тоже. Они оба, отец и сын, часто взбирались на склон холма между хижинами, которые тихонько карабкались вверх по откосу, и доходили до самого гребня, где их встречала новая заросль звезд. Давид! Где скитается его тень? Вернулась ли

она на пригорок, кличет ли Матильду, надеясь воскресить их юную любовь? Нет, это невозможно. Слишком уж он там намучился.

Пейзаж Сен-Прива стал для Давида символом унижения. Широкий рукав реки за мельницей, опавшие листья, которые плывут друг за дружкой вниз по течению, водослив, откуда берет начало поток, пляшущий меж тополей. Белые и лиловые фиалки на болоте, ручеек, пробирающийся вдоль колыбели ив, зеркало вод за мельницей, трепещущие отблески света, невнятное бормотание.

И дом Альбанов в центре деревни, дом, повитый мраком. Заклятый дом, обиталище призраков. Комната Гийома была отделена от улицы изгородью из роз, в окна спальни Венсана врывались крики и вопросительное бормотание теней. Матильда любила больше Венсана, и Лоран порой ощущал, что в глубине души и ему чем-то близок этот погибший юноша.

Погиб он вслед за Гийомом, в двадцать четыре года. Был он фантазер, скрытный, не то что старший брат. Его комната в нижнем этаже выходила на дорогу, которая шла от их дома через просторы полей к реке, к отсветам спящих вод, к зовам ночи, к светлым туманам. Он любил свою комнату за то, что мог вернуться, когда заблагорассудится, никем не замеченный. Вернись он сейчас, даже собственная его мать, Анна, и та не увидела бы, как проскользнула тень сына.

Но Матильде не справиться с прошлым. Нельзя, чтобы она вернулась туда и жила лицом к лицу со своими призраками. Что произойдет в ее душе, когда она очутится в спальне Венсана? Длинная комната — сразу видно, что ее пристроили позже к уже готовому и довольно незатейливому дому. Шла она вдоль северной стороны, стена к стене со столовой и кухней. Переехав жить в поселок, Альбан пристроил эту комнату себе для работы. А когда Венсан подрос, пристройка перешла в его владение. Таким образом он оказался обладателем просторной, пожалуй, слишком просторной галереи с тремя окнами, зато на отшибе от родных. Из его комнаты в кухню вела дверь, пробитая в старой капитальной стене. Достаточно было спуститься всего на одну ступеньку, чтобы оказаться перед огромным очагом, но эта ступенька, отделявшая Венсана от жизни родных, приобрела с годами непомерно большое значение, так как через эту дверь он исчезал, отправляясь спать и грезить в одиночестве.

Кухня выходила на восток, во двор. Входную дверь так и не удосужились сменить с тех пор, как приобрели дом. Дерево, щедро промазанное мастикой, раз девять покрывали серой краской. На нижней части двери оставили следы своих когтей альбановские кошки и собаки. В эту дверь входили и друзья и враги.

Все, кроме Давида.

XII

Матильда не подозревала, что ее сын влюблен. Никогда она не задавалась такими вопросами, точно так же, как в трудные годы их жизни не думала, что Лорану приходилось бороться из последних сил. Все, что не было ее собственной душевной болью, должно улаживаться, как ей казалось, самим ходом жизни.

Ей хотелось поехать в Сен-Прива «хотя бы на время». А к осени, когда Лоран обоснуется на «Прозидере-III», она непременно вернется. Но Лоран знал, что мать не сможет оторваться от их мертвого дома. Погрязнет там. Уже через месяц она, вся в черном, будет пережевывать вместе с Анной давнишние истории. Срезать во дворе розы, чтобы отнести их воскресным утром на пять старых могил. Розы растут во дворе

перед дверью, порога которой ни разу не переступал Давид,— таким образом деревня окончательно восторжествует.

Но не только это оскорбляло Лорана. В конце концов былые распри угаснут сами по себе, их унесет жизнь, та, что превращает жирную землю развалин в заросли глициний и сирени. Вот, скажем, почему, ради чего тройка или четверка хулиганов убила Хосина? Откуда эта запоздалая ненависть? Арабы, по крайней мере в Сионе, уже не представляли политической проблемы. Возможно, убийцы мстили за далеких родственников, ставших в свою очередь жертвами преследования. Медленно гаснет пожарище, и еще долго под залитыми водой развалинами продолжают тлеть искры.

Так Лоран не способен был простить матери то, что она добровольно отказывается от наследия Давида, более того — не понимает даже, что это наследие —их двадцатитрехлетний сын, которого в Сен-Прива ждала бы участь поденщика. Годы учения Лорана, ремесло Лорана — все это Давид оплатил ценою своего мученичества. Он был лишен света, моря, неба, и сын во что бы то ни стало обязан увезти его с собой, пусть хоть в душе, в сердце на «Прозидер-III», посвятить ему эти волны и этих чаек, а не возвращаться в Сен-Прива, чтобы там отречься от отца, лить бессильные слезы побежденного перед запертой дверью.

«Значит, мама, ты не любишь моря?» — «А что мне прикажешь делать на берегу моря... Поезжай. А я потом к тебе приеду».— «Знаю, знаю, найдешь тысячи причин не возвращаться. Бабушка тебя не отпустит!» — «Я вернусь к зиме. А на «Прозидере-III» холодно?» — «Не холоднее, чем здесь. Тебе бы не мешало уже сейчас туда съездить. Небо там красивое, там светло, тебе понравится. Значит, ты просто не любишь море».

Матильда улыбалась. Он чуть ли не возненавидел эту улыбку, которая напоминала те проклятые годы,— такая улыбка кривила губы хитрецов из Сен-Прива: меня, мол, не проведешь. Но видеть эту хитренькую крестьянскую усмешку на лице матери! Он стыдился ее, стыдился самого себя, будто совершил какое-то кощунство. Нет, Матильда, скучавшая по солнцу и зною, не любила необъятных северных небес, не любила этих ни на что не похожих индустриальных городов, глядя на которые ощущаешь словно удар кулаком в сердце, городов, вокруг которых вдоль плотины длиной в десять тысяч метров вскипает бахрома волн, пестрят корабли, и весь горизонт перепоясан сотней заводов, сходящихся ожерельем у небосвода, и кажется, будто возникли они прямо из моря, волею архангела. Ничто ее не трогало, не восхищало, она улыбалась. Что тут поделаешь? Не было у нее того взлета души перед лицом прекрасного, который примиряет человека с его бренной оболочкой.

И в тот день — когда же именно? как-то в начале лета — он снова крупно поговорил с Матильдой. Воскресный день уже шел к закату, но стояла такая жара, что дома поселка словно отрезало от всего остального мира. Лучи солнца просачивались сквозь щели ставен, и длинные полосы света лежали на полу. Над оцепеневшими от жары домиками продолжали грохотать радиоприемники. Музыка выплескивалась на улицу, как волна, сливалась с дрожащим нагретым воздухом. А скоро, когда на землю спустится вечерняя прохлада, откроются ставни и комнаты зальет золотой свет — впервые за целый год: так и кажется, будто каждый домик Сиона старается любой ценой заслужить любовь человека. Доказать, что вовсе здесь не такой уж безнадежно скверный климат, что и здесь тоже есть прекрасные небеса голубые, горячего цвета, неестественно голубого цвета льна. Их домик в поселке скажет Матильде, что она обязана принять в сердце свое этот родственный край, где вновь совершается чудо — чудо летнего дня. Дымка за окном была пепельно-

голубая, как в горах, Давид умер в такой же день, когда небо, земля и воздух — все было словно раскаленная лава.

Лоран вскочил с места: «Ты не поедешь, не поедешь! Не желаю!» Он повернулся спиной к Матильде, крупными шагами подошел к окну, распахнул его рывком так, что ставни звонко ударились о стену. «Лоран!» — с упреком крикнула Матильда, потом замолчала. Неужели она плачет? Он проклинал себя за этот жест ребяческой ярости, но не желал оборачиваться. Лоран, Лоран... Никто, кроме Матильды, никогда не называл его этим именем. Бабка Анна говорила: «Малыш»,— так принято у них в Сен-Прива. Товарищи по работе обычно звали его «Ксавьери». И даже Давид никогда не произносил этого имени, а возможно, звук его голоса расплавился в жерле домны со множеством других воспоминаний. Ольберг, который был начальником смены горновых в день смерти Давида, говорил, будто ему почудилось, что тот позвал сына, падая в жерло печи. Однако утверждать это с уверенностью не мог.

Но Лоран знал, что отец никогда бы не позвал его обратно в тень, особенно сейчас, когда перед ним, перед ними, уже маячит этот завод, этот «Прозидер-III», непреложный и чеканный, как гимн. Он загляделся на зарево заката. Вокруг поселка дрожал воздух, раскаленный жарой, пришедшей после долгой зимы туманов и грязи. Вечер нес запахи перегретого дерева, песка и гудрона, запах отпусков, каникул, путешествий. В аллеях визжали ребятишки, шум их игр подымался вверх, сливался с сумерками, земля отдавала дневной зной, а воздух все еще дрожал вокруг крыш и кирпичных стен.

XIII

Лоран решил, что пора познакомить Клэр с их Сионом и сионцами. Но при одной мысли об этой встрече он испытывал тревогу и смутный стыд. И вовсе не потому, что его ослепило величие семьи Клэр. Чем Ксавьери хуже какого-нибудь Боэна, и Лоран знал, что дружба его с Клэр не пошла бы дальше того первого свидания, если бы она не сочла, что он послан ей самой судьбой, если бы его присутствие и его голос не стали для нее откровением, когда чувствуешь в себе решимость и все смеешь. Сион был далек от лимбургских кривляний. Не важно, что Клэр придется закрыть глаза на кое-какие мелочи, важно другое: к Сиону надо подходить с широко открытыми глазами.

Трижды в день, с понедельника по субботу, над заводом-морем вопят сирены, извещая о конце одной смены и начале другой: в десять часов утра, в шесть часов вечера, в два часа ночи. Толпы людей входят и выходят через Речные ворота, через Транзитные ворота и через Торговые ворота. Мужчины и женщины проносят, как хоругви в процессии, свои живые лица по улицам, окутанным ладаном туманов, способных сглодать даже камень, даже металл. Ниже шоссе тянутся огненные составы, груженные ослепляющей лавой. Блоки домов растут прямо между цехами, сам город окутан сажей, весь во вспышках пламени. Когда спускается ночь, завод водружает стяги огня прямо в небе. Катит вальцы в огромных прокатных цехах. Через высокие его стены до города доносится артиллерийский грохот чугуна. Нужен не один час, чтобы обойти вокруг бетонную ограду, за которой пылают печи и стучат молоты.

Есть на земле тысячи заводов, где миллионы людей ежедневно переживают кошмары агонии, и ни художники, ни поэты никогда не сумеют ее изобразить, ибо лишь человеческая плоть знает, что такое рудники, коксовая батарея, электростанция, цементный завод, где легкие превращаются в камень, консервный завод, где воняет кишками, прессы,

отрубающие женщинам руки, пороховые заводы, сжигающие кровь человека парами хлора и селитры. Металлургические заводы — самые непроницаемые среди всех.

В Сионе «Прозидер» захватил все, даже небо, куда он посылает свое пламя, на землю он давит всей своей тяжестью. Шестьдесят тысяч мужчин и женщин послужили ему фундаментом, одни еще здесь, других уже давно нет или вот-вот не станет. Но карточки их по-прежнему хранятся в железных ящиках, выкрашенных в зеленый цвет. Завод прошел по телам целых шести поколений. На старых карточках еще не было фотографий, но имена первых кузнецов вписаны в пожелтевшие книги, где сквозь канцелярскую каллиграфию проступает розовыми и фиолетовыми кружевами живописная плесень. Ибо «Прозидер», чье настоящее имя «Объединенное металлургическое производство» — иначе говоря, союз четырех бывших гигантов металлургии, учитывает все и ничего не забывает. Ни одной минуты, ни одного сантима, ни одной из миллионов тонн вырабатываемой им стали.

Шестьдесят тысяч лиц, живых или мертвых, восходят пирамидой к одному-единственному человеку, к господину Сержу Ворсфельду, президенту и генеральному директору компании «Прозидер», бывшему выпускнику Политехнического института, кавалеру ордена Почетного Легиона. Это он хозяин. Он достиг таких высот власти, где само понятие «хозяин», «патрон» очищено от всяких страстей: Ворсфельд может зайти в любое время в любой цех, в прокатный или конвертерный, и никто на него даже не оглянется. Этот старый молчаливый человек видит уже не колонки цифр, не итог, который достигает на 31 декабря 65 миллиардов франков, не номинальную стоимость акций, не огромные резервы, а свою собственную смерть.

Есть на «Прозидере» другие седовласые технократы, чтобы патрону не приходилось самому иметь дело с живыми людьми. Директор зовется Жорж Рюитц. Высокий, широкоплечий, сутулый. По внешнему виду, по повадкам трудно догадаться о его функциях. Тот, кто входит теперь в его рабочий кабинет, видит перед собой просто высокопоставленного чиновника. Впрочем, господин Рюитц действительно сделался бюрократом стали. Мог ли он даже думать об этом, когда, положив в карман свой инженерский диплом, мечтал воздвигать под самое небо мосты еще невиданных конструкций или строить в джунглях города? Волосы у него редкие, тщательно прилизанные. Глаза сидят глубоко, лицо широкое, хорошо вылепленное, но с возрастом оно стало казаться каким-то плоским, потому что губы стянуло в ниточку, а рот провалился. На воротничок идеально накрахмаленной сорочки наползает складками шея.

Было время, когда Жорж Рюитц знал всех своих подчиненных. И не только мастеров, но и простых рабочих,— правда, было это еще до рождения «Прозидера». В те времена «Сталелитейное предприятие» Сиона было чуть ли не семейным делом. Там царил феодально-патерналистский дух, а сам господин Рюитц работал рядовым инженером, и его, согласно традиции, послали для начала на отвалы. Он даже был на «ты» кое с кем из парней, работавших в термическом цехе.

А теперь... Четырнадцать тысяч мужчин и женщин образуют пирамиду, возглавляемую президентом. Четырнадцать тысяч — личный состав завода на 1 января, а через два года, когда в строй войдет «Прозидер-III» на берегу моря, их будет уже двадцать тысяч. Сорок тысяч значков на платьях и спецовках, сорок тысяч значков в виде серебряного круга с остролистом в центре, выгравированными в два ряда трехзначными цифрами. Первый ряд указывает, где кто работает: в доменном, в томасовской стали, в мартеновском цеху, в электростали, в литейной, на блюминге, листопрокатном,— тяга, отвалы и дробилка, электростанция, коксовальная установка. Подавляющее большинство из этих

четырнадцати тысяч не имеют для господина Рюитца вообще никакого имени. Они только семьсот тридцать пять наименований цехов и специальностей. Рабочий копрового цеха, загрузчик литья, кокса, шихты, скрапа, машинист скипового подъемника, сварщик, прокатчик, лаборант, рабочий на отборке проб кокса и шихты, рабочий миксерного отделения, рабочий, зачищающий слитки, рабочий вагонов-весов, водитель мотовоза, горновой, формовщик и еще сотни, сотни других.

Они приняли сталь, как принимают ислам. Чтобы пройти по бесконечной равнине, среди бесконечных стенаний станков, сквозь череду дней, а над ними три своеобразных ориентира: Ворсфельд — личность недосягаемая, Рюитц — стоящий на рубеже двух миров, и Фернан Мазера — профсоюзный делегат, который близок к ним, с которым они на «ты», но его функции отделяют его и от хозяев и от рабочих.

Тот, кто приезжает в Сион, ни разу в жизни не видев городов стали, никогда не думавший о людях, делающих металл, даже он, взглянув на Мазера, скажет: «Где же я его видел?» А где бы он мог его видеть? Там, откуда выходят такие, как Мазера. Все они одного корня, и всех их гонит по земле все тот же извечный ветер. Испокон века он приносит таких, как Мазера, в самую гущу любого человеческого скопления. Кто знает, почему и где берут они смелость говорить от имени товарищей, надеяться, рисковать за них и с ними? И вовсе не обязательно они сильнее или образованнее прочих. Но они встают во весь рост, они смеют, и все идут за ними, ибо их братья распознали в этом личном мятеже волю всех.

Сеть дорог и улиц, устремляющаяся к «Прозидеру», может служить наглядным пособием к подлинной истории современного человека. Бескрайни просторы Сиона. Они как залив, открытый сверкающему морю, залив с шестьюдесятью тысячами островков, которые блещут под солнцем бездн или хоронятся в пене и туманах. Каждый из этих островков— мужчина или женщина. Франс Мольян, Лоран, господин Рюитц, Мазера и прочие. Но просторам они не нужны, не нужны широким магистралям одиночества эти оглодки безликих предместий, эти блоки строений среди путаного лабиринта дворов. Где-то надрывается музыкальный ящик. Три женщины в черном входят в церковь. Парочка ждет автобуса. А тот человек, что шагает на окраине города, с грустным смуглым лицом, с кроткими покорными глазами и сильной челюстью гуртоправа,— какие желания теснятся в его сердце, какой гнев? Ему еще нет тридцати. Серый грубошерстный костюм куплен не в Сионе, а в его родном краю, где существует своя особая мода бедняков. В Сионе он еще недавно и еще не набрался смелости войти в магазин и пощупать заскорузлыми пальцами чудо текстильной промышленности, которое превращает в породу патрициев дочерей и сыновей металлургов. Он одинок, этот человек из Бильбао, длинным воскресным днем на северной долине, где тянется и тянется караван индустрии, такой огромный, что поглощает все крики и грезы, но там же веет упорный и горький ветер, и вкус его на губах зовет к мятежу.

Лоран так и не знал, сумеет ли Клэр прочитать что-либо на челе Сиона.

XIV

Пришел день, когда Клэр попросила Лорана сводить ее на могилу Давида. Он ждал этого, но полюбил ее еще сильнее за простодушную хитрость; так ей представлялась единственная возможность столкнуться с Сионом хотя бы обходным путем и одолеть его. «По крайней мере,— думал он,— Давид не сможет нас разлучить». Когда он дал согласие,

ему почудилось, будто судьба привела его к той минуте, когда оплачиваются все просроченные векселя.

И вот кончился субботний день. Выехав из Лимбурга, Клэр катила к Сиону через плоские равнины с редкими перелесками. Она проезжала через городки, где розы снова карабкались по стенам ферм, выглядывая из-за свежепобеленных заборов. Доска возле ивы, стоявшей у обочины шоссе, гласила: «До «Прозидера» 6 км. Берегись грузовиков». Здесь начинался край, отличный от их Лимбурга, от парка Оранжери, от кафедрального собора, увенчанного двумя золотыми крестами. Даже небо здесь было другое.

Солнце постепенно бледнело, и там вдали вставало синеватое марево. Впрочем, погода была отличная, небо, особенно в зените, приобрело теплый оттенок слоновой кости — одно из очарований северного лета, но почему-то казалось, что над всем пейзажем повис хвост кометы. Ее нематериальное присутствие чувствовалось повсюду, тут уж нельзя было ошибиться. Оно угадывалось во всем: в жухлых красках любой вещи, в этом легком, свинцовом отблеске, глядя на который невольно вспоминалось затмение, волочащее свою пепельную бахрому по молодым зеленям. Да и запах тоже — весь воздух был пропитан стойкой сернистой вонью. Еще далекий отсюда завод царил над округой, вздымая серую вуаль дыма, стойкую и разреженную, как Млечный Путь.

Навстречу Клэр выбежали ржавые дома пригорода. А дальше от железнодорожных путей отходил канал, подбираясь под углом к мосту. В воде с радужными пятнами мазута подрагивали отражения черных крыш. Завод открывался весь разом, пришвартованный к изгибу реки, где между кормами барок плясали огни. Дорога сворачивала вправо, бежала по незаметному склону вдоль берега. По другую сторону красно-белого барьера, закрывавшего поворот на юг, сторож в проходной почему-то напоминал старичка садовника. Его легче было представить себе в беседке, обвитой виноградом, где в сумерках расчирикались воробьи, чем здесь, на страже у изголовья Левиафана металлургии. Звался он Леон Карнен... «Привет, папаша Карнен»,— говорили люди под вой сирены. Правый пустой рукав был приколот булавкой к поле пиджака.

Лоран открыл дверцу машины и молча сел рядом. Клэр почудилось, будто он еще не принадлежит ей, будто он пленник этой вечерней толпы, пленник заводских сирен, которые хоть и смолкли, но все еще населяли тишину, вспугнутую шагами тысячи ног, шаркавших по жирной пыли. Когда машина отъехала от подступов к заводу, Лоран повернулся к Клэр, и улыбка преобразила его лицо. «Раз уж мы с тобой паломники...» — сказал он, но фразы не окончил.

Сады, разбитые перед домами, шли по обе стороны улицы. Лоран неопределенно махнул рукой: «сюда, мол»,— и они направились к кварталу облезлых домишек, к остаткам старинного поселка, который не устоял перед приливом промышленности и умирал стоя. На пустынной маленькой площади дремал остов заржавевшего колодца — последняя память о крестьянском быте, о былых постирушках.

«Раз ты сама захотела сюда приехать, Клэр, раз ты меня об этом просила...» Он смотрел прямо перед собой, заклиная дорожную пыль, дым, само одиночество говорить за него. Слишком много противоречивых чувств, мечтаний, трудно передаваемых словами, хотелось ему вложить в свою исповедь, хоть раз в жизни в этот миг объяснить, почему он ненавидит жителей Сен-Прива и все-таки любит их, ведь они такие же бедняки, как и его отец, такие же, как он, униженные. Сказать, что нет у него ненависти к Гийому и Венсану, к этим двум двадцатилетним, чьи юные лица вставлены в черную деревянную рамку, обвитую выцветшей трехцветной лентой. Нет, немыслимо, нельзя ненавидеть все это, нельзя ненавидеть — и, однако, необходимо, чтобы кто-то или что-то ис-

купило позор и смерть Давида. Вовсе не по доброте и не из милости— надо было сделать Давида своим, и единственный способ дать такое исчерпывающее и такое гневное объяснение, чтобы ясно стало: он не изгнанник.

Они поехали дальше, свернули на крутую дорогу, и из-под автомобильных шин запрыгали камешки. Лоран попросил остановить машину на краю узкой площади, окруженной низкими, зелеными от мха стенками. Четыре пыльно-серых вяза уныло торчали на чахлой лужайке. Портал церквушки выходил прямо на пустырь, нависавший над долиной. Через открытые врата виднелся безлюдный неф. Трое мальчишек сидели на паперти. Они были так поглощены игрой в камушки — камушки требовалось с маху уложить в углы сложной геометрической фигуры, начерченной пальцем на земле,— что даже не оглянулись на машину. Лоран посмотрел на церквушку, потом на улицу, которая шла вверх, сворачивала, исчезала.

— Сейчас все не такое... Потому что светит солнце... В памяти у меня осталось черное-черное небо, как в день нашего приезда... Туман, дождь... Все мне казалось ужасно огромным... Этот верхний квартал мы звали «деревня». Мама так его прозвала. Ей необходимо было прилепиться душой к чему-то маленькому. Север наводил на нее страх. Впрочем, мы не выходили за пределы нашего квартала. Холод, мерзкая погода. А когда наступило лето, отец умер.

— Ваш дом был здесь?

— Нет,— ответил Лоран.— Подальше. В конце улицы.

— Хочешь, зайдем?

— Нет.

С минуту Клэр молча глядела на Лорана. Их губы почти соприкасалнсь. Но губы Лорана были словно высечены из мрамора. Она поняла, каким жестким может вдруг стать это лицо. Не отрывая взгляда от его глаз, она сказала, и сама не узнала своего голоса, серьезного и какого-то неуверенного, словно от страха совершить неловкость, но все же звучавшего убежденно:

— Лоран, я хотела прийти сюда, потому что... Не знаю, как бы тебе лучше объяснить, но мне важно, чтобы ты понял, как я могу быть близка тебе. Что-то омрачает твою жизнь. И я об этом не жалею, Лоран. И если над тобой что-то нависло, пусть мы будем как можно ближе друг другу. Мне хотелось — не знаю, возможно ли это,— чтобы у нас были общие воспоминания. И даже воспоминания о том времени, когда я тебя еще не знала.

Лицо Лорана просветлело:

— Да, конечно. Но только к чему вот это? От нас на этой улице ничего не осталось, даже воспоминаний о первой зиме.

— Но ты же здесь жил, когда твой отец умер?

— Вовсе не здесь я ищу воспомнинаний. Прошло уже десять лет... Дома на том конце улицы вот-вот развалятся, не знаю даже, живут ли там. Нет, Клэр, не стоит смотреть на наш дом. Я сейчас сведу тебя на могилу.

Они обошли площадь. На пороге облезлого домика показалась женщина. В сточной канаве бежала мыльная вода. Женщина боязливо посмотрела на Клэр, на Лорана, отвернулась и скрылась за дверью. До конца квартала они так никого и не встретили. В пространстве между двух строившихся корпусов временами вставал алый дым «Прозидера», там, далеко, в самом конце равнины.

Они вернулись к реке, перешли ее выше завода, и дорога, идущая вдоль канала, привела их к подножию извилистой линии холмов. Кладбище вырисовывалось отсюда все целиком, снизу доверху, заросшее тра-

вой и кустарником. Сверчки трещали в траве, крохотные бабочки гонялись друг за другом между прибрежных цветов.

Тяжелая металлическая калитка протяжно заскрипела на петлях и захлопнулась. Ограда вздрогнула, зазвенела, как гонг, в этом уголке вечного покоя. Сторожа не было.

— Вот здесь.

Рядом с могилами двух солдат. Две коричнево-зеленые каски, водруженные на верхушке двух крестов. Лоран не понизил голоса. Да и к чему? Зной поглощал все, все было мирно под солнцем, которое жгло даже в тени.

— Вот здесь, Клэр, здесь... Его похоронили в такой же солнечный день. Мне было тринадцать, а ему немного больше тридцати. Он лежит здесь рядом с двумя своими ровесниками. Когда мама приходит на отцовскую могилу, она вспоминает своих двух братьев. Эта могила — все, что осталось от ее мужа.

Настало ли время задать вопрос, который назойливо рвался с губ Клэр? Она не смела, но вдруг не выпадет другой, столь же подходящей минуты?

— Он умер на заводе, ведь ты мне так говорил, Лоран?

Он нагнулся. Поднял с могилы букетик ломких желтых цветов, уже почти завядших.

— Знаешь, что это? Эти цветы растут на пустырях, и там я их увидел впервые. Их много вокруг литейной. Их принес какой-нибудь товарищ. Видишь, какие здесь люди, Клэр. А мама хочет их бросить.

Глядя на Лорана, Клэр поддалась чарам, исходившим от ладанного духа кипарисов, запаха раскаленных камней под горьким кладбищенским солнцем. Лоран стоял, выпрямившись во весь рост. На его лице не было следа слез. Да и не нужны ему слезы. Этому юноше, стоявшему над пеплом отца, нужна была буря и пламя сталелитейных, багровая гроза, подымающаяся столбом из глоток печей, гроза, умеющая вещать мертвым.

XV

Они вышли с кладбища, и снова за их спиной проскрежетала калитка. До ночи было еще далеко, но солнце уже спряталось за гребень холма, и в сумерках, вновь обрекавших на забвение могильные холмики и кресты, Клэр вдруг почудилось, будто детство Лорана уже в какой-то мере принадлежит ей. Они дошли до берега канала, топча молоденькую травку, и уселись рядом, спустив ноги к дремлющей воде, одетой, как в броню, в радужную пленку мазута, где в ленивых водоворотах кружились ивовые листья. Баржа с громким названием «Ротердам» прошла мимо. На палубе жена моряка развешивала белье. Она приветливо помахала им, и рукава синей матросской рубашки, получив свободу, забились по ветру. Никогда не забыть Клэр этот напоенный меланхолией вечерний пейзаж, водяную тропу, сливавшуюся с небесами, и квакание лягушек, робко пробующих свою флейту.

— Посмотри,— сказала Клэр,— и представь себе, что это мы с тобой плывем на барже. И мы тоже увидим влюбленных, которые, как и мы, сидят на берегу. Случится нам проходить мимо Сиона или Лимбурга. И никого, никого не будет на целом свете, кроме нас двоих.

— И мне тоже,— подхватил Лоран,— иной раз видится, будто иду вперед, все вперед, и там, где кончится дорога, вроде бы начнется другой мир. Но это только лишь мечта. Как знать, доживет ли матросская любовь до конца рейса.

— Как ты мрачен, Лоран. Надеюсь, ты это не про нас сказал. Тогда про кого же?

— Послушай, Клэр, я десятки раз думал, сколько времени может длиться любовь, особенно когда путешествуешь по холоду, под дождем. Конечно, если бы отец остался жив, матери не за чем было бы уезжать из Сиона. Но никогда нельзя знать, не отступит ли тот, кого любишь, перед испытанием.

— Но ведь твоей матери пришлось все-таки перенести смерть твоего отца?

— Я не о том... Нет, я думал о повседневной жизни. Дети прекрасно чувствуют, когда у родителей что-то не ладится. Например, я сразу понял, что, когда мы переехали сюда, мама уже начала жалеть о своем Сен-Прива. Даже говорить об этом неприятно, но именно с тех пор я сделал выбор между отцом и матерью. Потому что я знал, что отец борется. Мне было всего тринадцать, но я был достаточно взрослым, чтобы все понять.

Их приезд в этот черный край; на оконных стеклах капли дождя вперемешку с угольной пылью. Подножие остроконечного холма, который и не холм даже, а просто шлаковый отвал с длинным ожерельем зеленоватых огоньков на хребте.

— Я догадывался, как растеряна мать. Она, конечно, заранее воображала нечто мрачное, но не до такой степени. Она перестала разговаривать с отцом... И в моей памяти, видишь ли, он уже вроде был не с нами. Мы вдруг увидели ряд ярко освещенных окон — электростанцию. Я думал, что мимо нас прошел поезд и окна у него освещены, а это оказался завод с его холодными огнями, и мне стало страшно. Из нас троих больше всех растерялась мама. Ее сломило сразу.

...Они вышли тогда на вокзале. Матильда споткнулась и чуть не упала.

— Не ушиблась? — спросил Давид. Матильда не ответила и лишь растерянно твердила:

— Это здесь? Здесь?

А на перроне их уже ждали запахи завода. Они пересекли небольшую площадь, обсаженную по-зимнему голыми деревьями. Стоял мрак. Они остановили такси:

— Свезите нас в какую-нибудь гостиницу.

— Лучше поедем ко мне, мы сдаем комнаты.

Мелкий пронизывающий дождь, вихрящийся среди голубоватого дыма. Где конец этому дыму? Он всюду будет с тобой, разве что сменишь родину и тело, разве что тебя освободит смерть. А где же город?

Там вдалеке земляной холм в форме перевернутого чана и цепочка тусклых огней вдоль изгиба ограды. Они вышли из такси, вытащили чемоданы. Шофер сказал:

— Вот только еды у меня нету. Может, пива выпьете?

Но Матильде хотелось, чтобы Давид поел перед сном, и после переговоров хозяин наконец решился:

— Ну ладно, только не шумите, а то мою супружницу разбудите. Я вас в ресторан свезу.

Такси снова покатило куда-то среди кирпичных фасадов. Но на построение города, казалось, пошел не кирпич, а дым, более стойкий, чем камни. На углу улицы, под желтым фонарем, Лоран успел прочесть на вывеске слово «профсоюз». Этот образ он удержал в памяти среди прочих картин черного края... вагонное стекло все в полосках дождя... Издали доносился непрерывный шум, похожий на легкое мурлыканье турбины или вздохи ветра. Он еще не умел тогда определять природу этих звуков в мраке металлургического завода, не знал, откуда они идут. Казалось, ночь никогда не кончится.

Лоран обратился к Клэр:

— Я думал, что все помню, так нет, в памяти есть провалы. Мы приехали до зари, и, однако, я проспал всю эту ночь, так и не увидев рассвета. Что мы делали в этот пропавший для меня день? Не помню, может, я тут же заснул и проснулся только вечером, зимой ведь ночь начинается рано.

...Матильда долго разглядывала комнату, не важно, было это в тот вечер или не в тот. Впервые в жизни она глотнула затхлый воздух гостиницы.

— Я спал на одной постели с отцом. Прижался к нему. Ночь выдалась ледяная, и даже сквозь шторы пробивался багрянец неба...

Матильда хотела закрыть ставни, но ставен не оказалось, были только простые шторы из кретона с наивным узором — огромными красными розами. Эта по-деревенски пестрая ткань отчасти вернула ей душевное равновесие. И Лоран, прежде чем лечь, прижался к амбразуре окна под прикрытием кретоновых роз, стараясь разгадать этот край, который отныне становился их отчизной. Прямоугольник окна выходил прямо в темноту. Одиночество, мертвая зыбь тоски — вот что увековечило в глубинах его памяти ночь приезда. Завод прятался за высоким забором. Из окна видно было только дрожащее северное сияние стали, подвижная и живая плоть, вписанная в небо. Шум поднимался снизу, из бездны, слышалось дребезжание колес по рельсам, свистки, пенье рожка, и, еще не видя титана, Матильда уже отдала ему своего мужа.

Проснулись они словно от толчка. Войско мрака брало штурмом город, черные легионы бились о стены. Вой сирены хлынул на крыши, бушевал в сетке улиц, сотрясал землю. Давид остался лежать в постели. Матильда вскочила, прижала к груди руку. Она вслушивалась в этот крик, в этот призыв к работе, тот же, что звучит, объявляя о стачке, бомбежках, о всех трагедиях войны и труда.

Она подошла к окну. В этот час искры в корчах туманов и дыма вздымались особенно высоко. Небесный свод был осязаемо-алым, и почему-то особенно назойливо выделялись коньки крыш. Фигура Матильды четко вырисовывалась на фоне багрового, медленно подступавшего потока, который месил и гнал пылающую пену вплоть до самого зенита. Даже в комнате их настигал кисловатый вкус газа. Отныне их хлебом насущным становился этот вкус.

— Да, горек их хлеб,— сказал Лоран,— именно горек хлеб тех, кто живет в поселке Портевен-Гийе. Цеха томасовской стали как раз рядом. Тамошние люди с полным правом могут сказать, что конвертеры ревут прямо в их столовой, и это не преувеличение. Ах, Клэр, как же я грустил в ту ночь, но все-таки от нее осталось прекрасное воспоминание. Папа проснулся, взял меня за руку. Пожал ее и проговорил: «Ну как, Лоран, не боишься? Ведь это небо мое, родное». У него уже не было такого растерянного вида, как в Сен-Прива. Здесь, под багрянцем своего родного неба, проступил образ Давида — свободного человека.

XVI

— А твои друзья? — спросила, помолчав, Клэр.— Помогли они тебе полюбить твою новую родину?

— Друзья? Какие друзья?

— Но ведь ходил же ты в школу, когда переехал в Сион?

— Конечно, ходил, они сразу заметили мой южный акцент. Но этим здесь никого не удивишь. К тому же они не подначники. По-моему, им даже нравилось мое произношение.

— А там, в Сен-Прива, у тебя остались товарищи?

— Когда мы оттуда уехали, я учился в предпоследнем классе в со-

седнем кантоне. Учился я хорошо. Но одноклассники сразу улетучились из памяти, буквально на следующий же день.

— Ты их не любил? Или нарочно постарался их забыть?

— Просто перестал о них думать, вот и все. Наверно, на это была своя причина, хотя я полностью осознал ее, пожалуй, только сейчас. Пойми ты, мои одноклассники тоже были не какие-нибудь богачи, но их родители считались более состоятельными, чем мои. Словом, каждый новый год превращался для меня в пытку. Ребята простодушно рассказывали о полученных подарках. А мне папа ничего не мог подарить. Я испытывал, нет, не зависть, а просто жгучий мальчишеский стыд. По этой-то причине и отворачиваешься от родного края и от тех, кто тебе его напоминает.

— Мне кажется, ты просто одинокий по натуре... Даже здесь, Лоран, ты, по-моему, держишься чуточку дикарем.

— Нет, это неверно. Не считай меня каким-то медведем, Клэр! Я всех в Сионе знаю.

— Откровенно говоря, не похоже.

— Но ведь я был в армии, тем временем большинство моих товарищей переженилось, а это в корне все меняет. И потом, в последние годы, если и перепадала свободная минутка, я сидел за книгами.

— Ну, а девушки, Лоран? Должны же быть хорошие девушки в Сионе?

Он расхохотался:

— Вот, значит, куда ты ведешь. Да, их не мало.

— Если так, расскажи мне о своих подружках.

— Боюсь тебя разочаровать, но рассказывать нечего, да и не стоит.

— Тогда расскажи о школьных подругах, с которыми ты познакомился по приезде сюда.

— Первой моей подругой была...

Лоран чуть было не произнес имя Франс-Элизабет, но, сам не зная почему, запнулся и промолчал. А ведь то была обычная детская дружба, но Клэр не поняла бы, как все это далеко ушло в прошлое, даже прогулки в последнюю зиму перед призывом в армию.

...Воскресный день, послеобеденное время. Через улицы Сиона протянулись гирлянды оранжевых лампочек в честь рождественских праздников. За чертой города на последнем отрезке широкой улицы стояли, как на карауле, недостроенные шестиэтажные каменные дома. А еще дальше — строительные площадки и обнесенные решеткой участки, где работали землеройные машины и тракторы. Отсюда дорога уводила к пустырям неопределенного назначения, вроде тех, что лежат позади сортировочной станции и портов,— квадраты, отграниченные друг от друга барьерами и ничем не застроенные. Потом улица углублялась в поля не поля, где местами попадались даже засеянные полоски. Франс и Лоран прошли мимо садика, где кто-то оставил тачку и лопату. Кому пришла в голову мысль взращивать здесь эти четыре кочна красной капусты, да еще не позаботиться вовремя ее срезать, так что она подставила под ледяную крупу свои грубые, разлапистые листья.

Они остановились у покривившейся калитки, но не решились отвязать проволоку, служившую вместо щеколды, как будто загон этот был неприкосновенен. Ветер катил им под ноги комья снега и болтал что-то свое. Слова ветра на снеговом языке; жители северных стран его понимают. То окликнет вас сбоку — и снова мертвая тишина. Или шепнет вам что-то в ухо, что-то, адресованное именно вам, и кажется, чья-то невидимая рука касается плеча, хотя рядом нет ни души.

Дорога поднималась к линии дюн, увенчанных сосняком. Обернувшись, Франс и Лоран могли охватить взором весь фронт завода, идущий вдоль канала. Заводские шумы не долетали сюда. Завод казался лишь

миражем в тумане. Белка перебежала тропинку, вскарабкалась на сосну. Еще долго искали они взглядом маленький комок рыжей шерсти, но белка уже исчезла. На фоне неба верхушка потревоженной сосны раскачивалась, как пальма. Лоран сказал тогда Франс-Элизабет:

— А знаешь, у нас тоже сосны есть. Целые леса.

— Почему ты говоришь «у нас»? У нас — это здесь.

Оба замолчали. Их мысли были тоже дымкой, грезой юности, еще нечеткой, но залитой веселым светом. Франс не желала, чтобы он возвращался на этот неведомый ей Юг.

— Все-таки,— проговорила она,— мне хотелось бы как-нибудь поглядеть на твой край.

Высоко над ними ветер баюкал пальмовые ветви сосны. Они стояли так, устремив взор вверх, к горловине колодца теней, открывавшегося между стволов. Было обычное воскресенье, зимний воскресный день. Ветер шумел в соснах совсем иначе, чем в снегах. Дыхание его напоминало шепот моря, когда августовским вечером волны, блестя под закатным солнцем, набегают на берег. Надолго запомнилось Лорану это мгновение, этот кусок северного неба, отграниченного, как оконный проем, четким рисунком ветвей над их головами.

Но все это не могло интересовать Клэр. Да к тому же было это еще до военной службы.

Он почувствовал на себе вопросительный взгляд Клэр.

— Нет,— сказал он,— ты права. В Сионе я никого не знаю.

XVII

Клэр хотелось узнать, как погиб Давид, она попросила Лорана рассказать ей об его смерти и сумела найти слова, какие не даются дважды в жизни. Но даже в эту минуту Лоран не понял, какую отвагу почерпнула Клэр в своей любви или, напротив, какое смирение. Он слишком упивался своей собственной горечью и именно поэтому не мог допустить, чтобы у них с Клэр все было общее, все пополам, даже воспоминания. И к тому же он не сумел обуздать чувство недоверия и нехорошей гордости:

— Я уже сказал тебе, что отец сгорел десять лет назад. Тогда на «Прозидере» домны были старого типа. Чего же тут еще объяснять?

— Ты сказал, что твой отец нашел там свою могилу.

— Это длинная история... Чтобы ее понять, надо знать завод. А главное, надо знать людей, чтобы понять...

В конце концов Лоран сдался.

— Было это настоящей летней ночью, такой же прекрасной, как сегодняшний вечер. Лучше всего посмотрим на завод сверху — оттуда он виден весь.

Машина достигла гребня. Справа от них подымался вверх к самому небу отвал. Целые заросли белых весенних цветов, похожих на маленькие зонтики, покачивались на длинных хрупких стеблях. Легкий ветерок баюкал ночную мглу и нес с собой запахи буйного луга и какую-то горечь, какой веет от моря. Дома стояли слева от обочины дороги, то будто сбитые в длинные одноэтажные блоки, а то жались по двое. Между домами вились улочки, вернее тропинки, среди кустов ежевики и колосьев. Когда они проходили мимо темневшего зева одной из таких тропок, протянувшихся, как зубья гребенки, к северу, в просвете мелькнул угол завода. Он пылал, не сгорая, у рубежа безмолвных просторов.

Они остановились на площадке, вырытой прямо в песке, и дошли до уступа, топча перезимовавшие травинки, хрустевшие под ногой. Прямо перед ними каким-то фосфоресцирующим светом горела даль. Свет

этот исходил не от цепочки фонарей, подчеркивавшей изгиб местности, не от неба, не от самого гиганта, притаившегося там внизу,— он шел ото всего разом, этот потусторонний свет, который разливают вокруг себя жаркими летними ночами металлургические гиганты.

— Вот, если бы мы попали сюда дождливой или туманной ночью...— проговорил Лоран.— Когда идет плавка, тень от конструкций встает над долиной, как черные огромные кресты.

Завод открывал себя созвездиям. Распростертый, вздыхающий, стонущий, делящий мир пальцами своих доменных печей. На старинных астрономических картах богини, воины и животные изображались вперемежку с небесными телами. Сталелитейный комбинат тоже был созвездием, отграниченным отчетливо видной цепочкой фонарей, трепетными, разноцветными огоньками семафоров,— он сливал свои отличительные знаки с вехами вселенной.

Лоран сказал еще:

— Жаль, что ты не можешь посмотреть цеха. Тот, кто их не видел, не знает, что такое человеческое существование.

Они спустились через пустыри, подступавшие к стенам «Прозидера». Отважно бросились навстречу мраку, погрузились в него. Хрусталь, ломкая дымка, ночь, сочетающая воедино сталь и поля. Сера и железо, улетучиваясь тоннами, примешивались к дыханию лугов, сплетали над их головой балдахин, сотканный из магических огней, и небо в полумраке северного лета ослепляло, как чудо. Бальзам, яд, тяжелый смрад, текущий по воздушным потокам, а неподалеку в садике тополь гордо бросал вызов мертвящей стали — печальный владыка сумерек, воскуряющий ладан. Он боролся против завода — мед против металла.

— Я не могу провести тебя внутрь, но здесь рядом с цехом томасовской стали есть ворота.

Над хитросплетением рельсов Клэр увидела прямоугольник черных строений, весь в проемах багровых окон. И невольно подумала, как могут там дышать живые. Ведь людям нет места в этой цитадели, до краев заполненной огнем, в этом красном аквариуме, дышащем лавой, которая вот-вот хлынет, снесет все перегородки волной пылающей стали.

Раздался звук рожка. Призывно ударил гонг. Потом мрак и пламя заколебались под дыханием урагана, сопровождаемого бешеной симфонией хриплого свиста и бульканья.

— Нагнетают кислород в конвертер, пока груша поворачивается. Это реторта расплавленного металла, а внутри триста трубок. Взгляни на пламя.

Двенадцать тысяч кубических метров воздуха, разрубающих в груше медузу плавки. Сноп искр взлетел над крышей, и пар распустился багровым грибом.

— А сколько их там? — спросила Клэр.

— У конвертера? Пятеро или шестеро. А всего в цехах пять или шесть тысяч человек.

Они прошли вдоль стены и остановились у входа «С», неподалеку от Транзитных ворот. Потолок из матового стекла, керамические изразцы, эмалевая краска стен. На циферблате электрических часов равномерно кружилась стрелка и выскакивали секунды. И табельные номерки висели в ряд алюминиевыми медалями на досках, в рамке из светлого дерева. Пятнадцать рядов на каждой доске, двадцать номерков в каждом ряду. Здесь было четыре таких доски — тысяча двести человек, проходящих только через один вход «С». На стенах черной краской выведены номера серий, по триста в каждой. География всего завода была налицо, география установок, операций, профессий. И заработной платы и бед.

Через вестибюль прошел вахтер. Он был одет в синюю форму, как жандарм на картинке, с его лакированного пояса свисала связка ключей. Он даже не взглянул на парочку, стоявшую по ту сторону двери, и удалился, машинально удостоверившись, все ли номерки тут.

— Это ничем не примечательное место,— сказал Лоран,— но для меня оно самое отвратительное. Глядя на ряды этих номерков, почему-то вспоминаешь колумбарий или, еще хуже, страховую компанию, банк. Идеально вылощенная тюрьма. Я, конечно, понимаю, что номера и бирки, очевидно, нужны. У отца был номер 505 328.

— А он здесь входил?

— Нет. У барьера, где ты меня ждала. Уже в те времена папаша Карнен сидел в проходной.

Они поднялись по улице, идущей уступами, как лестница, и с низеньких заборчиков навстречу им мерцали кошачьи глаза. Когда они направлялись к площади, Клэр увидела, как из какого-то закоулка вынырнул араб и двинулся им навстречу. Она инстинктивно прижалась к Лорану. Арабу не было и тридцати. Ради воскресного дня он принарядился и держал в руке веточку сирени.

— Привет, влюбленные! — крикнул он.

— Добрый вечер,— ответил Лоран.

— Здорово! Сегодня хорошая погода,— подхватил араб.— Только, вот увидишь, недолго она продержится.

Бросив это пророчество, он торопливо зашагал прочь и даже не оглянулся. В руке он по-прежнему держал веточку сирени и на ходу поднес ее к губам.

XVIII

Прошла еще неделя, иссеченная ливнями и ветром. В субботу вечером Клэр приехала в Сион за Лораном. Они пообедали во «Фландрском тракте», гостинице, где останавливались проезжие по автостраде, в предместье Стердаль. Лавровые деревья в саду и беседка на открытом воздухе, вся завитая плющом, приводили на память сельские харчевни. Но окна номеров на обоих этажах задней части здания выходили на заводскую равнину. В Сионе не было более шикарной гостиницы. И когда Клэр дала согласие приехать сюда, она знала об этом.

В их номере было два окна. Правое выходило на пустырь, где бежали рельсы, а еще ниже лежала серая и в то же время какая-то ржавая улица. Ветер кричал что-то, что-то бормотал, среди туч временами проглядывала луна, потом вихрь с новой силой обрушивался на оконные стекла. Слева был виден Рудничный вокзал. И среди пыльных переплетов светилось лишь одно окошко. Впрочем, это был обычный пассажирский вокзал, но сейчас не видно было одуревших от бессонницы толп, которые оправдывали бы его назначение.

Дождь барабанил по крыше, но Клэр с Лораном не чувствовали себя оторванными от этой бурной ночи. Она сопутствовала им, уносила вдаль. До них долетало эхо шагов и призывный крик паровозов. И все эти незримые спутники были как сеть линий, прочерчивавших их судьбу.

«Почему меня потянуло к этому мальчику? Получится ли что-нибудь у нас?» Клэр уже не нужно было задавать себе такие вопросы. Ярко блестел циферблат часов на Рудничном вокзале. Лоран лежал рядом с Клэр. Сейчас, в эту минуту, он походил бы на мертвеца, если бы его запрокинутое лицо не дышало такой добротой, и силой, и свежестью. Клэр склонилась над прекрасным лбом, обрамленным пепельными кудрями, и шепнула:

— Открой глаза. Докажи мне, что ты живой — по-настоящему живой.

Он пробормотал:

— Ты боишься мертвых?

— Не мертвых, а смерти.

— О смерти не стоит говорить. Вселенная легка, легка, а смерть других — что-то такое далекое.

По улице проходили люди, группками, по трое. При каждом их шаге громко хлюпала вода. Шли они молча, тишину нарушало лишь журчание дождевых струй. Свистнул локомотив. Где-то послышалась пулеметная очередь пневматического молота, тяжелое дыхание огня служило основой всем этим разрозненным звукам. Ливень тоже добавлял к ним свое бормотание, водосточные желоба отсчитывали дождевые капли, шлепавшие на железную вывеску. Какой-то приезжий вошел в гостиницу, хлопнул дверью, ведущей в коридор.

Лежа рядом, они слушали, не шевелясь, песнь ливня. Она спросила:

— Тебе не холодно? — И рассмеялась, услышав его ответ, в котором прозвучал вызов:

— Мне никогда не бывает холодно. Я не зябкий!

— Значит, Лоран, ты не способен признаться ни в одной слабости? Почему? Не любишь, чтобы тебя утешали?

Он обратил взгляд к окну. Сион спал, но ненастные огни заводов пылали между небом и землей. Заводы были стражами земли и возносили во мраке свою жалобу. Человек был чужим у этого багрового литья, не похожего ни на что, чем люди украсили землю. Не город, не цитадель, не сельский пейзаж — скорее, лишь место, где теснятся неотвязные мысли, где тщетно взывают о чем-то.

— Надо быть готовым, Клэр, всю жизнь...

— К чему готовым?

— Готовым выбрать самое главное и потому не думать о мелочах.

— А что ты называешь мелочами?

— Холод, жару, погоду, все, что занимает и волнует маму. Родимый край, воспоминания детства.

— Ты не любишь свой родной край.

— Не люблю.

Он подумал и сказал:

— Люблю. Только не хочу о нем думать.

Гудок мотовоза, который вез ковши с чугуном. Там погиб его отец, но кто об этом знал в толпе чужестранцев, проходящих через завод-гигант?

— Вот я и стараюсь оградить себя от всего этого, это только вред приносит. Потому-то я и очерняю людей из Сен-Прива, хотя они вовсе не такие, просто я не смею отречься от памяти отца. Но иной раз мне так хочется вместе с мамой расчувствоваться. А нельзя. Мы вроде бы заключили пари и должны его выиграть. Но тамошняя весна, Клэр! Ах, какие там весны, я был тогда еще мальчишкой... Особенно часто мне вспоминаются запахи. Если ты не видала тамошних летних рассветов, ты даже не знаешь, до чего же может быть чистым утро. Виноградники уже на исходе ночи, луга, покрытые росой, мятой, которую ты топчешь на ходу, изгороди из бересклета. Представляешь?

— Нет,— ответила Клэр,— я всю жизнь провела в городе.

И тут, после минутного колебания, повинуясь неожиданному повороту мысли, она проговорила:

— Ты лучше меня.

Он порывисто заключил ее в объятия:

— До чего же ты таинственная, Клэр. Я часто думаю, что ты делала, что ты видела, когда мы еще не знали друг друга. Я ревную ко всему.

— Что я могу сказать, Лоран? В Лимбурге таких девушек, как

я,— добрых полтысячи. Расскажи лучше о Сен-Прива. И о твоих лугах и твоих виноградниках.

— Разве запах расскажешь! Это как тайна, которую не выразить. Думаешь, можно передать запахи, разлитые вокруг заводов?

Запах. Все, что он означает. Он знак того, что люди намертво прикованы здесь, подобно тому как запах метро предшествует подземным толпам.

— Вовсе я не лучше тебя. Я ничего не выбирал, даже завода не выбирал. Когда я пришел в цех после смерти отца, я, помню, озирался по сторонам, в голове шумело от грохота, и я боялся. Ко всему: к станкам, к стали — я чувствовал ненависть и страх. Только не хотел этого показывать. И если я остался на заводе, то ведь надо же было зарабатывать на жизнь. Верность пришла потом... Но что такое верность?

Он прислушивался к чему-то в себе — так старики, услышав имя давно усопшего, уходят в свои воспоминания.

— Верность — боюсь, я не сумею объяснить, что я под этим подразумеваю. Это не только воспоминания о смерти отца, даже не сама эта ужасная смерть. И до меня тоже были сироты. Знаю только, что человек может однажды уйти из дома в туман, и тело его исчезнет, а ведь его ждет столько повседневных дел. Не знаю, имеет ли все это хоть какой-то смысл. Но мне не хватает какого-то звена, и я должен узнать какого.

По небу, раскинутому над городом и набухшему влагой, пробегали судороги, длинные волны. Между тучами змеились фиолетовые реки. В воздухе — дыхание кузнечных цехов, одышка неспокойных сумерек, смесь тумана и дождя растворяла огни и ядовитые испарения, искры и грязь.

— Должен узнать. Есть мертвецы, которых нельзя примирить. И пока это будет так, люди будут разобщены. Не знаю, поймешь ли ты меня, но человек, которого убили как собаку, продолжает взывать к нам, его гибель несравнима с участью тех, кто принял славную кончину! Мой дед считал моего отца трусом.

Два часа ночи. Час откровений и агоний, когда тело освобождается от уз, когда в нескованном мозгу теснятся признания и открываются тайны любви и преступлений.

— Слушай, Клэр...

Они походили не на двух влюбленных в полумраке гостиничного номера, а на двух свидетелей извечных истин. Вот эту-то ночь и выбрал Лоран, чтобы рассказать Клэр, как погиб его отец.

КНИГА ВТОРАЯ

I

Сыну Давида Ксавьери предстояло сдернуть завесу с сокрытой от глаз странички истории, которая нередко прячется за десятью газетными строчками. Человек в элеваторе, человек в чане с кислотой, человек в ковше расплавленной стали. Всего десять строк — и толпа так и не узнает, что́ стоит за этими десятью строчками, пока мы наконец не найдем единственно нужных слов, дабы сложить скорбную песнь в память наших товарищей. Заводы расположены где-то на отшибе, и так хочется каждому радости, что мы не желаем омрачать краткий миг торжествующей жизни мыслями об отрезанных руках, выбитых глазах, искалеченных ногах. Быть может, оно и к лучшему, что между индустрией и нами воздвигнута глухая стена, скры-

вающая от нас раздробленные кости и лужи крови, не пропускающая воплей женщины, оскальпированной машиной.

А тем, кто проводит свою жизнь в недрах завода, тем, кто мог бы стать свидетелями, редко удается возвысить свой голос, чтобы его услышали другие. Почему? Уж не ветер ли, гуляющий по равнине, уносит их слова? И, однако, это ведь мы умираем, когда вдруг во всю ширь распахиваются стальные ворота и раздаются крики, когда ветер подхватывает слова бегущих людей, повсюду возникают лица, кто-то о чем-то спрашивает, и с одного конца завода на другой звонят телефоны.

Смерть на «Прозидере» носит обличье мятежа. Было семь часов, когда Давид упал в свою огненную усыпальницу. Солнце еще не собиралось закатываться. Было летнее солнцестояние, двадцать первое июня. Никогда еще над этим черным городом и железным заводом не расцветало такого блистательного лета. Абрисы цехов четко выделялись на фоне неба, на шлаке боковых аллей была ясно видна каждая травинка, изъеденная ржавчиной. Давид ушел от нас в конце раскаленного зноем дня, подобно моряку, чей гроб поглощает, как склеп, траурное зеркало вод в час заката, охватывающего своим заревом полнеба.

Главный инженер доменного цеха сидел у себя в кабинете без пиджака. Громко жужжал вентилятор, но начальник все-таки не снял темного галстука, тщательно повязанного под накрахмаленным воротничком. Он потянулся за пиджаком, когда в кабинет, не постучавшись, вошел Раймон Ольберг.

— В чем дело, а?

Голос прозвучал начальственно-сурово. Инженер не мог предвидеть драмы, и нижняя часть его застывшего, как маска, лица выражала высокомерное раздражение.

— Давид погиб.

— Давид Ксавьери?

— Упал в горловину.

В этот короткий страшный миг Раймону Ольбергу почудилось, будто главный инженер позволил себе усмехнуться, и удивительно, как это он, Раймон, не уложил его на месте. Тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове обоих. Сначала инженер сделал насмешливую, потом недоверчивую мину. Он был из молодых; рабочие дружно его ненавидели, и начальство непременно турнет его вон, но будет уже поздно. С каждой секундой лицо его менялось у Ольберга на глазах: на смену недоверию пришел панический ужас. Наконец, взвесив долю своей личной ответственности в этом неприятном инциденте, он стал таким, как всегда. Однако не нашелся, что сказать.

«Коровий зад!» Ольберг почувствовал, как с губ его готово сорваться это грубое ругательство, как оно стучится в грудь. Но он тоже не открыл рта. Не решился взглянуть в глаза инженеру. Из-за этого проклятого труса докладным запискам мастера не давалось ходу, хотя сплошь и рядом шихта застревала при загрузке домны. Это из-за него не поставили наверху ограждений, и Давид горел сейчас в колошнике.

Но в этот миг света и траура инженер уже стал ничем. Трагедия обошла его стороной, она неслась сама по себе, как вырвавшийся из берегов поток. Приказы, распоряжения, разноцветные лампочки на щитке внутреннего телефона, звонки, топот в коридорах, хлопание дверей, обрывки фраз: «скорую помощь», «полицию», «прокурора»,— больница, откуда бьет запах эфира, носилки, которые не́ пригодятся, руки, судорожно сжимающие каску, пакеты на столе — господи, зачем, зачем? Грохот кранов и отдаленный шум поезда, свистки в цехе томасовской стали. А в проходной, как и каждый вечер, ворковали голуби папаши Карнена.

Потом над черным городом, где под лучами солнца блестела, словно

золотая россыпь, пыль, завыла сирена. Трижды она возгласила: «Давид погиб!» Страшная весть обежала все цеха: от коксовых установок до электростанции, от доменных печей до сталелитейного, от конвейера агломерата до прокатного, от кузнечных цехов до гаражей и дальше — до сортировочной станции, реки и канала. По ее зову люди бросали работу.

Они стояли неподвижно, и завод-гигант, неизмеримо превосходящий людей своими размерами, был без них ничто. Они молчали, молчали четырнадцать тысяч, молчали люди, чья профессия — лишь звук пустой для тех, кто живет далеко от родины стали. Поливальщики разливочных канав, уборщики шлака, податчики гудрона, кто вы такие под этим небом, исполосованным воем сирен? Котлочисты, приборометристы, бойлерщики, сортировщики, молотобойцы, прессовщики, трамбовщики, жестянщики, миксеровые — вас на «Прозидере» семьсот тридцать пять профессий. Подсобные рабочие, рабочие на вагранках, разливщики стали в изложницы, доменщики и горновые тридцати одной специальности, сталевары томасовского цеха двадцати шести профессий, рабочие электроплавильных печей шестнадцати видов, литейщики тридцати трех профилей, прокатчики на ста девяти операциях. Давид погиб! Давид погиб!

II

Было это десять лет назад. Сейчас юноша разве что чуть постарше Лорана вычерчивает доменные печи, где шихта сама бежит по наклонному транспортеру, начиная от цеха агломерации до брюха чудовища. Там, наверху никто больше не стоит. Руда не нуждается в помощи человеческих рук, чтобы спуститься в отсеки стального корабля, в чрево домны. Однако еще и сейчас люди сгорают заживо, как будто великие деяния не могут обойтись без му́ки, как будто автоматическое управление, запрограммированное электронно-вычислительными машинами, требует хотя бы струйки человеческой крови, дабы вершить свое колдовство. А друзья погибшего, люди «Прозидера», все так же шагают по прежним дорогам.

Пытка длится вечно, и каждый вечер Давид погибает вновь. Профсоюз находился все в том же помещении, что и теперь. Десять лет назад перед ночной сменой семь, а может, и восемь товарищей остановились на дороге, ведущей к заводу, и вошли в Клуб. Так они именовали кафе, где происходили заседания профсоюза, на Складской улице, у самой кромки города. Некогда это была старая лавчонка, прилепившаяся к подступам «Прозидера» и носившая название «Приют литейщика». До сих пор можно еще разглядеть эту надпись, выведенную белым на коричневой деревянной доске, что прибита над стеклянной дверью. Однако чужие являлись сюда лишь по приглашению кого-нибудь из местных товарищей. Зал упирался в бетонную стену, ограживавшую шихтовый двор, а садик длиной в три шага отделял кафе от улицы. Чуть подальше шоссе перерезали железнодорожные пути, уходившие за ограду завода. И сразу за ними улица упиралась в поля, становилась просто тропинкой, обсаженной тополями, терялась среди колючего кустарника. Завод оттеснил профсоюзную деятельность к самым болотам. А зимними вечерами, когда шквальный ветер барабанил в стекла, профсоюзные собрания напоминали тайное сборище рыбаков на терпящем бедствие судне. Но тогда ярко светило солнце. Знойный день клонился к закату. Вдоль всей Складской улицы тощие платаны пылали под солнцем, как факелы. Товарищи входили один за другим, с опухшими от сна глазами. Гибель Давида подняла их с постели на час раньше обычного. Жоао Агудар и Антон Одзак пришли первыми. Потом явился Анри Бакома́,

сенегалец по прозвищу Ритон. За ним Шабо, Фрозолоне, Шницлер. Заглянул еще кое-кто, собравшиеся выпили у стойки, обменялись несколькими словами с группой товарищей, сидевших вокруг мраморных столиков, на которые падали обалдевшие от жары мухи.

— Что это за разговоры о слитке? — спросил Агудар.— Я слышал, что семье выдадут кусок металла!

Жоао — португалец двадцати шести лет от роду — работал загрузчиком в цехе томасовской стали. А двумя годами раньше он был каменщиком, парикмахером и музыкантом в своей родной горной деревеньке в двух тысячах километрах от «Прозидера». Стоимость груши конвертера, при котором он состоял, была столь высока, что он не смог бы заработать и за десять тысяч лет такую сумму, хотя у себя в провинции, где все — и земля и дома — сплошной ракушечник, он владел целыми тремя профессиями. Никогда он не подумал бы, что установка конвертера обходится дороже постройки корабля, если бы Мазера не объяснил ему это — и еще многое другое, столь же непонятное и странное.

— Вот видишь, Жоао, твой Салазар тебя ничему не научил,— сказал Бакома.— Я тебе все растолкую, я, негр, чернокожий.

По своим знаниям Бакома был в сотни раз белее, чем остальные товарищи. Три поколения его родных принадлежали стране, где все люди одного цвета, и был он П-3, оператором в сталелитейном цехе, выполнял работу, требующую высокой квалификации. Даже говорил он, растягивая слова на манер уроженца Севера.

— Сейчас я тебе все объясню, Жоао. Если ты когда-нибудь свалишься в твой конвертер, бросая туда присадку, твоей жене пошлют кусок стали, чтобы она могла поставить его на свой ночной столик. Так принято у нас, в цивилизованных странах.

— Бакома,— перебил его Шницлер,— ты проповедуешь расизм, только наизнанку. Ну, что, по-твоему, может ответить тебе Жоао?

— Да я это просто так, шутки ради,— отозвался Бакома.— Ведь и он не прочь пошутить. А помнишь, как ты рассказывал историю про негров, она мне смешной не показалась.

— Рассказывал, но не в день же смерти Давида.

Они замолчали. Значит, и впрямь смерть вторглась даже в их беззлобную товарищескую перепалку. Смерть диктовала дружбе новые обязанности.

Кто-то произнес:

— Жаль, что вместо него не свалился в домну главный инженер цеха. Вот уж подлинно «коровий зад». Это его вина! Это он убил Давида.

В соседнем доме заплакал ребенок. О случившемся известили Мазера — делегата от рабочих доменного цеха, и Эскулена, секретаря профсоюза «Прозидера». Они решили, если понадобится, устроить стачку и категорически потребовать, чтобы тело было извлечено из доменной печи. Бакома вертел пустую кружку из-под пива, где на донышке осел кружок пены. Молоденький Жоао исподлобья поглядывал на своего старшего чернолицего брата. Их разделяло тридцать лет, тридцать лет жизни, больше того — завода.

Рюитц, директор, посетил Матильду в девять часов. Он пришел с женой, которая была третьей дочерью учителя, расстрелянного во время войны. Все в Сионе ее знали.

Матильда не плакала. Она еще не понимала, что Давид мертв. Она встретила того, кто был начальником ее мужа, удивляясь в простоте душевной, что глава четырнадцати тысяч рабочих побеспокоил себя из-за кончины одного человека. Она не знала, что в Сионе удивились бы, если бы он не пришел.

Рюитц мялся, подыскивая слова, а сам невольно обшаривал взглядом комнату. Ни на комоде, ни на столе не было ни одной фотографии. Матильда угадала его немой вопрос:

— У меня даже карточки его нет. Трудно нам приходилось. Мы ведь только недавно здесь устроились.

Директор нахмурился. Как приступить к делу? Госпожа Рюитц, не поднимая глаз, гладила Лорана по волосам. Она была не молодая, тоже уже не молодая. В свое время она, должно быть, была красивой, но одевалась она скромно, и на ее лице лежал отпечаток волнений и забот, которые она двадцать лет делила вместе с мужем.

В эту минуту вошел Кюври, железнодорожник. Просто заглянул посвойски. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, не спуская взгляда с господина Рюитца, как бы сравнивая его с инженерами-путейцами, своими начальниками. И решил, что этот ничуть на них не похож. Ни один путеец не обеспокоил бы своей драгоценной персоны ради смерти Кюври. Молчание становилось тягостным. Тогда господин Рюитц решился:

— Я хотел бы поговорить с вами о похоронах.

Матильда словно очнулась ото сна и пробормотала что-то невнятное. Какие похороны? Ах да, Давид...

— Так вот... Я не уверен, что нам удастся извлечь тело. Мы, конечно, попробуем. Но если не выйдет...

Кюври уже не переминался с ноги на ногу. Он прислонился к буфету.

— Если, повторяю, не выйдет, то... Мы выдадим вам слиток... В таких случаях, как вы знаете, это принято...

Матильда жила слишком недолго в Сионе и не слыхала, что по традиции семье покойного вручают слиток в том случае, если тело металлурга осталось в кипящем металле. И все-таки эти слова будто пробудили в ней какую-то мысль. Дядя госпожи Триэ — а может, ее дед? — сгорел в расплавленном металле. Упал в горячий шлак лет пять-шесть назад. Священник приходил и читал заупокойные молитвы перед ковшом. Во время войны один алжирец исчез, а работал он на электрокаре. Но все это было словно на другой планете. Вот только разрешено ли хоронить слитки? Всей нелепости ситуации она не уловила.

— Как вам будет угодно...

Кюври невозмутимо слушал их разговор. Все, что касалось смерти, не казалось ему странным. Образ слитка был вне этой комнаты — призма черного чугуна на квадратном основании, с закругленными боками и тремя буквами «ПРО». Миллионы чушек ежегодно выходили из домны, шероховатые, неприметные, все одна в одну.

Штокрозы в садике. Временами зловонье завода. Закатный свет. На веревке над грядками развешенное после стирки белье. Как и всякое только что выстиранное в поселке белье, оно уже приобрело сероватый оттенок. Приходилось сильно его подкрахмаливать, чтобы оно имело хоть какой-то вид. Вскоре Матильда вывесит на веревке черную одежду. Как-то она заметила в другом поселке, где жили четыре сиротки с матерью, траурные вещи, висевшие перед домом, куда никогда не вернется отец.

Директор ушел. На окнах поселка не дрогнула ни одна занавеска.

III

Надо научиться драться, как бы тебя ни тянуло отвернуться от мира и оплакивать смерть человека. Матильда растерялась перед сложностью законов, хотя законы эти как будто ее защищали. Она не могла даже представить себе, какой грудой бумаг, какой паутиной формальностей

оборачивается смерть на производстве. Баго, секретарь федерации жертв производства, явился в поселок вслед за господином Рюитцем. Был он высокий, седоусый, изглоданный непрерывным пятидесятидвухлетним трудом на заводе. В тринадцать лет он уже работал на вагонетке в доменном цеху, который впоследствии влился в «Прозидер-II». Говорил он медленно, стараясь щадить семьи погибших, так как каждый раз ему приходилось цитировать по памяти десятки статей и пунктов.

«Параграф 55. Пенсия выплачивается нижеупомянутым лицам после кончины на следующих условиях:

а) пожизненное пособие выплачивается оставшемуся в живых супругу в размере тридцати процентов годового заработка погибшего...

б) дети, законные или внебрачные, узаконенные до несчастного случая, сироты, оставшиеся после отца или матери, в возрасте до шестнадцати лет получают пособие, исчисляемое из годового заработка погибшего, из расчета пятнадцать процентов, при наличии одного ребенка.

...вышеуказанное пособие назначается единовременно согласно перечисленным параграфам, и общая сумма его сокращается по мере достижения детьми шестнадцати лет...»

Десятки раз давал он все одни и те же объяснения в своем маленьком кабинетике на улице Редутов, где плавал запах смолы и картона. Ради Матильды он покинул свой кабинет. Он принес ей три странички с пунктами кодекса, напечатанными на папиросной бумаге.

Матильда предложила Баго чашечку кофе. Баго сел, предварительно повернув стул боком, чтобы удобнее было протянуть деревяшку, заменявшую ему ногу. Потеряв ногу, он стал на «Прозидере» кладовщиком. Вот уже тридцать лет он занимался несчастными случаями на производстве в масштабах департамента, а после выхода на пенсию целиком посвятил себя заботам об инвалидах труда. В его архивах хранилось шесть тысяч дел.

— Так вот, госпожа Ксавьери. Компенсация в случае естественной смерти не выдается. Закон предусматривает лишь несчастные случаи на производстве. Вы же имеете право на пенсию. Тридцать процентов из последней заработной платы Давида — для вас, и еще пятнадцать — на ребенка. Другими словами, вы будете получать приблизительно половину его жалованья, так как заработок Давида не достигал уровня, подлежащего обложению налогами.

Баго мял в пальцах сигарету, боясь встретиться взглядом с Матильдой в ту минуту, когда ей будет нанесен еще один удар.

— Пенсию получать немедленно вы не будете. Но то, что он недополучил, вам выдадут полностью. Пенсию придется подождать.

Ждать! Матильда вышла из своего оцепенения. Наконец-то она поняла, что кровь не оплачивается немедленно.

— А сколько ждать?

— Э... э... ну, месяца три...

Баго поднял голову в приливе отваги, помешавшей ему солгать.

— Скажем, пять или шесть.

— Но у меня же нет денег.

Услышав возглас вдовы, Баго снова потупился. Ни Давид, ни Матильда еще и на свет не родились, когда он уже вел борьбу против бесчеловечных законов. А сейчас Матильда обвиняла Баго, и его отрезанная поездом, словно куриное крылышко, нога заныла, и это после десяти тысяч дней, десяти тысяч ночей... Но он и не думал защищаться. Никому другому, кроме Баго, Матильда не могла выплакать свое горе. Она поднесла сцепленные пальцы ко лбу:

— Лоран учится в школе. Давид мне всегда говорил: «На пенсию выходят в шестьдесят пять лет, не знаю, дотяну ли я до этого возраста, но я не желаю, чтобы Лоран стал чернорабочим...»

— Выслушайте меня, мадам Ксавьери. Клянусь вам, не будет Лоран чернорабочим... Выслушайте меня, да не плачьте вы... Мы вас не оставим, нас здесь четырнадцать тысяч, и мы немедленно что-нибудь предпримем... Товарищи пошли к директору.

Он ушел, притопывая своей деревяшкой. На пороге он обернулся и поглядел на Лорана, который пятьдесят лет назад был бы уже приставлен к вагонетке.

Делегаты профессионального союза ждали господина Рюитца у входа в директорский особняк. Мазера походил на старого испанского крестьянина — иссеченное морщинами лицо, крупный нос, тяжелые веки. Из ноздрей, из ушей лезли пучки седых волос. Эскулен был низенький, сутулый. Цвет лица желтоватый, как у человека с больной печенью, щеки впалые, но, несмотря на сутулые плечи и худобу, он производил впечатление редкостной выносливости. Ему мучительно хотелось курить, но он боролся с искушением. Сейчас ведь имеет значение каждый жест... Оба делегата не пожелали подняться на крыльцо. Поэтому они прохаживались взад и вперед под липами, не удостаивая взглядом ни калитку, ни входную дверь. Господин Рюитц молча кивнул им и посторонился, пропуская внутрь. Все трое вошли в кабинет и уселись.

— Я вас слушаю.

— Господин Рюитц, мы пришли поговорить о слитке. Или, вернее, поговорить о теле погибшего. От инженера мы узнали о предложении дирекции. Мы не согласны удовольствоваться слитком. Тело пока что невредимо.

— Да,— подтвердил господин Рюитц,— именно пока что. Но оно сгорит, когда дадут дутье, и останки уйдут вместе с чугуном. Иначе поступить я не могу.

— А вы ничего и не пытались сделать, господин Рюитц. Послушайте, работа стояла всего пятнадцать минут. Это не забастовка. Но если вы ничего не предпримете, чтобы достать тело, начнется настоящая стачка.

— Я жду прокурора. Ничто не может решиться без согласия закона. Пока что мы заслушаем свидетелей и составим общее представление о случившемся.

— Тут есть и второй вопрос,— сказал Эскулен.— Надеемся, что к стачке прибегать не придется, но я хочу сообщить вам, что товарищи предлагают удержать их часовую оплату и всю эту сумму вручить вдове и сыну погибшего.

— От души вам признателен,— ответил господин Рюитц.— Но я не имею права провести это удержание.

Директор поглядел на обоих делегатов, сначала на одного, потом на другого.

— Я понимаю ваш порыв. Но я вынужден ответить так, как ответил. Во всяком случае сейчас.

Из окон кабинета он следил за своей женой, которая прогуливалась по аллее вдоль решетки. Ему хотелось сказать ей, чтобы она взяла машину и ехала домой. Он протянул пачку сигарет Эскулену:

— Прошу.

И сам тоже закурил. Раздался телефонный звонок. Но директор не снял трубки.

— Я знаю, о чем вы думаете. Вы упрекаете меня за то, что я хочу покрыть инженера доменного цеха. Но и об этом сейчас не время спорить. Произошел несчастный случай, который, который...— он не мог подыскать нужного слова,— который не должен был произойти.

— Недопустимый случай,— уточнил Мазера.

— Так или иначе, будет произведено расследование, даже два —

прокурорское и наше. Неужели вы считаете, что я хочу уклониться от ответственности?

Мазера ответил не сразу:

— Мы здесь не для того, чтобы судить, почему вы поступаете так, а не иначе.

— Есть еще одно обстоятельство, по поводу которого должна быть полная ясность,— заметил господин Рюитц.— Я не хочу, чтобы этот случай повлек за собою проявление неприязни к кому бы то ни было. Все равно это бесцельно. Я отказался от удержания вашей часовой оплаты, потому что не могу на это пойти. Но заработок Давида до конца года будет полностью выплачен его семье. Тем временем установят пенсию.

— При низком окладе пенсия не бог весть что. Они ведь еще не расплатились за жилье.

— Посмотрим, что можно будет сделать для мальчика.

У порога кабинета Рюитц протянул руку Эскулену.

— До свидания, господин директор.

Мазера тоже пожал ему руку. В кабинете было темно. Только на оконных стеклах еще медлили отблески заката. Мазера посмотрел прямо в глаза директору и понизил голос:

— Жорж... В свое время — пусть и давно — мы с тобой работали на электростанции и были на «ты». Так почему же твой инженер не сделал ограждения на домне?

Сумрак поглотил лица людей. Однако Мозера почудилось, что губы Рюитца шевельнулись, будто он хотел что-то сказать. Но уже давно это лицо, на которое сейчас не отрываясь смотрел Мазера, не выдавало ничего. Жорж Рюитц поднялся слишком высоко и стоял почти вровень с господином Ворсфельдом. Он уже потерял право обвинять кого-либо, не соблюдая формальностей, даже если бы убило его родного брата.

IV

В пору самых длинных дней в году наступает невыносимо грустная минута, когда солнце исчезает за краем заводской равнины. Но мало кто остановится посмотреть на закат, зовется ли провинция Фландрией или Лотарингией, Эно или Вестфалией, происходит ли дело в Руре или в далеком Ганновере. Уже поздно, и улицы, зажатые между палисадниками и стенами домов, пустынны. Тем, кто работает в ночной смене, найдется более полезное занятие, чем глазеть на пурпуровый диск, который словно бы разбухает в облаках пыли, висящей в воздухе. Уходя за отвалы, солнце уже не бросает лучей и горит трепетным светом, как отражение на воде, пока не скроется из глаз, и тогда вокруг начинают плясать расплывчатые тени. Потом оно умирает. И во внезапно наступивших сереньких сумерках крысы начинают водить хороводы в канавах и на строительных площадках.

Когда явился прокурор, солнечный свет еще не окончательно угас. Холодный ветер окрашивал небо в зеленоватые тона, на заводских аллеях зажглись фонари. Прокурору — плотному, в черной шляпе на седеющих волосах — было под пятьдесят. Лицо важное, полное, твердое, как из слоновой кости вырезанное; такие лица бывают у службистов-офицеров, почему-то не представленных к следующему чину, или у директоров лицея, застрявших в забытом богом городке, у тысячи других, которых обошла судьба и которые носят в душе незаживающую рану. Вылезая из машины, он продолжал беседовать с молодым человеком в габардине. Леон Карнен услышал отрывок их разговора.

— Нам, очевидно, придется сидеть тут допоздна,— сказал прокурор.— Как, по-вашему, удастся нам поужинать?

— Разве что в их столовке...— отозвался его спутник.— Хотя столовки, должно быть, закрыты. Есть также несколько ресторанов, где холостые рабочие ужинают после смены.

Прокурор задумался:

— Значит, не поедим. Волей-неволей нам пришлось бы слушать, что говорят люди об этом несчастном случае. Хотя наше присутствие всех бы стеснило...

Он вскинул голову, вбирая взглядом металлические башни, эшафоты и виселицы стальных конструкций.

— ...Воображаю, какие идут дискуссии. Ох,— вздохнул он,— никак я не могу обжиться в этом краю. Не для меня он. Но, откровенно говоря, он вообще не для людей. Я вам как-нибудь покажу в альбоме лес в Магеллановом проливе на острове Отчаяния. Лес после урагана, деревья сломаны, сожжены, одни скелеты деревьев. Я всякий раз о нем вспоминаю, глядя на эти трубы. Конечно, и в моем краю не рай, кругом один ракушечник, целое море камней, зрелище не самое веселое на свете. Зато там уйма света, чего мне здесь определенно не хватает... А где же эта самая домна?

Гертинг, главный инженер доменного цеха, ждал гостей из прокуратуры у Центральных ворот. Он еще издали уважительно поклонился, приветствуя правосудие. Прокурор прислушался: ему показалось, будто из домика дядюшки Карнена доносится гулькание.

— Неужели голуби?

И заметил, обращаясь к своему спутнику:

— Голуби в этом царстве стали! И белые к тому же. Как и все голуби, полагаю. Идем, мы не для того сюда явились.

И успел добавить вполголоса:

— Ну, война началась. Придется столкнуться с породой весьма опасных субъектов и выдержать целый шквал технических объяснений, в которых я, видимо, никогда не сумею разобраться. Зато на нашей стороне — сила неведения.

После первых же вопросов Гертинг, сбычившись, бросился в атаку:

— Но, господин прокурор! Нельзя же демонтировать домну, как разбирают обыкновенный велосипед!

Инженер говорил безапелляционным тоном, в глубине души его забавляла эта беседа, ибо он выступал во всеоружии технических терминов, что дает человеку явное преимущество перед собеседником. Правосудие, олицетворенное этим чиновником, получавшим вдвое меньше, чем инженер, явилось сюда лишь затем, чтобы удостоверить кое-какие бесспорные истины.

В глазах прокурора горел огонек невозмутимого презрения. «Значит, это тебя за заводскими стенами величают Коровьим задом... Интересно, известно ли тебе это прозвище?»

— Однако, господин инженер, бывает же перерыв в работе доменных печей. Например, во время стачки.

— Вы это из газет вычитали! Не советую вам принимать за чистую монету то, что пишут в газетах.

— Вот как! — заметил прокурор.— Значит, забастовок не бывает? Значит, плавка никогда не останавливается?

— Бывает, конечно, но это целая история... Персонал обязан поддерживать огонь, иначе чугун в домне застынет.

— А как же тогда домну ремонтируют?

Гертинг нетерпеливо шевельнулся в кресле.

— Верьте совести, господин прокурор, так мы рискуем забраться в дебри технических деталей... Все это не так-то просто. Надо сначала знать, о каком ремонте идет речь, выяснить обстоятельства дела... Если я начну вам все это рассказывать...

— Но ведь я и пришел сюда затем, чтобы просветиться,— возразил прокурор.

— Отлично. В таком случае загрузка продолжается, но без шихты и руды. Это называется «холостая загрузка». Когда она достигает фурм, воздух выключают, очищают горн, закрывают отверстия.

Гертинг выдержал паузу.

— Но все это,— в голосе его прозвучала чуть ли не торжествующая нотка,— все это не помешает Давиду Ксавьери сгореть!

— Вот как? — произнес прокурор.

Гертинг с презрением подумал, что представитель закона ни слова не понял из его объяснения.

— Давайте подведем итог,— сказал прокурор.— Домну потушить нельзя. Нельзя спуститься в горловину, не подвергая себя участи жертвы. А что, если пробить в боку отверстие?

Инженер вскочил на ноги.

— Пробить облицовку и кладку из огнеупорных кирпичей! Но ведь, господин прокурор, кладка имеет метр толщины, да и к чему все это? Вы же знаете, что Давид Ксавьери мертв, и все! Именно он мертв, а не кто другой! Мы предложили выдать семье слиток из этой плавки. Так принято. Семья согласилась. Тогда о чем же речь? Словом, вы можете располагать тысячью доказательств, что он погиб...

Прокурор рассеянно глядел в окно кабинета на железнодорожный состав, медленно исчезавший в сумерках. Голуби в этом царстве стали уже смолкли.

— Я, господин инженер, ровно ничего не смыслю в металлургии. Не знаю, старого ли типа ваша доменная печь, современного ли, не знаю, что нужно делать, чтобы туда не падали люди. Знаю только одно: есть мертвый и этого мертвого надо похоронить.

Прокурор тоже поднялся. И заговорил жестким тоном:

— Вы сделаете так, как скажу я. Здесь разговор идет уже не о технике. И не обо мне. А о законе. Вашу кладку немедленно пробьют. Завод не долговечнее могилы, если угодно знать мое мнение.

Шаги прокурора и его спутника на посыпанной шлаком аллее, только шум этих шагов слышал Гертинг после того, как представители закона покинули его кабинет.

— Этот Гертинг — если не ошибаюсь, Гертинг? — просто пешка. От этого Гертинга так и разит гордыней, но и страхом тоже,— начал прокурор.— Надо было бы сказать ему что-нибудь такое, чтобы он потерял свое душевное спокойствие. Только мне в голову ничего не пришло. Пойдем к директору.

Рюитц сидел, уткнувшись в табель-календарь, и машинально переворачивал листки. Надо было информировать руководство «Прозидера» в Париже о смерти Давида Ксавьери. Письмом все на той же бумаге, где на самом верху выведено по синему полю восемь черных букв «ПРОЗИДЕР» и фирменный знак — круг и серебряный остролистник, Серж Ворсфельд, президент и генеральный директор. Нынче вечером пропасть, отделявшая Рюитца от Ворсфельда, была особенно глубока.

— Поймите меня, господин прокурор. Этого инженера в цеху не любят. У него уже давно были столкновения по вопросам охраны труда с Ольбергом, мастером смены, где работал Ксавьери. Рабочие считают ответственным за все происшествие начальника цеха... Обвиняют его в том, что он из самолюбия не давал ходу тревожным рапортам начальника бригады, так как считал, что тот нарушает иерархию... От нас потребовали, чтобы мы его уволили. Но под нажимом дезавуировать его мы не можем... Это откроет все шлюзы. Мы опасаемся нежелательных инцидентов на похоронах... Если похороны вообще будут...

— Стало быть, именно по этим причинам вы не пытаетесь извлечь тело?

— Боже упаси! Просто мы считаем, что это слишком сложно. И бесполезно. Гертинг вам не солгал. Пусть все его ненавидят, но специалист он прекрасный.

— Прекрасный? От души поздравляю «Прозидер», господин директор.

Лицо Рюитца передернулось, но прокурор безмятежно улыбался.

— Но я тоже, господин директор, я тоже специалист. И я, как и Гертинг, не могу вам всего объяснить. Надо извлечь тело, как предписывает закон. Надо попытаться сделать для этого все возможное. Во-первых, потому, что семья может переменить мнение и потребовать тело. Я уж не говорю о том, что если труп исчезнет, это повлечет за собой немалые осложнения со стороны закона.

— И это случается впервые. Поскольку я знаю, Ксавьери-то ведь не исчез.

— Мне об этом ничего не известно. Кто подтвердит его гибель? И кто докажет? Давид Ксавьери для меня на данном этапе просто бесследно исчезнувший человек, до тех пор пока доменная печь не вернет нам его останков. Только не думайте, что я погряз в формальностях. Ничего подобного! Чтобы удостоверить смерть, чтобы семья могла получить право на пенсию, гражданский кодекс требует соблюдения процедуры, на что уйдут месяцы и месяцы. Не говоря уже о моральной стороне дела. Отвечайте, можно или нет пробить отверстие в домне?

— Можно-то можно,— мрачно отозвался Рюитц.— Но сначала надо непременно установить, где именно находится тело. Мы вызвали фотографа, который попытается сделать снимок через горловину... если, конечно, это удастся. Как видите, господин прокурор, еще до вашего прихода я пошел навстречу... Господин Ворсфельд весьма склонен был отказать, но...

Он шагнул к окну, повернулся спиной к прокурору и стал пристально разглядывать что-то на дворе.

— Видите ли.. я уже двенадцать лет знаю Давида... Невольно запоминаешь лица — даже при таком количестве рабочих, как у нас. Но главным образом я запомнил его потому, что он одно время работал на электростанции, а до войны я ею руководил. Тогда он был совсем мальчик, лет семнадцати-восемнадцати, не больше. Спустя несколько лет он опять вернулся к нам, и его имя не было для меня пустым звуком; так или иначе, мы следим за судьбой своих людей, представьте себе...

Монолог в темноте. Там, вдали, над оградой врезался в небо сноп желтых цветов, распустившихся от огненного дыхания конвертера. Рюитц зажег плафон, сел.

— Не будь войны... Теперь тот, кто начинает работать у нас в таком же возрасте, находится в более благоприятных условиях. Такой Ксавьери не стал бы неудачником. Мне говорили, у него хороший мальчик, Лоран.

Он нагнулся к прокурору, и рядом с Рюитцем тот показался совсем молодым.

— Сложная штука — металлургия, господин прокурор, и с людьми сложно... Гертинг не знает ничего, кроме домн. Он поплатится за свои ошибки, но не сейчас, не сразу. Я, в сущности, связан по рукам и ногам. И главное: существует веская причина достать тело, вернее, даже две причины — ваше распоряжение и угроза забастовки. Что же касается всего прочего, там поглядим... когда кирпичи снова уложат на место и спаяют облицовку. Сначала я дам вам возможность похоронить Давида на кладбище.

V

Они вслушивались в голос завода. Молодой человек, сопровождавший прокурора, в течение всей беседы не открыл рта. И сидел, сложив на коленях руки. «Кто он такой? — старался догадаться Рюитц.— Должно быть, товарищ прокурора или следователь. А может, просто делопроизводитель». Рюитц был неискушен в юридических процедурах, а спросить прямо — кто это? — было неудобно. Прокурор потупился. Рюитц видел, как беззвучно шевелятся его губы. Потом он проговорил вслух:

— В вашем положении есть нечто странное, господин директор, нет, не в вашем положении, я хотел сказать: в вашей профессии.

— В моей профессии? Такая же профессия, как и все прочие, господин прокурор. Самая обыкновенная.

— Здесь все необыкновенное. Вам самому это в голову никогда не приходило?

— Приходило. Когда я начал работать в акционерном обществе, помню, я сказал жене буквально следующее: «Нет, мне с ними не по пути». И, как видите, проработал здесь больше четверти века.

— А почему? Обнаружили в вашей деятельности некий смысл... Ну, скажем, гражданский? А может быть, религиозный?

— Не понимаю, господин прокурор.

— Вам следовало бы посмотреть со стороны на ваш завод, посмотреть свежим взглядом, как, скажем, я. И сам собой возникнет вопрос: что держит здесь человека, хотя он может уйти по собственной воле?

За Рюитца ответил завод, ответил своим дыханием.

— Впрочем, мы так бог знает до чего договоримся,— добавил прокурор.— Попросите войти мастера.

Раймон Ольберг был в рабочем костюме, но все-таки успел надеть спецовку поновее. Он казался значительно моложе своих сорока двух лет. Блондин, высокий, плотно сбитый, с румянцем во всю щеку и тяжелыми руками. На первый взгляд он выглядел простодушным, бесхитростным. Но прокурор успел заметить в глазах Раймона отблеск настороженного недоверия, а в повадках что-то раболепное.

— Вы сами могли бы оказаться на месте Давида, погибнуть в домне,— начал прокурор холодно и любезно.— Конечно, вы и без меня это знаете.

— У меня четверо детей, господин прокурор.

— Четверо! Ну что ж, господин Ольберг, объясните нам, что произошло.

Раймон Ольберг взглянул на директора. В глазах его был вопрос.

— Отвечать надо мне, господин Ольберг. Ваши показания чрезвычайно важны, но я явился сюда не затем, чтобы учиться плавить сталь. Речь идет о том, чтобы установить смерть вашего товарища, и больше ни о чем.

Прокурор с расчетом выдержал паузу. Потом добавил:

— Я понимаю, что вы в затруднении. Но я жду ответа, который отнюдь вас не скомпрометирует. Говорите, не бойтесь. Ведь верно, господин директор?

— Может, мне уйти? — предложил Рюитц.

— К чему же! Я вам сказал бы, будь в том необходимость. Не стоит ничего осложнять. Пока что я добиваюсь ясности. Отвечайте просто да или нет, господин Ольберг. А ваши ответы мы занесем в протокол позднее. Видели ли вы, как Давид Ксавьери упал в горловину домны?

— Видел.

— Значит, ошибки тут быть не может?

— Я первым поднял тревогу.

— Другие свидетели были?

— Роберто де Сантис, он был наверху вместе с нами.

— Прекрасно! И он тоже, разумеется, видел, как упал Давид Ксавьери?

Ольберг молчал, стараясь поймать взгляд господина Рюитца. Прокурор стукнул ладонью по столу.

— Смотрите на меня! И отвечайте.

— По-моему, де Сантис ничего не видел.

— По-вашему! А почему же он не видел? Почему вы его не спросили? Оказывается, вы человек нелюбопытный!

Ольберг с трудом проглотил слюну. Лицо его выражало чуть ли не мольбу.

— Все произошло в одно мгновение. Я держал конус открытым, а Давид пытался пропихнуть кочергой шихту. Должно быть, шихта зацепилась за металлический стержень, он поскользнулся и упал... Де Сантис мог бы подать ему руку, но он в это время отошел на другую сторону, чтобы укрыться от ветра.

— При чем тут ветер? Полноте, господин Ольберг. Я не намерен вас пытать, но что-то в вашем рассказе неладно.

Казалось, мастер шагнул на помост эшафота.

— Ну так вот, нужно представить себе, господин прокурор, в чем заключается наша работа. Я отодвинул конус, который закрывает горловину. Давид нагнулся, а в руках у него была кочерга. Он упал. Но де Сантис на нас в эту минуту не глядел. Он заметил только, что Давида нет.

— Вы от меня что-то скрываете. Давид наверняка упал?

— Наверняка.

— Можете подтвердить это перед лицом закона? Вы действительно присутствовали при смерти Давида Ксавьери?

— Фактически, да.

— Благодарю вас, господин Ольберг. Сколько времени вы работаете на «Прозидере»?

— Пятнадцать лет.

— Вы дисциплинированный человек, поэтому вас и назначили мастером. В каких отношениях вы были с Давидом Ксавьери?

— В очень хороших.

— Можете быть свободным. А сейчас заслушаем Роберто де Сантиса.

Итальянцу Роберто де Сантису, низенькому и юркому, было под пятьдесят. Он развязно вошел в кабинет, поклонился прокурору, шагнул было к нему с протянутой рукой, но, заметив господина Рюитца, остолбенел.

— Господин де Сантис, мне хотелось бы избежать недомолвки, как при разговоре с вашим начальником. Не будем касаться технических подробностей, связанных с несчастным случаем. Уточняю: в данный момент ваши показания должны служить одной цели — установить факт смерти Давида Ксавьери. Вы видели, как он падал?

— Он упал, это верно. Но я не видел.

— Однако вы были рядом?

— Послушайте, господин прокурор... вот как все произошло. По правилам нам полагается работать наверху с респиратором. Но за ним приходится бегать раз десять за смену. А плавку задерживать нельзя.

— Я спрашиваю, почему вы ничего не видели?

— Минуточку... Домну-III, кроме руды, загружают еще и шихтой, спрессованной в брикеты. Брикеты должны весить не более ста килограммов, но обычно их делают как можно тяжелее ради экономии.

А раз они больше установленного размера, они вроде бы не должны сами вываливаться из вагонеток. А все-таки такое случается, и тогда они зацепляются за кронштейн закрывающего конуса. Чтобы они упали вниз, приходится подымать крышку...

— Понятно,— перебил его прокурор.— И вы встали против ветра, чтобы избежать газов. Потому что и в самом деле, где же видано, чтобы десять раз за смену бегать за респиратором. А вокруг горловины есть ограждение?

— Нет. Говорят, нельзя было поставить. Да и вообще-то оно ни к чему, так как в принципе загрузка происходит автоматически.

— В принципе! Итак, у ваших ног зияла горловина. И вы не привязываетесь поясами?

— Во-первых, неохота с ними возиться, только время зря терять, а во-вторых, случись взрыв — там и останешься.

— В итоге Давид Ксавьери исчез; прежде чем успели к нему подойти, свалился в горловину. Это точно?

— Точно.

— Благодарю вас, господин де Сантис. Ваши показания не столь ясны, как показания господина Ольберга, но столь же убедительны. И здорово поучительны, ей-богу! Не правда ли, господин директор?

Де Сантис направился к дверям. Теперь, когда он повернулся спиной, все заметили, что плечи его словно под невидимой тяжестью согнулись, увлекая вперед все тело. Он, очевидно, сообразил, что сболтнул ненароком лишнее. Прокурор окликнул его:

— Вы еще нам понадобитесь, и господин Ольберг тоже, прежде чем мы подпишем разрешение на захоронение. Но вам больше не придется давать нам подробные объяснения насчет величины брикетов шихты. Полагаю, что господин директор захочет предварительно об этом поговорить с главным инженером доменного цеха.

Де Сантис вышел. В приоткрывшуюся дверь Рюитц заметил силуэт Ольберга, который поджидал своего подчиненного. Прокурор продолжал сухим тоном:

— Один вообще предпочел бы молчать, другой наговорил лишнего. Пока я еще не могу вынести решения. Предъявите мне мертвеца, я его с собой не заберу.

— Остался всего один свидетель.

Леон Карнен не посмел сесть в присутствии начальства. Его кадык судорожно ходил вверх и вниз, жилы на шее напряглись.

— Вы работаете вахтером у Речных ворот? С какого времени?

— Уже десять лет. А раньше был осмотрщиком на службе тяги, но меня покалечило.

— Я хочу вот что уточнить. Проходил ли Давид Ксавьери через ваш контрольный пост?

— Прошел приблизительно без четверти два.

— И обратно не выходил?

Леон Карнен вздрогнул всем телом.

— Знаю, знаю,— успокоил его прокурор.— Никаких ловушек я вам не ставлю. Итак, у нас есть только,— он сделал паузу, прежде чем перечислить свидетельские показания,— есть только показания Ольберга, который видел, как упал Давид Ксавьери. Потом заявление де Сантиса, который констатировал внезапное исчезновение своего товарища, и исчезновение это он может объяснить только падением в горловину печи. Наконец вахтер подтверждает, что исчезнувший прошел сегодня через проходную, отметился и обратно не выходил. Мы знаем достаточно, дабы заявить, что Давид Ксавьери скончался именно в этот день.

Тяжелая крупная слеза скользнула по щеке Карнена. Он провел правой рукой по лицу, пустой левый рукав взметнулся в воздух. При

свете плафона стала особенно заметна густая щетина на щеках дядюшки Леона, так как процесс бритья давался ему с трудом. Он так спешил на вызов к директору, что не успел даже как следует стянуть узел зеленовато-желтого галстука.

Прокурор вместе с креслом повернулся к Рюитцу:

— Ну что ж, господин директор... Больше вопросов не имеется. Теперь слово за специалистами, которым придется разобрать стену домны.

Он задумчиво вертел в руках счетную линейку. От него не укрылись слезы папаши Леона, и выражение его лица изменилось. Черты стали мягче. Сейчас он еще больше напоминал гуманитария, заслуживающего высоких должностей и обреченного незаметно стариться в далеком от столицы провинциальном лицее, слушать, как спускается на сады вечер, и размышлять о житейской суете.

— Да, господин директор, теперь я знаю, что Давид Ксавьери мертв.

С этими словами он указал на Леона Карнена.

— Наконец-то нашелся хоть один, кто его оплакивает.

Краска залила лицо Рюитца. Он хотел было оборвать прокурора, но в эту минуту послышался вой сирен. Они извещали о начале десятичасовой смены. Забастовки не будет, раз дирекция дала согласие вскрыть стальную могилу. Бригада встанет на почетный караул перед домной-III, у изголовья Давида.

VI

Давид спал вечным сном над цехами завода. Под ним огонь продолжал творить свое дело. Воздуходувки уже не рычали, не подымали в трубах бурю, но от корпуса и до горна кокс и руда еще не расторгли своего нерушимого союза — двести градусов в верхних слоях, две тысячи — в нижних. После ухода фотографа горловину закроют железом и засыплют влажной глиной, чтобы потушить багровый вулкан под человеком, который проводил свою первую ночь после кончины на самом верху похоронной башни.

В одиннадцать часов фотограф подъехал к Речным воротам. Он не знал, к кому следует обратиться. Из телефонного разговора он понял только отдельные слова: «прокурор», «мертвец», «домна». Леон Карнен, не получивший своевременно указаний, заставил фотографа прождать полчаса в проходной, пока связывался с начальством по коммутатору. Но телефонистка тоже не могла вспомнить, кто именно вызывал фотографа. За вечер она звонила десятку фотографов, но все они сердито бросали трубку, думая, что их разыгрывают. Наконец Карнену удалось дозвониться до Гертинга.

— Фотограф спрашивает, что ему делать. Он не знает, захватил ли он с собой аппараты, которые нужно.

— Скажите ему, пусть идет к домне.

— Да он дороги не знает.

— Проводите его сами и ждите нас внизу.

Фотограф чертыхался, спотыкаясь о рельсы.

— Да не торопитесь вы так, черт возьми! Не желаю я ради вашего «Прозидера» ломать себе хребет! Если это розыгрыш, вы мне дорого за ваши штучки заплатите.

У подножия металлической башни стояло с полдюжины рабочих. Лампы горели по верхнему краю домны, с земли ее подсвечивал прожектор.

— Да вы шутите! Значит, нужно туда лезть?

— Не волнуйтесь,— сказал Гертинг.— Вас будут охранять спереди и сзади. Вот этот,— он ткнул в сторону Ольберга,— пойдет перед вами, а де Сантис позади. Когда конус отодвинут, сделайте снимок. Ольберг научит вас, где лучше встать. И покажет вам, где находится тело.

Орлиное гнездо в самой гуще небес, а там, внизу пунктир фонарей, отмечающих сетку дорог. А дальше багровые пляжи перед входом в цеха. Раймон Ольберг отодвинул конус горловины. Густые испарения дыма, свиваясь клубком, поползли в сторону ждущего их ветра. На шестой раз вспышка магния обнаружила темное тело между двух брикетов шихты.

На землю фотограф спустился сильно присмиревший. Он только что почувствовал на собственных плечах всю тяжесть смерти. Давид лежал в трех метрах ниже горловины, вплотную к стенке.

— Если у вас на заводе есть лаборатория, я предпочитаю проявить снимки сам. Только не ждите чего-нибудь особенного. Просто тень и дым.

— И этого достаточно.

Ночью, пока Давид спал вечным сном, его товарищи, сходясь группками в огромном «Прозидере», вспоминали былые истории бед и пламени.

— А помнишь, что случилось со стариком Пейрио шесть лет назад? Он заснул в ковше. Было это за два года до выхода на пенсию. Да, ровно за два года, потому что как раз на той неделе он отпраздновал свое шестидесятитрехлетие. Бедный старик, после полуночи он совсем изматывался. А в ковше тепло, славно так, вот он и решил подремать чуток. Когда крановщик услышал крики, он прекратил подачу стали. Пейрио прожил еще четыре дня и помер в больнице.

Стальной завод среди мирного пейзажа. Багровые клубы дыма, дрожащие голубые стяги газовых факелов, но завод так огромен, что на его территории всегда найдется место для мрака, есть тут даже свои заповедники тишины. Железнодорожные пути — триста, четыреста километров рельсов. Мостовой кран движется вперед и назад — а их здесь триста штук. Где-то в стороне рабочий газовым резаком разбивает корку остывшего шлака. Здесь фонарей нет — человек один в темноте, и свет его резака перебегает с места на место, как светлячок. А там какие-то бесформенные глыбы отсвечивают алым. Как назвать этот огонь: окалины, слитки? На «Прозидере» работают также шестнадцать садовников, но сейчас они спокойно спят, их место не здесь, не в этих садах мрака и огня, где вздымаются темные стены, где есть призрачные уголки, бассейны для лунных лучей. Рыча мчится автомобиль по аллеям, расходящимся веерами и прямоугольниками.

Цех томасовской стали. Шесть конвертеров, из которых каждый за полчаса управляется с сорока тоннами плавки. Тяжелая масса подрагивает и кипит под струей нагнетаемого воздуха, а когда сгорят фосфор и кремний, она застынет. Ураган в стальном диффузоре вышиной в восемь метров. Рабочие конвертерного цеха проходят перед раскаленными пастями груш. У пульта парень лет тридцати. Он управляет этим органом-громовержцем. Перед пультом с разноцветными сигнальными лампочками он из кабины, открытой дыханию печей, руководит балетом жерл.

— Все-таки,— заметил парень по имени Манерб,— не знаю, имеет ли прокурор право останавливать весь завод.

В цехе томасовской стали нет времени для длинных разговоров. И однако среди грохота то и дело раздаются обрывки фраз.

— А вспомни, как три года назад на угольной шахте погибло пятнадцать человек. Целый километр галереи рухнул. Какие шли бои,

чтобы извлечь тела. Думаешь, закон мог их принудить расчистить ходы?

— То за границей,— возражал Жюзикс.— Там другие законы. Нечего и сравнивать.

— Законы,— усмехнулся Манерб,— законов видимо-невидимо. А прокурор новичок. Он впервые такое видит. Переведут его потом куда-нибудь еще, и прощай сталь, до свидания!

Электростанция. Высокий рыжеволосый великан со светло-желтыми густыми ресницами, это Ванденштретен. Вопреки своей фламандской фамилии, Ванденштретен — настоящий валлонец. Или, вернее, был бы валлонцем, если бы война не вышвырнула в свое время его отца на юг, однако и Ванденштретен, став французом, сохранил плавность речи, что связывает его с теми, другими столицами стали, где в городах бок о бок стоят замки и заводы, где по берегам красивейшей из рек горят миллионы огней. Каждый год он ездит туда проведать родных.

— Раньше,— говорит Ванденштретен,— когда человек падал в металл, слиток хоронили на краю шихтового двора. Я, конечно, о больших слитках говорю. А несчастных случаев тогда тоже хватало.

Ванденштретен замолкает, вслушиваясь в голос своего детства, своего прошлого, в песнь ветра над переливчатой рекой.

— Значит, под конец двор так и стали звать Могилой. Потом рядом настроили домов. А квартал тоже прозвали Могильный. Когда я еще мальчишкой был, я сам видел дощечку, а на ней прямо так и было написано: Могильная улица. Но в домах этих уже никто не жил. Завод устроил на том участке, где покоились сгоревшие, шлаковый отвал. Надо и их понять, персонал меняется, семьи уезжают. И потом, кладбище-то ведь не настоящее.

Ванденштретену хотелось бы рассказать еще и о других, уже забытых теперь, подробностях, объяснить, что представляли собой улицы его детства.

— Годы идут. И на заводе опять что-то придумывают. Чтобы увеличить цех, снесли отвал, сотню грузовиков пригнали. И, представьте, теперь там уже деревья растут, на отвале-то. Срезали его начисто, а потом землекопы пришли.

Перед глазами Ванденштретена возникла развороченная ограда, вагонетки, каналы. Каждый раз, выходя из школы, он натыкался на эту картину.

— Вот землекопы и обнаружили захороненный слиток. И окрестили пустырь Могильным. Потом нашли второй. Словом, выкопали целых семнадцать. Взвалили их на вагонетки. И подумать только: были они совсем новехонькие, ну как свежеотлитые. Потому что в известняке лежали. Слитки свезли на переплавку. Что ж тут такого? Никого не осталось, кто бы помнил их имена.

Мартеновский цех. Разговаривают трое. Время плавки еще не подошло.

— Помнишь, Штраубе, португальца, которому на голову выплеснуло пятьдесят килограммов расплавленной стали?

Еще бы Штраубе не помнил. Было это четыре года назад, они втроем, как и сейчас, находились в цеху, он, старик Штраубе, с седой шерстью на груди, Муво с заячьей губой и Тормио. Да еще Эррера. Эррера лежит на кладбище, вернее, то, что осталось от Эрреры. Было португальцу Эррере тридцать девять. Он покинул свою родину, провинцию Альгавру у Кадикского залива, чтобы нести караул перед сталеплавильной печью, где кипело триста тысяч килограммов металла. Когда очистка кончалась, сталь разливали в ковши, переносили их на крюке, не обращая внимания, что порою ковш заполнялся с верхом.

В этот день Эрреру вызвали в дирекцию и сообщили, что ему пре-

доставлено жилье. Значит, он мог теперь выписать жену и троих своих ребятишек из Португалии, где бедный люд заживо гниет в бараках, вынесенных за городскую стену. Муво, Штраубе и Тормио не раз видели фотографию Дельфины Эррера, маленькой брюнетки с лицом в кулачок под тяжелой шапкой черных волос, похожую, как родная сестра, на самого Афонсо Эрреру.

Когда португалец прибежал из конторы, Штраубе крикнул ему:

— Осторожно, Афонсо! Ковш! Осторожно!

Но поздно. Афонсо прошел под ковшом. Он не слышал ни клаксона крановщика, ни криков Штраубе. Крановщик сделал резкое движение, чтобы спасти Эрреру, но маневр не удался, возможно, он слишком круто повернул, что и неудивительно после шести часов пребывания в этом аду. К тому же ковш оказался полным с верхом.

— Он через неделю скончался.

— Семь дней мучений, хотя Афонсо перевезли на вертолете в Мерльбах, а оттуда в Лион, без конца переливали ему кровь и вливали сыворотку. Но даже знания десяти великих мужей от медицины не могли спасти человека, так как его голову, шею и плечи мантией одела сталь, выплеснувшаяся из ковша и намертво спекшаяся с покоробившимся мясом.

Нынче вечером из-за гибели Давида мученики возвращаются вспять. Искалеченные, обожженные, с культями вместо рук и ног, с выбитыми глазами, с переломанными костями, они приходят за своим товарищем. Они возьмут его с собой, унесут в равнодушные небеса, которые взирают на завод, стоящий посреди июньских полей.

VII

Инспектор полиции, которому поручили внести в дело технические подробности обстоятельств гибели Давида, был молодой чиновник и видел доменные печи только издали. Страт, комиссар Сиона, вызвал его к себе в четверг в девять часов утра.

— Для вас есть работа, Лерувец. Неприятная, зато несложная... Нам нужно представить в прокуратуру чертежи и фотографии. Пойдите на «Прозидер» и возьмите их, вас там ждут.

Полиция не входит в металлургические цеха. И хотя нет такого закона, по которому металлургия была бы государством в государстве, Лерувец не стал спрашивать Страта, почему он назвал это дело неприятным. Если в исключительных случаях представителю полиции приходилось выполнять свою миссию по ту сторону заводской ограды, он чувствовал, как перед ним вырастает стена открыто враждебных сил и мыслей.

— Пройдете Транзитными воротами. Рассыльный проведет вас к Гутрану, главному инженеру службы безопасности и санитарии. У него вся документация... Если понадобится еще что-нибудь, смотрите сами... Или нет, не надо, я ему позвоню, когда вы вернетесь.

Комиссар Страт был бы подлинным представителем власти, если бы выполнял свои функции в обыкновенном городе. Но в Сионе вне стен «Прозидера» не существовало значительных персон. Территория завода была куда больше, чем территория, принадлежащая городу, да и в самой коммуне половиной земель и зданий владел «Прозидер».

— И если вы услышите какое-нибудь не слишком приятное замечание — спокойствие! Понятно? Сделайте вид, что не поняли. Особенно держите ухо востро с Гутраном, это наглец из наглецов.

Еще с тех пор, когда Сион был обычным поселком, полицейский участок так и не изменил своего внешнего вида — все те же облезлые

стены, расшатанные ставни, крыльцо, позеленевшее от мха. Во дворе, куда ветер нагонял заводские дымы, росла какая-то колючая трава. Лерувец провел свой мопед мимо котлована и лишь тогда взгромоздился на седло. Бригада землекопов рыла канавы для прокладки огромных труб — это «Прозидер» пускал новые корни за пределы завода, отныне он будет подавать воду или подведет доменный газ к ста тысячам очагов столицы.

— По-моему, господин инспектор, прокуратура и полиция наступают на нас сомкнутыми рядами...

Голос у Гутрана был хорошо поставлен, говорил он любезно. Стол инженера службы безопасности и санитарии стоял по диагонали в углу комнаты между двух оконных проемов. На стенах плакаты техники безопасности, график с тремя линиями: красной, синей, черной (погибшие, раненые, несчастные случаи, не повлекшие за собой остановки работы) — и американская гравюра, изображающая металлургические заводы Питсбурга.

— Ну, говорите. Мне только что звонил ваш патрон... Ему, кажется, нужны чертежи доменной печи... Но их можно получить только с разрешения господина Ворсфельда...

— Я выполняю приказ. Если нужно, сведите меня к господину Ворсфельду...

— О! Это вполне возможно, но потребуется время,— все так же любезно проговорил Гутран.— Вы не знакомы с господином Ворсфельдом?

— Нет, не знаком,— ответил Лерувец.

— Сейчас он в Дуисбурге. Но у него прекрасные помощники, которые следят за тем, чтобы наше предприятие и полиция встречались как можно реже.

Гутран поднялся, положил сигару на краешек стеклянной пепельницы, где не было и следа пепла. Начальник СБС бросил курить, и сигара — он даже не зажигал ее — помогала ему бороться с искушением.

— Но... Но, господин инспектор, не истолкуйте мои слова в худую сторону. Вы представитель полиции, а без полиции, черт побери, не обойтись. Мы служим стали и одновременно стараемся служить делу безопасности. Я не в восторге от того, что вы пришли сюда, я, конечно, не имею в виду вас лично. Разумеется, не имею.

Пристально глядя на Лерувеца, он ткнул пальцем в сторону директорского особняка за Транзитными воротами.

— Если бы все зависело от меня, служба безопасности имела бы все преимущества перед сталью. То есть, я хочу сказать, не были бы обижены ни то, ни другое. А для этого достаточно, чтобы там придерживались того же мнения.

Он пересек комнату, подошел к вешалке, рядом с которой стоял металлический зеленый шкаф с ящиками, битком набитыми калькой и чертежами. Две каски из пластмассы с дырчатыми металлическими козырьками венчали шкаф, как некий трофей.

— Здорово, а? Мне их только что предложили. Вот у этой,— он взял одну каску в руки,— козырек ни к черту не годится. Первая же искра металла продырявит его, как вуалетку. Вот эта более прочная, зато сквозь решетку не видно ни черта. Все изобретатели одним миром мазаны. Если бы я их слушал, у меня уже давно погибла бы половина завода.

Он открыл верхний ящик, порылся в груде папок и вытащил одну. К обложке был приколот скрепкой листок бумаги, сложенный вдвое. На листке было жирно выведено красным карандашом: «Ксавьери». Инженер протянул папку Лерувецу.

— Пока это все, чем мы располагаем. Но если вы хотите поговорить с мастерами, посмотреть чертежи, сделать новые снимки...

В папке сверху лежал желтый бланк, где жирно типографским способом было напечатано «Донесение о несчастном случае». В центре листка было оставлено свободное пространство, заключенное в рамку, для сухой протокольной записи в пять-шесть строчек:

«Давид Ксавьери. Регистрационный номер 505 328. Третий доменщик».

Засим следовала страничка — это Раймон Ольберг вырвал ее из своей записной книжки и написал наспех: «Ксавьери 18 ч. 50 м., шихта, горловина». Первый акт, удостоверяющий смерть, черные жирные следы на листке, оставленные пальцами мастера, придавали трагическую подлинность этой бумажке, набросанной в момент катастрофы, у огненной могилы. В папке находились также шесть снимков, сделанных предыдущей ночью.

— Вот и все. Как видите, не богато. Все, что осталось от бедняги Ксавьари.

— Ксавьери,— поправил инспектор.

— Простите! У нас все же четырнадцать тысяч рабочих и служащих. Когда войдет в строй Группа-III, число их возрастет до двадцати тысяч. А этот самый Ксавьери работает у нас сравнительно недавно.

— Мне говорили, что он и раньше работал на «Прозидере».

— Верно, верно... До войны. А после войны жил где-то на Юге, не знаю точно где. Земляк вашего следователя, господин инспектор.

— Следователь, которого вы имеете в виду, уже не в Сионе. А с Юга — прокурор, но совсем из другой области. Как вам известно, Юг велик...

— Да, знаю, знаю! Но я вам потому о Юге говорю, что все приезжие оттуда ведут себя примерно одинаково. В них... ну, словом, в них есть что-то.... что меня раздражает. Впрочем, это неважно, люди таковы, каковы они есть, везде имеются хорошие парни, а приезжают они к нам отовсюду.

Лерувец не осмеливался взять папку с собой. Ему хотелось попросить также и чертеж домны, но Гутран продолжал:

— Помню я вашего следователя. Случается, кто-нибудь из наших рабочих и служащих оказывается замешан в неприятную историю, обычную историю, не имеющую никакого отношения к заводу, вот, например, в связи с одним убийством следователю потребовались сведения о поведении наших людей. И, вообразите, что он сказал: «Вполне понятно, что люди иной раз теряют голову в вашем краю, черном от сажи. Отчаяние...» Я тоже живу в этом краю. Однако я ничуть не отчаиваюсь. А вы?

— Я тоже не отчаиваюсь,— ответил Лерувец.

— И все-таки,— продолжал Гутран,— я понимаю, что он имел в виду. Скольких людей мы оторвали от родных мест! Подумать только, для одной Береговой группы потребуется пять-шесть тысяч человек. Ну и приходится брать их отовсюду, и так уж восемьсот коммун поставляют нам кадры. А на «Прозидер-III» придется ввозить иммигрантов.

— А почему вы строите завод на берегу моря?

— Через двадцать лет вся металлургия перебазируется к морю.

Сложив на животе руки, Гутран откачнулся назад вместе со стулом.

— Скажу больше: это поставит перед приморскими районами сложнейшую проблему... Все, что вы здесь видите,— станки, оборудование — устарело. С этим покончено. Вы бы поглядели, как там на берегу прокладывают по песку шоссе, протяженностью в тысячу двести метров. Чтобы утяжелить песок, его смачивают водой, двадцать четыре бульдозера укатывают его круглые сутки.

Гутран порылся в кармане, выуживая зажигалку, так как беседа привела его в восторженное состояние духа и ему захотелось курить. Но он сдержался и усиленно зажевал кончик сигары.

— Сейчас одновременно с нашим комбинатом проектируется еще пять-шесть таких же на Северном море, на Ла-Манше, на Атлантике, на Средиземноморье. И мы не первые, не единственные... На песке возникнут десятки других металлургических гигантов, и на них будут работать десятки других Ксавьери.

— Ксавьери, господин инженер.

— Да, да, вы правы. Даже последнее, что у него осталось, и то я отбираю. Все, что осталось для составления акта о смерти. Эх, бедняга!

— Да, кстати... Вам известно, что прокурор потребовал извлечения останков?

— Это доказывает, что наш прокурор человек добросовестный. А вот если останков нет, ему придется смириться.

— Вы просто его не знаете,— сказал Лерувец.

— Вот что, господин инспектор, давайте говорить как разумные люди. Вообразите, что Ксавьери свалился бы в ковш. Такое тоже бывает.

— Тогда прокурор потребовал бы иного. Хотя бы отпечаток, след...

— След! Это в стали-то!..

Гутран осмотрел юного полицейского с ног до головы, потом уперся в его лицо полным сострадания взглядом.

— Вот я смотрю на вас и думаю: где вы все витаете... Вы, то есть полиция, суд... Сталь еще горячее, чем чугун. Если угодно, я сведу вас посмотреть, как разливают металл в изложницы. Вы глазам не поверите. И если вам придет в голову охота прыгнуть в ванну из стали, можете о похоронах не заботиться.

— Догадываюсь, господин инженер.

— Догадываться-то догадываетесь, только представления не имеете, какое это зрелище — падение человека в ковш. Вот здесь, на этом самом стуле, где сидите вы, сидел крановщик, который видел, как сорвался с крана рабочий. Крановщик чуть с ума не сошел, и было отчего.

Гутран нервно хохотнул:

— Ей-богу, надо это видеть. Человек сгорает быстрее, чем антрекот, среди грохота и фонтана искр. Счастье еще, если в это время металл не расплескается. А что остается? — Гутран дунул на свою пепельницу.— Три молекулы пепла и запах жаркого.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь,—заметил Лерувец,— но, по-моему, у вас слишком своеобразный юмор.

Широкое лицо Гутрана как-то странно обмякло, углы губ опустились, он весь словно осел. Но заговорил все тем же доверительным тоном:

— Я беседовал с вами, как с другом. Фактически я мог вас просто сюда не пустить. Кто вы такой? Полномочия у вас есть? Но мы на «Прозидере» народ гостеприимный. Поймите, господин инспектор, шутят не только здесь, не сочтите мои слова за обиду. Так вот, я пятнадцать лет изучал математику, и физику, и электротехнику, и станки, и юридические науки, а теперь осел здесь, в этом кабинете, и добиваюсь, чтобы такие вот Ксавьери не горели. Волей-неволей начинаешь заботиться о чужой шкуре. И, прошу вас, не попрекайте меня моими остротами. Завтра вы и думать забудете о том, как горят люди, а я буду сидеть здесь и ломать голову все над теми же проблемами.

Гутран встал, снова обошел кабинет, сцепив за спиной пальцы рук, и Лерувец услышал слово «безопасность», произнесенное хоть и неразборчиво, зато не менее десятка раз подряд.

— Я всего навидался... Но к чему рассказывать, дело от моих рассказов вперед не подвинется... В шкафу, да, да, в шкафу, где хранятся папки, стоит ящичек с тремя кусочками костей. В скрапе, которым загружали мартеновскую печь, попалась магнитная мина, черт знает откуда. Все залило сталью... Вот вы спрашиваете, почему мы не извле-

каем мертвеца? Да потому, что металл труднее охладить, чем правосудие.

Лерувец сложил документы в портфель, направился к дверям. Гутран даже не дал себе труда его проводить. Только бросил ему вслед:

— Смотрите не убейтесь на лестнице! Перил нет, ступеньки начинаются сразу. Выверты нашей администрации.

Оставшись один у себя в кабинете, Гутран, особенно похожий сейчас на старого медведя, грузно плюхнулся в кресло, и оно затрещало под ним. Лерувец не дошел еще до половины лестницы, как ему почудилось, будто Гутран замурлыкал песенку. Возможно, он немного тронулся. А возможно, на этом заводе обычную человеческую растроганность принято выражать несколько эксцентричным манером.

VIII

Матильда так до сих пор и не знала, сможет ли она похоронить Давида. Ее трижды в день навещала Элиза Кюври, жена железнодорожника, дружившего с Давидом. Кюври был не из разговорчивых, и, как зародилась их дружба с Давидом, было покрыто тайной. До гибели Давида ни он, ни Элиза в поселок не заглядывали.

— Марсель мне часто говорил о вашем муже.

Удивительно, что чистые душой люди так часто срываются. Кюври пил. Он был лет на пятнадцать старше Элизы, уроженки Пьемонта, женщины живой и общительной. Давид, должно быть, свел с ними знакомство в лавочке или на почте. Кто знает, не внушил ли он Элизе чувство, в котором она не осмеливалась признаться даже самой себе. И вот на другом конце Сиона есть еще один дом, где память о Давиде будет жить долго, а как знать — может, и всегда.

— У вас даже карточки его не осталось? А вы уверены, что у него нет в живых никого из родственников, хотя бы дальних?

Элиза рассказывала бесконечные истории о пьемонтцах, уверяла, что из Америки часто на самолетах прилетают дяди или кузены, от которых по двадцать лет не было ни слуху ни духу, и прибывают они на родину, чтобы жить в сложенной из камней хижине патриархальной жизнью.

Матильде она порядком досаждала, но Лорану очень понравилась. Наконец она выложила то, что ее, видимо, мучило сильнее всего:

— Вы, Матильда, слишком доверчивы.— С первой же минуты она стала звать Матильду по имени.— Вы согласились, чтобы вам выдали слиток, если тело не удастся извлечь. Но тогда нельзя будет устроить настоящие похороны. Товарищи не смеют вам об этом сказать. Я на вашем месте непременно сходила бы посоветоваться к кюре.

Матильда отправилась к священнику. Сионский кюре был дряхлый старик. Он мирно доживал свой век в просторной спальне на втором этаже, окруженный книгами, и все жался к печке, которая топилась вплоть до июля. Уже давным-давно никто не видел его на улице. Из епископата в помощь ему прислали викария, но лишать старика прихода не решились. Матильде предстояло увидеть его впервые. Она даже не знала, как его зовут. Экономка велела ей подождать в приемной, сказала, что сейчас пойдет доложит господину канонику, и Матильда с удивлением услышала фамилию, напомнившую по созвучию фамилию Давида. Уж нет ли предзнаменования в этой встрече, подумалось ей. Какие пути изгнанников в десятом колене пересеклись здесь?

Приемная находилась на одном уровне с садом, так что единственное окно упиралось прямо в землю неподалеку от лужайки, засеянной анемонами и обсаженной по бордюру самшитом. Ковер был истерт до

основания. Матильда огляделась: резная мебель черного дерева, старенькая фисгармония. На выцветших обоях выделялось большое распятие из слоновой кости. И вдруг в комнате очутился каноник Вишневски. Он вошел бесшумно, как приведение. Однако Матильда догадалась об его приближении по едва уловимому шороху — так осторожно, еле касаясь пола и стен, ходят слепые. Очевидно, ее посещение прервало сон священнослужителя, потому что на его желтом, как пергамент, лице местами проступали розовые пятна, а веки набрякли.

— Вот уже пятьдесят пять лет я выполняю свою миссию в этом приходе, мадам. Пятьдесят пять лет.

Он вздохнул. Позже Матильда не могла вспомнить, какими словами начала она свою жалобу. Слиток... Да разве все эти разговоры о слитке не вымысел? Разве Давид действительно умер? Но до слуха ее дошел ответ, четкий и одновременно нечеткий, как голоса, что слышишь во сне.

— По правде говоря, мадам, не знаю, смогу ли я обещать вам проводить гроб на кладбище. Я или, вернее, мой викарий, но кюре-то — я. Видите ли, за пятьдесят пять лет мне ни разу не приходилось решать подобные проблемы. То есть я имею в виду, что в моем приходе аналогичных случаев не было. Правда, на «Прозидере» работают люди из разных коммун... Я много раз слышал, что рабочие погибали той же смертью, что и ваш муж. Но мне как-то не приходилось расспрашивать об этом моих коллег. Хотя такая традиция со слитками, как мне известно, существует...

Он не предложил Матильде сесть. Наступило глубокое молчание. Матильда испытывала неодолимое желание оправдываться, попросить прощение за какую-то вину, а за какую — она сама не знала.

Столько пройдено дорог, столько надежд, столько мук — и все для того, чтобы в минуту скорби очутиться здесь, в полутемной приемной. Ей вспомнилась их церковь в Сен-Прива. Церковь, куда она ходила к первому причастию. Незабываемые часы. Тогда она еще была ребенком, тогда живы еще были Венсан и Гийом. Но когда они венчались с Давидом, никто не пришел в церковь. Они были одни — Матильда и Давид,— одни и во время крестин Лорана. Единственный, кто стоял кроме них у купели, был коммунист Шарбонье, который не верил в бога, но верил в любовь. И в день отъезда на Север, уже запаковав свой убогий скарб, она пошла последний раз помолиться в их сельскую церквушку. Как втолковать все это старику канонику?

«Было это в воскресенье к вечеру, в феврале... Я пошла в нашу церковь. Вечерня уже кончилась, люди разошлись. Как сейчас помню, холодный ясный денек, солнце над самым горизонтом. Я брела тропинкой, телеграфные столбы гудели громче обычного. По ним шло дыхание из иного мира, о существовании которого я не подозревала, далекое дыхание. Улицы на вершине холма были безлюдны, как и вообще у нас зимой по воскресеньям. Я обошла церковь, оглядела знамена, которые остались здесь после обеих войн. К стене была прибита черная дощечка, на ней золотом выгравированы имена погибших на фронте. И мои братья были здесь, и еще другие, мои школьные товарищи. Несчастные жертвы, узнали ли они меня? Не за меня ли они положили жизнь? К дощечке были прикреплены ленты, успевшие уже вылинять, растерявшие свою позолоту цветы; и я ходила там одна, потерянная, отчаявшаяся. Наша беда, мамина и моя, была также бедой тех несчастных старух, что томятся в городке перед портретом единственного сына. Но наша деревня все же пыталась воздать своим мертвым по справедливости. Не знаю, не знаю, я простая женщина, я думаю про наши поля, фермы, наш край, который сделал меня такой, как я есть. Но моего мужа, господин каноник, настигла не одна, а две смерти, он умер

ради завода и умер так, что славы ему не будет... И ничего у меня от него не останется, даже карточки, даже могилы. Ничего, значит, не останется в моей жизни?»

Но вслух она пробормотала лишь какие-то неуклюжие извинения.

— Я не ходила в церковь, господин каноник. Это верно, вы никогда меня там не видели. Мы ведь недавно сюда переехали, но у нас на Юге вся семья, и я тоже, мы привыкли к похоронам по христианскому обычаю.

— Нет, я не о том...

Он задумался. Наконец взгляд его упал на Матильду. Он улыбнулся, предложил ей сесть. Но сам остался стоять.

— Нет, я не потому, что вы не ходили к мессе. Но вы поставили меня в затруднительное положение. Я не могу ничего решить, не посоветовавшись с епископом. Что поделаешь, не можем же мы хоронить металлический слиток по христианскому обычаю. Отслужить панихиду — да! Это практикуется, мы служим панихиды по пропавшим без вести. Или в случае, скажем, эпидемии, мы можем отправить службу, хотя тело остается в больнице, чтобы избежать опасности распространения заразы. Но это другое дело, а вот похоронить по христианскому обычаю стальной слиток...

Он прочел отчаяние в глазах Матильды. И все слова утешения, которые он произносил, показались ему самому пустыми и бессмысленными. Но он не мог уступить.

— Что поделаешь, все мы воскреснем во плоти своей славы. А как и где мы умерли, ничего не меняет. Ваш муж такой же пропавший без вести, как и все прочие. Я отлично понимаю, что вы придаете такое значение церковным похоронам, и от души хотел бы дать вам это утешение, повторяю, хотел бы. Но боюсь, что это практически невозможно. Разве только завод выдаст вам останки. Вы уверены, что дело безнадежно?

— Сама не знаю. Я уже ничего не знаю, святой отец! Я даже начала сомневаться, был ли у меня вообще муж. Мы с первых дней были прокляты, все ополчились против нас, все хотели нас разлучить! Видно, надо было, чтобы он исчез, чтобы его не стало! И, посмотрите, как все получилось. Мы переехали в этот край, который с первого дня наводил на меня ужас, и я, я умоляла его уехать! Я деревенская женщина, святой отец, я не рождена для этого страшного мира!

— Я вам верю...

Сколько рыданий заглушали эти стены, покрытые пятнами сырости... Сколько искалеченных тел, сколько заблудших душ, сколько смертей, сколько одиночества, сколько жизней, потерпевших крушение на заводе, прибивало сюда, к подножию распятия... Город, затянутый сажей, где вместо церковного звона трижды в день раздается крик сирен. Но что сказать? Священник уже разучился находить слова утешения.

— Дитя мое, на «Прозидере» еще не все попытались сделать. Надо надеяться до последней минуты. И потом непременно приходите ко мне. Приходите обязательно... Мой викарий здесь всегда, и если меня не будет... А я скоро присоединюсь к вашему мужу, которого не могу проводить в последний путь.

На улице трое ребятишек играли в классы. Вот уже пятьдесят пять лет каноник смотрел, как возле серо-зеленых церковных стен играют в классы трое ребятишек. Трое, а может быть, четверо. Конечно, не одни и те же, но вечные, как эти три нарцисса, вылезавшие весной из земли все на одном и том же месте. Голос фисгармонии — это органист готовится к службе. И принесенное ветром дыхание «Прози-

дера». Оконное стекло, в которое тычется пчела. Яркое солнце над городом, а здесь промозглый холод. Там лента канала, кладбище, прилепившееся к холму. У Матильды отняли все.

IX

В пятницу на заре, сулившей жаркий день, спасательные бригады завершили подготовку. Утро выдалось светлое, какое-то праздничнобелое, как рассвет на лесной полянке, когда силуэты деревьев уже начинают выступать из опаловых глубин. Подобны тем деревьям были доменные печи, а люди, шагавшие по аллеям, походили на охотников, бредущих по укрытым туманом тропинкам. Так в заводских рассветах есть и образы леса, и зарождающиеся ароматы, которые, быть может, просто мечта, неясное стремление. Но бывает на заре такой час, когда даже металл хочет доказать, что он живой. Паутина росы на рельсах... желтый цветок на камнях балласта... порой оброненное пролетающим дроздом перышко — вот они, улыбки стальной пустыни.

Следовало бы посвятить рождению этих зорь музыку размеренную, но не торжественную, просто нежную и дружескую, под которой угадываются сдерживаемые слезы. Заводские рассветы, где сердца людей так близки тебе, где сама печаль вселяет бодрость.

В рассветном тумане над зеркалом вод доменные печи вздымают свои мачты — они как летучие корабли, ведомые капитаном-призраком. А там — будто сорочьи гнезда, прилепившиеся на головокружительной высоте,— платформы для сигнальщиков, откуда скоро увидят, как ящик с костями Давида пройдет в последний путь по посыпанной шлаком дороге, вьющейся между гигантскими стальными соснами.

Дарбонне, сварщик, направил огонь газового резака на облицовку корпуса печи. В качестве подручного к нему приставили молодого Флешена, парня лет девятнадцати. Оба действовали не спеша, оба привыкли к любым работам — на коммуникациях, на кранах и стройках.

— Не хорохорься ты раньше срока,— посоветовал Дарбонне.— Подожди, когда тебя призовут в армию, тогда и корячься, как акробат, раз уж ты собрался в парашютисты идти.

— Кто это тебе сказал, что я пойду в парашютисты? Я в танкисты пойду.

— Вот я все думаю, на кой хрен ты нужен в танковых частях. Разве что распиливать танки газовым резаком. Шел бы в парашютисты, хоть научился бы падать на голову с четвертого этажа и все равно остался бы таким же болваном, как сейчас.

— Ну, ладно, ладно,— отозвался Флешен,— во всяком случае, нам тут места хватит. И потом, какая разница — сверзишься ты с десяти метров или с сорока... А на сколько мы метров поднялись? На двадцать, на двадцать пять?

— Не знаю,— ответил Дарбонне.— Тебя не затем сюда послали, чтобы метры высчитывать. Ты Ксавьери знал?

— Да нет. По-моему, такой блондин, высокий...

— Все равно ты его сейчас не узнаешь, даже смотреть неприятно будет.

Треугольное отверстие, которое предстояло прорезать в броне, находилось на уровне газоприемника, одной из двух больших труб у вершины домны — так сходятся к сердцу легочные артерии. Дарбонне решил сделать разрез с таким расчетом, чтобы железный лист весом в сто килограммов не свалился, и он уже впаял в середину стенки большое кольцо, чтобы прицепить к нему крюк с талями.

Как глубоко в человека врастает рутина ремесла: Дарбонне с Фле-

шеном почти не думали о том, что сейчас они откроют дверцу колумбария. Резак плавил и отплевывался искрами, вокруг всей домны дождем разлетались желто-золотые брызги. Потом пришли каменщики. Они разобрали скрепленные раствором кирпичи футеровки — внутренней двойной кладки, сначала слой обыкновенных кирпичей, потом огнеупорных. Кроме этой брони имелся еще один огнеупорный слой.

— Пускай поишачат,— сказал Дарбонне.— А ты приготовься.

Они спустили вниз вырезанный лист железа, а сами остались рядом с листом, временно закрывавшим отверстие и сделанным по форме изгиба домны,— этот кусок они приварят, чтобы остановить тягу до прихода прокурора.

— А вдруг не там вырезали, где надо,— сказал Флешен.— Воображаю, какие морды будут у инженеров, если они промашку дали. От домны ничего не останется, хоть на утиль продавай.

— Не особенно-то обольщайся,— заметил Дарбонне,— они всю ночь голову ломали. Во всех окнах свет горел.

Военный совет собрался в помещении СГС, чтобы с наибольшей точностью определить по планам и фотографическим снимкам местонахождение тела. Председательствовать на совещании полагалось бы Гертингу, как начальнику доменного цеха. Но так сильно было безмолвное осуждение присутствовавших, что он невольно стушевался. Поэтому решение вынес Гутран. Водя карандашом по плану, он произнес:

— Вот здесь. Над газоприемником. Он упал на конус. Недалеко от стенки.

— На какой примерно высоте?

— Приблизительно метров двадцать, потому что шихта все-таки прошла. Ну, допустим, девятнадцать.

Фотографии переходили из рук в руки. Этот еле заметный треугольник между телом и стенкой был куском шихты в форме призмы, он-то и послужил причиной несчастного случая. И речи не может быть, чтобы его сдвинуть с места. Значит, придется подумать об обходном пути.

— Если отверстие пробить слишком далеко,— заметил Рюитц,— дело только осложнится. Бригады не смогут торчать перед отверстием до бесконечности. И к тому же под влиянием горячих газов тело превратится в прах. Что, по вашему мнению, Гутран, с ним станет?

— Обуглится. А форму сохранит. Я тоже не хочу подвергать людей лишней опасности. Но тут может быть только одно решение. Нет, господин Рюитц, пробивать отверстие следует именно здесь.

Никто толком не знал, когда приедет прокурор, но так как он мог появиться в любую минуту, его незримое присутствие как бы сковывало участников военного совета и бригады, работавшие высоко под небом. К полудню Дарбонне закрепил железный лист на проломе. Выше, на горловине домны, замазывали огнеупорной глиной листы железа, задерживая тягу. Труп по-прежнему лежал в конусе среди ядовитых газов и смол. Дарбонне снял респиратор, от которого на его лице остались ярко-красные полосы. Флешен ждал, что скажет товарищ, но тот молчал.

— Хочешь сигарету, Дарбонне?

— Сигарету, да ты что, спятил? Там полно гремучего газа. Я и так думал, все к черту взлетит.

— А все-таки,— настаивал Флешен,— ты его видел или нет?

— Ничего я не видел,— отрезал Дарбонне,— поди разгляди через респиратор. Видел что-то черное, и все.

И добавил, обращаясь к Флешену, который спускался по лестнице следом за ним:

— Вот ты скажешь, что все это я, мол, вообразил. Но мне показалось, Флешен, что я почуял запах. Ей-богу, не люблю я этого. Может, это быть, по-твоему, или нет?

Флешен не ответил. Они были уже далеко от стального склепа. Наверху завывал шквальный ветер. И, однако, Флешену тоже вдруг почудился запах мук.

X

Ольберг положил свою каску на письменный стол директора. Если бы не смерть Давида, он в жизни не позволил бы себе забыться до такой степени. Рюитц не увидел в этом жесте вызова.

— Садитесь,— предложил он Ольбергу. И хотя глаза мастера воспалились и покраснели, хотя он еле держался на ногах, он не воспользовался приглашением шефа.— Вы совсем измотались, Ольберг. Идите-ка лучше спать. Мы пока вполне обойдемся без вас.

— А если будут домну задувать?

— Ну, до этого далеко. Сначала нужно еще ее привести в порядок. Во всяком случае, мы зависим от прокурора, и без него не можем ничего решать.

— Не надо мешкать, господин Рюитц. Прикрывающая отверстие пластина держится только на пайке. Поток воздуха еще сильнее, чем мы думали, когда пробивали футеровку. А вы еще расширите отверстие. Боюсь, что кокс загорится.

Рюитц снял телефонную трубку.

— Барышня, есть какие-нибудь новости из прокуратуры?

— Я только что собиралась вам звонить, господин директор. Я сообщила прокурору, что все готово. Через двадцать минут он будет. Он просил вам передать, чтобы вы его дождались и без него тела не извлекали.

Рюитц повернулся к Ольбергу:

— Пойду подожду его в проходной. Хотите, я подброшу вас до Речных ворот?

— Спасибо, господин Рюитц, я на мотоцикле, а завтра он мне понадобится.

«Зачем только я отпустил его на мотоцикле? — думал Рюитц, ведя машину к Речным воротам.— Если верить Гутрану, то свидетели несчастного случая сами становятся жертвой другого несчастного случая... И готов пари держать, что Ольберг прихватил с собой еще и де Сантиса». Если бы только прокурор знал, что мысли директора «Прозидера» может занимать такой пустяк, как мотоцикл какого-то рабочего! Рюитцу вспомнилась фраза прокурора: «Здесь все необычно». Что он хотел этим сказать? Кабинет прокурора тоже не совсем обычное место. Туда вся мерзость стекается. «И с ней уж ничего не поделаешь»,— заключил про себя Рюитц.

«Интересно, что у него, у прокурора, за душой? Странный тип. Мы вполне могли бы вскрыть печь без него. Но все-таки лучше, чтобы он взял на себя ответственность. Он, должно быть, рад, что может отомстить заводу, хоть виду не подает. Интересно, чем завод перед ним провинился?»

Рюитц не осмеливался признаться даже самому себе, что в тайниках его души тоже шевелилась жившая еще с детства злобная радость школьника — свидетеля заварушки, нарушившей классную дисциплину. А ведь он любил свой завод, на заводе ему всегда было хорошо. Любил завод и ненавидел. Как-то раз он сказал госпоже Рюитц:

— Когда у меня выпадает свободная минута, я иду в конвертерный цех...

— Ох, эти конвертеры...— задумчиво протянула госпожа Рюитц.

— Да, Дениза, прихожу я туда сегодня после обеда...

— А я никогда их не видела, Жорж, ни разу.

— Знаю, знаю... Следовало тебя туда сводить, когда я еще не был директором, а сейчас уже невозможно. Послушай-ка, вот когда я выйду на пенсию, в последний раз обойду все цеха и тебя возьму, устроим, так сказать, прощальный банкет. Пойдем поглядим конвертеры. Это будет вполне естественно.

Вот что разъединяло Денизу и Жоржа Рюитцев. Вот что разъединяло директора завода и прокурора. А какой-нибудь неграмотный чернорабочий его понимал. «Эх, черт, эх, черт побери, до чего же красиво!» Так обычно говорили новички, попавшие впервые в цеха. Могущество человека, который, преодолевая свою слабость, мучается, создает вот такую чертову махину и потом одним движением пальца приводит ее в действие. Только короткий приказ — и в пасти груш конвертеров уже вскипает громовая буря, подобная той, что вызывает снаряд, пущенный с утеса в открытое море.

Машина прокурора замедлила ход, приближаясь к воротам.

— Въезжайте! — крикнул Рюитц шоферу.— Я поеду впереди.— Два автобуса на большой скорости катили к подножию домны-III.

— Вы, как видно, очень торопитесь, господин директор...

— Мы ждали вас, чтобы извлечь тело... Но времени нет. Осталось несколько минут.

Прокурор поглядел на бригаду, собравшуюся перед лёткой. Люди явно недоумевали: снимать каски перед правосудием или не снимать. Они посовещались взглядом и касок не сняли. Прокурор поднял глаза к вершине домны.

— Надеюсь, вы не собираетесь подниматься туда, господин прокурор?

— Странный вопрос! А зачем я, по-вашему, сюда явился? — Улыбка сморщила его тонкие губы...— Я поднялся бы еще выше, если бы потребовалось.

Рюитц стоял у подножия домны во время траурной церемонии, проходившей там, наверху. Он знал, как все это будет.

Кусочки припая, вылетающие из-под зубила. Канат, проскальзывающий в отверстие, а из горловины в это время бьет дым. Респираторы. «Не подходите слишком близко, господин прокурор»... Луч лампы в пещере. «Видишь его? Отойди, сейчас брать будем...» Почти на расстоянии вытянутой руки призрак, ломкая материя. «Да тише ты, черт, отойди чуток, сейчас возьмем». Лопату на длинной круглой металлической ручке подводят под останки, столь хрупкие, что они уже ломаются. «Да тише, тебе говорят! Заводи сюда, заводи!» Лист скользит, закрывая отверстие.

Кости Давида спустили вниз на одеяле. Ольберг принес под мышкой из столярной деревянный ящик.

— Господин судебный врач... Слово за вами. Это действительно останки человека?

Впрочем, прокурор не стал дожидаться ответа. Он направился к своей машине, Рюитц шагал с ним рядом.

— Все кончено, господин директор. Я вам порядком надоел. Нет, нет, не пытайтесь протестовать. Я вам надоел — это факт, и даже не давал достаточных объяснений... А теперь, если позволите, я тоже скажу несколько слов в свою защиту...

Рюитц молча склонил голову перед этим чужаком, который в течение трех дней подавлял его авторитетом власти.

— Я уже говорил вашему инженеру-доменщику. Я представляю здесь не обвинение, нет, а правосудие... равно необходимое всем нам. Так вот, если бы мы не обнаружили останков, пришлось бы юридическим порядком установить факт смерти, вести расследование, прибегать к свидетельским показаниям, обращаться с ходатайством в прокуратуру, больше того, не обошлось бы без вмешательства судебной палаты... Ничего не поделаешь, статья восемьдесят восьмая Гражданского кодекса категорически требует этого даже в тех случаях, когда факт смерти очевиден, но если тело не обнаружено и если его не представляется возможным опознать. Не я ее изобрел, эту статью. И к тому же, господин директор, я еще никогда не давал разрешения на погребение слитка. Никогда, понимаете, никогда! Говорят, что так делается. Не знаю, ни где это делается, ни как это делается. По-моему, это просто издевательство.

Он обвел взглядом территорию завода:

— А я, знаете ли, даже доволен, что слазил на вашу домну. Подъем мне еще по силам, и неплохо взглянуть на вещи сверху... Правда, я не особенно-то разбираюсь в вашем заводе, даже с высоты... И все же... Я понимаю, что завод слажен, как единый организм: целое и составные части. Не хотел бы я жить на вашем заводе, ох, не хотел бы! Но для меня он вроде свидетельства... Мне важны не бессемеровские печи.

— Сейчас бессемеровских печей уже нет, господин прокурор... Сейчас сталь делают с помощью кислорода...

— Как видите, я дальше сведений, полученных на школьной скамье, не пошел! Но это ничего в моих доводах не меняет. Я просто не мог допустить, чтобы ваша домна безнаказанно поглотила человека. Я обязан что-то сделать. Человек, даже мертвый, стоит того. Это оправдает ваш завод. Завод только тогда в своем праве, когда он неукоснительно выполняет все юридические формальности до единой. А иначе, господин директор, завод всех сожрет и вас тоже сожрет, только дай ему волю.

XI

О том, чтобы вручить Матильде белый деревянный ящик с останками Давида, и речи быть не могло, но и другого решения тоже принято не было. Уходя домой, Ольберг сказал Флешену: «Останься здесь с парнями. Лучше всего поставь его на стол к Рюитцу». Бригада не пожелала войти в директорский кабинет. Вошел один Флешен, с той непринужденностью, какая дается только молодым неведением. Он поставил ковчежец рядом с каской, которую забыл Ольберг. Вскоре Рюитц вернулся к себе.

В лучах полуденного солнца плясали пылинки, а директор стоял и смотрел на этот символический гроб.

— Вот и все,— сказал он вслух, хотя был один.

Он прошелся по комнате. Рюитц не впервые видел смерть, свыкся с нею — смерть на поле брани, смерть на заводе. Но нынче утром он как-то особенно остро ощутил бремя лет. Налетели воспоминания: алжирец, работавший на колошнике, исчез, очевидно тоже упал в домну. Свидетелей его гибели не оказалось. Товарищи просто обнаружили пустую тачку, и все. Тачку сфотографировали, как вещественное доказательство. Так фотографируют одежду утопленника на берегу реки.

— А теперь надо кончать,— пробормотал Рюитц.

В сионской ратуше секретарь мэрии, не мешкая, запишет в регистрационной книге: «Давид Ксавьери, скончался 21 июля 1951 года». Три строчки в книге живых и мертвых.

Помощник начальника отдела личного состава явился за приказом — новичок. Рюитц не успел еще запомнить его фамилию.

— Господин директор, можно вызывать родных?

— Подождите... Нет, я сам вызову госпожу Ксавьери. Но нужно привести в приличный вид...— Он показал на ящик и не окончил фразы.

Потом доложили о приходе Эскулена. Услышав его фамилию, Рюитц испытал сложное чувство, где в равной мере присутствовали досада и облегчение. Поединок с профессиональным союзом еще не окончился, но сейчас Рюитц был рад, что не останется один на один со смертью, со смертью Давида. Еще на пороге Эскулен снял кепку. Он сделал это ради Рюитца и ради ящика, с которого не спускал глаз.

— Мы просим разрешения,— начал он,— выставить останки в восьмой столовой, а не переносить их в похоронное бюро. Это устраивает всех. После смены или перед сменой каждый сможет зайти попрощаться с телом.

Восьмая столовая помещалась за оградой завода, напротив Транзитных ворот, и стояла на обширном пустыре, который еще совсем недавно расчистили бульдозеры. Скоро там вырастет новое помещение. Но пока столовка ютилась в здании барачного типа, длинном и низком, сложенном из листового железа и напоминавшем выброшенную на берег и перевернутую кверху брюхом баржу.

После обеденного перерыва товарищи позвонили в похоронное бюро и попросили прислать драпировки.

— Драпировки? В столовую? Это не положено: столовая не церковь, не частный дом... И к тому же у нас сейчас нет под рукой того, что вам нужно... Позвоните попозже...

Эскулен не стал настаивать. Матильду скоро известят, мешкать нельзя.

— Хорошо, обойдется и без их драпировок. Было бы о чем жалеть... Слушай, что я придумал. Вот вы да вы, сбегайте-ка к парням из «Дружбы шахтеров», к «Ветеранам войны» и в Общество, ведь они тоже будут на похоронах. Пусть-ка одолжат свои знамена, и нам ни перед кем обязываться не придется.

Они задрапировали стены и стол знаменами, где преобладал красный цвет и золото... По окончании вечерней смены началось прощание с телом. Под вой сирен бригады, как всегда, проходили через проходную. Но вместо того, чтобы смешаться с толпой, которая в этот час обычно расходилась отсюда по ста коммунам Сиона, они всей массой пересекали шоссе. Рабочие на ходу бросали в корзину вахтера свои бирки с номером. Потом велосипеды составили в ряд на голом пустыре, и перед столовой, превращенной в мавзолей, выросла очередь.

Эскулен всю ночь провел у тела. Он не узнал Матильды, когда она пришла с запозданием, примерно часов около одиннадцати — последняя смена уже начала расходиться. Он догадался, что это она, только когда заметил Рюитца, шагавшего позади вдовы в черном, наспех сооруженном траурном платье. «Ну, как?» — шепнул он. Больше он ничего не нашелся сказать. Она оглядывала, как чужая, суровую митинговую обстановку столовой, складки красной ткани над катафалком, где покоилось то, что было ее любовью, было всей ее жизнью. Она пожимала протянутые ей руки, проходя вдоль безмолвного кортежа.

— Я зайду к вам завтра,— сказал ей еще Эскулен.— Мы перевезем к вам тело.— И обернулся к Лорану:— Это ты, сынок? А ты здорово вырос. Смотри за мамой.

Лоран ничего не ответил. Он словно бы захмелел от этого приглушенного света, разлива алых, красных и пурпурных тонов, шарканья множества ног.

Мазера появился около шести часов, после ночной смены на электростанции. «Конечно, следовало бы мне попросить у них освобождение как делегату,— сказал он, как бы извиняясь,— да я совсем забыл. Не

хочу я ничем злоупотреблять. Если будет тяжба, не следует заранее давать повод к нападкам». Но какой длинной показалась ему дорога нынче утром на заре, еще не розовой, а зеленой. Сегодня он больше, чем обычно, походил на крестьянина из Галиции, вдвое против обычного прибавилось морщин, нос и тот стал вроде бы еще крупнее. Он так устал, что не слышал даже слов Эскулена:

— Да ты меня слышишь, Мазера? Я тебе говорю, не стоит тебе оставаться здесь до вечера.

— Я останусь, сколько выдержу.

— Вот увидишь, скоро дышать станет нечем.

— Ясно... И сейчас уже жарища.

Кто-то из стоявших у входа в столовую сказал, что следовало бы принести цветы. Солнце поднималось над горизонтом, и металлические швы барака начали потрескивать. Временами Мазера задремывал. По его шее струйками стекал пот. Он открывал глаза и, видимо, пытался понять, как и зачем он сюда попал.

Зной раскалял крышу, воздух, дрожащие волны его ходили вокруг столовой. А выше — обесцвеченное жарой небо.

До самой ночи они шли, шли тысячами. Мазера не видел их, он дремал стоя, чувствуя во рту противную горечь. Давид мертв, а на что положил он, Мазера, свою жизнь? Чего он ждал в течение полувека, даже больше? Профессиональный союз, да, конечно, профессиональный союз, далекий огонек, к которому он ведет других. Сколько приходится ждать, брести с посохом в руке, продолжать путь, говорить, слушать — слушать истины, исходящие от масс, от товарищей. Натыкаться на мрак и быть рядом со всеми, как ветер, который всегда рядом... Никем не пренебрегать и не забывать никого, даже призраков, возникающих во тьме: «Я был Давидом. Ты по-прежнему мой товарищ, Мазера? Знаешь ли ты меня? Чем ты оплатил мою смерть?» Так думал Мазера. Он не был мудрецом и не сумел бы объяснить, что такое царство станков. Но какое значение имеют машины, столь же равнодушные ко всему, как ночь, как море. Ничто не имеет значения, кроме человека, ибо человек незаменим.

XII

Аббат Жан Шейруз был один в столовой каноника Вишневски. Как обычно, каноник сразу же после обеда или завтрака удалялся к себе в спальню, и молодой викарий, стоя у окна, бездумно глядел на обнесенный оградой сад.

Он приехал в Сион полтора года назад, зимним вечером, прямо из семинарии. В тот вечер на сионском вокзале вышел один-единственный пассажир, и это был он. Викарий пересек пустынный сквер, разбитый перед зданием вокзала. Сухие ветки, сломанные вчерашней бурей, валялись на земле, трещали под ногой. Он много прочел, не раз беседовал со старшими священнослужителями, готовя себя к делу, ждавшему его здесь. И делал это так ревностно, что ему казалось, будто он уже заранее знал этот край. Но сейчас он глядел на длинные улицы, окутанные синим дымом, о котором ему так много говорили. А вскинув глаза, увидел ночь, подобно которой нет на всей земле. И понял, как велико было его незнание. С этой минуты он стал принадлежать «Прозидеру» душой и телом.

— Когда-то вы отучитесь удивляться,— шутил каноник.

— Наверное, никогда. Каждый вечер я прихожу к вам словно впервые.

Жан Шейруз был еще очень молод. Внимательный ученик, но отнюдь не склонный к меланхолии. До прибытия он много мечтал, но ясно

знал, что состояние благодати, экстаза не отменяет жестокой действительности, не освобождает от трудных объяснений.

Похороны сегодня после обеденного перерыва. Будут все. Викарий повторил вслух: все. Все религии, все, кто во что-то верит, пусть каждый по-своему. Сад каноника никогда не видел «Прозидера». Забор с трудом пропускал даже солнечные лучи. Не сад, садик. И росли здесь только тенелюбивые растения. Цветы были обречены на мороз и сажу.

Что он скажет сейчас людям «Прозидера»? Потому что надо что-то сказать. Но слова, они — ничто. Сгореть, умереть, тридцать тонн, пятьдесят тысяч франков — все это лишь слова. Завод — это мир, ключ от которого тебе никто не вручит заранее. Горе тем, кто не ходит на завод и кто думает при помощи слов! И какое великолепие, свидетельство какой силы эта еще никогда не слышанная музыка, нерасшифрованные регистры. «Ибо мы знаем, что вплоть до сего дня всякое творение стенает и мучится родовыми муками».

Мазера и Эскулен решили устроить похороны в воскресенье, чтобы собрать побольше народу. Но служащий похоронного бюро уперся:

— Я же вам сказал, что это невозможно. В понедельник — пожалуйста.

— Мы имеем право назначать любой день. Родные согласны. Это «Прозидер» хочет вас заставить устроить похороны в будний день?

— Да бросьте, господин Мазера! В воскресенье у меня не будет людей.

— Обойдемся и без них. Найдем желающих нести гроб.

В субботу в пять часов хозяин похоронного бюро наконец сдался:

— Вас предупредили, что у нас нет людей нести гроб?

— Его легко нести,— отрезал Эскулен.

Воскресная заря принесла с собой июньский дождь, мелкий, как пыль, и теплый — капли его испарялись, еще не долетев до земли. Потом снова началась жара. Гудронированные дороги вокруг «Прозидера» уходили прямо в зной. Небосвод со стороны канала преграждали цеха томасовской стали. Было воскресенье — и для неработающих бригад, и для колонны, вышедшей из цеха в защитных касках, с перепачканными лицами. Зато они успеют проводить тело.

Теперь Давид отойдет в землю. Гроб, заключавший в себе ящик с обугленными костями, поставили возле алтаря. Сбоку находился кованый чугунный аналой в виде орла с распростертыми крыльями. Только эта чугунная птица и свидетельствовала о могуществе стали в этом храме с голыми каменными стенами, сложенными еще в те времена, когда ветер равнины пролетал лишь над нивами.

Аббат Шейруз пересек хоры, приблизился к толпе, к самым первым ее рядам. Каждый сразу понял, что он хочет от имени всех сказать Давиду слова прощания. Но в Сионе не привился обычай говорить надгробное слово, и аббат решил поэтому не подыматься на кафедру. Лицо его все в красных и лиловых отсветах витража казалось еще более бледным, чем обычно. Ветви колючего кустарника толкались в цветной витраж, и в тишине было слышно, как они бьются и царапаются о стекло.

— Я не стану говорить о достоинствах Давида Ксавьери перед вами, знающими его лучше, чем я. И если говорю сейчас, то лишь затем, чтобы мы еще раз задумались, спросили себя, что соединило нас вокруг его праха, как сохранить его живым среди нас, ибо он в душах наших и наших молениях, а не здесь, под этими черными драпировками. Вы отвоевали его останки у завода. И сейчас мы проводим их до его могилы. Завтра, когда вы возьметесь за ваши привычные дела, вы вновь будете искать рядом с собой Давида и подчас будете спрашивать себя, не остался ли он узником стали.

Мы смотрим на завод, как он на него смотрел. И для нас завод тоже был бы источником отчаяния, если бы только могли такое слово произнести уста христианина. Нам он казался бы жестоким и мерзким. Однако вещи, как таковые, не бывают мерзкими — мерзость во взгляде, каким мы их видим.

Вы скажете, пожалуй, что мне легко говорить, ибо я не стоял с вами каждую ночь и каждый день у огня, спалившего Давида. Это правда, каждый человек живет своими страданиями, и ваши страдания — не мои. Я не стал бы вам это говорить, но я верю, что мученик заслуживает большего, чем простая жалость. Я пытался найти слова жалости, но только сейчас, стоя перед вами, понял, почему мне не дано их найти. Тот, кто любил Давида, может говорить о нем лишь словами славы.

Аббат растерянно замолк. Ну что ж, «Прозидер» его слышал. Мальчик из хора распахнул церковные врата. Предвечерний свет влился под своды, опережая траурную процессию.

XIII

Вот уже десять лет могильный холм, под которым покоится Давид, видит, как сменяются времена года на равнине, отданной стали. Много еще других могил выросло за это время на кладбище. Пришлось даже копать их по склону холма, хотя раньше хватало только его вершины. Землекопы срыли переднюю крутую часть холма, и второе кладбище постепенно подступило к берегам канала. Давид может вести счет отвалам, этим серым Этнам, видеть, как, пробиваясь сквозь дым, меняет оттенки солнечный свет,— он примирился с этим пейзажем, ставшим его судьбой.

Когда легкий до удивления гроб опустили в землю, речей не последовало. Было предусмотрено три выступления. Матильда так и не знала, почему директор, делегат заводского комитета и представитель профессионального союза одновременно отказались взять слово. Администрация опасалась инцидентов. Непроизвольного движения толпы, выкриков. Гертинг, главный инженер доменного цеха, не показывался. Значит, соглашение было достигнуто в последнюю минуту, и церемония похорон происходила в тишине под палящим душным солнцем.

После утренней смены сотни товарищей выстроились вдоль шоссе до самой церкви. Их ряды вышли за пределы города на дорогу, ведущую к кладбищу. Эти темные человеческие изгороди сомкнулись сразу же после панихиды, и колонна зашагала в послеобеденном зное, перешла через железнодорожные пути, каналы и стала взбираться на холм. Ветер пригибал траву, и по ней пробегали муаровые полосы. Аббат Шейруз шел перед катафалком. На склоне холма вдруг на землю упала тень кортежа, и вторая процессия фантастических очертаний зашагала сбоку похоронного шествия. В мирном небе Севера, как оглашенные, перекликались ласточки. Перед мостом дорога круто сворачивала вбок. Отсюда она шла над сталелитейным цехом. Там внизу продолжалась работа.

У входа на кладбище жалобно журчал фонтан. Вода бежала, осыпая брызгами решетку. На гребне стены разрослось какое-то растение, привычное к каменистой почве, и его сухие, как мох, ветки с лиловыми звездочками цветов свисали вниз. Люди приблизились к могиле — все, кто сумел протиснуться вперед. Матильда почти никого из них не знала. Возвращаясь с завода, Давид не вступал в длинные разговоры, и обычно его слова быстро превращались в монолог, прерывавшийся от усталости, но все-таки Матильде запомнилось несколько звучных имен. Товарищи Давида представлялись Матильде как некий строй теней на фоне Ассамеи.

Названия их профессий были начертаны золотыми буквами на лентах венков, которые возложили на могилу различные цеха: агломеративный, литейный, прокатный, электросталь, инструментальный, коксовый. От товарищей из цементного, паровой станции, службы станков, томасовской стали, мартеновского цеха, склада. И самая большая, самая алая — от доменного.

Этот венок несли два человека. Когда Эскулен и Мазера поднялись к могиле, подоспел шахтерский оркестр «Мелодия». Шахтеры пожелали воздать честь металлургам. Смерть Давида была небезразлична и для них тоже.

Музыканты в голубой суконной форме встали полукругом у могилы, лица у них были истощенные и торжественные, у всех — у тридцати- и у пятидесятилетних. Пронзительные ноты меди, смягчаясь, плыли к солнцу, старинная кантата, переложенная для духового оркестра: «Ближе к тебе, господи...» Ближе к тебе... В глубинах шахт их мертвецы спали в бездне, столь же бездонной, как бездны морские, где покоятся жертвы кораблекрушений.

XIV

Каждый вечер в половине десятого курьерский поезд огибает «Прозидер» с южной стороны. Вся картина пламени открывается разом, когда поезд подходит к вершине изогнутой линии ограды, отделяющей болота от заводских цехов. Состав подали четыре часа назад к вокзальному зданию из красного кирпича — в самом центре огромного металлургического бассейна. Начиная с равнины далекого Востока, где была подлинная родина Давида Ксавьери, начиная с серых северных морей, окна вагонов видели три главных металлургических центра трех различных стран. Сейчас тьма подчеркивает блеск огней металлургических комбинатов — ничего нет на темной земле, по которой бегут рельсы, кроме этих цехов. А там, ниже, у потухшего зеркала вод, огромный корабль — красные, зеленые, желтые светлячки,— новая домна-III, задутая семь лет назад.

Тут погиб Давид, но старая доменная печь перестала существовать, ибо стальные башни, перед которыми, казалось, бессильны века, стареют еще быстрее, чем люди. Приходится все время без остановки лечить язвы, которые гложут их кирпичное нутро, ежеминутно проверять их температуру, следить за их пищеварением и дыханием. Через пятнадцать лет службы стальной гигант выходит из моды. Тогда административный совет подписывает смертный приговор своему устаревшему рабу.

И домне-III суждено было простоять меньше, чем могиле Давида. Каменщики разобрали по частям стропила и балки, скрывавшие корпус — так болотная птица укрывает пучками камыша свое гнездо. Газовые резаки расчленили стальной кожух, затем разобрали кирпичи. Потом целых два года ничто не напомииало, что здесь некогда стояла печь, разве что груды шлака на литейной площадке и эта гора, вся в зеленых отблесках, рассказывали прибрежным пескам и ложу потоков о забытых подземных толчках, сопровождавших плавку.

Сейчас из новой доменной печи чугун течет прямо в ковши на тележках, и металл подается сразу к миксеру емкостью в полторы тысячи тонн. Но во времена Давида пассажиры курьерского поезда различали во мраке между рекой и каналами мозаику огней. Словно у подножия некоего портика, прямо на земле лежали ослепительно-яркие куски — как будто море фосфора, прежде чем отхлынуть от берега, заполнило собою все колеи. Это выдавала плавку домна-I, самая старая, работавшая по старинке, по уже не практикуемому сейчас методу.

Домна-III была все же оснащена лучше. Чугун тек в ковш, а затем кран подхватывал его и нес в соседний цех к разливочным машинам.

Пока шли похороны Давида, каменщики заделали брешь в облицовке из огнеупорного кирпича, затем сварщики сварили кожух. Домна стала выдавать чугун в понедельник в три часа пополудни. Бригаду горновых возглавлял Мори, так как дирекция предоставила Ольбергу отдых. Главный инженер цеха не показывался. Впрочем, Мори и не нуждался в нем. Десятки, если не сотни, раз он руководил разогревом домны и заранее знал, что плавка будет небольшая — от силы тонн тридцать пять.

Бригадир горновых глядел на красный ручей, стекавший в канаву. И не мог отделаться от тягостного чувства при мысли, что в бегущем металле есть какая-то частица Давида.

— Давид уходит,— заметил горновой Монкарра.— Теперь уж он окончательно нас покидает.

Может быть, это раскаленный воздух брал такую власть над людьми, может, он внушал им такие мысли? Из соседнего цеха их позвал Обас, отчаянно махая руками. Он бросил разливочную машину, за работой которой должен был наблюдать, и, шагнув к канаве, крикнул Мори:

— Это Давида несет в машину! Неужели же мы допустим?

Выпуск плавки закончился. Сверху из своей кабины крановщик опустил крюк, который захватывал ковш за цапфы, находящиеся на ободе. Затем передаточный кран провел под самой крышей цеха этот ковш и опустил его на подставку, состоящую из двух опор. Теперь оставалось только наклонить ковш к изложницам разливочной машины, которые двигались наподобие транспортера,— чушка за чушкой, пока не вытечет последняя капля металла, хранившая следы Давида.

— Не можем же мы допустить, чтобы плавка ушла с завода,— заявил Обас.

Мори спустился по металлической лесенке. Разумеется, вопрос следовало обсудить сразу же после похорон; но было воскресенье, и только когда все уже собрались расходиться по домам, выпала свободная минута.

— Сейчас сложно ставить этот вопрос. Я вполне с тобой согласен, Обас. Но в конце концов тело-то они выдали.

— Значит, по-твоему, пусть плавку отправляют?

— Послушай, Обас, о чем мы с тобой спорим? Я как раз настаивал, чтобы жене Давида выдали не слиток, а тело! Но ведь твоя машина дает тридцать пять тонн.

— Раз такое случается, плавка никогда не идет в продажу. Хоть это-то тебе известно, Мори?

— Сегодня плавку не отправят.

— А завтра уже поздно будет доказывать и спорить, если ты вывезешь маркированную плавку на склад. Завтра неделя со дня смерти, и профсоюзу уже будет трудно настаивать.

Под крышей изложницы с чугуном бежали друг за дружкой вплоть до охладителей. Там они исчезали в свистящем паре.

— Неважно, что плавка пойдет в машину,— сказал Обас.— Но эту партию чугуна надо отправить на склад без маркировки и не трогать ее. Пусть делегация нынче вечером или ночью пойдет поговорит с главным начальником экспедиции.

А там, где нет уже пара, затвердевшие чушки вываливаются одна за другой с грохотом на платформу, и постепенно звук падения стихает, подобно удаляющимся шагам или гудению замирающего колокола. Иной раз чушка, столкнувшись с другой, высекала искры, и куски чугуна, подпрыгивая и крутясь, падали в пыль. Их кристаллические изломы

блестели тысячью серебряных огоньков. И это тоже увековечит память о Давиде на земле, по которой он ходил,— пыль заводов, где все превращается в ржавчину, и люди и машины.

Прежде чем успеют вызвать делегатов, плавка Давида укатит на трех платформах на склад, где ей суждено стать партией металла под № 62 602. Обас попытался дозвониться в экспедицию по внутреннему телефону. Кто говорит? Он не узнал этот ледяной голос:

— На каком основании вы мне звоните?

— Это не господин Сен-Тюаль?

— Господина Сен-Тюаля вызвали к коммерческому директору. Могу передать.

— Мне хотелось бы поговорить с ним лично.

— Вы же понимаете, что это невозможно.

На платформе товарищи взялись за разгрузку. Время от времени поглядывая на двух стоявших в стороне мужчин, они медленно складывали чушки на землю. Сараз, молодой чернорабочий, подошел к их группе с шаблоном для маркировки в руке, на котором виднелось пять цифр, смазанных свинцовыми белилами. Обас появился возле грузчиков, когда чушки уже лежали грудой на земле. Сараз положил рядом шаблон и бесцельно стоял в стороне. Обас нагнулся, схватил шаблон:

— Дай-ка мне его, Сараз. Я поставлю номер. Пусть попробуют тронуть эту партию.

Брошенный шаблон с размаху ударился о рельсину и зарылся в пыль. На складе было еще много чугуна. Штабеля металла тянулись на полкилометра, а то и больше, чугунные пирамиды были как две капли воды похожи на те, что складывали сейчас товарищи Обаса. И цвета они были того же — то серые, то коричневые. Но эта партия все же отличалась от других. Обас с товарищами сложили чугунные чушки в форме мавзолея.

XV

Вокруг «Прозидера» выросли новые здания. Цех для прокатных станов, металлические корпуса, где ревел сжатый воздух и кислород, мостки, перекинутые через улицу. Под мостками к началу смены спешат люди, и повсюду сталь: у школьной парты, даже над колыбелью веет дыханием конвертеров. Спирали и лабиринты улиц теряются в джунглях металла, и повседневная жизнь, слезы, надежды и любовь вот-вот рухнут в пещеру циклопов. Кружится, кружится, скрипит ось в здании с сотнями окон — какой станок работает там? — но стены из стекла и бетона обошли стороной три квадратных метра садика, где вновь расцветает миндальное деревце. И дети здесь спят рядом с виселицами доменных печей.

Распахивается окно, пурпур огня волнами бьется в стекло, в проеме окна появляется женщина — она глядит на улицу. И высятся, высятся стены, они скрывают склад для чугунных чушек, могилу из металла, которую товарищи хранят только для одних себя.

Зажатый между цехами склад с каждым днем уменьшается в размерах. Завод сейчас свозит в крытые здания только прокат, они и так уже захватили все свободное пространство на заводской территории. Еще десять лет назад вокруг складов порта расстилалась равнина, сжатая со всех сторон, по всему полукружью небосвода, колоннами дыма. Лишь с трудом можно было различить бригады, разгружавшие вагонетки с чушками,— тех людей, что воздвигли мавзолей Давиду. Просто темные точки на линии горизонта, где-то там, на берегу каналов.

Они закончили работу. Отныне им принадлежит полторы тысячи чушек. Но победа не затуманила разума рабочих, и они вдруг почув-

ствовали усталость, будто все это они делали напрасно. Завод продолжал работу, а их была всего горстка, и этой горстке предстояло взять на свои плечи ответственность за всех.

— А ты думаешь, они устроили бы стачку?

— Конечно. Теперь уже поздно от нас отмежевываться.

— Все-таки чушки пойдут в свое время в сталелитейный.

Обас оглянулся, как будто призывая себе на подмогу легион защитников. Следовало бы замаркировать чугунную гробницу, поставить на ней знак, дабы охранить от осквернения. Но под руками было только ведро со свинцовыми белилами да кисть. Он послал Сараза за другим шаблоном и после минутного колебания вывел крупные буквы.

— По-моему, надо просто написать: «Друзья, помните!»

На квадратном основании три на три лежала груда чушек, остальные громоздились в виде пирамиды в пол человеческого роста, неплотно сложенной, с заметными просветами. Обас осторожно ступал по металлическим плитам, прикладывая к ним шаблон. Он нагибался жестом человека, убирающего могилу цветами, словно беззащитный мертвец действительно лежал там внизу.

— Вот что, ребята,— обратился Мори к своей бригаде,— командовать я вами не собираюсь, но за работу взяться все-таки не мешает. Идем?

Они пошли по дорожке, идущей вдоль рельсов подсобной железной дороги. Всего четверо, а может быть, и пятеро, в теплой пыли, въедающейся в кожу. Их ждала другая тележка на участке склада, называемого Н-7. И они были счастливы, что выполняют этот муравьиный труд, ибо в скором времени чернорабочих заменит магнитный кран. Пока что разгрузка тележек была их повседневной жизнью, а сложить из плиток чугунный мавзолей — не такой это подвиг... Надо сделать и сделали, вот и все!

И стоит ли ставить памятник товарищу или отцу, если через десять лет память о нем не будет столь же живой, как в первый день.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

Когда Сион сбрасывает с себя зимнюю одурь, когда в водах канала отражается молоденькая листва канадских тополей, «Прозидер» собирает своих бывших рабочих на банкет ветеранов. Тот, кому удалось дожить до этого дня, покидает свою фаянсовую печку и свой кофейник, гладит на прощание кота, свернувшегося клубком на стуле и безотказно мурлыкающего песенку все эти заснеженные недели и месяцы. Они толкнут дверь домика, как воскресший Лазарь плиту могильного склепа, и первым делом приложат руку щитком ко лбу, хороня глаза от вновь вернувшегося солнца. Это старый, привычный жест их, литейщиков, еще с тех времен, когда они слепли у пасти конвертеров.

И вот они, встретившись, пересчитывают друзей. Аллой не явился. Жуак тоже. И Браше нет. Тогда старики потупят голову, их берет раздумье, каким дышат воды равнины, безгласные воды, разделенные на сотни рукавов, знающие наизусть свои маршруты вокруг комбината, воды, которым надоело повторять истории человеческого терпения и горя. Но печаль тут же отступает — так глубока дружба, так вместительно сердце человека. Куда лучше радоваться вместе со своими седо-

усыми братьями и вместе с ними перебирать реликвии жизни, дабы обнаружить в них не один лишь пепел, но и алмаз юных лет.

Уже много раз со дня смерти Давида лето воскрешало жалкие цветы развалин, что растут вокруг цехов, в зловонных лужах и на дорожках, усыпанных шлаком. Иной раз два или три старика к концу обеда встанут из-за стола, побредут к неуклюжей пирамиде почти в рост человека, шириной в три-четыре шага, и там задумаются о прожитой жизни. Чушки, из которых сложена пирамида, уже успела съесть ржавчина. Сквозь них пробивается ежевика и шиповник. Стоят они молча, вслушиваясь в щебет ласточки, залетевшей сюда поведать заводским дымам, что вновь пришло лето. Их трясущиеся руки пусты. Они срывают в пыли цветы, занесенные сюда ветром, наперстянку с пурпурными колокольчиками, желтые бессмертники, венчики которых упорно не желают вянуть. А потом медленно бредут домой по залитым солнцем дорогам, по которым по-прежнему ходят их товарищи-рабочие, по которым ходят школьники и по которым ходят влюбленные. Жизнь не кончена, Давид, раз шагают еще бок о бок твои седовласые товарищи и парни, которым принадлежит завтра, шагают все вместе навстречу весне, как шагает любовь Севера.

Годовщина смерти Давида была как раз сегодня. Первая заговорила об этом с Лораном Клэр. Быть может, им следует вдвоем сходить на кладбище, раз он ей во всем доверился, а быть может, как раз ей-то и не следует туда ходить. Но она не могла сказать это прямо. Лоран не понял бы, какая отвага потребовалась бы Клэр, чтобы пойти на кладбище, или, вернее, в ее порыве он увидел бы лишь позу. И он вполне мог бы подумать, что она говорит это с целью намекнуть, что уже годы и годы он не приходит в этот день на кладбище.

Особенно же Клэр боялась встретиться у могилы с Матильдой — боялась, надеялась, она и сама не знала. Раз годовщина смерти пришлась на воскресенье, почему Матильда не попросила сына посидеть с ней дома хотя бы в этот день?

— Я слышал, как она ушла, было совсем рано. Часов шесть. Я еще не вставал, когда она вернулась.

— Она с тобой ни о чем не говорила?

— Нет. Она об этом никогда не говорит. Приготовила с вечера шляпу и траурную вуаль. Она всегда рано уходит, а вернувшись домой, снимает вуаль... Пойми, для матери я до сих пор еще ребенок, которому ничего не рассказывают.

Сказал он это равнодушным тоном. Но Клэр почувствовала, как внутри у нее все похолодело. Потерять мужа — значит остаться одинокой, и от этого одиночества может исцелить только ребенок, но есть еще черная траурная вуаль, которую хранят для себя, и сколько еще всего черного в жизни — справляйся сама.

Они шли по дороге, которая ведет к линии невысоких пригорков, окружающих Сион, и теряется вдали среди холмов. Там разбросано несколько хижин, забытых «Прозидером». Солнце стояло уже высоко, через зеленый свод над их головой сеялись тысячи светлых пятнышек. Далеко внизу дымились заводы, и сквозь этот кишевший движением и шумами мир шел напрямик канал. Его голубые воды текли среди желтых цветов. Канал был прям, как надежда всей жизни,— так уверенно и спокойно шел он своим путем под небесами, что, глядя на него, человек чувствовал, как на него нисходит покой.

Им тоже казалось сейчас, что их счастье столь незыблемо, как эта вода, которой нет ни конца, ни края, как это светлое лето, которому не суждено умереть.

— Значит, ты целый день не увидишь мамы?

— Нет, Клэр, она меня и не ждет.

— А ты точно уверен? Разве ты никогда не бывал с ней вместе, ну хотя бы за завтраком?

— Перед армией, да... А потом... Как-то уже в привычку вошло. Она, понимаешь, не посягает на мои воскресенья. После возвращения из армии не так-то много было воскресений, да и проходят они ужасно быстро.

Он подумал, что уже отдал Клэр больше половины своих воскресений с той поры, как стал свободным человеком. Уже? А куда девалась зима? Оказывается, было время, когда Клэр еще не существовала. Лоран мог бы поехать в тот вечер в Лимбург искать по танцулькам Клэр и не найти ее. Предположение почти невообразимое, и все же сама мысль испугала его.

— Раз ты, Лоран, можешь располагать собою целое воскресенье...

— Конечно, могу. А что?

Под его взглядом она запнулась:

— Значит, мы можем уехать в субботу вечером.

Он взял ее руку в свою:

— Как только захочешь.

— Давай уедем в будущую субботу.

— А куда?

— Недалеко, зато в настоящую деревню. В одно место, которое зовется Воремберг. Лимбуржцы иногда туда ездят. Раньше это было имение, но наследники превратили его в пансионат, чтобы поддерживать владение, так как оно неделимо. Это имение Люньи. Там есть парк, прекрасный пруд, а главное — далеко от шоссе. Настоящее царство зелени...

— А ты откуда знаешь?...

Тон, которым он произнес эти слова, был явно неприязненным. Клэр вскинула голову и посмотрела прямо в глаза Лорану.

— Я там никогда не была. Просто слышала от других.

— А ты там не встретишь... ваших друзей?

— Нет, ведь сейчас время летних отпусков.

Спускаясь с пригорка, они больше к этой теме не возвращались и молча брели по дороге между дубовых зарослей и орешины. Потом показалась река. За водохранилищем она разливалась озером; на краю длинной песчаной косы стоял рыбацкий ресторанчик.

Сидя за столиком, они могли видеть реку, бегущую посреди лугов. Она звала их к себе под вязы, и после завтрака они пошли послушать ее плеск, который манил их далеко-далеко, в заводи теней, где все лето пляшут на бегущих струях водяные паучки.

Когда они, наконец, оглянулись, ресторан был уже далеко позади. Клэр не захотела идти обратно.

— Подымемся на откос. Там рядом дорога, и мне будет легче идти.

Они вступили на тропинку, такую узкую, что с трудом могли шагать рядом. Клэр споткнулась о ком сухой глины и чуть не упала.

— Поддержи меня, Лоран. Слава богу, хоть ногу не подвернула. И голова у меня кружится. Сядь сюда, рядом со мной.

Они сели среди высокой травы, прижавшись друг к другу. Стрекозы с серебристо-голубыми крылышками взлетали от воды, описывали круг над их головой, и еще какие-то другие, поменьше — цвета закопченного стекла.

— Боюсь, что я выпила лишнего. Это ты меня споил. Нарочно.

— Нарочно? Что ты говоришь!..

— Не сердись. Я счастлива.

Из гущи стеблей и травинок шли тысячи звуков. Временами сверчок начинал распевать так близко, что казалось, вот-вот между двух травинок покажутся его усики.

— А ты, Лоран? Ты счастлив со мной? Скажи.

Ветерок обежал их вокруг, плотный, физически осязаемый. Все в этот день приобретало форму и вес. Если очень захотеть, думалось Клэр, можно сжать в ладони кусок небесной лазури, зной, пышущий от земли. Почувствовать биение жизни — так рука, касающаяся артерии, чувствует, как бьется, как бежит кровь.

— Скажи, что ты счастлив.

— Счастлив.

— Разве так говорят! Хочешь вернуться домой? Посмотри, какие цветы. А теперь слушай. Хотелось бы тебе подольше быть со мной на лугу вроде этого?

— Конечно хотелось бы. Но это трудно, Клэр.

— Нет, не трудно. Почему у тебя все трудно? Надо только взять и уехать, вот и все. Как другие. Когда у тебя будет отпуск, мы уедем куда глаза глядят. На неделю, на две или больше. Почему ты об этом сам не сказал? Чего ты боишься?

— Ничего не боюсь.

— Тогда, значит...— Она старательно подбирала слова,— короче: мне-то ты можешь сказать — это из-за денег?

— Нет, тут вопрос не в деньгах.

— Тогда в чем же? Вовсе не обязательно уезжать далеко. Поедем просто в деревню, лишь бы была вода, пруд, лес. А если захочется, будем каждый день перебираться на новое место. Или наоборот, осядем где-нибудь прочно, а утром будем уезжать, куда потянет. Ты же сам мне говорил, что любишь росистые утра...

У него даже голова закружилась. Первые брызги лиловой зари, соловей, замешкавшийся до утра, дымка — остаток ночи и Сен-Прива, как бы на дне колодца, где он даже успел разглядеть себя — школьника. Но Клэр сумеет отвратить заклятие прошлого. Проснуться рядом с Клэр в совсем иной жизни.

— Ты по-прежнему сердит на деревню?

— Нет, но я ее знаю... Деревня... Надо пожить в деревне, чтобы понять...

— Ты хочешь рассказать мне что-то грустное? Опять грустное?

— Нет, Клэр, не грустное. Послушай, тогда мне было всего лет восемь—десять, а теперь я понимаю... Я не деревенский житель. Хотя ничего другого я не видел, совсем не видел. Но вечера в деревне, когда все молчит, когда все так пустынно... А главное: твоя жизнь накрепко прикована к ней... Чувствуешь себя побежденным...

— Это в десять-то лет?

— Представь себе, да. Все, что можно понять в десять лет. Все, о чем можно догадаться... Охватывает страстное желание — не знаю, как лучше сказать,— желание бежать куда глаза глядят, как ты сама выразилась. Когда мы приехали в Сион, как ни трудно нам приходилось, я почувствовал себя счастливым.

Там, внизу их подслушивал ручеек, увлекая в своем течении опавшие листья, и они кружились среди хоровода водяных паучков.

— Но вовсе не это помеха нашему отъезду. Если я тебе не сразу ответил, то лишь потому, что удивился. Пока ты говорила, я думал. Я только-только возвращаюсь к нормальной жизни, вот и все. Это мои первые настоящие каникулы.

Он улыбнулся, как улыбался в свои добрые минуты. Клэр видела, что он спокоен, уверен в себе, уголок губ весело поднят, в голосе слышатся шутливые нотки.

Но когда Клэр подымалась с земли, опираясь на руку Лорана, она почувствовала, что рука эта дрожит.

II

Клэр была какая-то совсем другая, когда приехала за Лораном в следующую субботу. Они условились встретиться в кафе, расположенном в десяти шагах от завода. Услышав стук автомобильной дверцы, Лоран тут же догадался, что это Клэр, но не успел выйти ей навстречу. Она уже входила в кафе со словами:

— Ты готов?

У стойки толпились ребята. Они ухмыльнулись и зашушукались, искоса поглядывая на парочку. Но какой-то совсем молоденький парень, стоявший поодаль, не мог отвести от них глаз. Его заворожила не сама Клэр, не ее туалет и даже не ее машина у двери, а тот, ни на что не похожий, отличный от здешнего мир, дыхание которого она внесла с собой и который сказывался во всем,— он даже не сумел бы объяснить, в чем именно.

Очутившись на улице, Лоран не сдержался:

— Какая же ты красивая!

— Еще чего! — притворно-сердито ответила она, когда машина тронулась.— Такая же, как всегда.

— Нет, ты вся как-то светишься. Вот-вот упорхнешь.

Она ответила после недолгой паузы:

— Я и упорхну, только вместе с тобой — до завтрашнего вечера. Подумай, это же в первый раз, Лоран. Мы сами поглядим, так ли хорошо, как уверяют, поместье Люньи.

Держа баранку левой рукой, правую она положила на плечо Лорана.

— И вплоть до завтрашнего вечера никаких забот и тягот не существует. Пускай мир обходится без нас.

Как только они выехали из Сиона через Западную заставу, Лоран предупредил Клэр: «Будь на шоссе поосторожнее. Может занести машину». Больше он ничего не успел сказать. Клаксон «мерседеса» заставил их отклониться вправо, а слева их вихрем обогнал спортивный автомобиль. И вдруг в течение последующих десяти секунд все превратилось в кошмар. Так бывает в фильме, когда герой видит, как в безумном броске мчится чужая машина и ее никак не минуешь. Вся сцена была столь неправдоподобна, что Клэр с Лораном даже не успели испугаться. Однако на всю жизнь они запомнят тот короткий миг, когда дома справа и слева от обочины шоссе вдруг сдвинулись с места, а все вокруг завертелось. В зеркале вдруг промелькнул дрожащий указатель «Сион». А на переднее смотровое стекло набегал другой указатель «Скарбек» — до него оставалось тридцать шагов, потом двадцать, десять, и тут из-под крыла «мерседеса» вынырнул ребенок.

Раздались крики, какая-то женщина в окне придорожного домика отчаянно взвизгнула, и на тротуаре тоже закричали люди — с десяток прохожих. Ребенка даже не задело крылом. Тут только Лоран разглядел, что это совсем крохотная русая девчушка, двух или трех лет, ковылявшая к своей маме так поспешно, что походила она на струйку дыма, уносимую ветром.

— Ох,— вздохнул человек, сидевший за рулем «мерседеса»,— а я-то думал, что она уже пропала. Но что это за край такой? Даже не пойимаю, как это со мной произошло. Что они, шлак, что ли, в гудрон добавляют?

Прохожие, толпившиеся на тротуаре, подошли поближе. Но ребенок был цел и невредим. Игроки снова взялись за свои шары.

— Испугались, а? Вы ловко выправили машину, мадемуазель. Слава богу, я за рулем всегда начеку. Я превысил скорость, не спорю. Но здесь прямой отрезок дороги, так что я в своем праве.

Лет сорок пять, пятьдесят. Красивый мужчина, лицо еще совсем молодое, а волосы седые, тщательно приглаженные.

— Вот эти парни,— он движением подбородка показал на игроков в шары,— ох, и устроили бы они мне тарарам.

Он уже собрался идти к своей машине, но остановился и добавил:

— Между нами говоря, они могли бы присматривать за малышами. Так меня и подмывало закатить девчонке пощечину. Реакция! Я им, несчастным, зла не желаю. Но везде в таких местах нарываешься на это отродье.

Мать не выглянула больше из окошка. Только из дверей вышел старик и посмотрел на них издали. Потом он тоже удалился, а на его месте показался молодой мужчина в рубашке с расстегнутым воротничком, с бледным и опухшим от сна лицом. Он махнул Клэр и Лорану: подождите, мол.

— Я всего только час и успел поспать. Что случилось? Машину того типа занесло? Он уехал?

— Уехал,— ответил Лоран.

— Все-таки мог бы... Нельзя же в самом деле ребят на привязи держать. Вы сами поглядите, им и играть-то негде, разве что на обочине, а обочина шириной всего в три метра. Да и какие на таком воздухе игры.

Клэр никак не могла понять, чем, собственно, покрыто шоссе, что это за чешуйчатая смесь серо-черного цвета, утыканная какими-то белыми комками. За домиком, где жила семья девчушки, вдруг поднялся шквал искр, и воздух заскрипел на зубах, как плохо промытый салат.

— Мы здесь живем,— продолжал отец,— со дня свадьбы, скоро обещали построить новые здания на опушке леса. Там за забором — три конвертера. Выпускают газ, и даже искры на тротуар летят. Мы-то уж привыкли, хотя даже солнце и то с трудом пробивается. А вот ребятишки... Соседские уезжали куда-то на каникулы, так я их прямо не узнал, когда вернулись. Выросли, потолстели. Бьешься, бьешься, но все равно тебе отведено только три метра пыли.

Черный дождь продолжал сыпать с неба.

— Нынче суббота. Парни продувают конвертер, так как по воскресеньям цех не работает. Чем лучше его продуют, тем легче будет потом чистить. Вот сами увидите в одиннадцать часов.

В одиннадцать часов субботним вечером все окна и все ставни закроют наглухо, несмотря на жару в домишках, где ютятся дети бедняков, которые лезут под колеса «мерседеса». И двойные занавеси спустят в спальнях, хорошенько их расправят, чтобы не было щелей, потому что ночные огни пугают ребятишек.

Прежде чем тронуться в путь, Лоран и Клэр еще несколько минут молча сидели в машине. Лоран украдкой поглядывал на Клэр. Она была явно занята какими-то своими мыслями, лоб ее перерезала незнакомая Лорану морщинка. Должно быть, при выезде из Семезанжа она ошиблась и пропустила поворот на Люньи, так как вскоре они окончательно заблудились среди пашен. Клэр остановила машину на перекрестке двух проселочных дорог и прочла на придорожной тумбе, наполовину закрытой травой, которая густо лезла из канавы, названия поселков, выбитые прямо в камне: Фонтен-ле-Сеш, Ла-Гранж-Дидие.

— Ты слышал о таких? — спросила Клэр.

— По-моему, это название местности. Вернее, ферм, которые были здесь, пока не распахали землю и не засеяли пшеницей. Ты же сама видишь, что домов нет.

Они окликнули велосипедиста, хотя заметили над верхушками колосьев только его шляпу. Он катил по соседней дорожке, о существовании которой они и не подозревали. Велосипедист возник перед ними

сразу — словно Мефистофель из люка. Из-под одубевших от дождя и солнца полей фетровой шляпы выглядывало добродушное лицо, хотя в общем-то малый в своем головном уборе был похож на пугало.

— Если вам в Люньи, то это, наверно, не сюда. Сначала возьмите на Тизуайль, потом на Монберто, а потом на Воремберг, там сверните налево и все прямо и прямо по пригорку. Но советую лучше вернуться на шоссе.

В сумерках они не нашли ни Тизуайля, ни Монберто и не могли определить, где шоссейная магистраль.

— Вот что,— предложила Клэр,— садись-ка за руль и выведи нас отсюда. Нынче вечером мне что-то не по себе.

Она повернулась к Лорану и, прежде чем поменяться с ним местами, поцеловала его. Лоран вышел из машины и с минуту смотрел, как угасает день над бескрайним прибоем колосьев, волнуемых ветром, не долетавшим до них. Они тронулись дальше.

— Значит, Лоран, ты не знаешь этого района?

— В общем нет. Во всяком случае, этих мест не знаю.

— А куда ты раньше ходил? Прежде, чем мы познакомились?

— Ясно, в Лимбург. Или просто сидел в Сионе. А что мне прикажешь тут делать?

— Не знаю. Но я вот вспомнила твою маму. Она еще молодая. Сколько ей?

— Было двадцать, когда я родился. Я же тебе говорил.

Ответил он сухим тоном — возможно, потому, что вел машину прямо через луг, надеясь добраться до шоссе, и с трудом удерживал руль. Их качало, как на барже, среди пырея и полевых цветов, высовывавших из травы свои белые и розовато-лиловые венчики. Когда, наконец, они очутились на асфальтированном шоссе, машина, казалось, только что вышла победительницей в битве цветов.

— Воображаю, какого ты мнения о моих шоферских талантах. Я вел машину, как трактор, а она этого не любит.

— Да брось ты. То ли еще с ней будет.

— Я боялся наскочить на пень или на камень, чтобы не повредить машину.

— Если бы ты и повредил,— возразила Клэр,— я попросила бы купить мне новый автомобиль. Не думай о таких пустяках. И мы очень хорошо сделали, что проехали прямо через поле. Если бы ты только знал, какое это удовольствие — ехать напролом, как безумные. Ужасно приятно чувствовать, как кузов мнет траву. Мы были одни, будто в джунглях. А, знаешь, тебе страшно идет роль покорителя природы, ты был похож на дикаря. Вот увидишь, как мы будем счастливы на отдыхе.

У обочины шоссе надпись, намалеванная прямо на стене фермы, наконец-то указала им, в каком направлении поместье Люньи.

— А ты уверена...— Лоран запнулся,— уверена, что родители разрешат тебе поехать на машине, куда тебе вздумается?

— О, родители! Да они делают все, что я хочу! Всегда делали и будут делать.

— То есть как это?

Люди, которые шагали здесь по обочине шоссе, казалось, жили за тысячи километров от Сиона. Крестьяне в крестьянской одежде, с типичными крестьянскими лицами, однако и к ним лет через двадцать доберется сталь. Чуть подальше стояло каменное распятие рядом с низеньким домиком, а над дверью его красовалась надпись: «Да защитит меня господь! 1792 после Р. Х.». По фасаду вились остатки виноградных лоз. Лошадь, привязанная на лугу, ждала, когда за ней придет хозяйский мальчик и отведет в конюшню,— свет из окна конюшни падал на дорогу. Клэр прижалась к Лорану, уткнулась лицом во впадину его плеча. Он

чувствовал, как губы ее шевелятся близко-близко от его шеи, что-то шепчут. Совсем рядом вскрикнула ночная птица. Вот бы остаться здесь до рассвета, чувствуя щекой прикосновение волос Клэр, вдыхая их нежный аромат и животворящие запахи земли.

III

Парк, шлейф лунного света на пруду, круглая луна высоко над деревьями. Они сидели вдвоем на террасе, которая нависала над прогалинами мрака, над поросшими мхом ступенями. Клэр была права: пусть мир живет без них, живет своей жизнью. На один этот вечер их подлинным миром, их общей отчизной стал жаркий летний покой, дружеское молчание, натянутое, как сетка над головой, от ветви к ветви, все блаженство этой ночи.

— Идем?

Поднявшись, она сняла с волос Лорана пучок белого пуха, которым щедро одаряет прохожих созревший чертополох — «богородицины звездочки», как зовет его здешняя детвора. Пушинки порхали вокруг по воле дыхания ветерка, почти незаметного, так что даже пламя зеленой восковой свечи не колебалось и мирно освещало стол, тарелки: Клэр с Лораном как раз кончили ужин. Они — две слившиеся тени — пересекли террасу.

С балкона в их спальню лился пепельный свет и упирался прямоугольником в изножье кровати. Они лежали рядом, лицом к широко раскрытому в парк окну, в этом мертвенном лунном сиянии они ощущали жаркое, даже после заката, дыхание минувшего дня, и им казалось, будто они покоятся под пустым, сожженным зноем, небом. Вдалеке на шоссе рокотали машины — это начинался летний сезон.

— Опять машины,— проговорила Клэр,— так они и будут всю ночь катить к югу. Мне бы тоже хотелось ехать и ехать, как они. Никогда еще в жизни я им так не завидовала.

— Но ведь мы тоже поедем. Чего же ты им завидуешь?

— В каждой, или почти в каждой, машине сидит мужчина и смотрит, как фары освещают шоссе, и он ворчит, потому что мошкара облепила ветровое стекло, и даже брызгалка, даже «дворники» не помогают, и приходится останавливаться и протирать стекло. Он будит жену, которая уже задремала, и жалуется ей на проклятую мошкару. Настоящий мужчина. Скажи, ты способен меня разбудить, чтобы пожаловаться на мошкару? Ни разу я еще не видела, чтобы ты сердился по пустякам.

В окно пахнуло запахом пруда, потом повеяло острым ароматом, очевидно, гвоздики, и горечью сосен в парке, а может быть, это просто пахло воском от мебели. Жара смыкалась вокруг них, как волна, и они обнаруживали ее повсюду, натыкались на нее при каждом движении.

— Дай мне поговорить. И не отвечай. Мне хотелось бы, чтобы ты хоть изредка говорил мне какие-нибудь пустяки, чтобы ты рассердился. А ты заметил? Когда мы поднялись из-за стола, лампочки на деревьях сразу потухли, значит, кто-то за нами следил. И горничная нас ждала, только нас одних. Они дали нам эту комнату. По-моему, она в крыле дома, а его открывают только по субботам, пока публика еще не вся разъехалась на побережье. Смотри, это ведь не обычный гостиничный номер, а частные апартаменты. Они поместили нас сюда, чтобы нас не тревожили, потому что мы им понравились. И, однако ж, я уверена, что здесь есть еще свободные комнаты. На стоянке было всего машин пять.

— Я и не заметил,— признался Лоран.

— Ох, а меня ты хоть замечаешь? Я тебя вижу даже ночью, чувствую, где ты, вижу твои губы, глаза, чувствую тебя всего. И все-таки ты от меня ускользаешь. Разве ты не счастлив со мной?

— В тот вечер, когда я увидел тебя впервые — я тебе об этом не говорил, но все время думал,— вот с того вечера я начал тебя искать, словно я уже знал тебя давным-давно, всегда знал, и мне чудилось, будто я потерял что-то, что жило во мне. По-моему, я любил тебя уже тогда.

— Знаю, знаю, Лоран. А теперь нужно только одно, если, конечно, ты не хочешь, чтобы все кончилось: смотри на меня как на свою собственность, обращайся со мной, как обращаешься с людьми, к которым привык, будь со мной нежен, но не тревожься обо мне слишком. Я ведь часть твоей жизни, даже в обыденных делах. Особенно в обыденных. Неприятности... Трудности... Все, что не ладится и о чем никому не расскажешь. Разве это так уж сложно?

— Нет, не сложно, только никто мне не указал пути. Я взвалил на себя все. Вот ты сейчас говорила о мошкаре, а я бы взял и разогнал мошкару и никому об этом не сказал. А кому прикажешь говорить?

— От тебя зависит, чтобы с этой минуты все стало по-иному.

Там, под окном, первое дуновение ночи прошлось по листве, и она затрепетала. На краю крыши завозилась птица, но шелест ее крыльев тут же смолк. Потом запахло магнолией.

— Магнолии,— проговорила Клэр,— холодный и теплый запах, как корочка лимона. У цветов магнолии нежная кожа. Мне нравилось касаться их губами. Ты такой же нежный, как они. Ты блондин, но создан для солнца. Создан для свободы, и сам этого не знаешь. Создан для счастья.

Она положила руку ему на плечо, тихонечко покачала, как баюкают младенца. И он почувствовал, как коснулись его шеи волосы Клэр, такие холодные и жесткие, словно черные металлические кольца.

— Выбор за тобой. Я поговорю со своими. Можешь ты хоть раз в жизни сказать мне «да»?

Он не расслышал собственного ответа. Он уже был на шоссе, по пути к югу, среди длинной вереницы автомобилей, среди счастливых людей, которые катят через августовские луга, а рука жены лежит у них на плече.

IV

В понедельник вечером Лоран узнал об аресте убийц. Ему сообщил об этом Фернан Мазера.

— Да что с тобой? — спросил делегат.

Он только вошел следом за Лораном в проходную и еще не взял велосипеда. Лоран, как обычно, шел пешком.

— Я такой же, как и всегда,— ответил Лоран.— А как ты?

— Как и положено старикам.

Они вместе дошли до моста, и Мазера продолжал:

— Вот на этот раз ты и на самом деле исчез из поля зрения. Я даже думал, уж не уехал ли ты на «Прозидер-III».

— Не знаю, поеду ли я вообще туда. Мне еще не дали ответа.

— Никак не дождешься?

— И да и нет. Когда долго ждешь, сам уже не знаешь.

— Все так говорят, а уедешь, сразу нас забудешь.

Лоран открыл было рот, чтобы возразить, но Мазера продолжал все так же просто:

— Сколько тебе? Двадцать три? Значит, еще лет двадцать будешь молодым. А только после этих двадцати лет враги становятся друзьями, а друзья врагами.

— Ну, не всегда, Мазера, не всегда же.

— Это как сказать. Конечно, есть что-то, что не меняется. Например, неудачники. Этот класс исчезнет последним.

Потом добавил серьезным тоном:

— А ты знаешь, что убийцы Хосина Акенина арестованы?
— Нет, не знаю.
— Значит, тебе на все плевать? Уж и газеты читать перестал?
— Знаешь...
Они дошли до пригорода.
— Зайдем к нам, пообедаешь.
— А как же мать?
— Ничего, авось не подумает, что ты пропал без вести. Только, пожалуйста, не уверяй, что ты, мол, никогда не опаздываешь.

Жена Мазера — добродушная толстуха в сине-сером клетчатом фартуке так и сияла улыбкой под белоснежными волосами. Напротив обеденного стола висела целая галерея портретов — единственное украшение кухни,— и на всех фотографиях были изображены сыновья Мазера еще мальчиками, четыре кудрявых мальчугана. Но мальчикам сейчас уже перевалило за сорок, и каждый на голову перерос отца. Ни один не остался в черной металлургии: двое пошли работать на почту, двое — на железную дорогу.

— Коньяк пьешь?
— Нет.
— Значит, брезгуешь?
— Ну, тогда, пожалуйста, только чуточку.

Дядюшке Мазера необходимо было излить душу. Он осушил вторую рюмку и даже не заметил, что Лоран все еще медлит с первой.

— Все-таки сволочь они... Жалкая сволочь. Знаешь, кто убил араба? Четверо парнишек: Филипп Сомери, студент юридического факультета, потом какой-то Флётр, а двух остальных не запомнил, кажется, Оливезе и Бастелика. Один — клерк у нотариуса, другой содержит гараж. Самому молодому девятнадцать; самому старшему — двадцать шесть. А знаешь, за что убили? Ни за что. Они вышли из танцульки, но девушек себе не нашли. А на улице увидели, как девушки шутят с молодыми алжирцами. Ну, и рассвирепели. Надо тебе сказать, что эти типы только недавно сюда приехали со своими семьями, и можешь себе представить, что творится у них в голове. Короче, они случайно толкнули Хосина, который попался им на улице. Тот, возможно, огрызнулся. Они его стукнули. Хосин дал сдачу. Тогда один из них вытащил нож.

— Я видел тело,— сказал Лоран.— Как раз проходил мимо в то воскресенье вечером.

Мазера не обратил на его слова внимания. Он был целиком поглощен своими мыслями.

— По-твоему, гнусное преступление. Так его и изобразят. Кстати сказать, сейчас все эти стычки с арабами кончены. Но они все еще не унимаются, верно?

— Что же, Мазера, нужно делать?

— Делать? Да ничего. Во-первых, случилось это в Лимбурге. И потом, вспомни-ка, даже когда полицейские обрушивались на алжирцев, что мы говорили, что делали? Сидели тихонько, пусть себе идет как идет.

— Но сейчас-то, во всяком случае, это не политика.

— Ты так говоришь, а сам в это не веришь. И вот тебе доказательство. Полиция на всякий случай вызвала подмогу. Пойми ты, Лоран, что этим четырем типчикам именно физиономия Хосина ненавистна. Они терпеть не могут рабочих, терпеть не могут учителей, терпеть не могут профсоюзов, терпеть не могут интеллигенцию, даже священников — никому они не верят. А коммунистам тем более. Ну, и арабам, сам понимаешь. Их тянет с ними расправиться. Такие типы не перевелись. Правда, сейчас притаились. Но под спудом все кипит. Только дай подходящий случай.

— Просто немыслимо,— заметил Лоран.

— Представь, мыслимо. Никогда нельзя успокаиваться. Сейчас слишком быстро все забывают. И, знаешь, что меня пугает? Сегодня я слышал, как один парень — твой ровесник — говорил на Центральной: «Никогда им не будет покоя». И, заметь, Хосина он жалеет. Но о себе-то он что воображает? Ему даже в голову не приходит, что в глазах многих между ним и Хосином никакой разницы нет.

Было уже за полночь, когда Лоран вернулся в поселок. Матильда ждала его. Целые месяцы, даже годы, когда он приходил домой, мать уже лежала в постели. И сейчас, завидев ее бодрствующей, он обрадовался, он даже не предполагал, что ему будет так радостно. Он усмотрел в этом перст судьбы: значит, можно сообщить матери, что начинается новая жизнь, и слова, которые он так долго и мучительно искал, сами полились с его губ.

— Мама, я собираюсь жениться... Конечно, я еще не знаю даты, но все это должно произойти до моего отъезда на «Прозидер-III», чтобы я мог там получить квартиру. Скоро я познакомлю тебя с Клэр. Я не говорил тебе о ней раньше, потому что...

И в самом деле, что его удерживало? Кто-то невидимый, не переставая, шептал ему: «Подожди». А теперь ему оставалось сделать лишь шаг, сказать «да». Он видел ясно свое будущее. Вдруг он вспомнил слова Марселя Кареньона, служащего заводской конторы, который однажды сказал ему: «Как-то в Алжире я ехал по дороге, открытой со всех сторон. Было это около перевала, мне хотелось перевалить через хребет именно здесь, да я испугался».— «А что там было? Засада».— «Да нет, путь был свободен. Все было видно».— «Тогда что же, в сущности, произошло?».— «Да ничего не произошло, потому что я туда не поехал».— «Какую ты чепуху мелешь, Кареньон».— «Ты, конечно, прав, но даже сейчас я радуюсь, что туда не поехал».

Лоран отвезет Матильду в Лимбург, к родителям Клэр. А они, приедут ли они сюда? Поживем — увидим. Как раз в эту минуту завыли сирены.

— Уже два часа,— проговорила Матильда.

Но спать она не легла не потому, что Лоран задержался. Она протянула ему письмо.

— С завода прислали, принесли вечером.

— Да ты бы распечатала, мама.

— Нет, лучше уж ты сам открой.

— И ради этого ты меня ждешь!

Он опустил голову, вся его радость сразу померкла. Значит, он так и останется сыном тех, кто ждет от своих хозяев только дурных вестей,— нет, дело не только в этом, есть пропасть... Распечатывая письмо, он порвал конверт, потому что и ему тоже передалась тревога матери.

— Видишь, ничего особенного. Зря ты спать не легла. Это насчет прибавки.

— И ты называешь это «ничего особенного»?

— Об этом уже три месяца говорят, это в порядке вещей, все, кто вернулся из армии одновременно со мной, получают повышение.

И все-таки Лермит, заместитель начальника группы, мог бы сообщить ему об этом заранее. Господи, сколько людей, сколько окладов... Теперь выплачивают жалованье уже не конторщики; валики электронных машин в своем нутре учитывают все: фамилию, квалификацию, срок работы на заводе, семейное положение, сверхурочные часы, премии, прогулы, удержания, взносы. Карточки — синие, оранжевые, розовые, лиловые, с номером данной недели для тех, кто получает почасовую оплату. Сверхурочные, заработная плата.

Новичок, попавший на завод, не сразу разберется во всей этой механике. «А что, эту штуку подписывать нужно?» — «Держи ее при себе —

это твои деньги».— «А ты-то понимаешь, что к чему?».— «Понимаю, ты посмотри получше, вот в этой колонке — часы, а тут надбавка...» — «А эти дырки — они-то на что?» - - «Чтобы легче было сортировать карточки, ясно? Все, что ты заработал, и все, что у тебя удержали, составляет определенную комбинацию. Ты ведь здесь на заводе не первый и не последний. И кроме тебя люди есть...»

Восемьсот тысяч карточек в год и миллионы операций.

До сих пор Лоран помнил свою первую карточку с начисленной зарплатой. А до того времени приходилось жить на нищенскую пенсию, учиться и наконец-то — завод... Какой путь пройден за такой, в сущности, недолгий срок...

— Ложись-ка лучше, мама.

Завтра он снова поговорит с ней о Клэр. Потом, возможно, скажет Клэр, что получил повышение... Еще до начала следующего года Лоран станет конструктором. Тогда они смогут купить машину побольше, Клэр продаст свою. Но когда он поедет в Лимбург, вряд ли стоит показывать родителям Клэр электронные карточки заработной платы. Все их видели, но лучше все-таки не стоит.

V

Новое подкрепление преторианцев прибыло в Лимбург, но Лоран услышал об этом только в конце недели. Из Сиона он приехал поездом и ждал Клэр в большом кафе напротив Центрального вокзала. Клэр запаздывала. Было жарко. В этот воскресный день, уже клонившийся к закату, город был безлюден, и Лоран один сидел на террасе кафе «Метрополь».

Официант по собственному почину подал ему номер местной газеты.

— Возьмите-ка, все веселее будет ждать. Посмотрите отдел происшествий. Со вчерашнего дня уже тридцать несчастных случаев.

Лоран промолчал.

— Полиции не хватает...— добавил официант.

— Как так не хватает? А по-моему, ее чересчур много.

— У полиции уйма дел, мосье. Здесь что-то недоброе готовится. В газете, правда, не сказано, что именно. Возможно, стачка.

Слово «стачка» прозвучало в его устах, как «гражданская война».

Очевидно, снова те самые воинские части, которые вызывали во время весенних стачек в связи с убийством Хосина, подумал Лоран, вернулись в Лимбург, выполнив свою миссию где-нибудь в другом месте. Как знать? На заводском фронте все было спокойно.

— Не так-то уж спокойно,— стоял на своем официант,— в шахтах зашевелились.

— Сейчас, в разгар лета? Видно, вы больше в курсе дела, чем я.

— Откуда вам знать, мосье. Я не говорю уж о крестьянах.

— Ну, не здесь же!

— И в нашей округе тоже крестьяне перерезали дорогу.

«Я совсем оторвался от жизни,— подумал Лоран.— Даже нет времени прочесть газету, повидаться с парнями. А Клэр все не идет». Ему не хотелось прерывать разговора, тем более что одутловатое лицо официанта, на котором сочеталась угодливость и горькая усталость, и особенно его слова начинали брать за живое. Сколько ему лет? Пятьдесят? Можно дать и все шестьдесят. Лоран сурово бросил:

— Снова дубинки, которые ничего не решают. По-моему, в начале года их было больше чем достаточно. А как по-вашему? И для чего? Чтобы избивать рабочих-итальянцев, только потому что они похожи на арабов? А если даже это арабы?

— Кто-кто, а я их жалеть не стану,— ответил официант.

— Ого, вам пальца в рот не клади.

— Я, мосье, из Алжира вернулся. И, скажите на милость, что я сделал арабам? Вам хорошо говорить, но знать вы ничего не знаете. Я заслужил покой, а мне в мои годы пришлось приехать в вашу страну, где я хуже последнего араба. Я-то вот не могу бастовать, меня сразу вышвырнут на мостовую. Да бросьте, вы сами первый рады, что прибыла полиция.

Под передником обвисшее брюхо, лицо помятое, красные воспаленные веки, унылый вид. А слова его означали: «Нет на земле ни жалости, ни доброты, ни справедливости. Есть только один закон — закон силы... Все, кто приходит выпить стаканчик вина на террасу кафе «Метрополь» в ожидании своей подружки, тоже поборники силы, и все прочие, которым хочется спокойно прокатиться по воскресным дорогам. Им для счастья необходимы преторианцы и побежденные».

Неужели вот в этом вся истина и нет никакой иной? Будь официанту лет на тридцать меньше, Лоран, возможно, не сдержался бы. В эту минуту вошла Клэр. При ее появлении официант замолчал — возможно, из вежливости, а возможно, потому, что, щеголяя в переднике сорок с лишком лет, научился распознавать клиентов, с которыми не рекомендуется вступать в разговоры, даже поддакивать им не следует. Однако Лоран почувствовал, что горечь и жалобы официанта как-то сближают их, и это рассердило его, смутило. Быть может, именно об этом классе обездоленных и говорил Мазера. А когда обездоленные теряют всякую надежду договориться, они кличут полицию: пусть, мол, она решит их спор.

VI

Лоран не раз спрашивал себя, скоро ли проектное бюро предложит ему переехать на «Прозидер-III» или ему придется самому напомнить о своей кандидатуре через Лермита, их непосредственного начальника. Если Лоран будет слишком настаивать и торопить, Лермит, чего доброго, может обидеться, что его подчиненному не терпится поскорее уйти. Но в следующую среду Сувиньи, главный инженер группы, вызвал Лорана к себе в кабинет.

— Господин Лермит не выразил желания присутствовать при нашем разговоре,— начал Сувиньи.— Он очень сожалеет, что ему приходится с вами расстаться... Но тем не менее он дал согласие и очень за вас рад.

Лоран поблагодарил Сувиньи легким наклоном головы. Он не опасался Сувиньи, который за тридцать лет сумел завоевать уважение всего завода и даже, пожалуй, иное чувство, более теплое, чем просто уважение. Каждый с первого взгляда понимал, что в течение всей своей жизни начальник проектного бюро пытался убеждать, а не навязывать свое мнение. Но Лоран никогда не вступал с ним в разговоры и в душе чувствовал, что много еще воды утечет, прежде чем он научится держать себя как положено в присутствии такого человека, пусть даже совсем простого.

— Господин Лермит сам скажет вам, когда нужно будет ехать. Торопиться особенно некуда. Успеете еще привести в порядок свои личные дела. До конца года конструкторское бюро будет находиться здесь.

На стекле, покрывавшем письменный стол, стоял вместо пепельницы сосуд из какого-то шероховатого металла, вернее, это была ложка — сталь и серая окалина,— которую опускают в ковши с целью взять пробу из плавки. Сувиньи водрузил на стол эту ложку, ибо в его глазах она была прекрасна. Ему хотелось, чтобы в голом кабинете, где не было ни цветка, ни гравюры, находился какой-нибудь ощутимый символ завода.

В широко распахнутые окна виднелись цеха и небо, а окно, выходившее на север, круглый день пропускало ровный свет.

— Если не ошибаюсь, вы были в числе первых, просивших перевода?

— Да, мосье. Не знаю, был ли я первым. Но как только нам предложили перейти на «Прозидер-III», я сразу же подал заявление.

— Насколько мне известно, вы хорошо ладите с господином Лермитом. Значит, вам просто захотелось посмотреть, что представляет собой наш новый завод?

— Да. Но мне и в Сионе было неплохо.

Сувиньи было уже под шестьдесят, но выглядел он лет на десять моложе. Волосы его поседели, лоб был выпуклый, а взгляд усталый. Недаром он просмотрел сотни тысяч проектов. Нервные руки — скорее руки музыканта, чем инженера.

— Там, господин Ксавьери, для молодых людей вашего возраста есть шансы выдвинуться. Завод будет огромный. С полным циклом производства. Возможно, когда-нибудь откроем и механические цеха. Вам по душе работа конструктора оборудования?

— Мне по душе то, что я умею делать... Я бы никогда не мог сделать проект здания, весь архитектурный проект... Только отдельные детали... Но станки, оборудование, приборы...

— Ага, значит, речь идет как раз о механических конструкциях. Естественно, всей этой гаммы работ в металлургии нет, просто физически невозможно ее охватить. Но в ваших интересах остаться на «Прозидере».

— Я и не собираюсь уходить.

— А что... Словом, вы продолжаете учиться... У вас бывает ли... я хочу сказать, не чувствуете ли вы иной раз, что вам трудно? Что же вам мешает смотреть вперед?

— Отсутствие фундамента... Я все равно не смог бы догнать окончивших высшее учебное заведение. Например, по математике, не говоря уже о всем прочем.

— О, математика — это еще не все.

— Ну, как сказать.

Сувиньи был самоучка. Не совсем, конечно, потому что окончил инженерный институт, но не из лучших. Начал он свою карьеру на «Прозидере» в качестве простого чертежника. Но уже скоро в нем угадали тот пламень творца, которому и в жалком сарайчике ремесленника мерещится царство металлургии. Если бы к тому же он умел ворочать капиталами, он, несомненно, стал бы одним из тех, кто управляет людьми. Первые магнаты металлургии были из того же теста, но теперь...

— И однако, господин Ксавьери, вы уже немало сделали, чтобы вгрызться в математику. Я не говорю о вашей работе в бюро, это само собой разумеется... Но, по-моему, вы хотели продолжать учение? И, мне кажется, дело у вас идет на лад...

— Пытаюсь, господин Сувиньи... Делаю все, что в моих силах. Конечно, когда я был в армии, я отстал.

— Знаю, знаю. Но все-таки надо продолжать.

— Хорошо. Буду продолжать.

— Вот и прекрасно.

Улыбка на лице Сувиньи. Улыбка не просто начальника, а улыбка отца, обсуждающего с сыном-студентом дальнейшие планы учения.

— Я хочу вам задать один вопрос, так сказать, сверх программы. Зная ваш пыл... Вот что меня удивляет. Даже в двадцать три года трудно удержать в голове все эти уравнения, теоремы, особенно когда у человека только среднее техническое образование. Вы смело взялись за дело. Что же вас поддерживает?

— Не знаю, стоит ли об этом говорить...

— По-моему, стоит, поверьте.

— Так вот... В сущности, во всем этом есть что-то ребяческое. Я имею в виду побудительную причину...

Голос его окреп:

— ...Отец в свое время... Словом, однажды отец показал мне книгу. В ней была таблица элементарных форм интегралов — только и всего... В конце какого-то технического учебника... Но эти знаки его заинтриговали. Он мне сказал: «Хотел бы я быть ученым, но, надеюсь, рано или поздно ты во всем этом разберешься!» Конечно, это не единственная причина. Приходилось учиться так или иначе. Но это чувство меня не оставляет. Хотя университета оно не заменит.

Сувиньи даже не улыбался.

— Как знать! — сказал он.

Вечером, когда Лоран возвратился в поселок, еще на пороге дома он услыхал голоса и остановился. «Опять эта Элиза,—подумалось ему.— вот уж действительно не вовремя». Но в гостях у матери была вовсе не жена железнодорожника Кюври. Еще не открыв двери в столовую, он узнал голос Франс-Элизабет Мольян. Она сидела напротив Матильды у полуоткрытого окна.

— Пришла с вами попрощаться,— сказала Франс.— Завтра уезжаю на «Прозидер-III».

— Завтра?

Больше Лоран не нашелся, что сказать. Ему показалось, будто он лишается чего-то. С Франс он в последнее время не виделся, никогда не замечал ее отсутствия, но сейчас вдруг понял, что остающиеся испытывают чувство поражения, глядя на уезжающих.

— Ты не говорила, что так скоро уезжаешь. Завтра непременно пойду провожу тебя на вокзал.

— Отец поможет мне донести чемоданы.

— Пусть помогает. Я все равно приду.

— Не сможешь. Я уезжаю четырехчасовым поездом.

— А-а!

Во время их разговора Матильда упорно молчала. Лоран догадался, что приход его нарушил беседу женщин и что он здесь лишний. Он так и не сел и смущенно переминался с ноги на ногу.

— Тогда увидимся на «Прозидере-III». Я как раз хотел сказать маме, что Сувиньи меня тоже туда посылает. Приеду месяца через два-три, а может, и раньше.

— Ого, два-три месяца...

— А знаешь, Франс, тебе, видно, нелегко расставаться с родными, что-то вид у тебя грустный. А ведь погода стоит прекрасная. Хоть морем попользуешься.

— Скоро, да будет тебе известно, осень.

— Тогда, значит, увидимся осенью.

— Ну, это еще как сказать.

Он взглянул на Франс, стараясь понять, что же в ней изменилось. То же лицо, тот же голос, а вот сама Франс-Элизабет какая-то совсем другая.

— Да, ко мне братья приехали... Пьера поставили во главе всех бригад у них на заводе на Луаре. Он уже купил там участок земли, хочет строиться. А Жоржа назначили директором школы, тоже оттуда недалеко. Папа у нас старенький, жить порознь нам уже нельзя.

— А как же твое место, Франс? Твоя работа на «Прозидере»? Тебе ведь она нравилась.

— Пьер говорит, что он устроит меня у них.

— Ты же никогда в жизни не работала у мелкого хозяйчика! Поверь мне, это совсем другое дело.

— Лоран,— перебила сына Матильда,— зачем ты вмешиваешься в чужие дела?

Лоран не ответил матери.

— Неужели ты так обожаешь центральную Францию? Ничего там хорошего нет.

— Там леса, пруды.

— Леса, пруды! Да когда ты будешь видеть свои леса и пруды? И ты возьмешь и бросишь так, ни с того ни с сего, «Прозидер»?

— Завод и без меня будет работать. Я, слава богу, с «Прозидером» не обручилась.

Она уже говорила в прошедшем времени. Досада Лорана улеглась, уступив место горечи.

— Ты добивалась, чтобы тебя перевели на «Прозидер-III», а сама хочешь все бросить... Так не делают, Франс! Все вы, девушки, одинаковые!

— Одинаковые? Чем? Может, соблаговолишь объяснить?

— Неужели ты отца одного оставишь?

— Как раз потому, что я не хочу его оставлять одного... Все равно придется, когда я выйду замуж...

— Ты выходишь замуж?

Франс расхохоталась:

— А как же! Дом мы продадим. Хочешь не хочешь, а придется. А в центральной Франции не так уж скучно, как ты воображаешь. У Жоржа куча товарищей, я к нему уже три раза в отпуск ездила... Но в конце концов дело не в том. У меня еще будет время оглядеться.

И она добавила совсем иным тоном:

— Хватит строить планы и говорить обо мне. А что ты сам намерен делать? Знай, что ты в любой момент можешь приехать ко мне в Солонь.

— Я буду на заводе. Вспоминай нас иногда, если у тебя в Солони найдется свободная минута.

VII

В течение недели с лишним стояла пасмурная погода. Сион задыхался под низким небом, которое не могли отмыть даже летние грозы. Уже дважды Клэр собиралась попросить родителей принять в воскресенье Лорана. Но Боэны сначала укатили с пятницы до понедельника на свадьбу племянника, а в следующее воскресенье собирались уехать, чтобы договориться о покупке поместья, которое им предложили в Нормандии.

Каждый вечер Лоран звонил Клэр в больницу. Он не решался позвонить ей домой, хотя она никогда ему открыто этого не запрещала. Впрочем, из своего кабинета она вольна была говорить по телефону сколько и когда угодно, и Лоран даже завидовал такой свободе, какую «Прозидер» предоставлял разве что самым крупным своим работникам.

— Папа и мама сказали, что вряд ли они вернутся раньше вторника. Хочешь, воспользуемся случаем и снова заглянем в Люньи?

Голос Клэр в телефоне был даже приятнее, чем в жизни. Иной раз помимо воли в голосе ее прорывались властные нотки, а разделенная проводом, она была вся нежность, вся покорность, как будто то обстоятельство, что она далеко и невидима, позволяло ей внезапно обнаруживать скрытую свою сущность. Голос, в один миг уничтожающий то, что являл собою Сион. Только одно смущало Лорана — погода.

— Ну и что,— решила наконец Клэр,— парк под дождем будет еще красивее. Я за тобой заеду.

— Как в прошлый раз?

— Да, как в прошлый раз.

На свидание она явилась позже назначенного срока. Лоран уже вышел из кафе и поджидал ее на тротуаре.

— Ага! Никак не дождешься!

— Я беспокоился. Ты вечно превышаешь скорость, я тебе это сотни раз говорил.

— Неправда. И вот тебе доказательство: мое опоздание. А ну торопись, нам еще ехать и ехать.

Она ловко вела машину через предместье, и свисток остановил ее прежде, чем она успела разглядеть полицейский пост у предместья Сен-Венсан. К машине подошел полицейский, рыжий, еще молодой, явно гордившийся своими красиво подстриженными усиками.

— Ваши документы, мадемуазель. Вы разве не видели полицейского поста?

— Я увидела сигнал,— ответила Клэр,— но не сразу поняла, что это такое.

Полицейский напранно нахмурился, однако даже это не согнало с его лица благодушно-заносчивого выражения, которое почему-то разозлило Лорана.

— Не поняли?

— По правде говоря, нет, я впервые вижу полицейский пост.

— Ах, так! Значит, вы недавно водите машину! Впрочем, это и видно из ваших прав. Время от времени мы устанавливаем контроль за движением, понятно? Хочешь не хочешь, приходится.

Он вернул документы Клэр.

— Все в порядке. Но помните: следует останавливаться сразу же, как только заметите полицейский пост. Не забудьте об этом в следующий раз.

— В следующий? — повторил Лоран. — Надеюсь, сегодня вечером не все дороги перекрыты.

— А с вами я не разговаривал.

Полицейский не повысил тона. В агрессивности его нельзя было обвинить. К тому же он понимал, что Лоран шутит. Но в присутствии Клэр полицейский был не прочь сбить спесь с этого юнца хорошо рассчитанным щелчком. Лоран сдержался.

— Ну, если все в порядке, тогда едем. Мы торопимся.

— Торопитесь? — проговорил полицейский.— А вот я не тороплюсь. Предъявите-ка ваши документы.

Их взгляды встретились.

— Чудесно,— сказал Лоран.— Вы, как я вижу, рьяный служака.

— Служака или нет, я должен знать, кто вы такой.

Он повернул удостоверение личности так, чтобы на него падал свет фонаря, словно с трудом разбирая по печатанному:

— Кса... Ксавьери — «в» или «б»? Это ваша фамилия?

— Да, моя фамилия. А также фамилия моего отца.

— Если вам хочется острить, тогда и я тоже пошучу. Вэнтакс!

— Слушаю!

Подошел второй полицейский.

— А ну-ка, сведи эту парочку в комиссариат. Они не пожелали остановиться, да еще и спорят.

Впервые в жизни Клэр очутилась в стенах полицейского участка.

— Не лучше ли, по-твоему, было промолчать?

— Но я же ничего такого не сказал! Обыкновенная придирка.

— Послушай, Лоран, ты повсюду видишь придирки. Поверь мне. Они просто делают свое дело.

На том конце черной деревянной скамейки сидела бродяжка. Она напевала что-то, уронив седую голову на грудь, где, казалось, уже образовалась вмятина, как на подушке, когда на ней долго спят. Чуть подальше сидело трое каких-то мужчин с неистово-горящими глазами, они о чем-то вполголоса переругивались.

— Если бы папа увидел меня здесь...

— Сюда многие приходят, Клэр. Приводят людей, которые ровно ничего не сделали. Понимаешь?

— Да, но все-таки...

Пол был покрыт бело-черным пластиком, а стены коридора — серым лаком поверх коричневой краски, проступавшей местами. Однако даже это не могло скрасить грустного и отталкивающего впечатления, которое производил участок.

— Видишь,— сказал Лоран,— когда ждешь вот так, сам не зная чего, то обнаруживаешь оборотную сторону медали. Я понимаю, тебе не нравится, когда я так говорю.

Помощник комиссара жестом руки пригласил их в свой кабинет.

— Я вас заставил подождать. Присядьте, мадемуазель. Вы живете в Лимбурге? А вы, мосье, в Сионе? Наши люди несколько перестарались. И не из-за стачек. Но тут недалеко граница. Какая-то машина прорвалась через заставу дней десять назад, были раненые.

Он поднялся.

— Можете идти. И не надо на нас обижаться.

Помощник комиссара посторонился, пропуская Клэр, и открыл перед ней дверь. Она шла так быстро, что Лоран догнал ее только у поворота коридора.

Они не проехали от Сиона и пяти-шести километров, как Клэр остановила машину у заправочной колонки. Лоран вышел расплатиться. Он заметил, что бак почти полон, но притворился, будто ничего не видит. Он сел рядом с Клэр, но она молчала, и только когда заправщик кончил протирать ветровое стекло, сказала:

— Мне расхотелось ехать в Люньи.

— Как угодно.

— Можем пообедать в Сионе. Как...

Она не добавила: «как в первый раз». Лоран подхватил:

— Или в Лимбурге? Хочешь?

— Давай в Лимбурге. Там больше выбор.

Она вырулила машину на шоссе. Они неслись одни минут двадцать по пустынной магистрали. И оба были рады, что эта бешеная скорость, когда они словно падали по длинной дорожке, освещенной фарами,— так камень падает по вертикали в колодец,— хоть и отделила их друг от друга, зато разогнала злые чары нынешнего вечера. В Лимбурге Клэр долго не могла пристроить машину. Они побрели по бульварам в поисках ресторана. Туристские автобусы заполнили весь город, и везде было людно. Через четверть часа они наконец нашли свободное место на террасе, освещенной стеклянными шарами, развешанными на деревьях.

— Лоран...

С ее лица уже сошло сердитое выражение, как недавно в машине. Теперь лицо Клэр было печально, и она любила Лорана, хотя в глубине души боролась сама с собой и знала, что он не сумеет объяснить причины этой внутренней борьбы.

— Давай забудем об этом. Лучше подумай, когда ты придешь к нам. Сегодня вечером мне что-то не по себе. И надо же было случиться такой идиотской истории...

— Послушай, Клэр, ты на меня сердишься за то, что я заговорил с полицейским? Да?

— Нет, нет, все утряслось... Но я обозлилась. Чего он к нам привязался?

— Ко мне, ты хочешь сказать. Из-за меня ведь это вышло.

— Видишь ли, мне кажется, что в жизни надо спокойно идти своим путем, и такие вещи не будут случаться. Надо. А тем более надо будет...

Словом, когда человек живет в мире с собой, с другими, вполне можно избежать различных недоразумений, каковы бы они ни были.

— Нет!

Клэр вздрогнула.

— Нет! Вопрос в том, как избежать. Пусть даже на тысячу человек попадется один, которому, видите ли, вожжа под хвост попала, но ты-то находишься от него в зависимости.

— Знаю. Но не в твоей власти уничтожить полицию. Она делает свое дело. Неужели ты воображаешь, что им весело разыгрывать из себя каких-то пугал? Посмотри на комиссара. Он вел себя безупречно.

— С тобой, Клэр, только с тобой...

Туристы шумно требовали пива, от столика к столику перелетали взрывы смеха... По тротуару прошла группа дочерна загорелых мужчин. Они тоже смеялись, но иначе, чем туристы,— негромким, почти беззвучным смехом.

— Нет, и с тобой тоже, Лоран... Раз уж сегодня такой вечер, вечер горьких истин... Давай забудем все это... Ты видишь врага в каждом человеке, носящем форму.

— Нет, дело тут не в форме. Какой же враг, скажем, солдат, которого призвали, как и всех прочих, в армию. Но вот полицейские не удовлетворяются ролью обыкновенных граждан. У них стиль усмирителей. Разве ты можешь представить себе, чтобы я избивал дубинкой забастовщиков или виноградарей? И к тому же...

На противоположной стороне улицы вывеска на крыше дома, рекламирующая марку пива, потухла. Фонари, висевшие на деревьях, стали заметнее. Под их светом листва ярко зазеленела. Ветви тихонько раскачивались по прихоти холодного ветерка, залетевшего и сюда на террасу. Тут они увидели, как вдоль улицы, ни на кого не глядя, шагает патруль с автоматами у бедра.

— Видишь? Зла они никому не делают. Но зачем они здесь? Кто им угрожает? Никто. Они здесь даже не затем, чтобы устрашать. Они здесь затем, чтобы напомнить кому следует: ведите себя хорошо, а не то...

— А ты не думаешь, что это... предубеждение?

И снова эта ее глухота.

Внезапно в его памяти всплыли годы, проведенные в Сен-Прива, и он подумал о матери, которая сейчас спит, одна в их квартире.

— Возможно... Да, везде есть люди, которые испытывают страх, желание спрятаться... А почему? По десяткам причин... Значит, надо, чтобы они боялись, чтобы чувствовали себя виноватыми... Иначе все застопорится... Нужны люди, с которыми можно обращаться как с детьми. Клэр, мне очень, очень важно, чтобы ты это поняла, чтобы ты поняла мои доводы...

Он явно раздражал ее. Она протянула ему через столик руку:

— Главное, забудь. И не надо об этом больше говорить.

VIII

Небо все плотнее затягивало тучами, пока они кончали обед, а туристы ушли. Вскоре Клэр с Лораном остались на террасе одни. Из вестибюля до них доносились голоса какой-то парочки, требовавшей свои пальто, и Лоран вспомнил, что Клэр тоже оставила в гардеробе плащ.

— Тебе не холодно? Хочешь, я принесу тебе плащ?

— Посиди со мной. Сейчас я позову гарсона.

Им хотелось быть вместе, как будто даже общее молчание помогало разрушить злые чары, омрачившие их сегодняшний вечер. Лоран жалел,

что не настоял на поездке в Люньи, когда было еще не поздно. К чему эта вечная гордость — ведь сама Клэр предложила туда ехать. И там в парке он мог бы с ней поговорить о «Прозидере-III», а здесь это просто не получится.

С первых же дней их знакомства Клэр знала, что Лоран просил перевода на новый завод, но она как-то никогда не связывала его отъезд с окончательной разлукой, и он только сейчас об этом догадался. Он понимал, что она не хочет ни о чем его расспрашивать, что она стремится сохранить их близость и откладывает расспросы на потом, когда все будет улажено.

Конечно, она предпочитает разрыв с Сионом, который одновременно был бы разрывом и с Лимбургом. Но сегодня пришло время объясниться. Очевидно, родители Клэр спросят: «К чему уезжать уже сейчас?» Ни за что на свете он не открыл бы им всей правды, да и самому себе он признавался в ней лишь наполовину:

«Я переезжаю туда не потому, что мне будут больше платить, но потому, что там я стану работать на более современно оборудованном заводе. В моей работе ничего, в сущности, не изменится, будь завод больше, будь он меньше, но там начинается новый мир, и пусть он берет меня таким, каков я есть, с моей семьей, с моими воспоминаниями, какие они есть. Это новая земля, где главное не то, каков ты, а то, что ты умеешь делать».

Однако требуется еще что-то, кроме только что возведенных стен и свежей покраски, чтобы сблизить людей между собой. Неважно, что именно,— все годится, лишь бы начать думать по-новому.

Пошел дождь, и Клэр вздрогнула.

— Я тебя провожу.

— А ты?

— Я поеду поездом.

Клэр запротестовала, но как-то вяло.

— Нам ведь спешить некуда.

Машину она оставила на стоянке. Они шли сначала по бульвару, потом забрели в скверик, где над листвой бодрствовали зелено-голубые фонари, такие же, как у террасы ресторана. Сеял дождь, но такой мелкий, что ветки над их головой почти не шевелились.

— Этот сквер...— проговорил Лоран.— Он напоминает мне тот вечер, когда я увидел тебя в первый раз, тогда тоже был такой же дождь, как сегодня.

Она слушала его с грустной улыбкой.

— Ты говоришь так, словно все это было давным-давно.

— Нет, не давно, у меня всегда перед глазами и тот вечер, и улицы, и скверы, когда я шел к поезду. И я проходил мимо такого же сада, как этот. Возможно, даже мимо этого. Было уже поздно. В тот вечер...

Он чуть было не сказал: «вечер убийства» — и замолк.

Дождь припустил, и теперь уже деревья бессильны были дать им приют. Они отправились на поиски арки или подворотни, и, пока пережидали ливень, память об их первой встрече волнами накатывала на него — тот же дождь, та же тишина вокруг.

Они направились к Центральному вокзалу. По внешнему облику улиц чувствовалось, что уже начинается предместье. Шаги Клэр и Лорана были единственным звуком ночи, да еще журчала вода, катя по канавкам, стучала, падая на покатые крыши, и тут же ее уносил порыв ветра.

На углу небольшой площади они увидели человека в форме. Лоран невольно замедлил шаги, ему стало неприятно, что в последние минуты их сегодняшней встречи с Клэр перед ним возник страж порядка, к тому же это напомнило разглагольствования старого официанта в

лимбургском кафе. Полицейский явно был не на посту. Должно быть, просто решил глотнуть свежего холодного воздуха, прежде чем вернуться к себе в казарму, но одно лишь его присутствие вызывало в воображении смену караула, а его высокий силуэт, вырисовывавшийся в полумраке, превращал город в пленника, ждущего своего часа. Они прошли мимо, и Лоран успел разглядеть равнодушное лицо под форменным кепи и взгляд, зорко следивший не за людьми, а за бегом дождевых туч. И все-таки полицейский оглядел их с ног до головы и, когда они прошли, еще с минуту следил за ними взглядом.

— Этот у тебя документов не спросил,— сказал Лоран.— Должно быть, торопится к жене, если только у него имеется таковая.

— А почему бы и нет?— возразила Клэр.— И дети тоже.

— Конечно. У них и дети тоже бывают.

— Что же тебя так удивляет!

— Ничего не удивляет, я сам учился в одном классе с сыновьями наших сионских полицейских; за одним мальчиком — звали его Марк Рюлли, курчавый такой, каждый день заходил отец. Но вот этого, которого мы сейчас видели, используют для грязной работы.

Клэр ускорила шаг.

— Ты отдаешь себе отчет в своих словах?

— Не я это изобрел.

— То, что ты говоришь, это... это... Но сам ты так не думаешь. Это просто оскорбительно. Он тебе ничего не сделал.

— Мне лично ничего. Если ему скажут: «Отдай свою кровь»,— он отдаст, не сомневаюсь.

— Тогда в чем же дело?

— В чем дело? А вот в чем: если завтра толпа зашевелится, чтобы потребовать то, на что имеет право, и если этому человеку скажут: «Бей по толпе»,— он будет бить.

— Откуда тебе это известно?

— Пойми же, Клэр, он лишь винтик определенного механизма. Их тысячи — тех, кто обрушивается с дубинками на забастовщиков. Он ничего не может поделать, повторяю: он — винтик. И если механизм служит преступлению, он тоже будет преступником. Всего год назад не посоветовал бы я арабу встретиться с ним в темном углу.

Клэр свернула с бульвара и остановилась у первого поворота. Ни одного прохожего, да и полицейского уже не видно.

— Лоран, я не хочу, понимаешь, не хочу! — Клэр не повысила голоса, но подчеркнуто ясно выговаривала каждое слово: — Не хочу, чтобы мы вечно говорили об этом.

— Почему не хочешь?

— Значит, по-твоему, мы еще мало об этом говорили?

— Да я вообще почти не говорил.

— Верно. Сегодня вечером мы встретились, чтобы поговорить о другом. По твоей вине мы чуть не разругались, потому что все время ты не желал меня понять.

— Разве я неразумные вещи говорил?

— Не в том дело. Прости, но меня это не интересует.

— Я тебе не интересен?

— Нет, ты интересен. Оба мы тоже. Но не это.

Лоран был потрясен. Вдруг возникли воспоминания. Через двадцать лет он вспомнил тот день, когда вошел в мертвый дом, и Альбана, о чем-то говорившего со своей женой, с бабушкой Анной; вдруг оба замолчали, и мальчик понял, вернее, почувствовал, что он лишний.

— Клэр, я даже не знал этого Хосина Акенина, тебе же это известно. И убийц не знал.

— Вот именно. А дальше что? Все это нас не касается. Оставь ты в покое арабов и всех прочих.

— Значит... значит, ты меня не поняла... Но когда я вижу эту форму здесь, особенно ночью, мне невольно в голову приходят разные мысли. Ведь может быть иная ночь, скажем, завтра, и повсюду будут стоять полицейские посты, и люди будут стадом валить на завод. Когда ни за что ни про что спускают на людей собак, бьют дубинками только потому, что есть люди, вид которых как бы говорит, что их можно травить собаками. Правда, собаки это чувствуют.

Долгий взгляд в глаза друг другу. Неужели же они поссорятся? Ведь одно ему надо, чтобы Клэр поняла.

— Клэр, пока на земле есть хоть один униженный...

— Ты тут бессилен помочь!

— Я на стороне тех, кого бьют!

— Опять!

Клэр взорвалась:

— А я не терплю тех, кто позволяет себя бить. Ты сам хотел, чтобы я сказала правду. Не люблю жертв! И всегда терпеть не могла.

— Ну и что же, Клэр?

— Такова жизнь. Надо жить.

— Значит, ты возненавидела бы моего отца?

— Зачем так ставить вопрос? Я чту его память.

— Только память?

— Что ты имеешь в виду?

— Если бы он остался жив, ты бы поладила с ним?

— Лично я да.

— Почему лично ты? А другие?

— Моему отцу пришлось бы сделать над собой усилие.

— Какое усилие?

— А, черт... Все это неважно. Семьи — они всегда такие. И ты сам это знаешь. Таких семей десятки и сотни.

И она добавила:

— Впрочем, твой отец понял бы. Лучше, чем ты.

В глазах у Лорана потемнело, будто кто-то неожиданно ударил его кулаком.

— Уходи.

Клэр показалось, что она ослышалась. Да и сам Лоран не был уверен, действительно ли это слово сорвалось с его губ.

— Что ж, уйду.

Лоран еще не успел ощутить тревогу, а Клэр уже шагнула прочь. В первое мгновение он даже не узнал Клэр в этой быстро удалявшейся фигурке. Его словно оглушило, и ему пришла на ум нелепая мысль, что впервые он видит Клэр со спины. Раньше, когда они расставались, она оборачивалась, чтобы посмотреть на него. А сегодня не обернулась. Со спины она казалась еще тоньше и стройнее. Пять шагов, десять шагов, а он все стоял, оцепенев, и тупо думал все о том же. Тень удалялась. Потом пространство между ними стало бесповоротно огромным, и он не понимал, как могло это случиться. Голова закружилась, страх сжал ему глотку, будто на его глазах уже потерянное для него существо, уже исчезнувшее, срывается прямиком в бездну,— так в кошмарах ты сам летишь куда-то, куда-то во мрак. Клэр скрылась, свернула вправо.

Он, как потерянный, сверлил глазами улицу, уже зная, что навсегда запечатлелось в его мозгу пустынная мостовая, дождливая ночь, и все твердил про себя: «Это безумие, она вернется, она мне скажет...»

Что скажет? Он вслепую протянул вперед руки. Он надеялся, что крик отчаяния, так и не вырвавшийся из его груди, вернет ее, и в то

же время знал, что возврата нет. Потом из глубины души его поднялась волна, взбаламутив всю ненависть, всю скопившуюся там грязь. Она права: каким безумцем он был, загубив свое счастье из-за какого-то черномазого, которого он даже не знал, и из-за таких вот, с их насмешливыми или недоверчивыми мордами! Слово «черномазый» принесло ярость — им-то что до всех разглагольствований Лорана? Разве ради него, Лорана, они разругаются со своими женами? Они такие же озверелые, как полицейские, хотя, конечно, это совсем другое дело. На что ему истории всех этих страшных жизней?

Тут он крикнул сдавленным голосом: «Клэр!» Она не могла его слышать. Потом громче: «Клэр!» Нет, он за ней не побежит. Не такой он дурак, чтобы догонять ее, молить, ползти за ней ползком. Ах, если бы можно было тремя словами выразить всю эту мерзость прошлого, какую он, как ядро, тащит за собой. Он даже не заметил, что несется как сумасшедший, что то и дело попадает в лужи на асфальте. Фонари ярко сверкали в воздухе, очищенном дождем. Мертвенный свет. Стук капель по дымовой трубе. Шагов Клэр не было слышно. Он мог бы ее еще увидеть, вот здесь, направо, она же не успела далеко уйти. «Клэр!» Из последних сил. Будто желая остановить кого-то, кому угрожает рука убийцы. Но улица была пуста.

IX

Сегодня минуло три месяца с того дня, когда Клэр расстаяла во мраке лимбургской улицы,— но что до этого толпе, заполняющей поезда? Множеству людей, кроме Лорана, хотелось бы подвести итог своей жизни здесь, в этом поезде, что катит к «Прозидеру-III», подобно ему узреть символы и найти ответы. Но через все пространства земные ныне вечером, как и во все вечера, слишком много людей мчит вперед ночь. Завтрашний день не принесет ответа. Лишь между собой говорят колеса, лишь для себя одних, сталкиваясь, играют оси, и паровоз, пролагающий путь во мраке, не знает ничего, кроме того, что там, в конце пути, работа и еще раз работа. Не следует спрашивать, куда девались эти три месяца. Лоран не сумел написать слова, до того простые, что, просыпаясь поутру и обнаруживая свою боль, он физически ощущал их на губах и повторял в течение дня сотни раз. Этим летом он узнал, что слова, способные сотворить чудо, не даются человеку. И даже тогда, когда уже не осталось ни смысла, ни причины надеяться, глаза его продолжали ежевечерне искать при входе в дом письмо, несущее прощение, на что он, безумец, надеялся с первого дня. Как и раньше, одна неделя сменялась другой. И не обращался к нему на всей земле ни один голос, подобный ее неповторимому голосу, всегдашнему ее голосу. И так же исчез черный город и вой сирен. Потом пришел черед осенних туманов, смешавших воедино небо, и дым цехов, и грязь дорог.

Сегодня, пока вокруг сгущалась тьма, Лоран сидел в углу вагона один, как был он теперь одинок в жизни. Он смотрел на нивы, видел, как кланяются колосья ветру, как проходит ветер по полям медленными волнами. Он даже не мог вообразить себе, что пейзаж так бескраен. До тех пор пока он не попал сюда, он не мог понять, почему люди, рожденные здесь, влюблены в неизъяснимую печаль этого неба.

Значит, звучит все-таки в серенькой осени своя музыка? Какие слова позарез нужны душе, чтобы песнь длилась и длилась? Поезд катит к морю, и по обе стороны путей встают отвалы рыжей земли, разбегаются по лугам рабочие поселки, снова желтеют нивы, а песня звучит в ушах. «Знаешь, сколько людей до тебя побывало здесь?» —

спрашивает песня. «Их было больше, чем колосьев в полях. Взгляни на эти поля, где уже идет жатва. Они опустели. Ты не видишь ни одной деревеньки, и, однако, под каждой пядью земли спит мертвый солдат».

Столицы скоро забывают про войну. В блеске и шуме городов юноши и девушки знают войну только по рассказам, и где же им понять то, о чем вопрошает мрак, такой, как здесь, просторы, такие, как здесь, и здешняя грязь, и здешняя тишина. Но на равнину за вагонным окном каждый вечер приходит война, и даже школьники знают ее. Восемь месяцев подряд сеет дождь, и из окон домика, притулившегося у пашни, можно видеть, как под ветром рыдают призраки. Она, война, длится уже тысячу лет — нет, больше! Сколько раз проходила она здесь по глинистому полю битвы, под лавою солнца, спускающегося там, вдали, к морю, к слюдяному безмолвию океана, где от соли покрываются ржавчиной шипы железа. Война — она как каждодневный труд и как глубокий сон жизни.

Лоран уже не думает о том, стоило ли ему перебираться на «Прозпдер-III». Стоило ли столько идти, чтобы вновь добрести до какого-то завода! Названия станций, слог за слогом, секомые дождем, ливень, захлестывающий рельсы, что уходят на край земли, на край ночи, запах мокрой листвы, вырывающийся из тумана, и дорожная одурь под грохот колес.

Если бы дед Лорана в тот вечер мог слышать его, если бы старик Альбан вместе с другими мертвецами мог слышать голоса своих родных, разве не следовало бы ему сказать: «А все-таки я верю, что ты меня любил, я единственный ребенок, оставшийся в вашей семье, твой единственный внук, ведь недаром на ночном столике возле смертного твоего ложа, под кисетом с табаком обнаружили мою игрушку, хотя никто тебе ее не давал. Так почему же ты не любил моего отца? Быть может, люди наговорили тебе о нем плохого, чтобы утешить тебя из-за Гийома и Венсана. Но я — я тут ни при чем. Мне нужно было встать на сторону отца, и вот теперь бывают минуты, когда я проклинаю тех мертвецов, которых мог бы полюбить при жизни».

И выходцы с того света рассаживаются рядом с Лораном, которому некого больше любить, кроме воспоминаний и призраков. Они рядом, они сидят кружком, как бродяги, которые, забившись в траву, не отрывают глаз от дороги, уходящей вдаль, меняющейся, как судьба.

Временами в темноте проплывают памятники: арка на вершине пригорка, высокие ворота в поле. Калека, что сторожит гробницу, похож на ночного сторожа. Усатый, деревяшка вместо ноги. Ордена и медали. Посетители дают ему на чай. На урнах светлые таблички, а в урнах останки тысячи мертвецов. И имена тоже — всякий раз, когда землепашец найдет еще один опознавательный жетон, на табличке выгравируют новое имя. Земля щедро отдает их. Война не кончена, раз не смолк еще призыв мертвецов. Есть еще остатки окопов. Иной раз на холмике лежит маленький букетик — это старик отец проделал множество километров, чтобы возложить здесь цветы. Но больше отец не вернется сюда, слишком уж он стар. Он увидит сына, когда они восстанут вместе, те, что двадцать пять или пятьдесят лет закалялись в труде. Если только придет такой день. Если есть все-таки свет, если есть все-таки надежда, если все сыны и братья найдут друг друга в конце своих дней, в конце железнодорожного пути.

X

Он поднялся в номер гостиницы, бросился, как был одетый, на кровать и сразу же потушил лампочку на ночном столике. Даже шторы он не спустил. В окна был виден лишь кусок черного неба. Когда, вы-

ходя из вагона, он поднял глаза, но не заметил ни одного из тех признаков, что указывают на близость металлургических заводов. Завод был слишком далеко от вокзала, а на улицах рыбачьего городка, который Лоран пересек на такси, до сих пор стоял запах йода и смолы. Он прислушался. И ночь тоже не принесла ему привычной жалобы цехов. Он слышал лишь шум дождя, совсем не такой, как в Сионе, а какой-то более нежный, более терпеливый, бормочущий что-то свое в водосточных трубах. Один среди этого покоя, разлитого вдоль коридоров ночи, он вдруг почувствовал себя таким заброшенным, что не мог удержать слез.

И вот все страхи мрачного дома вновь обступили его, и он вновь очутился в Сен-Прива, среди мебели из какого-то пахучего дерева и одежды, благоговейно сложенной в шкафу и еще хранящей что-то от тех мертвецов. Он лежал в бабушкином доме. Вокруг него безмолвствовала деревня, и даже стенные часы на кухне и те замолчали. Только под золой, должно быть, еще теплились угли в самом низу камина, посещаемого духами ветра.

Сколько раз ему казалось, что он заклял этот враждебный дом. После смерти дедушки Альбана ему случалось там ночевать такими же дождливыми, как сегодня, ночами. По крыше струилась вода. Где-то далеко на фермах, затерянных среди горных отрогов, брехали псы, но он чувствовал рядом с собой столько ненависти, которая успокоится, только когда изгонит прочь Давида.

Он позвал отца. И как в детстве, Давид склонился над ним. Лоран почувствовал прикосновение ко лбу мертвой руки. Они были рядом в темноте, отец и сын, оба, сраженные ударом одного и того же бича, оба, потерпевшие поражение, оба, побежденные той же силою.

Пришла она, та ночь, когда Лоран выплакал свои последние слезы детства. Глядя на окно с незакрытыми ставнями, он искал не приглушенного перламутра моря, а воспоминаний о здешних огнях, которые сопутствовали им с Клэр в первую ночь их любви, и он не мог сейчас даже поверить, что пережил минуты такого упоения в гостиничном номере, освещенном кострами домен.

Клэр... Значит, неправда, что она обвивала его шею руками, щедро одаривая его своим ароматом; значит, неправда, что голова ее лежала у него на плече, что волосы ее касались его губ, что все в Клэр было его — глаза, смех, молчание, сама ее жизнь. Другая парочка спит сейчас в их постели, а сталелитейный завод по-прежнему вздымает свои факелы под черными тучами. Вот что осталось от их любви — почной огонь да дождь, красный дождь на улицах, по которым до скончания века шагают на завод люди.

XI

Проснувшись, он даже не поверил, что время уже за полдень. Голоса, подымавшиеся с улицы, и гул в ресторане, расположенном в нижнем этаже гостиницы, были воскресными шумами. Он припомнил, что, перед тем как заснуть, успел увидеть первые проблески зари. Морской ветер очистил небо и принес сюда в номер влажный звук гудка, это судно там, вдалеке, требовало буксира.

Хозяин гостиницы решил, что Лоран заболел, и послал к нему дежурную по этажу спросить, не хочет ли он позавтракать в номере. Он согласился, но после завтрака все как-то не мог собраться с мыслями, одевался, причесывался рассеянно, медленно.

Спускаясь, он на мгновение задержался на лестничной площадке у зеркала, чего раньше никогда бы себе не позволил из страха показать-

ся смешным — это говорило в нем детство, проведенное в деревне. Но сейчас его остановило собственное отражение, это осунувшееся лицо в свете, лившемся со двора сквозь стену из стеклянных квадратиков. Возможно, слишком слабый свет повинен в этой горькой складке губ, это он обвел глаза синевой; но так или иначе Лорана отталкивало это лицо, лицо побежденного. «Нет,— решил он,— необходимо отмести все это прочь. С первого же дня я обязан очиститься от скверны, сбросить лямку, которую я влачил в Сен-Прива и в Сионе. Иначе невозможно начать жить». И в холле он спросил телефон пансионата, где остановилась Франс. Вскоре после отъезда дочери Эдуар Мольян дал Лорану ее адрес. Но и сам отец не много знал об ее жизни. Да и была ли Франс на «Прозидере-III»? Оказалось, была. И говорила так, словно они расстались только накануне.

— Мне бы хотелось тебя повидать,— просто сказал Лоран.

— Мне тоже. А ты с машиной?

— С машиной? Конечно нет. Я приехал поездом. А зачем тебе машина?

— Здесь без машины трудно. Уж очень расстояния велики.

— А как же ты добираешься до работы?

— На заводском автобусе. Но если хочешь поглядеть на здешние места, можно воспользоваться услугами гаражей, они дают напрокат машины. В воскресенье они открыты.

— Ладно. Буду через часок.

Они проехали по улицам нескольких предместий, и в конце концов он совсем запутался. А теперь, вбирая в себя аромат цветущего кустарника под моросящим дождем, они катили далеко от города по шоссе, идущему над морем, вернее, не по шоссе, а по прибрежной дороге, овеваемой морским ветром, под низким небом, иссеченным криками чаек. Один за другим вставали домики с красными ставнями среди песчаного колосняка — питомца северных пляжей, белокурые ребятишки носились вокруг колодцев, вырытых в песке и обложенных по краям разноцветными камнями; и старики, как в Сионе, сидели у порога. Они проехали так близко возле одного домика, что успели разглядеть за полуоткрытой дверью кошку, греющуюся у фаянсовой печки, а на камине большой медный медальон с изображением распятого Христа и надписью вокруг его чела «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Хлеб и распятие.

— Заверни сюда,— посоветовала Франс,— останови машину и гляди.

Неба над набережными не было — его заслонял завод. Лорана как будто в сердце кулаком ударили, когда перед ним возникло это видение.

— Лучше свернуть в поле. А ночью, дружок, ох, а ночью! Смотрика сюда, я здесь работаю.

— В этом сине-красном храме на самом берегу?

— Нет, это центральная электростанция. Говорят, что посетители не могут сами найти выхода. А я работаю в той стеклянной штуковине, примерно километр отсюда. Вся из стекла, настоящий дворец, а вокруг лужайки.

— О Сионе не жалеешь?

— Еще чего! Одно плохо — расстояния. Как-то теряешься. Прямо Сахара. Приходится шагать километры, чтобы добраться из одного конца в другой. Зато чувствуешь себя свободной. Нет, не жалею.

— А твоя Солонь? Как она поживает?

Франс не ответила. Она обвела взглядом диадему заводских зданий, мягко круглившуюся на горизонте, эти цитадели из серебристого металла, идущие вплоть до дюн, поросших песчаным колосняком. Потом произнесла:

— А знаешь, здесь есть настоящий мертвый город. Укрытый в песчаных дюнах. Я туда ходила. Чудесная прогулка. Только сегодня у меня туфли неподходящие. Блокгаузов тридцать, не меньше, укрытия и ходы сообщения. Остались площадки для пушек. И, вообрази, даже теперь ребятишки находят там винтовки. Заметят в воде, смешанной с песком, ремень и выуживают. Винтовка, бывает, затянута слоем песка примерно в три ладони толщиной.

— А следы погибших?

— Нет, не находили. А вот танки находили. Во всяком случае, так говорят. Да я сама видела какие-то странные части механизмов.

Следующая ее фраза прозвучала неожиданно звонко, усиленная ветром, гулявшим среди песков:

— В равноденствие во время приливов война возвращается.

— Да что ты, Франс, откуда у тебя такие мысли? Брось ты войну, что ты о ней знаешь? Расскажи-ка мне лучше о Солони? Когда ты туда едешь?

— Совсем не еду.

— Перерешила?

— Ничего не перерешила. Просто взяла и выдумала про Солонь. Неужели ты думаешь, что отец так тебе и бросит дом, завод, своих дружков-приятелей и все прочее. Он родился в Сионе. Вообрази только папу, разгуливающего по лесам, и это в его-то годы. Впрочем, и меня тоже.

— Тогда зачем ты сочинила всю эту историю?

— Да ни за чем. Просто вздумалось пошутить. Я и не подозревала, что ты примешь это так близко к сердцу.

— Значит, ты солгала, Франс-Элизабет. А раньше вроде бы никогда не лгала.

Ему хотелось сказать ей что-нибудь злое. Но он не посмел даже глаз на нее поднять.

XIII

Он до отказа нажал на акселератор, чтобы сорвать злость и скрыть свое ликование. Вечерело, дорога шла все прямо и прямо, покрытая большими бетонными плитами, которые местами разошлись. Справа и слева от дороги стояли в рост человека обычные детища пустырей — полынь и коровяк.

— Сбавь скорость,— посоветовала Франс-Элизабет.— Спешить нам некуда.

— Ага, боишься?

— Дорога переходит прямо в пески, дурень. Если завязнешь, придется вызывать на помощь мулов.

— Тогда что же прикажешь делать?

— Сначала сбавь скорость и гляди. А потом свернешь на первую же мощеную дорогу. Или возьмем налево под тот вон виадук.

— Ничего не скажешь, изучила местность назубок!

— А как же! Я здесь целые дни провожу.

— Здесь?

— Да нет, на виадуке. Это новая трасса к северному входу, а в нашу контору попадают оттуда.

В эту минуту они заметили, как поверху над арками бесшумно промчался автобус.

— Это что такое? Ты ведь все знаешь, объясни.

— Раз сегодня воскресенье, очевидно, везут ночную смену в доменный цех.

— Любопытное зрелище, особенно в этой пустыне.

Лицо его расплылось в детской веселой улыбке.

— Просто какой-то летучий голландец. А дорога, по которой мы едем, для чего она проложена?

— Проложили ее для танков. Но ею не пользовались. Когда кончилась война, она еще не была готова.

Машина подпрыгивала на узкой дороге, мощенной круглым булыжником, шла она прямо как дамба, между дюн, и колеса чуть не задевали их зыбучие бока. Лоран вел машину, уделяя своим шоферским обязанностям, пожалуй, больше внимания, чем требовали обстоятельства, но мысли его были не здесь, хотя он и осматривался в поисках более надежного пути.

— Скажи, Франс... Вот ты говорила о войне и раньше, и сейчас тоже...

— Я повторяла, что слышала.

— Знаю, но все-таки говорила. Что для тебя война?

— А для тебя, Лоран?

— Ну, для меня... Это как бы клеймо на всей нашей семье. Конечно, в первую очередь горе, а потом... стыдно как-то.

Дюны прислушивались к их разговору. Франс не удивилась, когда Лоран затормозил машину. Спускалась ночь, но какая-то чайка все еще продолжала кричать, одна, во мраке, над зарослями песчаного колосняка.

— Мамины братья погибли где-то здесь. И неизвестно где, край-то ведь огромный. Мне никак не удается представить себе бой. И однако... Мне так хотелось бы, да, хотелось бы... Все-таки они были братьями моей родной матери, и сейчас я их ровесник. Так вот их смерть — даже трудно выговорить такое — не трогает меня.

— Это слишком далеко от тебя, Лоран. А вообще на тебя это не похоже. Впрочем, тогда ты еще не родился.

— Нет, мне необходимо было сказать это кому-нибудь, а ты умеешь слушать. Не так они и далеко от меня. В течение десяти лет, пойми, каждое воскресенье я ходил на их могилы. И их портреты как сейчас вижу. Я их знаю, понятно? И бабушку я все-таки очень любил.

— Не стоит так убиваться. Ты ничего не мог изменить, ты ведь был ребенком.

— Помнишь, когда я приехал в Сион и пришел первый раз в школу, я был какой-то пришибленный.

— Как же, помню... Чего ты стыдишься? Разве тебе не достаточно причинили горя?

— Да нет, не только мне... Но когда отец умер... Вроде как бы проклятие преследовало нашу семью. Видно, надо было, чтобы мы испили чашу до дна. И эта доменная печь, нелепейший, безумный случай! И вот я хочу тебя спросить...

Франс взяла обе его руки в свои. Этот жест был привычен для них, еще со времени траура по Давиду.

— Никакого проклятия нет, даже думать так не следует... Пойми, мы сейчас уже не дети. Вся деревня завидовала твоему отцу. И потому-то они его преследовали. Но он все-таки женился на твоей матери, вопреки им, вопреки всему на свете. Единственный мужчина в ее жизни,— значит, кто же победил? Конечно твой отец. Слушай, Лоран... Я могла бы сказать тебе это много раньше, но лучше, что ты первый заговорил... Твой отец правильно сделал, что приехал сюда. Потом он погиб... Но если сейчас ты таков, каким ты стал, если, другими словами, тебя, двадцатитрехлетнего юношу, единственного, посылают на новый завод вместе с людьми, которые старше тебя на десять — пятнадцать лет, то кому ты этим обязан, а? Что бы ты стал делать в Сен-Прива? Через

пять лет здесь будет девять тысяч человек. И ты не будешь самым несчастным среди них.

Она выпустила его руки, будто сочла Лорана способным справиться со своим горем без ее помощи. А он воскликнул:

— Девять тысяч человек!

— И сейчас уже пять тысяч. Вернее, ровно четыре тысячи шестьсот.

— Как обычно, счет у тебя в идеальном порядке.

— Привычка. И не воображай, что это с моей стороны подвиг. Каждое имя мне что-то уже говорит. Я знаю товарищей.

Сказала она это без всякого умысла, обычными будничными словами. Но та или тот, для кого слово «товарищ» — повседневное, свое слово, та или тот уже выбрали себе в жизни путь.

— Поедем пообедаем,— предложил Лоран.

— Я не голодна, а ты что, заскучал?

— Да что ты! Но куда же теперь?

— Можно осмотреть завод.

— Это ночью-то? Да ты с ума сошла!

— Охрана меня знает. Так что препятствий не предвидится. Доменный цех прямо на берегу, и он огромный, как десять церквей. Пойдешь и посмотришь на разливку. По-моему, она как раз сейчас начнется.

— А если мы встретим инженера?

— Он нас обругает и все. Но поймет. Что ж тут такого? Проходная здесь рядом.

Вахтер был здоровенный малый, скорее созданный для штыковых атак, чем для охраны вверенных ему стольких-то арпанов песка, где несли дозор только летучие мыши. На груди у него красовались с полдюжины разноцветных ленточек, и пес, сидевший у его ног, тоже почему-то походил на солдата. Как и предсказала Франс, вахтер не шелохнулся, только вынул изо рта трубку да проводил взглядом Франс с Лораном, когда они шли по цементированной дорожке. Но вахтер все-таки посовещался со своим четвероногим напарником, и после военного совета человек и собака рассудили, что эта парочка не нанесет ущерба заводской дисциплине и опасности не представляет.

XIII

Франс не преувеличила: территория цеха, где стояла первая доменная печь, могла свободно вместить линейный корабль. Казалось, чего бы Лорану удивляться, раз все чертежи проходили через их бюро, да и работа в прокатном цеху приучила его к тому. Но даже для хорошего специалиста одно дело делать чертежи, а другое — видеть воочию результат своего труда в его подлинных масштабах.

В голове Лорана бытовал еще образ традиционных установок, которые старались приспособить к уже данным условиям; в ту пору вели борьбу с трудностями, доставшимися по наследству еще от тех времен, когда заводам приходилось хитрить и изощряться, чтобы прилепиться сбоку к уже давно построенному городу. Конструкторская мысль никогда не могла поэтому достичь полного размаха. В Сионе к домнам можно было добраться либо по боковой лестнице, либо по путям, которые уже не могли удовлетворить потребностей производства. И человек сразу оказывался у подножия стальной башни, прямо напротив лётки — отверстия, проделанного в корпусе домны и замазанного огнеупорной глиной. Лётку каждые три часа открывали и выпускали плавку.

Отверстие, через которое вырывалось на волю сто-двести тонн жидкого чугуна весом не меньше железнодорожного состава, было, к великому удивлению посторонних зрителей, размером чуть больше

горлышка бутылки. В свое время под венцом труб, опоясывающих стан домны и подводящих к ней воздух, нагнетаемый воздуходувками через фурмы, горновые разбивали глину ломом, ухая, как гребцы на галере. Потом пневматические перфораторы заменили ручной лом при атаке на лётку; горновые буравят ее, вдувая в свежую рану кислород через длинные медные трубки, и реакция происходит быстрее, чем загорается солома. Взгляд не упускает ни одной детали этой великолепной игры. Когда горновой распрямляет спину, сразу брызжет алый дождь, течет по канаве, по желобу, прорытому в сухом песке, и разветвляется на ручейки. И пока чугун уходит низом, там, наверху, идет работа. Кокс и руда загружаются в домну, заполняя пустое пространство, и компенсируют потерю объема. Цикл не прерывается ни на минуту.

Лоран знал его наизусть и, однако, сейчас испытал такое чувство, будто впервые присутствует при рождении чугуна. Здесь металлургия овладела всем пространством — так захватчик новой планеты возводит стройку согласно чертежу, целиком подчиненному замыслу завоевателя. Столько места, сколько надо, учитывая возрастающую потребность не только завтрашнего, но и послезавтрашнего дня. Станки, моторы, насыпи, порталы и краны — все, что понадобится завоевателям континента, для которых разыгрывают в орел и решку судьбы мира. Здесь руда приходила с другого конца земли, ее перевозили зафрахтованные суда в количестве пяти тысяч вагонов. И меньше чем за день один человек за смену перегружал эту гору железа на транспортеры, движущиеся на роликах. Причалы, куда подходят суда с рудой, превысили бы размерами площадь любой столицы. Тяжесть твердых и газообразных веществ, поглощаемых доменной печью за двадцать четыре часа, равна поезду длиной в семь — восемь тысяч метров, да и все здесь под стать этим масштабам.

Бригада горновых вряд ли заметила появление посторонних в цеху. Их было четверо на песчаной площадке, где отлично игралось бы детворе. Желто-коричневый песок, изрытый желобками с гладкими стенками, приводил на память морской пляж после отлива или, вернее, песок пустыни, ибо достаточно малейшей капли влаги, чтобы вся эта чугунная река взлетела в воздух снопом огней и смерти.

Четверо парней делали свое обычное каждодневное дело. Для них, одетых в асбестовую кольчугу и капюшоны, это значило следить минута за минутой — хотя и существует автоматика,— все ли ладно в брюхе печи, столь же капризной, как океанский пароход, и столь же дорогостоящей. И такой же красивой. Но они не могут рассказать о своей работе детям.

Чтобы рассказать о живом металле, люди знают единственное слово, вот оно, это слово: «Смотри». Смотри, вон красное тесто, что движется в канаве,— это плавка. Подыми глаза, теперь смотри на балки цеха, там трепещет балдахин дрожащего света. И нет ни луны, ни мрака. Смотри и помни, на что похоже чрево солнца. И это сделали мы, мы — люди, жалкими нашими руками и с жалкими нашими знаниями. Что-то, значит, в нас было! Какая же это сила и кто нас ею одарил? Не знаем. Четверо товарищей у основания домны уже перестали задумываться над такими вопросами.

Гудит мотовоз, отвозящий первые ковши к миксеру. Бригада переходит налево, чтобы приготовиться к выпуску чугуна. Они стоят возле огненной лавы, бросающей на их лица под козырьком каски отблеск пожарища. С земли молчаливо подымается свет, подобный молнии. Солнечное полотнище струится без передышки и бежит навстречу своей судьбе. Сейчас все будет кончено. И некому будет восславить тот миг, когда трепещет золото плавки, темнеет, склоняет свои знамена и падает с крыши, будто мертвая птица.

Лоран почувствовал, как глаза у него пощипывает, словно на них набегает слеза. Он стоял далеко от канавы и поэтому не нуждался в сетчатой маске, однако пыль окиси добралась и до него, осела на веках. Он прикрыл глаза, провел пальцем по ресницам, и на миг все линии и краски смешались. От плавки осталось только какое-то туманное видение, так, если слишком долго смотришь на кадр, где изображено шествие с факелами, уже не видишь ничего, кроме застывшей реки, ничего, кроме светового потока.

Ему хотелось сказать Франс-Элизабет: «Разве все это не напоминает тебе поезд, серебряный поезд, несущийся со скоростью света и уносящий нас с тобой? Или корабль, который, отвалив от берега, идет по фарватеру и влачит за собой наши мечты, прикованные к этой глыбине света. Все это сияние — их вклад в красоту мира. А когда они держат в своих руках управление конвертером — это их реванш. И тогда у них никто не отнимет их места среди людей».

Он открыл глаза. Приглядывался он и прислушивался к самому себе, не слыша свистящего рева, звона, гудения и треска различных сигналов. Пусть там, за стенами цеха, другой мир, другие лица, которых он не узнает. Пусть там по-иному понимают жизнь и по-иному ее растолковывают. Это не имеет никакого значения. Но не слишком ли он сам старался объяснить людям жизнь отца, объяснить и оправдать поступки товарищей отца, а главное, кому он хотел все это объяснить? Он хотел утвердить свою личную гордыню, всю свою ненависть, как водружают знамя мятежа,— но во имя чего?

Все равно не убедить того, кто сам не умеет распознавать в своих собратьях, в каждом из них то, что возвеличивает его, и то, что он ощущает как унижение. Он не способен любить. К чему показывать такому человеку огни металлургических заводов — он все равно не увидит их. К чему говорить с ним об угнетенных — он уже выбрал себе место в стане угнетателей. К чему говорить о мятеже с теми, кто предпочитает людей, всем довольных.

Во рту чувствовалась какая-то горечь — возможно, от серы, которую невольно заглатываешь вместе с воздухом цеха. В нем говорил голос, он слышал этот несуществующий голос, твердивший ему: «Лоран, Лоран»,— словно голоса, которые доносятся до тебя во сне. Он не узнавал его. Он шел через пламя и дым, этот лихорадочно звучавший голос, возникая со дна памяти мгновениями острой тоски. Но это не был ни голос Давида, ни голос Матильды.

— Лоран!

Улица под дождем в ту ночь, отданную преторианцам, удаляющиеся шаги Клэр...

Лучше бы было пойти и лечь. «Я еле на ногах стою,— думал он.— Голова кружится, горло сдавило, даже дышать трудно».

Снова он услышал зовущий его голос. Ошибиться он не мог, голос принадлежал живому существу. Он оглянулся и увидел устремленные на него глаза Франс-Элизабет.

Она подошла к Лорану. Встала рядом, плечом к плечу. Он услышал: «Ну как, нравится?» На этот раз он не ошибся. «Нравится» — в сущности, ничего не значащее слово. Очевидно, его следовало понять: «Не грустишь?»

Нет, он не грустил. Франс-Элизабет подглядела одно из тех редких мгновений, когда человеческая душа показывает себя во всей своей наготе. Мгновение, когда на челе и в складке губ человека начертаны те слова, те истины, которые он не умеет высказать. Как рассказать о своей боли, о своей любви, о своей жажде покоя, а если так, надо самому научиться понимать все на свете, все прочитать на чужом лице.

Поэтому он молча указал ей на горнового в асбестовой спецовке,

возле канавы. Блестящая поверхность его каски притягивала свет — так на меди весело играют отблески. С козырька каски свисала асбестовая маска, вся в дырочках. Огнеупорный плащ покрывал шею, плечи и в виде передника спускался до колен. Под этой броней было дьявольски жарко, и когда человек подымет забрало, видно будет, как по лицу его струйками сбегает пот, словно дождь по мраморному лику статуи.

Вот таким был и Давид. Он тоже носил эту сверкающую кольчугу, чешуйчатую робу, которая вся как будто ходит на человеке... Потом не стало видно ничего, фигура рабочего на фоне яркого света снова превратилась в черный силуэт. Он уже не был рыцарем в солнечном облачении, а просто Омаром или Рашидом, как знать! Омар или Рашид — такой, каким он стал, выйдя из полосы света,— был глубоко равнодушен к тому, что сверх положенной платы ему дается еще и этот миг торжества.

И все-таки следовало объяснить это сыну Омара или Рашида. Не важно, как и когда, главное — рассказать. Не повышая голоса, обычным словом, товарищеским словом. Издавна товарищи идут с нами рядом, бок о бок. Каждый несет свой инструмент, на каждом лежат лучи света. Этот поит лошадей. Тот осматривает вскрытую грудную клетку, склонившись над пропитанной кровью марлей. Тот убирает за нами нечистоты. А вот этот, стоя перед пультом и регулируя скорость движения, слушает всем телом, даже костями, каждый метр рельсов, бегущих под колесами курьерского поезда; и пока он занят своим делом, он, этот самый обыкновенный человек, как бы наделен даром нести на ладони через изрешеченный семафорами мрак семьсот своих братьев, спящих в вагонах. И теперь пришло время, когда мы уже не согласны умирать, не увидев всех такими, каковы они есть. Даже если для этого потребуется нечто большее, чем наше зрение, можно увидеть на фоне мертвой материи душу человека, который превыше всего. Рашид не знает. Сын Рашида — он узнает и это, и еще многое другое. Завтра, когда снова займется день, он, Лоран, сумеет все объяснить, для этого существуют слова, идеи, которые были еще недоступны даже его отцу.

Такова была слава Давида, которую Лоран отстаивал, чтобы принести ее в дар отцу. Лоран поднес руку ко лбу, обернулся к Франс-Элизабет, пробормотал что-то. Но только слезы могут научить видеть, только поражение, только обиды, только одиночество.

— Пойдем,— сказала она.

Он был сильнее ее в десять раз, выше ее на голову. Но уходя с литейной площадки, он не заметил даже, что опирается на нее, опирается, шагая с ней к морю песчаными дорожками.

XIV

Они выбрали самый короткий путь, чтобы поскорее добраться до проходной; земля не была еще как следует выровнена, шагать было трудно, словно по пашне. Пока шел выпуск металла, луна скрылась за горизонт. Они очутились в темноте, хотя над далеким отсюда заводом кое-где горели огоньки, а еще другие говорили, что у черты небосвода лежит город. Им было хорошо брести вдвоем по этим ландам. Маяк шлюза звал их, и четыре его блеклых огня указывали дорогу к выходу.

Вахтер снова молча пропустил их и ни о чем не спросил. Машина тронулась вдоль забора, которому не было конца. Вблизи находился порт для приема руды. Лорану захотелось в темноте перелезть через забор, но он не решился из-за Франс-Элизабет.

Итак, ему предстояло отныне жить здесь. Пока что вот он — рубеж. Еще нынче вечером он допытывался у себя, сможет ли он наконец одо-

леть свою ненависть и примириться с Сен-Прива. Если ему это удастся, значит, Давид войдет в мертвый дом, он будет рядом с двумя солдатами, которые давно ждут его среди букетиков иммортели.

Милосердие... Оно не только любовь к ближнему и не только прощение, которое даешь скрепя сердце. Быть милосердным — это значит смотреть на других с верой и с радостью, будто ты только что прозрел. И когда ты получишь дар читать на чужом лице, в самом себе ты откроешь глубины собственной души, свободной души, которая уже не знает ни былых страхов, ни наваждений, ни стыда. То, что мы даем нашим братьям, наши братья сторицей вернут нам. Человек выше самых высоких представлений о нем.

Лоран подумал, что он был несправедлив к жителям Сен-Прива. Здесь, у подножия доменной печи, под бахромой холодных сумерек, наползавших с моря, от него не отступала их забытая богом деревушка.

Сен-Прива. Трудно, находясь на «Прозидере-III», вообразить себе, что существуют такие затерянные в глуши местечки. Но жители соседних городков покрупнее считались чужестранцами, когда приходили охотиться в долину Сен-Прива, хотя она лежала тут же, рядом. Они думали обо всем иначе, чем крестьяне. Говорили на другом языке, хотя и теми же словами. Только тот может понять деревню, кто зависит от нее каждый миг своей жизни. Надо знать голоса сумерек и запахи деревни. Надо уметь видеть всю вселенную в проходящих мимо людях.

Те, что живут там, тоже, очевидно, думают: а нас кто знает? А нас кто любит? Лоран вспомнил, что у реки после жаркого солнечного дня даже в августовские вечера стоит прохлада. И каждый дом хранит свою тайну. Там тоже не страшно было встретить одинокую смерть или отчаяние.

Между крышами Сен-Прива разгуливают высокие звезды, семь голубых бриллиантов Большой Медведицы — первое созвездие, которое умеешь различать уже в детстве и которое блестит всю ночь напролет. Диадема Северного венца совсем рядом. Но в Сен-Прива небо не ближе к людям, чем здесь. Завтра придется подыматься рано, чуть свет. И люди уже улеглись спать. А одеваться им надо быстро — натянуть штаны да бумажную куртку, свернутые трубкой в изголовье постели. Их дочка доит в хлеву корову. Фонаря она не взяла, потому что уже давно наизусть знает меру и форму темноты. В доме под часами в общей комнате сидит на постели батрак, до того измотанный и усталый, что даже не догадался прилечь. Он пристально смотрит на пустую бутылку и думает — бог его знает, о чем он думает, может, о том, что ему уже сорок, а нет у него ни клочка земли, ни жены.

В эти минуты все запахи земли струятся меж стен, точно такие же, какими были они в день сотворения мира, такие прозрачные, что их хочется сравнить с кислотами, с кристаллами, будто они несут в себе формы ветвей и цветов. На пороге курит трубку старик, положив берет на колени, чтобы полнее впитать свежесть, льющуюся с деревьев, а может, из благочестия, ибо травы и листва справляют ночами мессу.

Сейчас, сидя в закутке у двери, он не похож на землепашца, каким был еще вчера, его волосы и лоб образуют белесое неясное пятно. Сидит он под кустом жасмина. Лоран вдруг увидел благоухающий сноп, завитки лиан с маленькими пахучими цветочками, покачивающимися под ветром, их осязаемый аромат, теплый, как человеческая плоть, нежные кудри цветов — при желании он мог даже сегодня, сейчас, ощутить их тяжесть на своих протянутых руках.

Сколько горя под небесами, и почему горе обрушивается на людей, которые не умеют распознавать друг друга, не видят, что на лице своем носят одну и ту же мету?

Плотина кончилась. Дорога сворачивала вправо, в обход какого-то приземистого здания. С трудом различая путь, Лоран затормозил машину.

— Это шлюз,— пояснила Франс-Элизабет,— хочешь посмотреть?

— А что там смотреть?

— Большие ворота под перекрытием.

Они поднялись по бетонной лестнице, благоразумно держась за перила. В пустом помещении действительно не на что было смотреть, только слышалось, как срываются и падают капли, да лежали внизу ворота шлюза, стальная стенка, спящая в своем ложе на колесиках.

— И ради этого ты меня сюда привела?

— И не случайно привела,— возразила Франс.— Подумай только: шлюз удерживает все море до входа в канал.

— Ах, верно, море...

Все-таки зря он тогда не взобрался на плотину.

— Тебе повезло, ты все лето могла купаться, загорать. Мне тоже ужасно хотелось... А сегодня у меня времени не хватило посмотреть на море. Я уже начал сомневаться, здесь ли оно.

— Оно повсюду,— отозвалась Франс-Элизабет.

— Только не здесь.

— Оно здесь повсюду. Слушай.

Ему захотелось ее подразнить, потому что вид у нее был как у девочки, которая рассказывает вам на ухо свои смешные тайны. Но в голосе ее послышалась удивившая Лорана страсть, и он замолчал.

— Слышишь, оно бьется в ворота.

Значит, море настигло их здесь, в самом сердце земли. Лоран подошел ближе. Он нагнулся над водой цвета мазута, ему хотелось понять, чем проявит себя эта сила, которая терпеливо билась о стены. Ни морщинки. Однако она, эта сдерживающая себя мощь, окружала их, она была с ними. Лампочки, прикрепленные к потолочным балкам, мерцали гирляндами желтых точечек. При очередной атаке волны их цепочка покачивалась справа налево, и только это покачивание выдавало присутствие моря. И однако толчок за толчком, удар за ударом тарана о фундамент постройки свидетельствовали о ярости вод, хотя водная гладь оставалась спокойной, как зеркало.

— Надо бы нам с тобой пойти посмотреть это самое море,— сказал Лоран.

Но ему не было нужды видеть море, чтобы удостовериться, что оно рядом. Оно уже врывалось к нему в душу всей своей силой.

— Похоже на человеческие голоса,— добавил Лоран.— Как будто толпа шумит.

Он спрашивал себя, какое воспоминание разбудили в нем эти слова. Он уже слышал где-то этот гул, этот топот... И он вспомнил, как шли товарищи всю ночь напролет к праху Давида.

Оно, море, подобно дружественной толпе. Товарищи здесь, они нас окружают. Они рядом с нами. Есть только одна история, которую стоит пересказывать до конца дней,— это история униженных. Они рядом с нами, бедняки, сломленные и старые. Ибо в тот час, когда их собственную жизнь уже не согревает волнение и порыв, они ищут себе подобных, и им любо ощущать неисчерпаемое множество толп. Вокруг них все серо, льет дождь, люди, проходящие мимо, несут свой инструмент, размахивают шахтерской лампочкой. Дремлют, склонив голову под *ярмом дисциплины, жалкие домишки,* похожие друг на друга как две капли воды, и люди с незаметной жизнью так же похожи друг на друга. И они — вся земля... Быть только каплей воды в море, но надо знать, да, да, знать, что одна-единственная капля униженного человечества содержит в себе всю ярость моря.

К советскому читателю

Меня зовут Роже Жан Шатонё. Я родился 18 мая 1920 года в Бегле, индустриальном предместье Бордо.

В ту пору мой отец работал кузнецом в железнодорожных мастерских Бордо. Он участвовал в большой забастовке железнодорожников, о которой до сих пор помнят рабочие нашей страны. Отец отказался возобновить работу, за что и был уволен. Этому событию суждено было предопределить мою судьбу, оно оказало решающее влияние не только на мой характер, но и стало главным источником моего литературного вдохновения, более того, пробудило во мне стремление стать писателем: дело в том, что отец мой так и не смог устроиться на работу. В одной гасконской деревне, близ Кастельжалу, он построил собственными руками кузницу. Условия нашей жизни были очень тяжелыми, а мировой кризис 1929 года еще ухудшил их.

В 1934 году был принят закон, восстанавливавший уволенных железнодорожников на прежней работе. После 14-летнего отсутствия мой отец вернулся в Бордо. Я тогда учился в Коллеж Модерн в Талансе. Однако материальное положение нашей семьи оставалось стесненным, и я вынужден был прервать учение. После временной работы на почте и на пороховом заводе мне удалось наконец устроиться рабочим на заводе металлических конструкций и подвижного состава в Бордо. Именно на этом заводе и происходит действие моего первого романа «Железные арфы».

В 1941 году я принял решение любой ценой продолжать образование, даже если мне придется лишить родителей своего заработка и узнать еще худшую бедность. Я нашел место классного надзирателя и помощника учителя в одном детском пансионате и стал самостоятельно готовиться к экзаменам на степень бакалавра философии и естественных наук. Мне удалось осуществить первую часть этой программы, но к тому времени, когда я должен был держать второй экзамен, гитлеровские оккупационные власти начали угонять молодых французов на принудительные работы в Германию. В течение нескольких дней я скрывался и сумел успешно сдать экзамен, но когда я выходил из университета, меня арестовали и отправили в Германию. В Германии меня вскоре подкосила болезнь, которая больше чем на 15 лет выбила меня из колеи.

Здесь я пришел к пониманию законов, которые управляют историей и промышленностью капиталистического мира. До тех пор мой опыт был ограничен рамками провинциального города, где прошла моя молодость. В Германии же я увидел чудовищный аппарат гигантской индустрии, порабощающий миллионы людей всех наций, и, пройдя через плен и страдания, на собственном опыте постиг, что́ поставлено на карту в этой великой борьбе.

После поражения Германии в 1945 году я вернулся на родину и долгое время тяжело болел. Потом мне удалось найти место в Бордо, в одной из газет, основанной движением Сопротивления. Журналистика стала моей профессией, но она не могла меня полностью удовлетворить. Форма, в которой я стремился выразить свои чувства и опыт, не укладывалась в рамки газетной информации. Только роман мог ей соответствовать, но как стать романистом?

Два человека, ставшие моими друзьями, пришли мне на помощь; с первым из них мне довелось лично познакомиться лишь пятнадцать лет спустя, но его творчество оказало на меня глубокое влияние — это Андре Стиль. Несколько позднее я познакомился с Арманом Гатти, в ту пору молодым журналистом.

Я начал писать «Железные арфы». Это история 55-летнего токаря, которому сын дарит два билета на концерт в связи с пятидесятилетием его жены. Музыка и сталь — вот две темы, переплетающиеся в этом произведении. Книга вышла в издательстве Сёй и получила премию Юнгманна, присуждаемую фондом литературы и знаний, а в 1962 году была опубликована в Венгрии издательством Магветё.

«Железные арфы» — это первая часть трилогии. Ее тема — человек в мире машин, его сомнения, вопросы и подчас слабость и его постоянное самоутверждение, героическое или наивное. «Искры», составляющие вторую часть трилогии, потребовали от меня четырех лет работы и свыше 6000 страниц заметок и черновиков. В 1965 году книга получила премию, присуждаемую факультетом литературы Бордоского университета; так осуществилась моя мечта, и в 45 лет я вступил в качестве лауреата в университет своего города. Роман «Искры» был переведен на венгерский и немецкий языки.

Тем временем я продолжал работать над своим третьим романом — «Мирты». Его вторая часть недавно опубликована в журнале «Эроп», в редколлегию которого я был приглашен в 1965 году. В том же году я вошел в состав Национального комитета писателей. «Мирты» посвящен судьбе 62-летнего профсоюзного деятеля, уволенного с работы а связи со слиянием предприятий. Он не может никуда устроиться. Свидетелем его трагедии является тринадцатилетний мальчик Максим, который присутствует при смерти своего старого друга и принимает его молчаливое завещание. Это наследство — не смирение и страдание, а великая воля и непобедимая вера в высшее назначение человека и в его право на все богатства земли — «хлеб, розы и мирты», как говорил Генрих Гейне.

РОЖЕ ШАТОНЕ

КАРЛОС АУГУСТО ЛЕОН

Страна человека

Перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

Человек! Это — великолепно. Это звучит... гордо! Че-ло-век!..

М. Горький

Какое счастье родиться
с тобою в одно время,
страна, не бывалая прежде!

Чем моя жизнь была бы,
если бы ты не сказала
на сотнях живых наречий
это великое слово:
Человек,
звучащее гордо,
проникнутое сознаньем,
что человек — свободен?
Чем моя жизнь была бы
без тебя,
страна, не бывалая прежде?

Что бы сталось с народами мира
без твоего соседства,
страна, не бывалая прежде?
Без океана людского,
бьющего в каждый берег,
подымая людские души?
Без огня, зажженного в людях
великим Ленинским словом?
Без крестьян, усердных и скромных,
собирающих море хлеба?
Без рабочих, чьи умные руки
умные движут машины?
Без веселых твоих девчонок?
Без поэтов? Без космонавтов,
что ступили первыми в мире
туда, где никто еще не был?

Что бы сталось с народами мира
без тебя, страна, не бывалая прежде?

Как была бы печальна
участь поэта,
если б Октябрь не сиял в его сердце!
Как была бы печальна
участь народов,
если б Октябрь не сказал великое слово,
что стало великим свершеньем:
«Это возможно! Глядите: это возможно!»

Какое же счастье родиться
с тобою в одно время,
страна, не бывалая прежде!
Счастье для всех народов —
знать, что ты рядом с ними,
всегда и повсюду рядом,
вместе со всем прекрасным,
вместе со всем справедливым,
вместе со всем благородным...
Ты, не бывалая прежде,
ты, говорящая гордо
это великое слово:
Человек.

В год 50-летия Октябрьской революции

Каракас (Венесуэла)

РИТМЫ ВРЕМЕНИ

В 1936 году в буржуазной Чехословакии вышла примечательная книга — «СССР в чехословацкой поэзии». Предисловие к ней было написано видным деятелем передовой чехословацкой литературы Б. Вацлавеком. Мы перепечатываем в сокращенном виде предисловие и ряд стихотворений, вошедших в антологию.

Говорят, что поэты опережают время. Эти слова особенно оправдались в том, как относилась чешская поэзия к Советскому Союзу. Потому что чешские поэты проложили путь той сердечной дружбе, которая связывает теперь нашу республику и великую страну на востоке; именно они со свойственным поэтам вниманием с самого начала следили за теми великими событиями, в ходе которых родился Советский Союз.

Задолго до Октябрьской революции ее наступление предсказал в своих стихах Антал Сташек. А в тяжкий и полный надежды 1917 год чешский поэт Й. Гора спрашивал себя: «Что, если бы я был русским?..» Веяние свободы, шедшее из России, усилило и в нас стремление к свободе и помогло нашей борьбе. А потом Антонин Сова полным голосом заявил, что в России сражаются за великую идею, хотя ему и казалось, что борьба была трагической. Другие уже тогда видели более ясно, историческое величие русских событий привлекало к себе — одно за другим — сердца поэтов. Но Россия была далека, недоступна (один Иван Ольбрахт увидел ее тогда своими глазами). Только одни пламенные приветствия могли помочь посольству поэтических сердец проникнуть через фронты интервенции и через государственные границы, выразить восхищение героизмом русского народа и заверить его в своей верности на жизнь и на смерть.

Революционная волна перехлестывает через границы, докатывается до западных стран, и кажется, что до мировой революции рукой подать. С надеждой обращается к будущей революции и чешская поэзия. Интонации советской «космической» поэзии революции слышны в стихах поэта, бывшего с легионерами в России, потому что надежды чешской национальной революции слились в сердцах рядовых легионеров с социальными надеждами, вызванными русской революцией, и так родилось решение сражаться за свободу, человеческие права и счастье. И еще много позднее чешская поэзия будет все снова и снова возвращаться к славным октябрьским дням и снова переживать их вместе с советскими поэтами, переняв от них и взрывчатый разорванный стих. Сердце мира билось тогда в России, и чешские поэты не могли не прислушиваться к его ритму. Для них стал символической фигурой Александр Блок — первый пламенный поэт этих колоссальных событий. Но, конечно, дороже всех им был Ленин, смерть которого заставила зазвучать все регистры чешской поэзии.

Затаив дыхание, поэты прислушиваются на Красной площади и у мавзолея Ленина к стуку живого сердца вождя, которое отмеряет время. Там, на Красной площади, ночной порой словацкий поэт осознает, что победоносная Октябрьская революция была тем же пламенем, которое горело в гордом свободолюбивом сердце его народа*.

* Имеется в виду «Московский вечер» Л. Новомеского.

После войны чешские поэты часто мечтали о некой экзотической стране, куда можно было бы скрыться от этого потерявшего равновесие мира. Теперь им уже не нужно мечтать об экзотической стране, теперь у них есть убежище, это убежище — СССР. Попав туда, они лишь в первый момент интересуются памятными местами, потому что притягательная сила этой страны заключается в другом: в новой жизни. Вместо баррикад здесь теперь — борозды, вместо солдата — пахарь, вместо оружия — плуг. Но дело было не только в переходе от революционных боев к труду. Они постигали и героизм труда, завоевание человеческого духа и рук человеческих, героических сердец, сердец завоевателей природы, изгнавших и одолевших эксплуататоров, героизм труда, не эгоистического, труда на благо всех. Этот мирный труд захватывает поэтов, может быть, еще сильнее, чем прежде, потому что труд сам по себе героичен и преображает человека-труженика в героя.

И снова возникают ритмы, напоминающие о героической лирике эпохи революции и гражданской войны, они вдохновлены героизмом труда на стройке социализма. И снова, и снова отправляются поэты в паломничество в Союз Советских Социалистических Республик, чтобы своими глазами увидеть чудо освобожденного человеческого труда и творческой энергии масс, а по возвращении они еще долго вспоминают о стране, показавшей им воочию, что каждому человеку есть ради чего жить. Это еще крепче спаивает их с теми, кто и у них на родине стремится завоевать более человечный порядок, и они отбрасывают свои личные огорчения, чтобы побрататься с жизнью. Новая земля возвращается в поэзию теперь уже не овеянная мечтами об исторических камнях Москвы, не окутанная меланхолией северных ветров, но закованная в сталь и готовая к бою. А на Западе поэты вынуждены изрыгать песни, полные серы и огня, потому что они поют о мире, осужденном на гибель. Их взоры обращаются к новому миру, на восток, который вырастает в миф целого столетия. Они ездят туда, чтобы радостно прильнуть к жизни и к миру и утолить свою жажду света, радости жизни. И домой они привозят твердую убежденность, что советское строительство — монументальные инициалы для монограммы целого столетия, они привозят надежду для всего мира. Новая волна революционности и общественной активности затопляет чешскую поэзию. Она неотделима от той крепкой опоры, которой сегодня Советский Союз является для всего подлинно творческого в мире. В стихах чешских поэтов мы можем прочесть, как Советский Союз поддерживает и за своими границами веру в жизнь.

И отнюдь не туманной мечтой привлекает их к себе эта страна. Они очень точно знают, что их к ней привязывает. Это новые возможности жизни, новый человек, его героизм и умение по-новому радоваться жизни. «Я всегда был против людей,— пишет Витезслав Незвал в своей «Невидимой Москве»,— которые хотят, исходя из самых добрых намерений, показывать граждан Советской страны с неизменной улыбкой на устах... И все-таки, когда я впервые попал в Парк культуры и отдыха, в атмосферу этих улыбок, и понял их правильный смысл, я с трудом сдерживал слезы». Поэты видят, как в Советском Союзе осуществляется то, к чему они стремились всю жизнь. Они слышат гимн человеческому «цветению». И поэтому, так же как они когда-то чувствовали, так теперь они точно знают, каков исторический смысл событий в СССР во всем их размахе и во всей их сложности. Поэтому великий поэтический гимн Советскому Союзу — «Благодарность» Неймана — шел как будто от сердца всей чешской поэзии.

Но он говорит еще и о другом. О том, что не только поэты или небольшая кучка людей стали приверженцами нового света социализма — сегодня уже миллионы стремятся выразить свою любовь к Советскому Союзу. Если основным признаком поэзии, обращенной к будущему, поэзии революционной, считается социалистическая перспектива, признание социалистического строительства и необходимость борьбы за социализм, то чешская и словацкая послевоенная поэзия, во всяком случае тогда, когда она непосредственно выражает свое отношение к Октябрьской революции и Советскому Союзу, выдержала самый строгий экзамен. Не вся поэзия и не всегда одинаково. Оттенков было много. Но внушительное впечатление производит то, что в этом важнейшем вопросе ума и совести чехословацкая поэзия в лице ряда своих передовых представителей оказалась на высоте. Что высказались не только поэты, но их устами — весь чешский и словацкий народ.

Все, что говорилось, относится и к стихам о Ленине. Ленин — маяк, возвышавшийся над разбушевавшимися волнами русской земли, ясно указывал направление, куда надо идти. Имя Ленина звучало как колокол во всех странах. Ленин имел такое же международное значение, как и Октябрьская революция, поэтому смерть Ленина в чехословацкой поэзии вызвала столько поэтических реквиемов, оплакивавших эту всемирную утрату. Для одних он воплощал всю послевоенную революционную эпоху, которая ознаменовалась поисками новой жизни, для других он был великим представителем человечества, а для третьих — прежде всего строгим судьей, который и после смерти жив и судит мир. Томан нарисовал портрет Ленина крестьянского, мужицкого. И хотя позднее Ленин стал для многих чешских поэтов лишь символом того, что озаряло когда-то их молодость и что потом отступило куда-то в далекое будущее, как мечта, пусть яркая и жгучая,— для чехословацкой поэзии в целом Ленин остался тем, кто открыл раз и навсегда тайну будущего человечества, тем, кто определил ритм шагов этого приближающегося завтра.

Настоящий обзор посвящен этой радостной главе из истории послевоенной чехословацкой поэзии. Он не претендует на документальную полноту. Мне хотелось бы рассказать об этом «всем, всем, всем». И мне хотелось бы, чтобы голос наших поэтов дошел когда-нибудь и до слуха того народа, которому они от всего сердца посвятили свои стихи. Это пожелание нельзя назвать нескромным: оно полностью оправдано. Потому что нет в Европе, а может быть, и во всем мире другой литературы, которая обращалась бы к нему с таким же братским чувством.

Б. ВАЦЛАВЕК

1936 г.

ЙОЗЕФ ГОРА

В Москве

Открыты взору белые
просторы.

Ударили куранты.
Час который?

По Красной площади
иду с мечтой о Ленине.

И бьется сердце.
Это ритмы времени.

1928

ФРАНТИШЕК ГАЛАС

Вера

С надеждой, что поддерживает нас,
идем в страну рабочих за мечтою.
Там в каждом колосе звенит грядущий час,
земля поет расплавленной рудою.

Ведь там начало наше, может быть!
И мы печаль с любимыми разделим
о том, кто дал из розы нам испить.
Он умер. Нет, он существует — Ленин!

В печальной Чехии, в изложнице моей,
где остывает крови полыханье,
о, дай нам, вера, сохранить дыханье,
донесшееся из грядущих дней!

1935

Перевод с чешского Д. САМОЙЛОВА

Ударники

перед нами богатства земля разложила
горы хлеба
металла
великанская сила
кипя в наших жилах
нашу кровь напитала

сеем
пашем
молотом машем
к станкам спешим
в головах
залпом внезапным
рождается план нового мира
сердце
чувства рекою к нему устремило
под лучами чудесного завтра
управляем волшебным жужжаньем машин

кто мы такие?
стихии
мы укротим
отдадим их в руки рабочие
города сотворим
не шутя говорим:
с морями и горами
сделаем все
что захочется

темп
наш лозунг
мозолистым нашим рукам
мир доверил свои весла
кто корабль повернет?
не посметь!
угнетателям — смерть!
нам — вперед!

1934

Перевод со словацкого Р. КАЗАКОВОЙ

Наша песня

Черные тучи идут и идут —
словно улыбку у мира крадут.

Молнии. Мглисто. Ни дня тишины.
Но только трусы уныло бледны.

Мы — пролетарии, нам довелось,
черные тучи, узнать вашу злость.

Сколько блуждали мы в черных ночах
с черными тучами в горьких очах!

Но не сломился никто, не ослеп
в битве за черный насущный наш хлеб.

Хлеб этот честный и братство людей —
в мире не знаем мы лучших идей!

Сложим надежды, победы, труды,
красным своим воскресеньем горды.

С нами под знамя спешите скорей,
белый и черный, индус и еврей,

расы, народы — весь люд трудовой,
станем единой семьей боевой.

Армию нашу попробуй разбей!
Время твое наступает, плебей!

Там, на Востоке, твердыней стоит
крепость. Она нам победу сулит.

Светит над нею маяк маяков
всем — от младенцев до стариков.
Колокол мощный разносит по свету:
братство — Советы, братство — Советы!

Мечутся дни, будто тяжко больны.
Но только трусы уныло бледны.

Светом надежды высвети мрак,
Ленин — колокол, Ленин — маяк, Ленин — колокол,
Ленин — маяк,
маяк — колокол,
Ленин!

1924

Открытая книга

Мужик молился, пил сивуху,
как вся родня его пила,
не отличал от буквы букву —
закрытой книгой жизнь была.

Она судьбу ему писала
не чутким перышком в ночах —
свистящей плеткою плясала
на окровавленных плечах.

Но в мире есть всему границы,
хотят того иль не хотят.
Открыта книга — той страницей,
где Ленин написал: Октябрь.

За первой ожила вторая,
неся большое слово: хлеб.
О да, ни роскоши, ни рая —
работа, хлеб... А дальше — нэп.

А дальше... Сколько им сменяться?
Как изменился наш герой!
Уже умеет он смеяться
и в книгу пишет сам порой...

А дни его набиты густо
тем, без чего мы — как без крыл.
Он для себя открыл искусство —
как самого себя открыл.

Страницы дел, больших и смелых,
страницы подвигов ума...
А рядом еще много — белых,
заиндевелых, как зима.

Еще во льдах, где красный «Красин»,
полярники начертят «А».
Еще, страницы, вас украсят
сады, заводы, города...

Аэростат пропорет тучи...
И вечно к вашей белизне
он будет приникать, грядущий,
идущий по снегу к весне.

1928

Перевод с чешского Р. КАЗАКОВОЙ

ЯРОСЛАВ СЕЙФЕРТ

Песнь о Москве

Злаченые зубки твоих куполов
блестят в твоих снежных деснах.
Кругом просторные купола
твоих заводов.

Но нам безразличны бриллианты
и безразлично злато.
Сегодня лучшая плата —
хлеб на ладони.

Толковые ювелиры
сегодня месят опары
и достают из жара
чистое золото хлеба.

И как она чудно пахнет,
простейшая драгоценность,
когда этот теплый ломоть
мать подает детям.

И колокол медным гласом
вещает по всей планете,
и отдается басом:
Хлеба! Хлеба!

А золото нам ни к чему.

1926

ИРЖИ ТАУФЕР

До свидания

Я снова думаю о той стране,
которая, подобно шапке красной,
короновала землю.

Там потрясенным сердцем понял я,
что существует на земле надежда
для тех, кто был игрушкой бытия.

Там радостно почувствовал, что нет
различья между мной и теми,
кому враждебный климат застит свет.

И снова мысли обратились вспять,
как письмена в древнееврейских книгах.

Я горячо люблю страну труда,
где с жизнью побратался навсегда.

Там в строгих строфах заводских цехов
встречался я с поэтом Маяковским.

Березовые рощицы в платках
просушивали дождь на голых ветках.
Там говорил со мной Сергей Есенин.

Там в свете каждой лампочки в селе
сиял глазами Ленин.

1933

Перевод с чешского Д. САМОЙЛОВА

ФРАНЦ ФЮМАН

Барлах в Гюстрове

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

Эрнст Барлах. Портрет работы Лео фон Кёнига.

БОЛЬШОЙ ХУДОЖНИК ГЛАЗАМИ БОЛЬШОГО ПИСАТЕЛЯ

Еще несколько лет назад наш читатель знал Франца Фюмана, одного из самых известных поэтов и прозаиков ГДР, лишь по упоминаниям в обзорных статьях и эпизодическим переводам. Но за последние два-три года бóльшая часть его повестей и рассказов опубликована в журналах и вышла отдельной книгой; Фюману посвящено несколько статей и рецензий. Знакомство состоялось, и представлять писателя заново нет нужды. Поэтому, казалось бы, публикуя повесть «Барлах в Гюстрове», можно ограничиться справкой: «Одно из произведений известного писателя, которое открывает последний сборник его прозы, недавно вышедший в ГДР» *.

Но имя скульптора Барлаха, вынесенное в заголовок повести, но образ Барлаха, в ней созданный, и значение этого образа требуют некоторых вступительных замечаний.

Кто такой Барлах?

Читатели «Иностранной литературы», вероятно, запомнили отрывки из документов, опубликованные в журнале под заголовком «Искусство, которое не покорилось. Немецкие художники в борьбе против фашизма». В этих потрясающих свидетельствах трагических жизней и несломленного мужества, в этой летописи сопротивления**

* Franz Fühmann. „König Ödipus", Gesammelte Erzählungen. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1966.

** «Иностранная литература» № 6, 1967 г., перевод, публикация и вступительная статья С. Комарова.

гуманистов варварству и мракобесию есть строки, вписанные Эристом Барлахом. Во вступительном очерке к публикации говорится: «Не склонили голову перед фашизмом великие художники-гуманисты, связанные глубочайшим духовным родством, страстные противники войны Эрист Барлах и Кете Кольвиц».

В этих словах все справедливо. Действительно, великие художники. Действительно, подлинные гуманисты. Действительно, страстные противники войны. Действительно, не склонили головы перед фашизмом. Верно сказано и о глубочайшем духовном родстве обоих. Кете Кольвиц отзывалась о творчестве Эрнста Барлаха с огромным уважением. Когда его скульптурная группа — памятник погибшим на войне — после долгой кампании травли была удалена нацистами из собора в Магдебурге, Кете Кольвиц с немалым риском добилась возможности посмотреть ее и сделала такую запись в своем потаенном дневнике: «...в подвале, закрытом для публики, видела Магдебургский памятник Барлаха. Он так же хорош, каким казался мне по репродукциям; даже еще лучше. В нем подлинные переживания, связанные с войной 1914—1918 гг. Для сторонников третьего рейха он, разумеется, неприемлем. Безмолвие — вот что поражает, когда переводишь взгляд с одной фигуры на другую. Человеческие уста, созданные для того, чтобы говорить, сомкнуты здесь так крепко, словно они никогда не улыбались. Но лицо матери он скрыл надвинутым платком. Это прекрасно — Барлах!»*.

Ну, а Барлах? Одной из самых своих прекрасных работ, так называемому «Гюстровскому ангелу», скульптор придал черты сходства с Кете Кольвиц. Словом, их имена в приведенной выше цитате поставлены рядом с полным правом. Но если творчеству Кете Кольвиц на русском языке посвящено несколько работ, то об Эрнсте Барлахе советскому читателю до сих пор решительно нечего и негде прочитать. Самые дотошные разыскания в библиотеках дают микроскопические результаты!

А между тем Барлах был не только выдающимся скульптором и замечательным графиком, но и интереснейшим писателем. Его перу принадлежит несколько пьес, два незавершенных романа, записки о путешествии в Россию, автобиографическая повесть «Рассказ о собственной жизни», множество очерков, эссе, памфлетов.

Когда на Барлаха обрушился град обвинений в том, что его творчество чуждо «германскому национальному духу», он написал памфлет, исполненный высокого достоинства и блистательного сарказма, «Хвала почвенничеству» **. Памфлет этот мог бы стать украшением любой антологии антифашистской публицистики.

Эрнст Барлах был мастером афоризма. Вот несколько строк, написанных им вскоре после прихода нацистов к власти: «Тот, кто имеет слух, чтобы слышать, но пренебрегает при этом зрением, подвергается опасности, что его убедят в том, для понимания чего требуются прежде всего и главным образом глаза» ***. Пожалуй, от этого изречения — и от его смысла, и от его формы — не отказался бы сам Брехт!

Бóльшая и самая острая часть литературного наследия Барлаха была опубликована только после разгрома фашизма: его голос публициста, сатирика и памфлетиста прозвучал лишь посмертно. Многое в литературном наследии Барлаха заслуживает и ждет перевода на русский язык.

Литература о Барлахе на европейских языках велика и многообразна. В нее входят и полемические статьи двадцатых—тридцатых годов, когда каждая новая скульптура или пьеса Барлаха вызывала яростные споры, и многочисленные искусствоведческие исследования, и воспоминания друзей, изданные после разгрома фашизма, когда имя Барлаха перестало быть запретным.

Впрочем, одна из книг, посвященных ему и ставшая величайшей библиографической редкостью, была издана в Германии в 1939 году. Друзьям, которые сохранили ему верность в опасности до последнего часа, удалось через год после его смерти издать на правах «частной публикации» брошюру, где были собраны прощальные слова, произнесенные над его гробом ****. Глухо, намеками, но все же друзья отважились сказать в этих речах о его человеческом и художественном подвиге.

В литературу о Барлахе входят, наконец, те заметки, которые, в связи с открытием в 1951 году выставки Барлаха в ГДР, опубликовал Бертольт Брехт. Вот отрывки из них: «Посмотрим, например, на «Читающего» — бронзовую скульптуру 1936 года. Сидящий мужчина, чуть наклонившись вперед, держит книгу в тяжелых руках. Он читает с любознательностью, доверчиво и критически. Видно, что он ищет в книге решения самых острых проблем. Геббельс назвал бы его «интеллигентским отродьем». Мне этот «Читающий» нравится больше, чем прославленный «Мыслитель» Родена... Скульптура Барлаха реалистичнее, конкретнее, в ней меньше символики... В тяжелом 1937 году была создана скульптура «Хохочущая старуха». Противостоять ее хохоту невозможно! Хохот ее подобен песне. Он расковал все ее тело. Она кажется помолодевшей. Легко представить себе, что такой смех не мог обрадовать ни Геббельса, ни Розенберга Говорят, что Барлах создал свою «Хохочущую старуху», когда узнал, что многие его скульптуры, изгнанные из музеев, как «вырожденческие», были проданы в Швейцарию на предмет извлечения валюты, потребной для постройки пушек... Всем

---

* Käthe Kollwitz. „Aus Tagebüchern und Briefen". Berlin, 1959, S. 145.

** „Lob der Bodenständigkeit". In: Ernst Barlach. „Prosa aus vier Jahrzehnten". Berlin, Union-Verlag, 1964, S. 342-346.

*** „Fragmente von weitläufigen Auslassungen". Ebda, S. 340.

**** „Freundesworte Ernst Barlach zum Gedächtnis". Hamburg, 1939, Privatdruck.

этим скульптурам присуща, на мой взгляд, важнейшая особенность реализма: в них много существенного и ничего лишнего. Замысел, достойные прообразы и материал определили счастливо найденную форму. Бесспорна также любовь Барлаха к человеку, его гуманизм» *.

Художник, которым так восхищались Кете Кольвиц и Бертольт Брехт, заслуживает того, чтобы мы о нем знали.

Повесть Франца Фюмана, надеемся мы, привлечет внимание читателя к судьбе Эрнста Барлаха, полной горького трагизма и высокого мужества, и к его творчеству, которое навсегда вписано в историю мирового искусства. Но дело не только в том, что перед нами биографическая повесть о художнике и человеке, о котором мы знали меньше, чем должны были бы знать. Дело еще и в том, что это повесть о замечательном художнике, написанная прекрасным писателем.

Можно представить себе роман о Сервантесе, который будет обстоятельнее, чем повесть Бруно Франка. То же самое можно сказать и о «Мольере» Булгакова. Но значение этих книг не только в том, что они — биографии великих людей, а еще и в том, и, может быть, прежде всего в том, что они могли бы встать в библиотеке на отдельную и почетную полку — «Жизнь замечательных людей, рассказанная замечательными писателями». Вот так и «Барлах в Гюстрове»!

Проза Фюмана — проза поэта с характерными для поэзии сложными метафорическими ходами, звукописью, музыкальным ритмом. Франц Фюман рассказывал нам, что картины его повестей складываются в его воображении не за столом, а когда он долгими часами ходит по лесным тропинкам или улицам ночного города. Это проза, которая рождается, как стихи. Узнав о том, что готовится перевод его повести «Барлах в Гюстрове», он прислал письмо, в котором как бы извинялся за сложность ее языка. «Отдаете ли вы себе отчет в трудности этой работы? — спрашивал он.— Стиль Барлаха, а я должен был следовать ему, потому что я беспрерывно заставляю Барлаха мыслению рассуждать, а это он должен делать присущим ему языком, этот стиль изобилует подробностями, сложен, почти вычурен, порою на самом деле вычурен и всегда невероятно труден!»

Да, разумеется, в повести немало страниц, стилистически перекликающихся с прозой и драматургией Барлаха, но сказать, что это — стиль Барлаха, а не стиль Фюмана, было бы несправедливо. Поэтический взгляд Фюмана превращает маленькую рощицу в сказочный лес, то полный прекрасной и поэтической жизни, то враждебный и мертвый, зловещий, умирающий и убивающий. Слух Фюмана-поэта диктует ему строки, в которых звучит столь свойственная немецкой народной поэзии аллитерационная рифма в начале слов. В пристрастиях к аллитерациям, к словесным парам, к рифмующимся пословицам, к нагнетанию сложно развивающихся метафор в этой прозе действительно много общего с прозой Барлаха, но это сходство не внешнего подражания, а внутренней близости и смелого творческого преображения.

Есть в этой повести еще одна очень характерная и привлекательная черта. Ее автор совершенно не озабочен тем, чтобы проза его была «современной» в расхожем смысле этого слова. Обстоятельные описания природы кажутся сейчас некоторым прозаикам безнадежно устаревшими. Франц Фюман не мыслит без них прозы. Пейзаж в его повести не декорация, не фон, он действующее начало — то умиротворяющее, то грозное, но всегда необходимое! Ему и его герою внятен язык воды и леса, грозы и неба, тумана и ветра. Ни одно дерево, ни один кустарник не названы в его повести просто деревом, просто кустарником — это всегда береза, бук, дуб, рябина, орешник, ольха, клен, ежевика. Не просто какое-то «растение», а болиголов, козья жимолость, бузина. Словарь его пейзажных описаний неисчерпаемо богат и потому поэтичен.

После огромных по протяженности то неспешных, то стремительно нарастающих картин природы идут, казалось бы, тоже несвойственные современной прозе страницы прямой и высокой публицистики, ничем не приглушенного, не скрытого то трагического, то утверждающего пафоса. Там, где поэту нужна живопись, он работает ее средствами, там, где ему нужна философия, он не останавливается перед философскими понятиями. У него нет заранее предписанных себе самому, предвзятых правил и ограничений. И в этом он тоже близок герою повести.

...В кратком послесловии Франц Фюман говорит о соотношении в повести внешних фактов и их художественного осмысления. Не станем же предвосхищать того, что скажет читателю сам автор.

Но так как эта повесть — лишь один день из жизни Барлаха, хотя в ней возникают наплывами воспоминаний предшествующие дни и годы, я позволю себе сообщить некоторые фактические сведения. Знание их не ослабит впечатления от повести, но, думается мне, поможет войти в ее сложный материал.

Эрнст Генрих Барлах родился в 1870 году в семье врача в городке Ведель, что подле Гамбурга. Его детство было связано с двумя другими маленькими городками — Шёнбергом и Ратцебургом. Отец умер, когда Эрнсту было четырнадцать лет. После смерти отца семья жила трудно. Барлах учился в художественной школе, а затем в Академии художеств, но, уже дойдя до выпускного класса Академии, колебался, кем стать — графиком, скульптором или писателем.

---

* Bertolt Brecht. „Notizen zur Barlach-Ausstellung". In: „Sinn und Form", Berlin, Heft I, 1952.

Несколько лет жизни Барлаха — годы странствий и метаний и в буквальном и в переносном смысле слова. Он переезжает из города в город, меняет профессии, то обретает, то вновь утрачивает веру в свое призвание художника. Представленный на конкурс проект памятника Гёте, в который было вложено не только много надежд, но и подлинное вдохновение, проект, в котором уже предугадывается будущий Барлах,— отклонен! Зато несравненно более академический и традиционный Нептун для здания дирекции Гамбургско-Американского пароходства не только принят, но воплощен в бронзе. Автор недолго радовался удаче. Он сел в лодку, отплыл от берега, посмотрел на свое создание и воскликнул: «Ну, и колоссальное же это дерьмо!» — чтобы уже больше никогда не возвращаться к сюжетам, освященным академической традицией.

Барлах пытается преподавать для заработка художникам-керамистам, но тяготится этой работой, рисует карикатуры, отчаивается, временами стоит на грани самоубийства, от которого его удерживает страстная любовь к сыну. Это тот самый Николаус—Клаус, который будет упомянут в самом начале повести Фюмана. Мать мальчика не стала женой Барлаха, и он лишь после многих тревог добился ее согласия, что будет воспитывать сына сам.

Большим событием в жизни художника становится его короткое путешествие к брату, который работал в России. Поездка по городам и селам Украины и Донецкого бассейна отразилась в его записках о путешествии в Россию, а главное — в нескольких скульптурных произведениях. Их темы и решения, найденные в этом путешествии, необычные и для него, и для тогдашнего немецкого искусства, привлекли внимание к Барлаху и вызвали вокруг него первую волну полемики.

В 1910 году Барлах навсегда поселяется в маленьком городке на севере Германии — Гюстрове. Гюстров расположен на реке Небель, чье название странно созвучно со словом «туман» и отличается от него только родом. Здесь Барлах живет до конца жизни, лишь очень редко покидая полюбившийся ему город. Так как о всех дальнейших событиях жизни Барлаха рассказано в повести, я прерываю изложение его биографии, а справки, которые могут быть полезны читателю, переношу в примечания к тексту.

Почему Франц Фюман выбрал Эрнста Барлаха в герои своей повести, почему он вложил столько труда (это видишь, когда сопоставляешь повесть с источниками) и столько страсти в эти страницы, написанные одним дыханием?

Потому ли, что Барлах принадлежал не только к самым знаменитым художникам своей страны, но и к тем, чье творчество никого не оставляло равнодушным, вызывая восторг одних, ненависть других, недоумение третьих? Разобраться в таком человеке, перевоплотиться в него, показать этот характер изнутри — почти вся повесть написана как внутренний монолог Барлаха — задача увлекательнейшая. Но мне кажется, что дело не только в этом.

Один из исследователей Барлаха пишет: «Вероятно, каждый, кто впервые без подготовки окажется перед скульптурой Эриста Барлаха, застынет перед ней в полной растерянности. Ничто в этой скульптуре не обращается к нему на языке общепонятной и льстивой красивости... Здесь все выглядит иначе, чем мы привыкли; все резко противостоит нашим, унаследованным представлениям о красивом и идеальном; произведение встает перед нами как нечто, столь чуждое и странное, что нам в первый момент кажется — этого мы никогда не поймем! Но оторваться от него мы не в силах, оно вновь и вновь притягивает наш взгляд, мы с трудом высвобождаемся из-под его власти, а воспоминание об увиденном остается в памяти словно выжженное огнем»*.

Образы, созданные Барлахом, действительно невозможно забыть, и в них действительно нет ничего от идеальной красивости. Но тому, кто не видел ни скульптур Барлаха, ни хотя бы их воспроизведений, эти строки могут подсказать представление о нем как о художнике, трудно воспринимаемом, сложном, говоря обиходным языком, «мало понятном». А это не так! Барлах не только теоретически отвергал «герметический язык» беспредметного искусства, столь же решительно, как и штампы искусства натуралистического, но и противостоял обеим (не столь уж далеким) крайностям всем образным строем своих произведений. Его скульптуры скупы, лаконичны, входят в сознание сразу, запоминаются навсегда. Это та простота, в которой — огромная глубина мысли и сила страсти. Сам Барлах, говоря о своих учителях, называет безымянных немецких резчиков по дереву XII—XIII веков. Его связь с немецкой готической скульптурой неизменно подчеркивается исследователями. Она очевидна. Однако, не будучи искусствоведом, решусь все же высказать одну догадку — мне кажется, что одним из его учителей, во всяком случае одним из его предшественников, был Питер Брейгель-Мужицкий. Он тоже очень прост и тоже очень сложен, а, главное, в простоте его полотен так же явственно звучит острый трагизм эпохи, как звучит он в скульптурах Барлаха.

Если взглянуть на воспроизведения скульптур Барлаха «Человек в колодке» или «Ведьма со связанными руками» или перелистать том рисунков, который был конфискован и уничтожен гестапо и по немногим уцелевшим экземплярам издан вновь после разгрома фашизма, станови́тся ясным, насколько неслучайно на первой странице

---

* Flemming W. „Ernst Barlach". Bern, Francke-Verlag, 1958, S. 5.

повести Фюмана возникает имя Гойи. Речь идет не о перепевах. Работы Барлаха проникнуты поистине гойевской ненавистью ко всем инквизиторам и палачам XX века!

Глубокое ощущение трагизма эпохи не могло не привлечь обостренного внимания и сочувствия Франца Фюмана, главная тема творчества которого — ответственность художника и писателя за судьбы человека, человечества и человечности.

В творчестве Барлаха необычайно сильно демократическое, плебейское, народное начало. Оно влечет его к миру народных сказок, к образам старинных «шванков», к пословицам и поговоркам, но не только к тому, что уже стало историей в жизни народа, а и к глухим деревушкам, сельским дорогам, улицам окраин, где ходят, живут, работают его современники.

«Мне кажется, я имею право сказать о себе, что все свое добро я подобрал на улицах, а не в музеях и не в академиях»,— сказал однажды Барлах *. Так оно и есть. И эта важная черта — нет, не черта — эти глубинные корни его творчества не могли не привлечь Франца Фюмана, постоянно размышляющего о народной, демократической традиции в жизни его соотечественников, которую можно было заглушить и придавить, но которую нельзя было до конца уничтожить.

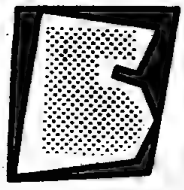
Есть, наконец, как мне кажется, еще одно, быть может, главное объяснение того, почему Франца Фюмана привлекла судьба Эрнста Барлаха. Почти все исследователи отмечают, какое место в творчестве Барлаха — как в прозе, так и в скульптуре — занимает образ путника (добавим, что это чаще всего путник, который трудно, но упорно шагает наперекор ветру) и мотив спора двойников. Этот спор начинается на страницах юношеских набросков и развивается до трагического столкновения главных героев его последней незавершенной пьесы. Один из них исповедует христианскую покорность и непротивление злу, другой, пройдя через все искусы зла и все соблазны невмешательства в дела грешного мира, приходит к убеждению, что величайшее благо человека — активная совесть, которая побуждает его поднять разящий меч на все противостоящее человечности.

Но если во многих исследованиях этот спор трактовался и трактуется как две грани в сущности неизменного внутреннего мира художника, вмещающего и примиряющего и смирение и протест, то в повести Фюмана утверждается, что трудный путь Барлаха не был никуда не ведущим кружением, а что он вел и привел его к осознанию того, кто из «двойников» ему ближе, к пониманию того, что художник не может быть нейтрален в борьбе, которая происходит в мире. Он до последнего вздоха должен быть с теми, кто не мирится со злом и насилием, с войной и мракобесием, а противостоит им. И это не примышлено герою, не навязано ему. Это подлинное и подлинно глубокое прочтение и его собственной истории, и содержания его важнейших произведений.

Не помню, кому принадлежат слова о том, что настоящий художник, если и не врач своего времени, то он — его боль. Барлах не знал путей, чтобы исцелить свою страну и свое время, но он с такой силой выразил боль, что само это ее воплощение стало его полем сражения, его фронтом и его победой. Гонимый, он не сдался. Обложенный, казалось бы, со всех сторон врагами, он продолжал работать до своего смертного часа. Во имя будущего! Когда в 1938 году Барлах умирал, Францу Фюману было шестнадцать лет, и он верил в ту ложь, которой так мужественно противостоял словом и делом старый художник. В своих других произведениях Фюман рассказал с пронзительной и беспощадной откровенностью о пути, который он прошел, прозревая. Человек и писатель, прошедший такой путь, смог написать ту повесть о Барлахе, которую вы сейчас прочитаете, и написать ее так, как он ее написал.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

* Schult F. „Barlach in Gespräch". Insel-Verlag, 1963, S. 24.



ыло шесть часов утра, когда внизу под крышкой люка резко зазвонил телефон; Барлах давно уже проснулся. В эту ночь (а все это происходило 24 августа 1937 года) он снова не смог уснуть; последняя пачка снотворных пилюль, которые ему достал аптекарь Тиме две недели назад, давно уже кончилась (из-за нехватки сырья их свободную продажу запретили много месяцев назад); потому-то Барлах и лежал без сна в своей спальне, отделенной портьерой от рабочего кабинета; сначала он чувствовал себя хорошо, потом его начали мучить все усиливающиеся боли в сердце; так он лежал часов до двух, потом, вероятно, задремал, но уже несколько часов назад очнулся от ужасного сновиденья. Ему приснилась толпа людей с кабаньими головами и с маленькими щитками нашивок на левом рукаве: черный крест свастики, ок-

руженный белым и красным; эти люди схватили его и повлекли к грубо сколоченным деревянным тискам, похожим на ярмо, в которых он сразу же, но ничуть не удивившись, узнал гарроту — приспособление для казни, изобретенное испанской инквизицией, — его горло зажали в них с такой силой, что мучительное, все возрастающее давление на артерии, на шейный позвонок и трахею оторвало его тело от земли, и оно некоторое время горизонтально парило в воздухе, чтобы потом, ощутив, как леденящий холод, лопнувшие легкие, камнем упасть на каменный пол и со звоном разбиться. Подобные ночные кошмары теперь часто мучили Барлаха, он знал, что приступы удушья вызваны эмфиземой легких, и образ гарроты, созданный Гойей, был ему знаком и до ужаса привычен уже четыре года; но сегодня, едва вырвавшись из давящего кошмара, он уже знал: это — больше, чем страдание, порожденное немощами тела; это — знамение, которого он так боялся. Он ждал его уже давно; когда по содрогнувшимся улицам Гюстрова, словно студенистый червь, проползли орущие «хайль» полчища, празднуя избрание своего предводителя канцлером, он не стал строить никаких иллюзий насчет той темной силы, которая угрожала теперь разуму Германии, и все-таки, сбитый с толку мимолетной благосклонностью колченогого министра пропаганды, он на мгновенье поколебался в своем стойком чувстве ненависти и понадеялся — на что же? — на немыслимое чудо, на очистительное брожение в рядах узурпаторов, на внезапное озарение их фюрера, быть может, на рыцарский жест, который избавит его, преследуемого, поставленного вне закона, лишенного почти всех своих публично выставлявшихся произведений, тяжело больного человека, от последнего смертельного позора. Барлах гневно рассмеялся: рыцарский жест бандитов и убийц — о, дурак, дурак, дурак, доверчивый ты баран, нет, оставь надежду навсегда! Внизу резко зазвонил телефон. Сомнений нет: смертный приговор будет приведен в исполнение.

Едва Барлах подумал так, как сразу же понял — это еще не смертный приговор: подобный спектакль они разыграют иначе! Разве не похвалялся крейслейтер, что этот день станет праздником для Гюстрова? Разве не болтали коричневые болваны, бездарные молодчики с тряпками на рукавах — символом их мировоззрения — о факельном шествии на Хайдберг? Не для того же в течение недель проносилась по страницам газет ведьмовская буря лжи и травли, чтобы развеяться в конце концов без грозовых молний и грома? Бродячие комедианты откажутся от такого представления? Быть не может! Снаружи гудел ветер, ветер; Барлах, успокоившись, лежал в его веящем гудении. Сегодня еще раз опасность минует его; они иначе насладятся этим триумфом; смертный приговор придет в бое барабанов, не в шепотке телефона. Кроме того, подумал Барлах, и эта мысль успокоила его окончательно, в последнее время они приурочивают свои злодеяния к торжественным дням своего календаря: его «Победитель духов» * в Киле был удален в день рождения этого так называемого фюрера и рейхсканцлера — неужели в Гюстрове они поступят иначе и последний, ломающий позвонки поворот гарроты произойдет в обычный будничный день? Нет, никаких сомнений, телефонный звонок несет мирную весть, этот день будет маленькой отсрочкой казни, а, может быть, если не утихнет ветер, даже рабочим днем, первым днем работы над «Колонной голода» **.

---

* «Победитель духов» — бронзовая скульптура, созданная Барлахом в 1928 г. Изображает ангела с мечом в руке, который попирает спину фантастического зверя, символизируя победу добра и разума над злом и неразумием. Была установлена перед церковью св. Николая в Киле, в 1937 г. по приказу нацистов удалена и конфискована, но, к счастью, сохранилась. В 1954 г. установлена на прежнем месте.

** «Колонна голода» — последний, неосуществленный замысел Барлаха. Сохранился только набросок углем, изображающий столпообразную фигуру изможденного голодом и страданиями человека, к ногам которого прижимается голодная собака.

Но кто же все-таки звонит в такую рань? Барлах, уже с сигаретой во рту, поднялся на постели и прислушался. Внизу лениво заворчал Болл, заскрипела дверь. Семенящие шаги спешили к телефону. Барлах вдруг подумал, что это Пауль Вегенер * предупреждает о своем приезде; может быть, он — великан с монгольским черепом — захотел еще раз убедиться перед долгой дорогой, что его ждут. Ладно, пусть приезжает, только пусть оставит свою свиту дома! А может быть, звонит Клаус — он писал, что в сентябре поедет в Росток на авиабазу для топографических съемок, может быть, он приехал раньше? Но Клаус и шесть часов утра — это плохо вяжется. Значит, все-таки Вегенер! Или Шурек **? Или булочник, а может, ведьма или леший — не все ли равно! Телефон зазвонил в третий раз; звон оборвался, разорванный звон, а если все-таки это смертный приговор? Барлах придавил сигарету в пепельнице. На лбу выступил пот, пальцы крошили табак. «Да, фрау Бёмер у аппарата»,— услышал он голос Марги. Видно, почувствовав ее робкий испуг, тот, кто звонил, назвал себя, и она ответила радостно-вопросительным «да?» — так, как она отвечала только близким знакомым. Значит, все-таки Клаус! Барлах почувствовал, как ослабело давление, железом сдавившее его сердце, напряжение сразу спало, разрешающая усталость охватила тело и душу. Значит, Клаус... Барлах тихо улыбнулся; он вдруг с нежностью увидел сквозь туман лет Клауса — сыночка, козленочка, сплошной комочек горя; Клаус стоит на диване в старом наемном доме на Шверинерштрассе и яростно бьет худенькими ножками, чтобы сбросить расстегнутые штанишки; он увидел болтающиеся ножонки, запутавшиеся в серобелом комке сбившихся штанишек и белья, а рядом в угрожающей близости ванну, где в шлепающем потоке плавал игрушечный кораблик, так и маня скорей купаться, и тут, в минуту воспоминания, которую, вероятно, можно назвать счастливой, его наконец одолел сон, и он задремал, склонив голову на плечо с успокоенным выражением лица. Как долго он спал? Счастливый сон показался ему вечностью, но в тиканье часов он был лишь одним скачком секундной стрелки, и снова тишина вырвала его из сна. Он внезапно вздрогнул. Что случилось? Почему никто ничего не говорит? Почему ему не сообщают, что звонил Клаус? Что здесь происходит? Кто-то плачет? Тишина вопила. Барлах все понял. Он вскочил и рванул крышку люка.

Тяжелую крышку люка — твердыню из дубовых брусьев, соединенных железными скобами, которую не взломать никакой силой и которая превращала второй этаж его квартиры в доме фрау Бёмер — его рабочий кабинет и спальню — в крепость, способную противостоять нападению целой толпы, в крепость, или, как часто ворчал Барлах, в его собственный концлагерь, эту дверь Барлах велел устроить в своем доме, когда начиная с 1933 года посыпались угрозы, анонимные письма и оскорбительные листовки, призывавшие к нападению на два одиноких домика — на его ателье и его жилой дом, которые они называли «жидовской крепостью» и «большевистским гнездом» и которые лежали в пяти километрах от Гюстрова между Хайдбергом и Инзельзее; Барлах жил в окружении врагов словно в осаде и, опасаясь покушения на свою жизнь, полагал, что нуждается в подобной защите. Люк открывался только из спальни; Барлах дернул шнур, и крышка люка поднялась. Барлах посмотрел вниз. Внизу, около телефона, молча, сжимая губы, чтобы сдержать крик, стояла фрау Бёмер; ее рука застыла на положенной трубке; услышав кошачье мурлыканье дубовой крышки, мягко скользящей к по-

* Пауль Вегенер (1874—1948) — известный немецкий артист и режиссер.

** Пауль Шурек — друг Барлаха, писатель. Ему принадлежит книга «Мои встречи с Барлахом».

толочным балкам, она подняла голову, заметила Барлаха и беспомощно попыталась улыбнуться ему, и Барлах, увидев, как она стоит — бледная, изнемогающая от усталости, смертельно испуганная, напрасно пытаясь улыбнуться ему сжатыми, едва сдерживающими крик губами, хотел найти слова утешения, но не смог, и она, увидев Барлаха — шестидесятисемилетнего больного человека с набухшими от страданий и бесцельных надежд веками на изборожденном морщинами желтом лице, с беспокойным, пугливым взглядом загнанного оленя, который теперь глядел на нее огромными глазами и жаждал прочесть на ее лице, что то, о чем ей сказали, неправда,— когда она увидела его такого, она тоже стала искать слова утешения, а так как найти их было невозможно, она тоже молчала.

Так и стояли они: внизу — спутница четырнадцати лет его прославленной и задушенной жизни, а наверху — человек, который вдали от столичного шума в Гюстрове, в глухом, не затронутом жизнью искусства провинциальном городке, почти против своей воли стал самым знаменитым скульптором, резчиком по дереву и рисовальщиком Германии, известным всей Европе; это он возродил деревянную скульптуру и создал памятники жертвам войны, взывающие не к войне, а к миру; член двух, нет — трех, академий, рыцарь ордена «Pour la mérite» * — за заслуги в мирное время; художник, одержимый своей работой, человек, чьи произведения после войны стали для всего мира свидетельством того, что в Германии еще существует настоящее немецкое искусство, может быть даже слишком немецкое: оно лежало в стороне от моды международного рынка, за это его иногда осуждали втихомолку. Барлах и фрау Бёмер стояли молча; снаружи продребезжала тележка булочника, с озера доносилось кряканье диких уток, в шуме ветра шуршал камыш. Они стояли и молчали, и даже Болл, верный, добрый Болл, который каждое утро, когда хозяин его спускался с лестницы, радостно лаял и, виляя раскормленным телом, пытался взобраться по лестнице навстречу, даже Болл, казалось, понял, что случилось,— он лежал, прижавшись к порогу, и испуганно повизгивал. Барлах не стал ни о чем спрашивать. Медленно, прижимая рукой полное тупой боли сердце, он, словно в дурмане, спустился вниз по лестнице.

Враг и растлитель культуры... Было шесть часов утра, лесорубы, которые рубили лес на Хайдберге, принялись за работу. Звонко зазвенели удары, потом затрещали деревья; шум скатывался со склона и заполнял комнаты маленького дома. *Лженемец! Лженемец! Лженемец!* На лестнице застыл Барлах с вопросом в глазах. Фрау Бёмер зажала рот руками, сдерживая рыдания. Барлах подошел к ней, он не нашел утешающего жеста, он беспомощно погладил ее по волосам.

— Когда? — беззвучно спросил он и словно издалека услышал ее рыдающий ответ:

— Сегодня ночью между двенадцатью и часом!

— Между двенадцатью и часом,— повторил Барлах.— Так, так, так, так.

Не крысы ли прошмыгнули? *Враг культуры! Лженемец!* Не шакалы ли чавкают? *Русский наемник! Жид! Осквернитель могил! Большевик!* Губы Барлаха что-то неслышно бормотали, с несказанным ужасом смотрела на него фрау Бёмер; и вдруг он дико затопал, застучал ногами по полу, пронзительно выкрикивая — нет, это был не крик, а хриплые, задушенные звуки — обрывки слов, понять их мог только близкий человек: «Святотатцы, святотатцы, святотатцы... грабят в полночь...

---

* Орден «Pour la mérite»—за заслуги в мирное время—награда, которой удостаивались в Германии ученые, деятели культуры и т. д. Барлах был представлен к этой награде незадолго до прихода фашистов к власти прусской Академией художеств, что впоследствии не раз изображалось нацистами как одно из проявлений пагубного духа в этой Академии.

разбойники крадутся во тьме, сволочь оскверняет собор, крысы, шакалы, прочь, прочь!» Так он кричал и вдруг, словно почуяв, что враги затаились у самого дома, бросился к окну и рванул портьеру. Золотой поток утреннего света, сверкание озера, малахитовый блеск неба хлынули в комнату, но Барлах не увидел ни неба, ни озера, он увидел только молодого человека; молодой человек стоял около сосны между домом и озером, опираясь на забор, и с любопытством заглядывал в окно. Барлах протянул руку за револьвером, спрятанным под чехлом швейной машины, фрау Бёмер схватила его за руку. Молодой человек, почувствовав, что его заметили, повернулся и быстро ушел; Барлах смотрел ему вслед и видел, как он исчез за кустами терновника; и вся краска вдруг сошла с лица Барлаха. Тускло-желтое, оно побелело и стало восковым, веки полузакрылись, фрау Бёмер бросилась за стулом; Барлах отмахнулся.

— Враг культуры,— прошептал он,— враг культуры Барлах,— потом, опершись на подоконник, выпрямил усталое тело и сказал, медленно и четко выговаривая слова: — Я изыду из города, где со мной сотворено такое.

С близкого пляжа доносились радостные крики ребятишек, на озере поднимались паруса, стучали топоры. Гудки призывали утреннюю смену, было шесть часов утра, будничное утро, вторник 24 августа 1937 года; рабочий день, как все остальные, а Барлах узнал, что между полночью и первым часом ночи неизвестные похитили из гюстровского собора ангела его работы.

Ангела с лицом Кете Кольвиц — самого любимого, ангела, само молчание которого — незаглушаемый вопль против войны; этого ангела — самую дорогую ему вещь из всех его бронз — Барлах подарил городу Гюстрову, в стенах которого жил с 1910 года и чей собор и церковь он в своих письмах превозносил выше Флоренции и Равенны; он подарил его городу в знак благодарности — нет, нет... нет, все-таки в знак благодарности за то, что город предоставил ему, некогда неизвестному, возможность работать, а потом, когда внезапная слава ошеломила и напугала его,— убежище и тишину в той части Германии, где он родился и вырос и где только мог он дышать и работать: на продуваемом ветром, открытом, напоенном соленым дыханием близкого моря севере; он с детства постиг блуждающие вместе с облаками души северных лугов и рощ, холмов и озер, кустарников, пастбищ и выгонов; вместе с отцом, сельским врачом, он изъездил в грохочущей повозке все дороги вокруг Шёнберга и Ратцебурга и далеко, далеко вокруг, до самого горизонта; сюда он бежал после отчаянных, но напрасных попыток освоиться в изнуряющей гонке кошмарного берлинского ада, вернулся к любимому ландшафту, к серым потокам дождя, к стаям чаек; он не променял бы их даже на настоенные на запахах трав степи Украины, хотя в тяжелое для него лето 1906 года, когда ему показалось, что он потерпел полный крах и как человек и как художник, он отправился в путешествие по России; и ее люди, естественные и искренние во всех своих страстях и чувствах, стали для него спасением, снова вернули его на прямую дорогу художнического долга. Он безнадежно разочаровался тогда в Германии — дым поезда, стук колес,— прочь отсюда, прочь, прочь... Не успел поезд, который вез его в Харьков к брату, отойти от Варшавы, как в его жадно открытые, ищущие глаза, как луч откровения, устремилась повседневная человеческая жизнь, повседневная действительность — подлинная, единая внутри и вовне, не окутанная оболочкой лжи, как в сытой и самодовольной Германии; и именно поездка в Россию помогла ему окончательно определить главную тему творчества, найти человека своего времени, который стре-

мится подняться над своим маленьким «я» к большему, будь то самопожертвование, упорство, ненависть, любовь, упорная работа или жестокая борьба; Барлах обрел надежду, что сумеет со временем и в немецкой действительности, и в немецком народе найти людей, искренне стремящихся к цели более высокой, чем удовлетворение своего собственного эгоизма, потому что вне Германии — во время своего спасительного путешествия по России он почувствовал это не менее остро, чем раньше, во время учебных поездок во Флоренцию и в Париж,— вне Германии он не может ни жить, ни работать; он и его дом — на немецкой земле, только среди немцев, даже если они заставляют его страдать; на чужбине он задыхался, как рыба, извергнутая морем на раскаленный солнцем песок; он быстро заглушил мелькнувшую было мысль остаться в России у брата и после новых четырех тяжелых берлинских лет в 1910 году последовал за своей матерью и Клаусом в город на реке Небель — Гюстров и очень быстро почувствовал, что там он дома; нанял дешевую квартиру, а рядом устроил студию, согласно своему вкусу и кошельку—в просторной заброшенной конюшне, которую никому и в голову бы не пришло использо-

Эрнст Барлах. «Голова ангела». Подготовительный этюд к «Гюстровскому ангелу».

вать под мастерскую художника; окрестности города словно были созданы для необходимых в его работе блужданий, а здешние люди — крестьяне, возчики, пастухи, музыканты, девушки, мечтатели, философы и влюбленные — стали живыми прообразами его искусства; и от всей полноты благодарного сердца подарил он городу ангела, самую любимую, самую дорогую ему бронзу — молчаливый вопль против войны, а теперь? Теперь все кончено, теперь Барлах покидает город, и это единственное, что ему еще осталось сделать. Единственное? Да, единственное. Сообщив фрау Бёмер о своем решении покинуть город, Барлах снова молча поднялся по лестнице, опустил крышку люка и некоторое время ходил взад и вперед по своему пестрому от ковров кабинету; стол, шкаф, стул и ларь делали его почти тесным, а кроме того, там еще стояли три его любимые работы: «Ведьма со связанными руками», «Мечтатель» * и «Сомневающийся», законченный всего несколько дней назад; Барлах ходил взад и вперед по кабинету, выкрикивая слова «враг культуры» и «лженемец» — унизительные клички, которыми осыпало его государство тюремщиков и святотатцев; он ходил взад и вперед по кабинету, беспрестанно выплевывая изо рта бранные слова; он больше не мог делать ничего другого — только ходить по кабинету; потом он преодолел состояние первоначальной оглушенности и надолго застыл перед полным муки лицом юной страдалицы, и уже почти бессознательно и против собственной воли с цепкостью северной породы немцев обдумывал, какие еще возможности обороняться остались у него: обратиться с протестом к церковной общине, воззвать к совету попечителей и капитулу собора? Но сразу отрезвев от взгляда, брошенного на полного сомнений «Сомневающегося», которому он придал свои собственные черты, Барлах горько рассмеялся и покачал головой. Ничего он этим не изменит, только повредит самому себе, только вызовет злобные насмешки, как бывало всегда, когда он пытался бороться с коричневой гнусностью. Потом, осененный крылом бесконечной надежды, он подумал: надо стиснуть зубы и работать дальше, перевести в дерево эскизы, свои последние эскизы к «Немецкой псалтири»**, но тут же понял, что обманывает себя надеждой и что никогда больше в этой Германии не сможет взять в руки ни резца резчика, ни угля рисовальщика, и тогда в безоглядном приступе гнева он бросился к столу, чтобы написать заявление в суд о краже скульптуры, но, едва взглянув на белую, как саван, бумагу, он рассмеялся так громко и жутко, что его резким хохотом был заглушен стук топоров в лесу. Кто он такой, чтобы требовать справедливости, что он вообразил о себе? Даже бандиты и убийцы имеют право на защиту, но не Барлах, он — вне закона, а кроме того, кого он назовет в заявлении? Ему никогда не узнать, кто отдал приказ уничтожить ангела и чем обоснована эта мера; ни одна инстанция не произнесет ни звука, никто не удостоит его ответа, никто не даст ему объяснений, потому что этот враг нападает с опущенным забралом: те, кто завинчивает гарроту, прячутся в темноте, их дела совершаются анонимно, на их приказах нет подписей; те, кто невидимо сдавливает ошейник, не обосновывают своих действий; они цинично объяснят, что в Гюстрове, городе третьей империи, у Барлаха и волоска с головы не упало — и правда, у него с головы и волоска не упало, но тиски завинчивались, завинчива-

* «Ведьма со связанными руками» — деревянная скульптура (1926) — изображает молодую изможденную женщину со связанными руками, которая сидит на обрубке дерева, очевидно, перед допрашивающими ее инквизиторами; «Мечтатель» — деревянная скульптура (1925) — изображает спокойно лежащего с закрытыми глазами пожилого человека в свободно ниспадающей просторной одежде. Барлах говорил, что эта фигура для него не только изображение человека, но и воплощение волнистого пейзажа его родного северного края.

** «Немецкая псалтирь» — один из последних замыслов Барлаха, скульптурная группа, из которой в дереве осуществлена только одна работа — фигура женщины, названная автором «Страшный год».

лись, завинчивались; и вот что было видимым следом их тайной деятельности: памятник в Магдебурге * и «Победитель духов» в Киле сняты и брошены в подвал, том рисунков в издательстве Пипера изъят гестапо, драмы «Синий Болл» в Берлине и «Истинные Седемунды» ** в Альтоне исключены из репертуара, радио бросило в корзину заключенный с ним договор, его вынудили выйти из Академии, ему запретили закончить работу в Любекской церкви св. Екатерины, важнейшую работу его жизни после памятников, зовущих к миру; все попытки частных лиц купить какое-нибудь из его произведений пресечены угрозами, более трехсот работ удалено из музеев и с выставок, скульптурная группа «Встреча» *** предана позору на выставке «Выродившееся искусство»; заседания, посвященные его 65-летию, запрещены; выставка у Бухгольца в Берлине, несмотря на ее частный характер, закрыта полицией, а в случае повторной попытки такого рода ему пригрозили полным запретом работать — и в ответ на все жалобы и в ответ на протесты и на все вопросы о том, за что осуждены его произведения, которые, именно благодаря своей близости немецкой земле и немецкому народу, стоят почти особняком в современном искусстве,—в ответ на все это он слышал лишь монотонные, бессмысленные, сопровождающие каждый поворот гарроты слова-заклинания: *враг и растлитель культуры, лженемец, русско-жидовский большевик* и иронический совет: почему бы ему, Барлаху, не отправиться в эмиграцию, если он, Барлах, не в состоянии слиться с творческой жизнью третьей империи, чьи требования нельзя объяснить разумом, но можно постичь только кровью. На него сыпались издевательства, несправедливость, ложь — но все обычные средства идейной борьбы с ними оказывались бесполезными; его возражений не слушали, его предложения провести дискуссию отвергались, даже на фактические справки и уточнения отвечали репрессиями: один из друзей опубликовал в журнале «Мекленбургский ежемесячник» родословную Барлахов, которая свидетельствовала, что представители этого рода уже четыреста лет были ремесленниками и пасторами на нижненемецкой земле, но вопреки этому ложь о еврейском происхождении Барлаха — чего Барлах никогда не воспринимал как оскорбление (ведь был же евреем его друг Пауль Кассирер, издательству которого он до сих пор хранил верность), а как ложь, как удобный предлог, удобное публичное объяснение, почему его гарротируют,— эта ложь продолжала громогласно распространяться по стране, а издатель журнала получил выговор за «открытое неповиновение» в печати и личное предостережение от гаулейтера; он вспомнил все это и с отчаянием и, как всегда тщетно, спрашивал себя: за что? за что эта медленная казнь?— и мысли Барлаха, все более устало и бессильно метавшиеся в клетке этого опыта, постепенно привели его к выводу: ему осталось только одно — уйти и показать своим уходом всему миру, что искусству в этом государстве нечем дышать, и, так как он знал, что, решившись на такой шаг, медлить нельзя, он поехал к осквернённому собору.

День был светлым и мягким, березы на аллее, окаймлявшей озеро, застыли под бледно-голубым небом, словно очарованные фигуры фриза;

---

* Памятник в Магдебурге — одна из самых замечательных работ Барлаха. Деревянная скульптурная группа, изображающая погибших и погибающих солдат и мать убитого солдата. Установлена в 1928 г. в Магдебургском соборе, подверглась ожесточенным нападкам прусской военщины, после прихода фашистов к власти была выброшена из собора, но, к счастью, сохранилась и снова возвращена на прежнее место в 1956 г.

** «Синий Болл» и «Истинные Седемунды» — драмы Барлаха.

*** «Встреча» — скульптура, изображающая встречу Христа и апостола Фомы — одна из работ, в которых особенно ощутима связь Барлаха с традициями немецкой готической скульптуры. Существовала в двух вариантах — в бронзе и в дереве. Бронзовый вариант был выставлен нацистами в Мюнхене на выставке «Выродившееся искусство».

желанный свежий ветер выметал своей метлой знойную духоту, в котле которой парился Гюстров все последние дни. Барлах сидел, утомленно привалившись в углу такси, он давился дымом сигареты, глубоко загоняя его в сопротивляющиеся легкие; мимо скользили поля и пастбища, мягкие волны спокойной равнины, любимая земля в колеблющейся дымке. Колеса и дым; далеко у Примервальда пыхтел поезд, гудел ветер, свежий утренний ветер, свежий ветер с озера, звенели топоры на Хайдберге. Не крик ли раздался вдруг? Кто мог кричать; скользят поля и пастбища, звенят на Хайдберге топоры, удары топоров рубят рубленым тактом слова. *Лже-не-мец, лже-не-мец, лже-не-мец,* звенят топоры, лают топоры, звонко звенят, вот и рухнуло дерево; скоро и это осталось позади. Поля, леса, русский наемник, осквернитель могил, теперь он уходит прочь. Лженемец, прочь, стучат топоры, в мозгу пылают слова, треск стоит на Хайдберге, за что все это? за что? за что? — бессмысленное слово! *Лженемец!* Ветер, за что? далекий звон топоров, за что? Барлах устал, Барлах хочет уйти. Лженемец, лженемец, лают и вызванивают топоры. Хайдберг молчит, кричит его собственная душа. Вырвите мое сердце, посмотрите на него, ах, разве словами чего-нибудь добьешься? Его сознание, истерзанное болью и усталостью, туманится. Медленно движется машина, быть путником, блуждать, блуждать в ветре, пушистым облаком блуждать в ветре над лугами и холмами; облака тянут и поднимают город, и Барлах, убаюканный движением машины, вырвавшись и высвободившись из-под власти времени, видит, словно во сне, как тянутся вверх очертания Гюстрова, вверх к гряде облаков, плывущих по ветру: тяжелое тело башни собора, словно кающийся на коленях, а перед ним в опьянении танца застыли тысячью складок каменные кружева замка, а сзади вздымается башня приходской церкви, на ней серым блеском сверкает циферблат башенных часов — лицо рыцаря, закованного в латы, выглядывающее из-под остроконечного шлема. У подножия трех великанов теснятся в дымке домики Гюстрова; Барлаху привиделось, что собор через голову замка обращается к церкви — это Генрих говорил с Оффе-русом *, Генрих Молитвенник с Офферусом Воителем, ветер возносил ввысь вечные слова, ветер овевал травы и воды, веющий ветер мог принести чудо, и, пока шофер, следуя давно известному и постоянному желанию пассажира, вел машину убаюкивающе медленно, Барлаху казалось, что он в первый раз идет по этой дороге в Гюстров; он держит за руку маленького весело скачущего Клауса.

— Глянь-ка, па, коровы!

Они шагают; с Пфингстберга, с выпаса на пригорке под зеленым шатром двенадцати лип, раздается мычание коров.

— Гляди-ка, гляди же, какая пестрая корова!

Стадо жует траву; стая ворон с шумом поднялась в небо, их карканье заглушило мычание коров, но и его заглушили другие звуки. Бой барабанов, рев труб, Клаус задрожал, как теленочек. Пронзительно запели трубы.

— Слышишь, музыка!

— Это солдаты нашего кайзера, маленький Клаус, они выступают на маневры.

— Они застрелят всех врагов, да?

— Всякого, кто посягнет на нашу священную Германию, будь он француз или бритт, они разорвут в клочки!

— О-о!

Маленькая рука высвободилась из его руки. Солдаты приблизились, впереди тамбур-мажор, сзади клубы пыли, и из пыльной тучи

---

* Генрих и Офферус — герои последней, незаконченной пьесы Барлаха, трагедии-легенды «Граф фон Ратцебург».

сверкали молнии флейт и гремел гром литавр. Гром, гром, гром раскалывал землю; гром гремел в ветре; туча почернела. Позади на Хайдберге звенело и гремело, вспыхивала красная молния, над Пфингстбергом клубился дым, и поезда катились на запад к Эне *.

— Это война, отец?

На башнях Гюстрова загудели колокола — немые заговорили железными языками.

— Это война, Клаус: великая война, священная война, она обрушилась внезапно, чтобы врачующими ударами стали и огня покарать ленивое, необузданное время!

Прокричал паровоз, хищный крик над мирными пастбищами, и поезд умчался вперед, чтобы вцепиться в глотку врагу, поезд умчался на запад, к Эне, туда, где в бункерах под землей стойко выжидали лучшие сыны нации, ее живая плоть в серых шинелях во чреве черной планеты, ядро Германии среди изрытой окопами и перевернутой взрывами земли, невиданное прежде братство в серых шинелях, сплотившееся наконец для того, чтобы в жертвенном огне расплавилось мелкое, себялюбивое, жалкое время хищного, жрущего, собственнического счастья, превратившего за мирные сытные годы лицо Германии в жирную, заплывшую салом морду! Барлах поднял голову: приветствую тебя, война, приветствую тебя, буря, приветствую вас, битвы и пламя, возьми нас, народ Германии, расплавь и заново отлей, сформуй нас, великое время, ты превратишь вялый, распадающийся народ в твердый алмаз—так бушующее кипение подземных сил рождает кристаллы! Да воскресит эта очистительная жертва наш народ! О, счастье быть современником священной войны, которая поднимет из сокровенных глубин все лучшее в Германии! Гул колоколов, буря колокольного звона, гулкий перезвон меди — вперед, в атаку, на врага, руби, и ты поднимешься над самим собой, принеся свою жизнь в жертву во имя общего дела, ты изведаешь стужу, ты будешь вмерзать в лед, твои ноги будут стынуть на ледяном ветру бесконечных степей, но ты выстоишь во льду, и ты выстоишь в огне, чтобы принести в жертву свое маленькое «я»— жалкое, оберегаемое, погрязшее в собственном ничтожестве, ты отдашь его, ты пожертвуешь им во имя великого дела: какой смысл в том, чтобы всю свою долгую жизнь быть всего лишь Барлахом? Гул колоколов слился воедино с гулом снарядов, с гулом собственного сердца, мощный звук парил над городом, словно трубящий ангел зла, и Барлах увидел ангела войны, парящего в безмерно звучном молчании, и не мог понять Барлах, почему так тяжело сжимается его бедное сердце.

— Ты теперь тоже станешь солдатом, папа?

Ах, маленький Клаус, под бесконечным небом, с которого рушится этот гром, ты уже стал настоящим немецким мужчиной! Вопит река Эна, Барлах видит, как она течет, ее берега — дымящееся мясо, воды ее — кровь, человеческие кости — вот ее камни, почему же он содрогнулся? Да, Клаус, я стану солдатом, я не могу больше сидеть за столом и изрисовывать бумагу линиями, да, Клаус, я стану солдатом, я пойду вместе с ними в бой, я буду мерзнуть вместе с ними, я выдержу все, что выпадет на их долю, и пусть моим ложем будет их ложе, и мы укроемся шинелью общей беды, и я окунусь в страдания моего народа, чтобы восстать потом вместе с моим народом в сиянии его счастья. Клаус смотрел на отца широко открытыми глазами; Барлах крепко прижал к себе ребенка, а солдаты шагали мимо, солдаты с печатью смерти на лицах, уже свободных от мелочной повседневности, и навстречу им с полей бежали бедные женщины, они несли в подолах брюкву, и молча и печально смотрели они на уходящих солдат; и вдруг Барлах и Клаус очутились в кругу женщин с брюквой в подолах, и Барлах снова почувствовал себя

* Эна — река на севере Франции, на рубежах которой начиная с 1914 г. шли кровопролитные бои первой мировой войны между французской и германской армиями.

сорокапятилетним солдатом в заплатанном обмундировании, рекрутом, призванным зимой, и его, синего от холода, вместе с ними гоняли и муштровали на ледяном песке казарменного плаца, к которому вела эта дорога; шум сытых голосов заглушил плач женщин; вся площадь зашумела, поток солдат, выливающийся на нее, все рос, сопровождаемый рыданиями,— сердце Германии, пульсируя, выталкивало свою кровь. Белый лед, алая кровь сердца, черный поток скорби и плача; молчаливый ангел опускается на землю; треск, грохот — это поверженный ангел Марут,* могущественный князь тьмы! Все трещит, все раскалывается, ангел падает на землю, Германия, моя Германия, о, горе, что стало с тобой? Молчат колокола, бурлящую Эну сковал лед. Где же Клаус? Вокруг ночь и убийство. Ангел разлетается на куски. Резкий, пронзительный звук. Шофер выключил счетчик.

— Вон он сидит, вонючий жид,— произнес чей-то свистящий голос.

Барлах вздрогнул. Такси остановилось на соборной площади. Перед домом Валленштейна ** у каменной стены ротозейничали два штурмовика. Барлах дернул ручку дверцы.

— Точно, он самый и есть, красная сволочь, Барлах! — повторил штурмовик, детина с одутловатым лицом, с маленькими хрящеватыми ушами и кривым, по-рыбьи хватающим воздух ртом; он лениво потянул за рукав своего приятеля и показал пальцем на такси, в котором сидел Барлах. Барлаха охватило вдруг страстное желание ударить, стукнуть эти вялые, тупые, жестокие морды мучителей; вены на его висках набухли, он снова схватился за ручку дверцы, но шофер уже включил мотор и сделал полукруг по соборной площади к южному порталу, и Барлах не услышал, как тот, с одутловатым лицом, распуская ремень и словно выдавливая звуки из глубины живота, произнес грязную похабщину, соединяя в одно слово ангела и испражнения, и Барлах не услышал и не увидел, как оба штурмовика заржали во все горло над непотребным словом, а потом, небрежно махнув рукой, словно отгоняя от себя воздух, окружавший Барлаха, покинули площадь и свернули по Керстингштрассе к рынку. Барлах не мог ни видеть, ни слышать их, он видел лишь приземистую башню собора, и, когда он увидел ее пылающий в утреннем свете красный кирпич, бурный порыв надежды вновь вспыхнул на миг в его сердце: а вдруг тот, кто звонил по телефону, грубо подшутил над ним, может быть, его просто хотели напугать, может быть, этот звонок был одним из приемов их пытки, и... и? и? Рука Барлаха потянулась к двери, шофер нажал на предохранитель, мешавший открыть дверь, и проговорил, кивнув на Керстингштрассе, которая была скрыта теперь за массивом собора:

— Да наплюйте вы на них, мастер, все это ерунда,— и Барлах, забыв заплатить, рванул обитую железом, очень похожую на крышку люка в его доме створку дверей южного портала и ворвался, как разъяренный буйвол, в полумрак собора.

Барлах в соборе, где безмолвно переговариваются склепы, где сквозь цветные стекла высоких окон хора фиолетовые лучи солнца падают на тусклые, желтовато-коричневые плиты пола; из темноты стенных ниш слегка выступают вперед с дружелюбной приветливостью на лицах апостолы Клауса Берга ***, а в северном нефе, перед широким

---

* Марут — одно из названий дьявола в религиозной мифологии. В списке действующих лиц трагедии «Граф фон Ратцебург» обозначен Барлахом как падший ангел, наместник сатаны на земле.

** Дом Валленштейна — одно из названий замка в Гюстрове, служившего некоторое время резиденцией Валленштейнам.

*** Клаус Берг — северонемецкий и датский скульптор и резчик по дереву (XVI век). Родился в Любеке, работал в Германии и Дании; группа апостолов в Гюстровском соборе традиционно приписываются Клаусу Бергу, во всяком случае его школе; сам Барлах считал, что в этих фигурах видна и рука мастера, и рука его учеников.

и хмурым лицом Матфия * висит глубоко погруженный в себя, в звучную тишину своего молчания, его ангел. Барлах, шатаясь, отошел назад, он обвел взглядом контуры спокойно парящего ангела, и, смотри-ка, ангел застыл в никем не потревоженном покое между гневом Матфия и непоколебимым терпением Симона Кананита; ангел висел на своем месте; и Барлах недоверчивым взглядом Фомы Неверного впился в него; ангел парил в воздухе, и тогда — так всегда это начинается — плавное течение линий благородного контура начало мягко изменяться по краям, нарушилось, линии вдруг завихрились, парящий спокойный контур стал расти, словно стремясь вырваться из приданной ему формы, и вдруг в одно мгновение пространство как бы обрушилось и образ погас навсегда, и не осталось ничего, кроме голого камня и темных стекол. Ангела не было; то, что видел Барлах, была пустота, бесплотное ничто, призрак, порожденный его надеждой; ангел не висел на своем месте, решетка купели, преграждавшая непосвященным доступ в пространство, где царил парящий ангел, была отодвинута в сторону, а на ее месте, на каменной плите, на которой были высечены, как грозное напоминание, две даты, обозначающие начало и конец войны — этого заклания народов, стоял дубовый стол, вытащенный из ризницы. Коричневый стол, а над ним пустота, значит, на него залезали они своими сапожищами, двое схватили ангела за горло, двое за ноги, а один отцепил цепь с крюка в замковом камне низкого свода — значит, их было пятеро, пятеро убийц, а потом они выволокли бронзу наружу, они тащили свой сопротивляющийся груз, как тащат на цепи упрямую собаку! Коричневый стол. Барлах бросился вперед. На мозаике пола не было ни одной царапины. Барлах с трудом поднял вверх отяжелевшую, словно отлитую из бронзы голову: в замковом камне свода чернел крюк, Барлах смотрел на камень и на крюк, словно мог силой своего взгляда отменить чудовищность свершившегося, он пытался снова увидеть ангела в матово-золотистом воздухе, но не видел ничего, кроме камня и крюка — черного, ввинчивающегося черным винтом в свод. Винт гарроты! Раздались аккорды, кто-то заиграл прелюдию на органе; Барлах все еще не мог поверить. Орган, гаррота, ангела унесли, ангел стал ломом, и, может быть, уже завтра он пронесется по миру переплавленный, превращенный в пояски на снарядах, кромсая людей в новых битвах; ангела унесли, а Барлах? Барлах ничего не понимал. Надежда на чудо покинула его, собор был осквернен, ангела унесли, яростное безумие выгнало ангела из собора, безумие непостижимое и необъяснимое, как ураган, — что оставалось теперь делать Барлаху, врагу и осквернителю культуры?

Барлах никогда не мог до конца понять, почему те самые круги — сначала «Стальной шлем» и «Союз императрицы Луизы», а потом национал-социалисты, которые, по их собственным утверждениям, чувствовали себя особенно преданными немецкому народу и памяти о том, что этот народ перенес во время войны, — почему именно они с такой бранью, так яростно и такими подлыми методами, как ложь, проклятье с церковной кафедры, анонимная клевета, почему они порочат его памятники павшим, называя их *оскорбительными и непереносимыми для чувств немцев, отвратительным осквернением наших мертвых, омерзительной, разлагающей, большевистской пакостью,* порочат, чтобы потом уничтожить их; и теперь, когда украли ангела, Барлах недоумевал еще больше, чем прежде. Он не мог себе представить — для этого у него просто не хватало воображения, — что целая партия или политическое движение может состоять только из людей, лишенных разума и чувства, которых не изменит никакое внутреннее брожение,— и поэтому он до сих

---

* Матфий — по одной из евангельских легенд и апокрифам, апостол, вошедший в число двенадцати значительно позже остальных вместо отпавшего Иуды Искариота.

пор отказывался объяснять брызжущее ненавистью неприятие его произведений, которые не возвеличивают убийство, а оплакивают пять миллионов убитых, размолотых в ступке войны; он отказывался объяснять это только примитивнейшим мышлением шовинистов, только их твердолобой жаждой уничтожения, только их упоением первобытными звуками грохочущих сапог, орущих глоток и их стадным чувством, следуя которому они охотнее всего на свете встают по стойке «смирно!» в строй предрассудков; бессонными ночами он размышлял о том, почему, почему все эти люди, так исступленно воющие и вопящие против него, люди, утверждавшие, что они на собственной шкуре испытали все кошмары и все ужасы войны, почему не содрогаются они от скорбного веяния, проносящегося над океанами крови, веяния, веющего в наше сегодня из исполинского леса деревянных крестов и вечно напоминающего суетящемуся миру о том, что безумие и алчность клики политиков, генералов и финансистов ввергли пять миллионов человек в вечное молчание, что пять миллионов сердец — моря крови — не бьются больше, что пять миллионов созидающих рук не работают больше, что пять миллионов душ не существуют больше; он сам в неустанной борьбе с самим собою прошел путь от слепой одержимости первых лет войны до проклятия бойне народов, до понимания вины Германии; и поэтому, когда ему заказали памятники погибшим на войне, он думал, все согласятся с ним, что уважение к мертвым запрещает изображать войну, как это было принято до сих пор, лживой идиллией из новеньких мундиров, начищенных пуговиц и воинов, застывших в сверкающей бронзе, воздевших к небу восторженные взгляды и радостно умирающих под фанфарные звуки бравого полкового оркестра; он считал само собой разумеющимся, что у него и у заказчика существует единое мнение: памятники должны предостерегать, молчаливо напоминать о нечеловеческих жертвах и страданиях, чтобы, возвысившись над горестным плачем и печалью, подняться до призыва к оставшимся в живых, подчинить наконец в мирное время свое крохотное «я» высшему делу; а разве мир и всеобщее братство всех народов не есть самое высокое дело? Как можно было не прийти к подобному выводу? Разве этот коричневый фюрер не говорил часами о мире, разве не ссылался он постоянно на свой опыт фронтовика? Почему же тогда памятники Барлаха навлекли на себя такую ярость? Может быть, причина таилась в том, что послание, которое они несли, было непонято? Но разве тот, кто возвещал его, говорил на чужом языке? А может быть, они не желали внимать этому посланию, может быть, у них были причины замкнуть перед ним свой слух?

Опираясь на каменную стену, Барлах кивнул головой; да, это так, они не желают внимать посланию мира и братства, которое безмолвно несут по всей Германии его памятники — в Магдебурге, Гамбурге, Киле, Любеке и Гюстрове; эти памятники им не подходят — им, тем, кто марширует мимо кладбищ, проходит мимо бесконечных могил, не оглянувшись и не содрогнувшись, тем, кого ничему не научило поражение, кто не сумел извлечь уроков из катастрофы; они не подходят им, этим людям с неразличимо похожими лицами, не способным видеть в мире ничего, кроме своего, столь же мерзкого подобия, им, уходившим с полей проигранной войны с теми же воинственными воплями, с которыми они когда-то маршировали на войну: в надраенных сапогах, выкатив глаза на озверевших лицах, отбивали они шаг, бережно лелея в своих темных головах, сдавленных стальными касками, самодовольные мысли; они ничего не поняли и ничему не научились, они продолжают твердить о своей непогрешимости и непобедимости, для них во всем мире существует только одно — их собственное «я», их собственное тщеславие, их собственные вожделения, их собственная утроба, их собственные представления обо всем на свете, их собственные претензии; они —

эти истые германцы, эти чистокровные немцы, эта избранная раса, эти воинствующие христиане, эти спасители отечества, эти фюреры для Европы, соль земли, господа над всем миром,— каким же глупцом был Барлах, когда надеялся, что неисправимые исправятся, что можно очистить от грязи их нечистые мысли и грязные чувства, когда надеялся, что в рядах этих твердолобых упрямцев начнется брожение, а его, Барлаха, признают в этом новом германском рейхе; теперь, когда ангел исчез из собора, он должен понять, что в потоке вечного движения и созидания такая Германия стоит и будет стоять века, что ее необъяснимые, бездушные деяния и злодеяния не изменить ни словом, ни делом, их не поколебать слабым голосом искусства. Так что же: будь проклята Германия, будь проклята, как проклята война? Неужели долгий путь блужданий привел его к тому, чтобы проклясть Германию? Нет, Барлах не хотел думать так; проклясть свой народ — есть ли грех страшнее этого? Но что, что прокричать в оглохшие уши Германии, если она не внемлет даже голосу искусства? Что?! Барлаха знобило; он не мог больше стоять, он задыхался; он опустился на церковную скамью, поднял голову и выпрямился. Мгновение он просидел так, выпрямившись, трудно дыша, насквозь пронизанный звуками органа; в его сознании катили свои воды багровая Эна и серая Небель и звучал поток слов, которыми он деловито отвечал на упреки и яростно на оскорбления, которыми силился объяснить свое творчество, передать чувство, повелевающее ему бороться с неразумием, поток слов, которыми он пытался отбиться от нападок, опровергнуть клевету, изобличить фальшивки; и все эти слова, бессмысленно извлеченные им из самых глубоких глубин души, взвешенные им на чутких весах сердца,— все они были теперь мертвы, они рухнули, как подрубленные деревья, их задушили в неравной схватке, они обратились в поток убитых надежд, унесены мертвой рекой забвения, и Барлах снова увидел черный крюк в замковом камне свода, и он встал — наступил час прощания. И еще раз он оглядел собор и увидел белый камень княжеского надгробия — тело, распластавшееся, тяжкое, недвижимое тело, где над могучим нерасчлененным объемом словно вспыхивало пламя сложенных на груди тонких рук; и еще Барлах увидел всех мучеников, всех сожженных в алтаре, увидел распятого, словно срывающегося с креста и улетающего в воздух, а под темными сводами нефа — апостолов, изваянных Клаусом Бергом; это были немцы, путники на путях своего времени, сыновья своего народа, трудившиеся и страждавшие; он увидел Петра, одержимого гневом, подъявшего меч, чтобы отрубить ухо дерзкому слуге, и он увидел Матфея — испытанного страданиями, влачащего тяжкий груз своей благородной жизни, и он увидел мрачного Матфия и Симона, с лица которого даже среди самых страшных мук не сходило плутоватое выражение, и он увидел младшего Иакова с выдолбленным тростниковым ружьем и в шапке паломника и старшего Иакова с дорожной флягой на боку и ранцем за спиной — и все это были путники, воинственные и страдающие, обычные немцы, которых мастер и его ученики разглядели когда-то на дороге и увековечили в молчании собора; и вдруг Барлах услышал шаги, и он увидел, как все двенадцать апостолов сошли со своих постаментов, чтобы покинуть собор, как покинули его раньше прихожане, и они вышли на улицу и пошли прочь из Гюстрова, прочь зашагал Иаков, и Иоанн, и одноногий Варфоломей, и он увидел, как они спешат, и тогда он попытался найти в себе силу, чтобы пойти вслед за ними, но тут вновь зазвучал орган, отворились двери западного портала, и в собор размеренным шагом вошла свадебная процессия. Барлах — он еще оставался в северном нефе — отпрянул за колонну: ничей взгляд не должен более видеть его здесь. Из ризницы появился мужчина в черном сюртуке проповедника; Барлах не знал его, видно, это был один из пастырей воинствен-

ных «Германских христиан»*, которые четыре года назад захватили этот собор, как коричневые захватили страну,— этот вдруг опустевший собор, ибо гюстровские прихожане старались не входить в него. Но сегодня орган снова звучал всеми своими трубами и мехами; проповедник возглавлял процессию, выступая размеренно и важно, казалось, он нес перед своей невзрачной фигурой свое достоинство, обнимая его сложенными на животе руками, и Барлах, глядя сквозь просвет между изваянием Симона и колонной на приближающегося проповедника, вспомнил Ноя из своего «Всемирного потопа», добродетельного патриарха с выступающим животиком, равнодушного ко всем чужим страданиям, и мгновенно, как тяжелую рыбу, подсек крючком своего взгляда всю медленно движущуюся сквозь гудение органа процессию, и, повинуясь властной страсти художника запечатлевать образы, он погрузил всю эту маленькую процессию в необъятную рыболовную сеть своих глаз. Какой же была его добыча? Это было само воплощение Германии, и никогда он не видывал более точного. Перед женихом и невестой шли мальчик и девочка, разодетые в пух и прах в совсем не детские одежды; они несли в руках букеты и под звуки органа беспомощно старались приспособить шажки своих маленьких ног к непривычному ритму торжественной процессии. За ними следовали жених и невеста под фатой; из своего укрытия Барлах не мог различить лица невесты; она шагала, безликая, об руку со своим будущим супругом, облаченным во фрак и тщательно причесанным на пробор; его сытое самодовольство сверкало ярче, чем золотые зубы у него во рту,— это был фабрикантик из того предместья Гюстрова, где расположены мельницы, выскочка, вынырнувший на гребне коричневой волны скоробогач, он вознамерился заключить здесь брачный союз и вел свою невесту с выражением самодовольной гордости, как свою собственность, как вещь, словно не была она чудом дыхания и души, сотканным из любви и ласки; нет — *моя* жена, *моя* собственность, отданная *мне* на всю жизнь, принадлежащая мне как *мои* настоящие и искусственные зубы, как *мой* пробор, как *мой* фрак, как *моя* астма, как *мой* дом, как *моя* служанка, *моя* фабрика, *мои* рабочие; все это — его имущество, его мир, его добро, его богатство — все это его собственность, а потому собственность неправедная, и Барлах вспомнил Краспелова — хозяина, гордого стадами своих овец, которого он назвал Седемундом, Вальдемаром Седемундом, хотя мог бы назвать его Паулем Зибенмарком, или Отто Прунгхорстом, или доктором Бёнхазе ** — все едино. Ибо это шагал он — недобродетельный негерой пьес Барлаха, а вслед за Седемундом и невестой Седемунда вышагивали гости Седемунда, такие же Седемунды, как он сам, истинные Седемунды со своими супругами и чадами, со своими рабочими и виллами, и этот седемундовский мир заполонил собор и превратил его в храм Седемундов; и тут жених посмотрел в северный неф и увидел, что ангел выброшен оттуда, и кивнул, и широкая улыбка расплылась на его самодовольном лице. Барлах сжал кулаки; он смотрел жениху прямо в лицо, в эту рожу без единой приметы, кроме нагло сияющего самодовольства; самодовольно сияющая харя уставилась в ту пустоту, где раньше висел ангел, и кивнула с удовлетворением: *мой* собор снова чист, и свадебные гости тоже поглядели туда и тоже довольно заулыбались. И Барлах вдруг осознал, что эта глупо-самодовольная улыбка таит смертельную опасность. Скрытый от них согбенным телом Симона,

---

* «Германские христиане» — возникшее в 1932 г. по указке и инициативе нацистских идеологов религиозно-политическое движение, имевшее своей целью подчинение протестантской церкви национал-социалистской партии.

** Краспелов, Седемунд, Зибенмарк, Прунгхорст, Бёнхазе — действующие лица пьес Барлаха.

он стоял, пронзаемый стрелами их взглядов, и мгновенное озарение подсказало ему, кто перед ним: вот его анонимные преследователи, и, увидев их перед собою во плоти, он понял: их ничто и никогда не изменит. Да, перед ним стоял его враг — вот они, те, кто поносил ангела и памятник в Магдебурге и «Победителя духов» в Киле, кто распространял грязную ложь и плел самые подлые интриги, вот они — но кто же они? Бравые бюргеры, порядочные до мозга костей люди с душой людоедов, почтенные повелители чужих человеческих судеб, хладнокровные хапуги, захватчики чужого труда, жеманно пожирающие человеческое мясо, от которого тучнеют их тела, розовеют их щеки и сладостным становится звук их голосов; отбросы городов, но гордость трактирных столиков с табличкой «Для постоянных гостей», коренные бюргеры, и весь мир волнений и чувств для них лишь помеха в их делах, в их невозмутимом обладании женщинами, фабриками, виллами, спокойной совестью; ненасытные, одинаковые в своей жажде наживы, они высасывали из живущих всю кровь и отнимали все, чем те владели, и им всего этого было мало — они хотели завладеть еще и полчищами мертвых, *наших мертвых*. Барлах выпрямился. Вот подлинная причина их неуемной ненависти: наши мертвые... их мертвые... мертвые, принадлежащие Седемундам.

— Наши мертвые требуют себе героических памятников, а посему пусть изыдет отсюда эта отвратительная мерзость,— зазвучал в ушах Барлаха воинственный голос пастора с кафедры Магдебургского собора.

И еще Барлах услышал:

— Посмотрите только на рыбью морду этого ангела, это изображение — кусок дерьма, он марает щит доблести и чести наших мертвых!

Это лаял руководитель гюстровского «Стального шлема» — владелец фабрики удобрений; так вот в чем причина: все, кто живет, это их люди, и все, кто покоится под землей *их* рейха,— это *их* мертвецы, это только *их* мертвецы — какая низкая, какая лицемерная ложь! «Ложь! Лицемерие!» — беззвучно кричало все в Барлахе, и колокола на колокольне беззвучно вторили ему: «Лжецы и лицемеры! Вы требуете героических памятников — это лицемерие; вы вопите о героических памятниках — не о чести, не о посмертной славе погибших ваша забота; вы хотите аннексировать то царство теней, где пребывают жертвы, аннексировать как завоеванную провинцию; чтобы, прикрываясь именем ваших мертвецов, выдать свое поражение за свою победу; вы не смогли добиться победы на полях сражений, и теперь вы хотите, чтобы художник с черного хода притащил вам победу: победу, монумент победы, монумент вашего вечного господства и вашей неизменной сущности».

Аминь, последние приглушенные вздохи органа; Барлах вскочил и, отвернувшись от свадебной процессии, поднял глаза на крюк в замковом камне свода; опорожняющаяся задница — вот оно, подлинное лицо лжецов и ханжей, ангел для них ничто, молчание для них ничто, разум для них ничто, лицо человеческой печали для них ничто. Седемундам нужны победы, это они знают твердо. Седемунды не потерпят поражения ни в делах, ни на войне, и, куда бы ни ступила их нога, всюду они должны быть победителями. Седемунды перестанут быть Седемундами, если не смогут постоянно самоутверждаться, *самоутверждать себя* и требовать, чтобы их утверждали другие; так за дело, вы, ваятели из гипса, вы, дровоколы, вы, мазилы и халтурщики, за работу, за работу, чтобы заполнить все галереи изображением никогда не одержанных Седемундами побед: идут на штурм герои, гремит «ура!», штыки и знамена, за глотку неприятеля, хватай за глотку, топчи его конскими копытами, браво, молодцы, браво, непобежденные на поле боя; о, это было великое время Седемундов, а под землей мертвые и среди них и те, кто был противником войны, среди них пацифисты, демократы, коммунисты, верующие христи-

Эрнст Барлах. «Магдебургский памятник».

ане — беззащитные мертвецы, они переворачиваются в могилах, когда слышат речи лжецов и лгунов; они собираются под землей, чтобы выйти из гробов, чтобы бежать от этой вонючей вони и лживой лжи и скрыться в свободном просторе; идет брожение в гробах и могилах, сама земля содрогается, *наши мертвецы,* вмерзшие в заледенелую грязь, изъеденные газами, испепелеиные огнем, армия обманутых и оболганных, армия принесенных на заклание, слышишь ли ты, эта армия, как они хвалятся и тщеславятся от твоего имени, оскверненного ими во славу *собственной славы?* Идет брожение в гробах и могилах, из-под каменных плит Святой Гертруды слышны стоны беззащитных.

— Лжецы, жалкие лицемеры! — громко сказал Барлах. Орган умолк. Не оглянулся ли на него один из свадебных гостей? Барлаху плевать на это, он больше не прячется; он стоит рядом с мучеником Симоном, рядом с мучеником, опирающимся на пилу. Орган умолк, перед алтарем жених и невеста опустились на колени, Седемунд рядом с живой собственностью Седемунда, в храме, очищенном для Седемундов; проповедник поднял благословляющую руку. Барлах не хотел быть свидетелем этого союза: свидетельствовать он будет не здесь. Барлах оглянулся на дубовый стол, на сдвинутую решетку и, не поднимая больше глаз на камень замкового свода и на крюк, вышел из собора: он освободился от Седемундов, избежал их гарроты. На воздух, на свежий воздух!

На улице он зажмурился; над колоннами тополей сияло солнце, веял свежий ветер, в веянье ветра легким будет последний путь, последний путь по равнине, по которой он бродил так часто, последняя из последних дорог; по ней он теперь уйдет навсегда, уйдет прежде, чем солнце встанет над Болотным озером. Он чувствовал себя достаточно крепким, чтобы совершить этот путь; вспышка ярости наполнила его легкие воздухом; до Бездонного озера ноги его донесут, а Бездонное озеро и было его целью. По старой привычке он перекинул плащ через плечо, взял палку, которую оставил за порогом собора, и стал спускаться с вала к платанам Гинденбургштрассе. Навстречу толпой шли ребятишки, было уже около восьми, начинались занятия в школе. Барлах шел к Зеленому уголку, слева тянулся, глубоко врезаясь между улицами, узкий городской ров; слабое течение вытягивало водоросли, и они казались зеленой трепещущей бородой на лице водяного, сухая ветка, зацепившись за камни, лежала поперек течения, и перед глазами Барлаха мгновенно возник образ мертвого солдата, как тот лежал трескучей зимой 1917 года, привязавшись ремнем к корню, головой в черной бурлящей воде, и Барлах снова увидел испуганных школьников, застывших на валу и с ужасом глядевших в воду, рядом, закутав голову, стояла какая-то женщина, чья-то мать, а наверху голубой жандарм, бранясь, разгонял детей, и Барлаху снова представился утопленник, который сам себя утопил, чтобы это прозвучало беззвучным воплем страдания, криком против войны Седемундов; он видел мертвого, и он хотел его видеть, и в памяти Барлаха проходили картины его воспоминаний — картины странствий, изменявших его; они были скрыты в его солдатском дневнике, зарытом теперь в землю. Соборная площадь: развевающиеся знамена, гудящие колокола; площадь черна от людей, ликуя, они обнимают друг друга, восхваляют счастье Великого Времени войны, и среди ликующих стоит человек маленького роста с бородой и огромными глазами, он держит за руку восьмилетнего мальчика и молчит, отдавшись восторгу Великого Времени. Перед собором: дама в плерезах развернула сверкающей бриллиантовыми кольцами рукой экстренный выпуск и, очаровательно надув вишневые губки, воскликнула:

— Божественно, как мы их колотим!

Гинденбургштрассе: трясется запряженная лошадьми повозка, везет в лазарет раненых, за ней, пошатываясь и взявшись под руки, бредут три лысых господина и бормочут, еле ворочая тяжелыми языками, «Стра-

жу на Рейне». Лавка: лежат вырезанные из розовой бумаги железные кресты, на нарядных чашках изображены атакующие воины и сраженные французы, а на бледно-голубом детском нагрудничке вышиты слова: «Боже, покарай Англию!» Мост: трое ребятишек машут бумажными флажками и кричат радостно: «Три-дцать ты-сяч убитых! Три-дцать ты-сяч убитых!» Трактир: кружок упитанных мужчин весело пирует за столом и, обгладывая и разгрызая куриные косточки, перемалывают жующими челюстями известия с фронта. Липа, к ней прислонился солдат:

— Господин, мы под Руаном брали заложников, нам приказали, прямо из толпы вырывали; женщины, дети воют, не хотят выдавать бедняг на расстрел, так мы, как палачи, отрывали ребятишек от отцов, господин, таких вот козявочек, визжащих детишек...

Лавка булочника: ворчащая очередь голодных, а с балкона падают обрывки победной речи, с которой какой-то прусский юнкер обращается к жителям Гюстрова. На углу воинственный юнец:

— Взяли в плен двести семьдесят англичан? Ну и ну, видно, наши-то совсем новички — брали пленных, другие их сразу бы прикончили.

Судачат две бюргерши:

— Знаете, милая, Бельгия должна стать прусской, вот как Ганновер стал прусским.

Соседка:

— Их загнали в болото, они кричали, всю ночь кричали; так чтоб не слышать, мы завели граммофон, но ничего не помогло, они кричали всю ночь, и мой хозяин от этого чуть не сошел с ума, чуть не свихнулся.

Из-за угла появляется его мать, она ведет за руку Клауса, она показывает Барлаху горшочек с какой-то серой рыхлой массой:

— Баранье сало, мой мальчик, больше ничего нет!

Трое офицеров, обнажив сабли, шатаясь, направляются к Конному рынку, они орут: «Могила в пучине, в волнах Скагеррака... ра-ра-ра!» На Хагебёкерштрассе реют знамена, хлопают знамена на ветру, тощая девица визгливо кричит:

— Вывешивайте флаги, Варшава пала!

Барлах слышит это, но он больше не радуется. Реют знамена, хлопают знамена на ветру, мертвые плывут по Каттегату *, а Барлах не ликует больше; что случилось с Барлахом? Барлах сидит в комнате, и рисует, и смотрит, словно видит в первый раз, как Клаус делает уроки, а мать штопает носки, и думает, что мирный труд — самое святое и великое на свете. Продавцы газет выкрикивают заголовки экстренных выпусков, победы и могилы, а Барлах твердой рукой выводит в одном из писем мудрые слова: «Будь проклята война!» Будь проклята война, развеваются знамена, реющие знамена на ветру, зеленая борода водяного в потоке времени, зеленая борода водяного во рву, *наши* мертвые, свадьба в соборе, в *их* соборе, в Германии Седемундов, будь она проклята — и Барлах видит текущую воду и мертвеца, молчаливый вопль, который преградил своим телом поток текущего времени; он больше не мог думать об этом. Он быстро зашагал по мосту вниз к Линденштрассе, и тогда перед ним возникла последняя картина: он сам, как вор, пробирается в сумерках по улице, сгибаясь под тяжестью мешка, из которого каплет кровь и в котором лежит кусок оленины — нищенская добыча украденного у работы дня. Барлах свернул в Шверинерштрассе, и здесь с него упал груз этих картин, и перед ним возникла череда светлых образов; налево ответвлялась Шютценштрассе, вымощенная грубым булыжником, одноэтажные дома, трухлявые стены, искалеченная липа в песке, рыбная лавчонка, тощая спотыкающаяся кляча, а Барлах видел все это преображенным и просветлен-

* Скагеррак и Каттегат — морские проливы, в которых произошло сражение германского и британского военных флотов в первую мировую войну.

ным—здесь, в темной мастерской, в конюшне он проработал шестнадцать лет, огромный рабочий день с последних военных лет и до гарроты, никто не знал его тогда, никто ему не мешал, здесь, на столе возле яслей и кормушки, был создан ангел. здесь из дубового вала старой мельницы он вырезал Моисея, мечтая изобразить того, кто даст мудрые заповеди заскорузлой от крови Германии; здесь после войны он вырезал из дерева «Человечество под пыткой» и «Человека в колодках» — несчастного грешника в гарроте; здесь возникли все фигуры закованных в оковы, пытаемых ведьм — все эти знаки предостережения, менетекел грядущих перемен, воззвания к немецкой совести; здесь был покой и одержимость работой, ах, Барлах, все позади, все прошло. Миновали, Барлах, миновали эти дни, Барлах, тоска сжала его сердце, и Барлах пошел так быстро, как только мог, вниз по Шверинерштрассе, прочь из города. На этой улице в наемном доме в квартире, окна которой были почти вровень с землей, он прожил двадцать лет: ел, спал, растил Клауса, писал и рисовал; бедная улица, бедная, почти жалкая, узкогрудый пригород, Барлах шел и не оглядывался. Среднее окно в его прежней трехкомнатной квартире было отворено, толстая женщина вытряхивала перину; с шумом разлетались куры; идти и не смотреть ни на что, все прошло. Двое ребят, игравших в камушки, испуганно отбежали в сторону; они смотрели на бородатого Барлаха как на черта, они бросили камушки и спрятались за домом. Мимо. Все прошло, высокий, как обелиск, вздымается тополь; здесь кончается город и начинается подъем на небольшой холм, слева, за зелеными волнами блестит Болотное озеро, а справа подымается коричневым верблюжьим горбом среди желтых полей холмик голой земли, окаймленный зеленью, а за холмиком топорщатся, как заячьи усы, два крыла ветряной мельницы; когда-то Клаус и Барлах играли здесь в «Семь швабов» *, нет, не в семь, а в двух швабов, с копьем наперевес нападали они на зайца — мельницу, а теперь шваб стал Дон-Кихотом, а мельница — гарротой. Так создан мир. Барлах шел по дороге, она сворачивала в сторону, и верблюжий горб поворачивался вместе с ней и становился все ниже и ниже, наконец он сморщился, превратился в коричневую черточку среди волнующейся зелени, а потом и она исчезла. Барлах с удовлетворением наблюдал это, ибо только в том, что все исчезает, таилась надежда; в чем еще можно было найти утешение, как не в уверенности, что вечности нет, что нет подземного царства бессмысленно покоящихся бессмертных душ, в чем еще было счастье, как не в убежденности, что и после гарроты можно вновь раствориться в молчании и брожении, из которого создана жизнь, стать травой, и цветком, и деревом, и зверем, и тучей, и ветром, и круженьем звезд — вечно изменяющейся жизнью, а не замкнутым в самом себе «я». Бежать, бежать... Глубокая тьма, глубокая вода, глубокий покой, и Барлах услышал совсем рядом шум, это были апостолы из собора, которые шли с ним, Барлах ощупал карман куртки, и почувствовал тяжесть револьвера, и подумал, увидев пушистый мех орешника — первый признак близости озера,— подумал, что сейчас он выстрелит в гарроту и вернется туда, откуда пришел много лет назад.

Барлах твердо решил покончить с жизнью, что ж ему помешало? Темная синева шмеля на пылающем малиновом огне чертополоха? Спокойная прелесть янтарно-желтых домиков улиток в серповидных зарослях острого, режущего камыша? Дремота озера, по которому сонной мечтой плыл блуждающий островок зелени? Ветер, который господь невидимо создавал в хаосе облаков? Бабочка, запутавшаяся в паутине, чьи повисшие, как тряпки, крылышки с отчаянием прощались с жизнью и кото-

* «Семь швабов» — сказка братьев Гримм.

рую освободили пальцы Барлаха, разорвавшие паутину? Или косяк диких уток на небе, далекий отзвук времени любви и поцелуев, аромат аира, или все это вместе, или ничего из этого? Барлах пробрался в чащу орешника на берегу и полез в карман за револьвером, перед ним все в мелких завитках волн лежало озеро, и, улыбаясь на пороге покоя, запутавшись, почти повиснув в паутине ветвей орешника, он потянулся за револьвером и, улыбаясь и глядя на завитки озера, коснулся оружия, но едва его рука сжала холодную сталь, как он быстро засунул револьвер обратно в карман — почему? Не та ли причина удержала его во второй раз, теперь, в самом конце его пути, не та ли причина, которая однажды, в самом начале этого пути, тридцать один год назад, не дала ему исполнить такое же твердое решение, принятое им, когда он впервые увидел творение своих рук, маленькую бронзу в зале выставки «Сецессион»* в Берлине — образ, ставший для него чужим, затерянный и ненужный, он, потрясенный, понял, что в искусстве потерпел такое же крушение, как перед тем в жизни; и он покинул тогда дымный город, чтобы покончить со своей жизнью, и он уничтожил бы ее, как небрежный и неудавшийся набросок созидателя, если б дыхание другой жизни, дыхание сына, за которого он отвечал на этом свете, не заставило его выдержать и жить. А теперь, что удерживало его теперь, когда он больше никому не нужен? Бабочка, косяк диких уток, завитки волн на озере — нет, не это; его удержал тот Барлах, который вздрогнул, как от удара, почувствовав концами пальцев холод блестящего металла; дрожь сотрясла все его тело, проникла в дрожащие клетки его мозга, и, внезапно прозрев, он понял, чего он чуть не совершил: он сам своими собственными руками хотел завинтить до конца гарроту! Глубокая тьма, глубокая вода, глубокий покой, револьвер, судорожно сжатый в поникшей руке, и поток хлынувшей из сердца крови — ведь это то, к чему стремились его преследователи: Барлах в немых полчищах мертвых, враг и растлитель культуры Барлах, у которого восставшая ото сна нация в своем беспримерном долготерпении и великодушной терпимости и волоску с головы не дала упасть,— этот Барлах сам осудил себя, казнил себя собственной рукой, видно, нечистая совесть и последние остатки стыда за созданный им хлам, за отвратительные позорные произведения замучили его, и он своим поступком сам доказал правоту и защитил права истинно национального искусства, молча признал власть и силу нового рейха, убежал в смерть от тех, кто сильнее и лучше, чем он, утверждая победу и право власть имущих победителей на веки веков! *Их* мертвые и среди них Барлах, именно это им и нужно! Барлах тяжело вздохнул — еще в одном чаянии ему пришлось отчаяться, еще в одной вере разувериться: безмолвное исчезновение не заглушит ложь и клевету, которую изрыгают мракобесы! Какая насмешка: нераскаявшийся грешник, которого пытают, сдавливая сжимающие его тиски, торопит смерть, как избавительницу от мучений, забыв, что его смерть и есть цель тех, кто надел на него ошейник гарроты, медленная ли смерть увядания в эмиграции или мгновенная смерть от собственной руки, последний подлый удар палача, который он сам бы себе нанес! Барлах схватил револьвер за рукоятку — сейчас он швырнет его в озеро, да так, что от тяжелого броска испуганно проснется спокойная гладь воды, но тут же сам на середине движения задержал руку: оружие еще понадобится ему, когда они придут, чтобы напасть на его дом, а они непременно придут, если он вопреки и назло им останется жить после того, как похищен его ангел,— он, возбуждающий их злобу самым своим существованием, и Барлах положил револьвер в карман куртки и подумал, что пулями, которые у него остались, можно отправить на тот свет по крайней мере троих, и, едва он так подумал, ему захотелось, чтобы они сразу

* «Сецессион» («Отделение») — объединение художников, создавшееся в конце XIX века, существовало в Берлине, Мюнхене, Вене.

появились, он торопил эту последнюю схватку. Пусть приходят, пусть приходят скорее, как можно скорее, покуда его рука, старая рука, которая уже едва поднимает топор, еще достаточно тверда, чтобы не промахнуться, когда он направит оружие в равнодушные хари этой банды убийц, в их тупые носорожьи рыла, в их, в *их*... Барлаха вдруг зазнобило. Он схватился за трепещущий куст орешника; только сейчас он понял все до конца, и то, что он понял, было самим воплощением ужаса. На что он надеялся? На чудо внезапного прозрения узурпаторов, на брожение в их рядах? А что потом? А потом: *наш* Барлах! Крик чаек. *Их Барлах? Ваш Барлах!* Не бывать этому! Но на что же другое надеялся он все эти горькие годы? Сердце сильно, сердце смело, было слово, стало дело...*

Чайки кричали голосами ведьм; ведьминским хохотом хохотали чайки; Барлах судорожно сжал кулаки. *Их* виллы, *их* собор, *их* мертвецы, *их* Барлах! Седемунд, расплываясь в улыбке, протягивал ему руку: *ты наш!* Барлаха затрясло от отвращения: ему привиделись колонны коричневых крыс, мразь мародеров, вымаравшихся в крови и грязи, как коростой, покрытых проклятиями замученных и убитых, и сквозь зеленые заросли орешника Барлах увидел их лагеря, в которых они избивали, убивали, распинали людей только за то, что те осмеливались противостоять их громогласному прославлению бесчеловечности, поднимая свой голос или просто безмолвствуя; мрачные колонны рабов представились ему, он изобразил их на пятидесяти листах своих последних набросков; ему привиделись палачи и их жертвы — люди, заживо гниющие в каменных карцерах, и вдруг над всем этим он увидел парящего ангела, который смотрел своими огромными очами на эту Германию, где зубы дракона взошли, словно посев, и ангел распростер свои крылья, чтобы благословить все это, и — Барлах вскрикнул — это было кошмарное видение ада, страшней, чем ночной кошмар. Барлах коричневый, об этом нельзя было даже помыслить, *их* Барлах, *ваш* Барлах! Барлаха передернуло. И ведь все это так просто и так ясно: они не могли быть иными, но и он не мог стать иным; быть Барлахом и быть коричневым — несовместимо, это даже не диссонанс, это так же несовместно, как правда и ложь, как свет и тьма; Барлах и штурмовики — такого не соединишь, потому что он — это мирный труд, а они — безумие вандалов! И нет середины между ними, нет! Его памятники должны вызывать их ярость, потому что не возвеличивают убийство; они должны были сбросить его ангела, если бы они поступили иначе, это значило бы, что его искусство — ложь, лжеискусство, обман; но, сделав это, они единственно доступным им способом подтвердили самый смысл его творчества, и лучшего подтверждения не найти. Ай да Барлах, какое диалектическое рассуждение, чтобы прийти к такому выводу, не жаль целой жизни! Для искусства нужны двое — ведь это всегда было твоим девизом: один — тот, кто его создает, другой — тот, кому оно нужно, и ты стремился создавать искусство, которое было бы нужно и просвещеннейшим умам, и кухарке у очага, и пастуху в поле; а теперь ты увидел, что твой расчет не сходится, ты забыл о третьем, о том, кто вламывается извне, о том истребителе искусства, который столь же всесилен, сколь бессилен его создатель — художник; ты забыл о безумии, которое не приемлет искусства так же, как не приемлет оно правды, как не приемлет оно мирной тишины, ты забыл о том безумии, которое превратило всю Германию в коричневую крепость. Но разве судьбу искусства решают не те, кому оно необходимо? В том-то и дело: но кто они, эти люди, которым нужно искусство, где они? Если отбросить стайку понимающих его бедняков да двух-трех состоятельных знатоков, кто покупал Барлаха? Только берлинские биржевики и им подобные влиятельные Седемунды; они покупали Барлаха, чтобы украсить свою гостиную *своим*.

---

* Цитата из пьесы Барлаха «Подкидыш».

Барлахом — Барлахом, который был тогда в моде; проклятая гаррота для удушения духа, не тогда ли начала она завинчиваться? Стать Барлахом банкиров и биржевых маклеров — такой удел всегда страшил Барлаха; потому-то для него, прежде видевшего в заказах помеху свободному творчеству, так важны стали его работы, предназначенные для общественного обозрения, созданные для Магдебурга, Гюстрова, Киля, Гамбурга и, наконец, для Любека; он хотел работать для многих, но у кого, кроме тех, были деньги, чтобы покупать произведения искусства, особенно скульптуру? Он и сам не мог себе позволить настоящего Барлаха, это было ему не по средствам; пожалуй, сейчас он отдал бы, если бы кто-нибудь захотел, своего «Мечтателя» за сарай дров — так обстояло дело с Барлахом, что же говорить о кухарке? Кто купит для нее и для пастуха произведение искусства, если не государство? А кому принадлежит государство? Оно принадлежит коричневым. А кому принадлежат коричневые? Духу зла. А кто этот дух зла? Это людоедская жажда приобретения, захвата, наживы тех самых Седемундов, от которых он хотел спастись бегством! Послушай, Барлах, не слишком ли быстро сжимается гаррота твоих мыслей? Неужели и они беспощадны, неужели и они не оставляют никакой надежды? Все равно. По шоссе прогрохотала машина, Барлах вздрогнул. В зарослях кустарника было сумрачно, лучи высоко поднявшегося солнца светились зеленым светом под зеленой крышей шелковицы. Барлах застегнул карман, в который вложил револьвер — решено и подписано; он выдержит все, и он подумал, что у него есть единственная опора и поддержка: сознание того, что враг, который отнял у него так много,— произведения, работоспособность, покой, здоровье, заработок, честь,— не смог отнять у него того, что было его душевным утешением,— эту любимую землю; он будет видеть ее всегда, даже если они ослепят его, ее ветер он всегда будет ощущать на своей коже, даже если они заживо похоронят его в тюремной камере! Вереницы журавлей, бархат камыша — это была его земля, и она помогала ему выжить, чтобы он мог засвидетельствовать, что есть немцы, которые не склоняются перед преступниками, стоящими у власти, и не ползают на коленях перед живодерами и палачами! Ради тех, кто был этой истинной Германией, он должен продолжать борьбу, покуда ему хватает слабеющих сил, задыхающихся легких, отмирающих клеток его тела; он — вывороченная ветром коряга на лугу, живая руина, тяжко больной и все-таки живой и живучий возмутитель их спокойствия; еретик, горло которого сжимает ошейник гарроты, но который продолжает задыхающимся голосом кричать: не сдамся! Не согнусь! Решено и подписано; Барлах поднял голову: даже в этом дне был свой смысл, так будь же он благословен.

Домой, дневной труд исполнен. Барлах пробивался сквозь ветви, в которых застрял словно в клетке; сквозь заросли он видел озеро, видел серую тусклую воду, ленивые волны; в воде — отбросы, черепки, сохнущие хлопья слизистой пены, с откоса, где росли шелковицы, тянуло гнилью. На воздух, на свежий воздух! Барлах прорвался сквозь кустарник, с трудом поднялся на шоссе и огляделся вокруг; он увидел перед собой озеро, а за ним — второе, он увидел две впадины, заполненные серым, и камыш на них, и кустарник, и заросли, пыльная зелень перед желто-коричневыми холмами, теряющимися вдали, где снова что-то серело и снова тянулись холмы; на коричневое бросили черное пятно, потом голубое, Барлах ссутулил спину под тяжестью плаща и стоял, опершись на палку, на обочине шоссе и смотрел на озеро — место, которое когда-то так много значило в его жизни. Барлах пристально смотрел вниз: ведь это Бездонное озеро, по нему плывет остров, а слева от него озеро Глинерзее, сюда они почти каждый день приходили с Клаусом, и всегда этот клочок земли становился для них новым чудом: густой мех орешника воротником лежал вокруг лица озера, они забирались в этот меховой

воротник, чтобы, радуясь щедрости кустов, грызть орехи; меховой воротник вокруг лица озера, а камыш, качаемый ветром,— борода водяного, или мех зеленой лисицы, или кустистые брови; тогда озера — два глаза на лице дремлющей земли, простирающейся далеко вокруг, огромное спокойное тело с двумя громадными глазами на строгом лице, а полосы, поросшие камышом,— две руки, сложенные крест-накрест на груди; или — снежные сугробы зимой, озера замерзли; звенит камыш, и солнечный свет разлетается миллионами ослепительных искр по белизне котловины; или причудливые видения осени, трепет винно-красного и пылающей желтизны, отраженный в свинцовом блеске озера; или весеннее щелканье шагающих на ногах-ходулях аистов, заблудившихся калифов из Багдада; или ночью — Орион, царь бурь, поднимается на озере и заносит свой топор над Гюстровом. Барлах пристально смотрел вниз, он стоял на обочине шоссе, и пристально смотрел вниз, и видел две котловины, наполненные застоявшейся водой, и старый камыш, поломанный и помятый, колючие поля, и то подымающиеся вверх, то падающие вниз холмы, и угрюмые морщины дорог. Барлах смотрел на эту чужую землю и думал, что теперь он все-таки изгнан отсюда. Добрый дух этой страны похитили, как похитили ангела из тишины собора; это больше не его страна, она ему чужая, еще более чужая, чем Франция или Флоренция; кусок земли, и ничего больше, бесполезный для него, как расколотое полено — теперь он эмигрант. Ах, Барлах, Барлах, какая фея вытащила тебе у колыбели такой жребий? Когтистая ведьма, толстуха Дорис, жена черта Элиаса? Взгляд Барлаха метался по холмам и высотам, но не мог больше увидеть родину, как не мог перед тем увидеть ангела в соборе. Эмигрант, эмигрант, *эмигрант!* Это последний поворот гарроты, она раздробила его шейный позвонок. *Эмигрант!* Барлах попробовал это слово на язык — горькое слово, горько-соленая желчь, он хотел выплюнуть его, но оно засело в горле и душило его; эмигрант, эмигрант в своей собственной стране! А по шоссе все топали и топали тяжелые шаги, это были апостолы из собора, впереди всех Иаков, они и впрямь покидали страну, от озер и лугов которой отлетела душа; но двое, смотри-ка, отделились от толпы странников и стали по бокам Барлаха, по правую и по левую руку: гневный Матфий и покорный Симон, а может быть, Петр, обнажающий меч, или же терпеливый, преданный, смиренный Лука; но кто бы они ни были — это были те двое, кто всегда стоял рядом с ним, обе его души: деятель и страстотерпец, и их спор был спором в груди Барлаха, и этот спор воплотил он когда-то в диалоге Генриха и Офферуса, главных героев его последней драмы, зарытой теперь в саду, драмы о графе Генрихе фон Ратцебурге.

Они возникли рядом с Барлахом: по его левую руку Генрих, некогда могущественный граф, повелитель и господин над людьми, над животными, над вещами, которому стал мерзок груз собственного богатства, и он отдал все, что имел, все, чем владел,— свою власть и свои преимущества, свое дворянство и наконец самую жизнь; он претерпевал все ради служения неведомой силе, которая побуждала его взбираться по каменистым тропам к неведомой цели существования. А по правую руку стоял Офферус — герой древнего предания: тот, что покинул свой дом, чтобы стать оруженосцем и слугой могущественнейшего из властелинов на этой земле; и когда он переменил много господ, ему показалось, что он нашел такого господина в Маруте — князе тьмы и войны, и Офферус служил ему, пока не был покорен другим могуществом — могуществом мира, и тогда, приняв имя Христофора, он перешел на службу божьему сыну, воплотившему самую высшую силу: всесилие ненасилия. Так гласит старинная легенда; но у Барлаха Офферус продолжил свой путь, и случилось ему увидеть, как палачи и каты именем Христа терзали и рвали раскаленными клещами тело бедняка, приговоренного к костру, и при этом

еще возносили хвалу богу за дарованное грешнику благо очищения в огне, а бог — тот бог, слугой которого стал Офферус, не слетел на землю с огненным мечом в деснице, чтобы поразить истязателей; и тогда ощутил Офферус в своем сердце ту, подобную буре и действительно величайшую силу, которая только существует на свете,— силу человеческой совести, и восстал он, и, повинуясь высочайшей из страстей: ненависти ко всем палачам, ко всем мучителям, ко всем катам, ко всем истязателям, он ювверг своим посохом на землю палачей, он освободил их узника, который оказался сыном графа, и вместе с ним отправился в далекий языческий край, где — теперь он уверился в этом — справедливости больше, чем в проклятом государстве, которое называло себя христианским, но где правила злоба.

Вечные спутники стояли по обе стороны от него, два верных, два надежных спутника — Генрих и Офферус, или Лука и Петр, или Барлах и— Барлах. Барлах взял их за руки, и они пошли, пошли через поле, пошли по земле, которая перестала быть его землей. Куда они отправлялись: в край язычников? Но Барлах не знал, где этот край. Что давало им силу шагать? Последняя надежда. Стоял тот утренний час августовского дня, который еще не пылал душным зноем, и какой-то парень, направлявшийся в Гюстров и толкавший свой велосипед в гору, увидел, как они идут: маленький согбенный человек с плащом, перекинутым через плечо, идет прямо по стерне скошенного поля, опираясь на палку, и рядом с ним по его правую руку, как его спутник, движется его длинная согбенная тень, по его левую руку взметаются в воздухе клубы пыли. Так и шли они, Барлах — сам-третей и все-таки один; Барлах шел навстречу ветру, и ветер веял над полями и лугами, и обдувал лицо путника, и развевал его плащ, и Барлах все шагал, по правую руку его лежали озера — и то, что звалось Бездонным, и то, что называлось Глинерзее; серебряные крылья чаек сверкали на ветру, и сверканье это взлетело в небо, по которому медленно плыли облака, а Барлах уходил в беспредельный простор долин и лугов, в зеленые волны всколебленной ветром травы и не чувствовал ветра, и не слышал его шороха и шума, и с ним шагали его верные спутники, и Барлах слышал только одно — тот разговор, который они вели в его собственной душе.

«Кто ты,— слышал он голос графа Ратцебурга,— осмеливающийся поступать по собственному разумению, вместо того чтобы покорно идти вслед за тем, кто тебя ведет, и кто больше, чем бог, и больше, чем все боги вместе — ведь они всего лишь порождения человеческого ума, а тот, о ком говорю я, он не бог, и он больше, чем бог, он — это вечное становление, вечное странствие, вечное действие, всего лишь крошечная частичка, всего лишь искорка того пламени, из которого все возникло — все бытие, весь мир, искорка, в которую снова обратится все бытие, весь мир, чтобы снова погаснуть и снова вспыхнуть в вечном становлении,— так не должно ли все идти, как идет, и не благо ли все сущее лишь потому, что существует?»

Так говорил Генрих, граф, который стал нищим, который сносил все и не противился ничему, который не воспротивился даже тогда, когда на глазах у него мучили его собственного ребенка; а Офферус, шагавший с ним рядом, потрясая посохом, возразил гневно: «Кто ты такой, Генрих, если, живя на земле, хочешь расточить себя в вечном безмолвии? Почему не должно все идти так, как мы хотим? Разве наше время не в наших руках и не от нас зависит, стать ему временем добра или временем зла? Ты слышишь, как твое дитя вопиет в муках, и не подъемлешь руку против палачей? Разве ты не человек среди людей, и что можешь ты сделать больше, чем собрать всю силу своей человечности, и пробудить ото сна спящее будущее, и приблизить его к сегодняшнему дню; только так ты послужишь своей совести, над которой нет господина и которая подчиня-

ется одной высшей страсти: обрушить свой посох на полчища палачей и мучителей, поднять руку на врага всех людей!»

Так шептали оба спутника в шелесте ветра, и это был спор, который шел в душе Барлаха, спор, который шел в его пьесах, в его бронзе, в его графике, и это был всего лишь шелест ветра; шелесту ветра внимали коровы на лугу, и дубы, и травы, а Барлах вслушивался в голоса, звучащие в его сердце, и соглашался то с одним, то с другим. «Разве вся твоя прошлая жизнь не была служением тому долгу, который вынуждал тебя создавать произведение за произведением?» — вопрошал его Генрих Терпеливец, и Барлах вспомнил все свои тщетные попытки во время первых лет жизни в Гюстрове объяснить матери, завидующей успехам и славе других художников, почему он должен воплощать то, что требует от него воплощения, даже если это противоречит вкусу тех, кто может платить, противоречит вкусу времени, которое любит изображения прекрасных амазонок и гордых орлов, даже если то, что он создает, до конца его дней не принесет ему ни славы, ни золота; и Генрих одобрительно кивал головой, но Офферус возражал громогласно: «Значит, то была твоя воля, то был твой труд, твоя разумная воля, твое самопожертвование, твое стремление к братству людей на земле!» Все это болтовня! Воля, долг, творчество, хотеть, сознавать, создавать, действовать — жалкий натужливый лепет, искусственный, как все в искусстве — там, где туман, там и обман. Все, созданное им, погибло, ничего нового он не создаст! Забудь обо всем, слушай, как стрекочут кузнечики в траве — Офферус, Генрих, Барлах,— он устал. Он остановился, опираясь на палку, вслушиваясь, как кричит трава, и взгляд его скользил по земле, которая стала ему чужой. Перед ним там, где кончалась гряда холмов, виднелись церковь и пасторский дом деревни Парум, словно земля поднимала их на слегка приподнятой к небу ладони, и движение это было преисполнено страстным счастьем дарить, а небо склоняло свое лицо, подернутое облаками над этим скромным даром, и легкий ветер овевал крыши краснокирпичных зданий, словно благословляя их. Но тяжело опирающийся на палку Барлах глядел на это безрадостно; дубрава, небо, все это хорошо, но что мне в них? Он глядел на все глазами, в которых угасла надежда, и все-таки пытался разглядеть в этой опустошенной стране свою родину. Ах, Парум, Парум, скромная деревенька — лай собак, рожок пастуха, колокол на деревянной звоннице, канавы, поросшие болиголовом. Не станешь ли ты, Парум, новым Гюстровом для старого Барлаха? Не принесешь ли ему в дар мирный покой в конце беспокойной жизни, не дашь ли ему пристанище под одной из дырявых соломенных кровель? Холмы и небо, шуршит нескошенная трава, стрекочут кузнечики, но вглядись — от околицы Парума движется шаркающими шагами, тяжело опираясь на костыли, согбенная старуха, и пронзителен ее взор. Огромен горб согнутой спины, и грузным грузом опирается тело на костыли; видение движется неверным шагом и при каждом шаге так выносит вперед костыль, словно замахивается им на Барлаха, и, хоть тяжка и шатка прихрамывающая походка, шаркающие шаги стремительно приближаются к Барлаху. Стучат костыли, скрипят костыли, и вот уже Барлах узнал и шаги, и походку. Старая знакомая, верный друг его дома, она спешит к нему из деревеньки бедняков, чтобы провести с ним весь остаток его жизни. Она машет Барлаху, она улыбается Барлаху, она все ближе и ближе, и Барлаху не спастись от нее, и имя ей — матушка Нужда.

Барлах давно свел знакомство с нуждой. Она сидела у него на шее в годы его учения и в годы его странствий; он бы мог сбросить ее со своих плеч, но в годы войны под торжественные трубные звуки она вновь ворвалась в его дом и обосновалась на его кухне, влезла в кладовую, в погреб, и, если ему доставалась костистая рыбешка, она откусывала половину, и половина жидкой похлебки с благотворительной кухни доставалась ей;

это она водила его рукой, когда он дал объявление в газету «Гюстровер тагеблатт»: «Куплю поросенка. Барлах, Шверинерштрассе, 22», это она выгнала его вместе с Клаусом в Клуэс к берегу реки, поросшему рогозом, к крестьянам за брюквой; да, Барлах стал нищим, но нищий Барлах был куда лучше Барлаха сытого, приветствующего войну! Нищенство тоже дело, только его нужно уметь делать, а Барлах делал его плохо, неумело, робел, боялся, что привыкнет нищенствовать, и они вернулись домой без брюквы. У меня все сгнило в поле, сказал ему один крестьянин; самому не хватает, ответил другой, и на долю Барлаха достались лишь лживые, пустые слова, и он приплелся домой, и серая когтистая ведьма Нужда шла рядом с ним, и так на нем самом сбылось то пророчество, которое он записал в дневник в первый день войны, предрекая будущее беднейшим из бедняков, женам пастухов, кучеров и батраков, угнанных на войну: «Я вижу, как они бродят по полям, чтобы украсть хотя бы одну брюкву». Прошло три года, и он сам отправился в поле за брюквой; правда, позже, когда блистательная госпожа Слава, сверкая жемчугом ожерелья и кутаясь в дорогие меха, торжественно вошла в его конюшню, матушка Нужда потихоньку бежала из его дома, и ему показалось, что навсегда; но сестры Заботы и Страдание не покинули его даже в эти разодетые в меха годы; да и матушка Нужда только спряталась за углом и терпеливо ждала своего часа; и вот она снова тут, нагоняет его на своих костылях и приветствует властно протянутой за подаянием рукой. Барлах задумался о будущем: голод ему пока не грозит ни сегодня, ни завтра, и даже на лечение в горах, на котором настаивал его врач, денег, пожалуй, еще хватит, но едва ли, чтобы поехать вдвоем, а что будет через год? Барлах вздохнул; он никогда не умел делать дела и наживать деньги, в этом он ничего не понимал, да и не хотел понимать, и все-таки одно ему было ясно: если не будет больше никаких поступлений — а их не будет,— то даже при самом скромном образе жизни у него скоро ничего не останется. Предчувствия одолевали его, и все ясней и ясней в набегающих волнах предчувствий становилось ему устройство гарроты. Вот, значит, как она действует: вначале оклеветать, потом убить твое доброе имя, потом разрушить твои произведения и, если ты после этого сам не покончишь с собой, задавить тебя в беззвучных, завинчиваемых потихоньку, но неумолимых тисках нужды! С головы Барлаха не упало до сих пор ни одного волоска, они и дальше пальцем его не тронут: у него просто не станут ничего покупать, и все свершится само собой. Разве можно упрекать людей в том, что они боятся и ничего ему не заказывают, ведь заказать работу Барлаху — значит впасть в немилость, вызвать неудовольствие и рано или поздно навлечь на себя беду? И разве можно упрекать власть имущих, что они пользуются своей властью, чтобы повергнуть на землю его — врага, которого они ненавидят? Но, быть может, во всем этом есть некий смысл, ведомый тому, кто превыше Барлаха, и его упорная самозащита только мешает осуществиться предначертанному? Быть может, он всего лишь орудие в могущественной руке? Быть может, все должно идти так, как идет? Барлах стукнул палкой оземь. Проклятое самокопание, проклятое желание все понять и все простить! Тут нечего понимать и нечего прощать: вонзи зубы в руку, которая тянется, чтоб тебя задушить, кусайся, бей, бей до крови своих мучителей, ненависть за ненависть, око за око, зуб за зуб; одна только малость: один беспомощно зажат в тисках, а другие завинчивают эти тиски! Но почему он попал в эти тиски? Потому что дух зла стал всемогущим. А почему дух зла стал всемогущим? Разве дано кому-нибудь это понять! Значит, надеяться больше не на что? Кто знает... Черный дрозд скачет по ветке, вороны кружат над далеким озером. И Барлах решил пойти в Парум.

Дорога на север в Парум, его любимая дорога, шла напрямик через поля, по пашне и выгону к низинке между холмами; по этой дороге Бар-

лах не ходил с тех пор, как поселился в южной части Гюстрова, тому уже больше десяти лет назад. Пожалуй, последний раз он был здесь с Фридрихом Шультом, поэтом и другом; по привычке голодных лет и ради отдыха они собирали шампиньоны и, любуясь упругой формой белоснежных мясистых комков, уютно ложившихся в полусогнутую ладонь, рассуждали о китайской философии, ее образно-конкретная форма мышления, объясняющего мир, была близка и родственна их собственному мышлению, и они оба ее очень любили. Барлах, словно в этом было спасение, попытался вспомнить, о чем Шульт так красноречиво повествовал тогда. Да, о Лао-цзы, правдивой книге о первопричине всех причин; там есть притча о двух мудрецах, которые попали к разбойникам и обречены на смерть, как бы они ни поступили. Конечно, Китай далекая страна, а притче о двух мудрецах, пожалуй, тысячи две лет! Какое счастье жить в современном цивилизованном государстве! Только без дешевой иронии, Барлах, не меняй свою горечь на дешевую иронию. Он произнес эти слова вслух; любопытный теленок подскакал к нему и потерся влажной блестящей мордой о куртку. Барлах почесал его между ушей, теленок замычал; счастливое создание, как счастливы животные! Что за мысль? Уж не собираешься ли ты перейти к прославлению счастья жрать и обладать, старина? Счастливый теленок, он поскакал прочь, на горизонте видны пасущиеся стада, счастливые стада, трава и покой — пожевать, лечь, отдохнуть, снова пожевать, переваривать и тучнеть: растительное счастье среди стрекота кузнечиков, животное счастье; Барлах шел и не чувствовал ни ветра, ни дороги, он останавливался, поглощая и жуя образы, как траву, а мимо тянулись дубы, и пологие холмы, и огороженные жердями выгоны, и ямы, где берут песок, и живая изгородь в рост человека; ее он увидел впервые на этой любимой из его дорог, и теперь изгородь поворачивалась перед ним бесконечной колючей спиралью винта, и отодвинула в сторону Парум, и церковь, и холм, и придвинула дорогу, и снова пастбище, а за пастбищем камыш, непроходимые заросли камыша, сформованные ветром пластичные массы, заливы и горы звенящей зелени, и Барлах увидел вдруг в наклоне расположенных уступами листьев, как провести линию в наброске к «Колонне голода», он увидел это, и камыш отдалился, и канал уплыл от него, и железными прутьями решетки прогрохотал подъемный мост, подъемный мост, и трактир, и снова луга — все скользило мимо в вечном странствии, вся земля эмигрировала, река Небель осталась позади, Генрих и Офферус давно исчезли, а Барлах стоял на холме над заболоченными извивами реки; снова было тихо вокруг, и Барлах смотрел на петляющую реку внизу, видел ее, и ему больше не было страшно. Это место было когда-то самым близким его сердцу, и, когда он стоял здесь последний раз, эта река была еще живой водой, текучим потоком, который петлял среди осоки и аира, теперь ее спрямили каналом, прямым судоходным каналом, и он отнял у реки воду, и старое русло ее загнило. Берега, не омываемые больше текучей водой, заросли почти до середины, тяжелый слой ряски, настой из сгнивших листьев и веток лениво покоился на поверхности болотистой лужи, которая уже начинала вонять; ни небо, ни облака не отражались больше в потоке, ничто не блестело больше среди зелени: красавица превратилась в дряхлую старуху, в дохлую змею, в принцессу-лягушку, которую не расколдует больше никакой принц, и пузыри, тяжело и лениво подымавшиеся со дна и с шипением раздвигавшие клейкую оболочку ряски, были, наверное, ее последним кваканием. Кузнечики стрекотали, квакала река, бедная старуха здоровалась с бедным стариком, который был когда-то бедным родственником *, бедным, но все-таки родственником блестящего господина, а теперь стал всего лишь бедным родственником самого себя.

---

* Намек на пьесу Барлаха «Бедный двоюродный брат».

«Садись рядом, старик!» — сказала старуха, и Барлах, усталый Барлах опустился на траву и обнял руками колена — мечтатель — и откинулся назад, чтобы отдохнуть, и тут, когда наконец ослабло напряжение и тело приняло свободную позу, у него начался сердечный приступ, ему казалось, что аорта, раздувшись в груди, сейчас разорвется, внутри что-то дрожало, ребра превратились в стальные пальцы, которые, сжимаясь, мешали ему вздохнуть, и железный кулак сжал сердце, этот беззащитно трепещущий живой насос, и пот выступил у Барлаха на лбу, он не решался снять руки с колен, он чувствовал, что Марут, ангел смерти, стоит рядом, Марут, князь тьмы, и он подумал еще, что его сосуды так же одряхлели, как извивы реки, и, увидев перед глазами черный меч ангела, он закричал беззвучно, что ему еще надо жить, и позвал Офферуса, и тут наступила ночь.

Когда Барлах снова пришел в себя, около него сидел знакомый пастух, дядюшка Грюнталь из Парума, а на лугу пестрело стадо пегих коров.

— Отдышался? — спросил пастух и набил свою трубочку.

Барлах кивнул, оба молчали. Коровы спокойно жевали траву, пастух, худой и тощий, сосал похрипывающую трубочку. Барлах закурил сигарету. Он знал, что это самоубийство, и сердце сейчас же снова болезненно заколотилось, но он не мог отказаться от утешения, которое давал ему голубой вьющийся дымок. Так курили они и молчали, а небо синело над ними в летнем ветерке; они просидели так, может, полчаса, а, может, час, а, может, два — молча, потому что время здесь остановилось, и только бесконечное движение солнца то растущими, то сморщивающимися тенями напоминало о его безмолвном ходе. Потом пастух заговорил; он заговорил о вещах, о которых обычно толкуют пастухи между собой (а с кем же говорить им еще?), и пастух говорил о небе, о людях, о жизни, о животных, о боге, о духах, о беге времени, а Барлах отвечал словам пастуха, и так сидели они, два старика, пастух и резчик, и разговаривали друг с другом, как разговаривают друг с другом башни собора; и Барлах, говорил ли он или молчал, ощупывал глазами фигуру сидящего, тяжелую срезанную по верхнему основанию краем блузы трапецию подтянутых ног, над которыми поднимался острый треугольник груди, увенчанный круглой капителью головы, прорезанной пятью поперечными морщинами; и Барлах мысленно набрасывал в памяти вписанный в пирамиду образ сидящего короля, хорошо понимая, что все это ложится лишь бесполезным хламом в хранилище его воспоминаний. Так сидел Барлах и, неутомимо наблюдая, делал мысленные наброски; пастух тоже умолк; так сидели молча два старика на высоком берегу старой реки; ветер свистел над ними, и все создания на лугу были подобны кустам и деревьям, только не зеленели больше, и старик Барлах вдруг вспомнил свою юность, как он, двадцатилетний, сбежал из-под строгого надзора с бесконечно нудной академически-классической штудии обнаженной натуры, как бродил по улицам, трактирам, задним дворам с тетрадкой в черном клеенчатом переплете и искал человека, искал живых людей из крови и плоти, искал подлинную человеческую сущность за шелухой одежд и лжи; скульптор-жанрист — морща нос, презрительно называли его коллеги, скульптор-жанрист и мазилка задворок, а также *демократ и художник сточных канав* — это были предвестья будущих оскорблений, бранные слова тех, кто ваял из белоснежного мрамора косматую грудь Посейдона и круглые бедра Калипсо, каррарскую дребедень, которую хвалили учителя, которой покровительствовали мастера и которой восхищались покупатели из высшего света, а он, художник повседневности, осмеянный всеми, одержимо рисовал на улицах, искал человека в потоке линий и пересечении плоскостей — а где иначе мог он найти людей, как не среди народа, среди пастухов, и батраков, и подметальщиков улиц, среди озяб-

ших девушек и озабоченных женщин... Единение с народом, единство народа, которым все сегодня клянутся,— оно давным-давно было воплощено в его тетрадках, правда, единение с тем народом, к которому не принадлежат властители над живыми и мертвыми; вот почему его тетрадки в черных клеенчатых переплетах тоже лежали теперь в резиновом мешке под землей, погребенные, как и множество других листов, которые покрывала линиями и буквами его рука; они лежали, похороненные раньше, чем он, лежал, чтобы восстать из мертвых. Но когда? И в какой стране? Крестьянин полез в карман и достал узелок с хлебом и салом, разрезал ножом с костяной ручкой хлеб и сало пополам и протянул свой скромный дар Барлаху; Барлах ел с пастухом хлеб с салом и пил воду из солдатской фляги, воду из колодца в Паруме; коровы лежали на берегу реки, умолк треск кузнечиков в траве. Был полдень, мирная середина дня, в это время он привык есть, и сегодня его едой были хлеб с салом и вода, и это было благо. Поев, он поблагодарил и встал, чтобы идти в Гюстров; после сердечного приступа он мог двигаться только очень медленно, и обрадовался, услышав от пастуха, что сейчас здесь проедет повозка его двоюродного брата из Швизова, который может его подвезти, и словно по волшебству на дороге, идущей вдоль канала, показалась навозная телега на высоких колесах; она была грубо сколочена, и ее козлы были покрыты рваным клетчатым одеялом. Пастух помахал рукой, лошадь остановилась, и пастух подвел скульптора к повозке.

— Это Барлах, который сделал ангела,— сказал пастух кучеру, кучер кивнул, сдерживая упрямую лошадь, и проговорил, обращаясь к Барлаху:

— В деревне толкуют, что наци-то ангела...— но когда он увидел, как кровь прилила к лицу Барлаха, он сказал только: — Ладно, мастер, влезайте!

Пастух подхватил Барлаха, чтобы помочь ему взобраться на козлы, Барлах, который не переносил чужих прикосновений, даже содрогался от них, хотел отстранить пастуха, но тот поднял его тщедушное тело с такой мягкой силой, что Барлах покорился, а кучер, обняв его рукой, втащил легкий груз наверх. В ту минуту Барлаху показалось, что все это уже когда-то было. Пастух попрощался, кучер приветственно поднял кнут, потом раздалось щелканье кнута, лошадка зашагала, повозка тронулась с места. Телега резко подпрыгивала на плохой дороге, собственно, то была просто колея, наезженная в траве, кое-где содранная до желтого песка кожа земли. Барлаха сильно трясло на деревянном сиденье, он чувствовал толчки воздуха в груди, и поездка, которая должна была сберечь его сердце, растревожила легкие. Оба не произнесли ни слова; кучер жевал табак, медленно растирая его челюстями, и изредка выплевывал коричневую струю на листья латука, и Барлах, который вообще ненавидел молчание с чужими, на этот раз воспринимал его как благодеяние; он и не смог бы говорить, с таким трудом ему удавалось дышать. Они проехали мимо трактира, переехали через мост и свернули на вымощенную крупным булыжником дорогу. Телега, подпрыгивая, громыхала и грохотала, стало видно все окрест, и внезапно перед глазами возник Гюстров.

Гюстров, церковь, собор, их башни, они обрамляли пылающее на солнце здание замка. Два стража, которые душат беззащитного, два палача, разжигающие костер, два ката, завинчивающие бьющегося грешника в тиски, в стальную голубизну неба. Крыши города пригнулись перед лютующими варварами, они стояли склонившись, толпа терпеливых страстотерпцев: обнаженные головы, взгляд робко потуплен перед варварским неистовством, катящимся по стране,— почему они молчат, почему не встанет кто-нибудь и не спросит: где ангел? где право? где свобода? — почему не строятся они в колонны, чтобы промаршировать туда, где сидит власть; почему не встала стена из живых тел вокруг собора,

чтобы защитить ангела, ангела, который принадлежал им, который был их ангелом? Почему никто не крикнул, никто не сжал кулаков, никто не позвал на помощь? Ведь бьют же они тревогу, если кто захочет отнять у них кусок черствого хлеба — их собственность; из-за узкой полоски межи идут сражения, поколения судятся из-за одного дерева, из-за куста, из-за камня, почему же никто не шевельнулся, когда исчез их ангел? Или лучшие ушли в подполье, их созидающие усилия скрыты во тьме? Телега подпрыгивала на камнях; дома вокруг собора кренились и качались—покорные верноподданные — мусор, щебень; телеграфные провода разрезали небо на узкие полосы, над замком плыло черное облако, кучер выплюнул остаток табака, откашлялся и неожиданно произнес:

— Да, мастер, что бы там ни говорили, а дела на свете идут плохо!

— А разве все идет не так, как должно идти?

Кучер не задумался над ответом, он решительно покачал головой и затем, осторожно объезжая выбоину на дороге, проговорил, обращаясь к Барлаху:

— Если все идет так, как идет, куда же оно придет? — и снова перенес все внимание на дорогу.

Эта поговорка, которую Барлах столько раз слышал, огнем вспыхнула у него в мозгу. Из-за серых строений промышленной окраины вынырнули дома предместья, в окнах показались лица; мужчина, подметавший улицу, бросил работу и уставился на телегу. Они свернули за угол, Барлах попросил остановиться; он спустился с козел на неровно вымощенную улицу, вынул бумажник и стал искать деньги. Кучер отмахнулся, и Барлах уже готов был вспылить, но, взглянув на полное величавого достоинства серьезное лицо восседавшего на козлах человека, устыдился. Кучер поднял кнут не то в знак прощания, не то, чтобы щелкнуть им. Барлах с плащом через плечо дотронулся до шляпы; кучер поглядел вниз на замученного человека с загнанным, робким взглядом и подумал, что бы такое утешительное и хорошее сказать ему на прощание; наконец, сочувственная улыбка осветила его грубое лицо, он сунул кнут в кольцо держалки, поднял правую руку на уровень груди и, подмигнув растерянному, ошеломленному Барлаху, на секунду сжал кулак — это было приветствие, которое он столько раз видел во время демонстрации коммунистов Гюстрова, потом снова взял кнут, щелкнул им, натянул вожжи, и телега покатила, подпрыгивая, по узкой улице по направлению к Гюстрову.

Барлах весело рассмеялся, когда впервые — а это случилось через шесть лет после его поездки в Россию — до него дошел слух, что он русский еврей, о чем свидетельствуют сюжеты его набросков, а главным образом окончание фамилии, и тогда он, шутник по природе, считая, что всякая настоящая шутка требует публики, поспешил сообщить об этих смешных сплетнях в Мюнхенское издательство, своему другу Пиперу; но когда снова с редкостным усердием стал распространяться слух о его еврейском происхождении и правые газеты назвали его первую драму, в основу которой легла мрачная, перекочевавшая в нижненемецкую деревню и только там возможная сага из «Эдды» * о дне мертвых, когда эту драму назвали коммунистической русской пьесой, он рвал и метал и громко жаловался на странную путаницу в некоторых головах; он, из принципа не принадлежавший ни к какой партии, считал, что в политике шутка перестает быть шуткой; он не хотел прослыть коммунистом, не хотел этого и сейчас, хотя трогательно-наивный

* «Эдда» — древнегерманский эпос, многие мотивы которого отразилнсь в немецком фольклоре, особенно в нижненемецких сказаниях.

жест кучера взволновал и потряс его до глубины души. Несмотря на то, что он проделал путь политического становления от верного кайзеру национал-либерала, каким был в юности, до приверженца левой интеллигенции, сгруппировавшейся вокруг журнала Осецкого и Тухольского «Вельтбюне», то есть проделал путь от ярого сторонника войны до создателя памятников, призывающих к миру; хотя он изменил и уточнил свое представление о социалистах, в которых вначале видел далеких от жизни фантазеров, мечтающих об абсолютно счастливом государстве будущего, государстве, где человек, избавившись от всех трудностей и свалив все ноши, будет уже не человеком, а лишь вечным потребителем заранее изготовленного блаженства; хотя вначале, испуганный кровавыми боями в Средней Германии и в Баварии, он считал коммунистов сторонниками открытого насилия, а потому противниками братства народов, которого жаждал,— он, разобравшись в том, что говорят и пишут, и наученный собственным опытом, стал высоко ценить их самоотверженную борьбу за свой идеал и противопоставлял ее так называемому идеализму (он воспринимал его лишь иронически) экзальтированных гитлеровских и ремовских молодчиков; несмотря на все это, он никогда не думал вступить в ряды коммунистов или хотя бы примкнуть к ним в чисто идейном плане, и даже вой нацистов: «Он — большевик!» не заставил его подумать об этом; красными и большевиками коричневые называли всех, кто не семенил рысцой за штурмовиками, всех, кто не желал вытягивать руку их римским жестом.

Как же понять приветствие кучера? В нем не было насмешки, что же это значило? Неужто этот кучер из Швизова коммунист? Уж не причисляли ли там Барлаха к своим? Он — их Барлах? Он для них — *наш* Барлах? Странная мысль. Но почему же странная? Кто, кроме левой прессы, всерьез оценивал его работу в искусстве и его драмы, в то время как справа всегда раздавалась лишь яростная брань? Не признавался ли он сам своему двоюродному брату Карлу, что как он ни сопротивляется, но развитие Германии толкает его все больше и больше влево? Разве не собирался он после этого инсценированного пожара, поджога рейхстага, высказать свое мнение в марксистских газетах? Все это так, но... Какое же «ио»? Он сам не знал. Свистел ветер. А если теперь ему надо сделать выбор между Теми и Этими, между Седемундами, с одной стороны, пастухом и кучером — с другой? Телега скрылась, даже ее грохота не было больше слышно; обескураженный Барлах, пошатываясь, побрел между кучами мусора снова в открытое поле, как вдруг он вспомнил сцену, которая относилась к годам кризиса и так взволновала его когда-то, что только поворотом гарроты можно было вытеснить ее из его памяти. Это произошло на Хольштрассе, совсем рядом с рынком; правая сторона улицы — коричневого, левая — серого цвета, а стена воздуха, разделяющая их, содрогается от яростного спора: и там и здесь безработные, одни — в коричневых рубашках, в которые их нарядил, посулив им работу, демагог, другие — в серых ротфронтовских куртках; Барлах, свернув с рыночной площади на Хольштрассе, неожиданно попал между двумя лагерями, глухо пышущими яростью и гневом; незаметно уйти он уже не мог, он успел услышать науськивающий крик: «Эй, вы, красные, вот идет ваш «Христос»,— и тут улица обрушилась на него бешеной волной гнева. Чей-то сапог ударил его в колено; он споткнулся, сейчас толпа раздавит его, но великан-ротфронтовец поднял вытянутой, как стрела крана, рукой его легкое тело над уличной дракой и, опуская его в стороне, сказал: «Ступайте спокойно в вашу мирную мастерскую, мастер, а эту работу оставьте нам, это не ваше ремесло». Барлах снова увидел эту картину и услышал эти слова; вот тогда, в тот час он действительно был *их* Барлах, он был един с ними

перед коричневой чернью,— а сегодня? Сегодня Барлах сидел в своем собственном концентрационном лагере в тисках гарроты, а великанаротфронтовца, наверно, бросили в лагерь пыток в Фульсбютеле — так с кем же быть Барлаху сегодня? С кем, как не с теми, кого преследуют и мучают в узаконенных государством местах для мучений и пыток? Когда он узнал о создании концентрационных лагерей, он вырезал на гипсовом барельефе своего «Парящего», на созданном в 1912 году прообразе ангела из собора слова «Свобода, как я ее понимаю» * и дату — 22 марта 1933 года. Хорошо, хорошо; но разве все это делает его *их* Барлахом, Барлахом красных? Барлахом коричневых он не мог стать, это для него невозможно, но Барлахом красных? Шуршал камыш, Барлах медленно шел по лугу вдоль реки; он снова вышел из предместья в поле и шел по почерневшей от сажи траве, и мысли раздирали его мозг. Он служил искусству, ради этого стоило умереть; Седемунды прислуживали богу своего собственного благополучия, а за это не стоит отдавать жизнь, но ради чего жертвуют жизнью и свободой те, другие? В чем их идеал, за что они сражаются? Может быть, они и есть те самые язычники, которые лучше христиан, пытающих людей во имя страха божьего? Барлах не знал ответа, и он почти раскаивался, что так мало интересовался политикой, в которой решались вопросы жизни и смерти людей, даже жизни и смерти целых государств и народов. Теперь, впрочем, было слишком поздно; но в одном Барлах был уверен: всякая перемена в Германии будет к лучшему, значит надо приветствовать любого, кто бы ни поднял меч против господства коричневых, и если хоть одна рука сжимается в кулак — это уже благо. Загудел паровоз — раздалось дребезжание железа, послышалось странное чмокание— дыхание Гюстрова зашумело у Барлаха в ушах. Он повернул обратно, и в этот миг ему стало ясно, что государство бандитов и убийц не вечно, что стены Гюстрова переживут его.

Конец баюкает в своих объятиях начало — так утверждал он когда-то в своей драме «Всемирный потоп», в порочной еретической драме; конец баюкает в своих объятиях начало — так было, так есть и так будет; его глаза, огромные, острые, уже не так остры, чтобы разглядеть начало этого начала, но несомненно, что вокруг него в стране, в темноте под землей, набухают крошечные семена, из которых новой весной брызнут новые молодые всходы, даже если то сердце, в котором они взойдут, еще не родилось. Несомненно, вокруг было и движение, и созидание, и рост, они вне власти времени, как погода и ветер, неужели такой пустыней стала немецкая земля, что не прорасти в ней семенам новой жизни? Ведь бывает иногда, что прекращается созидание, и тогда сотрясается решето истории и целые народы и государства проваливаются в ничто, исчезают — неужели таков жребий Германии? Есть ли у нее силы начать все сначала, стать другой? Текла серая река, росла чернильная туча на горизонте. Расцветет ли когда-нибудь новая Германия, вышвырнув из своей жизни коричневое отребье? Германия мирного труда и усердной работы, где художник сможет творить, не заботясь о хлебе насущном, даже если он воздвигает памятники, зовущие к миру, а не монументы войне? Германия, где на смену маленькому, жалкому собственническому счастью придет счастье приобщенности твоего «я» к благородному общему делу? Германия, где ни женщины, ни рабочие не будут ничьей собственностью и где не будет отрядов громил? Германия, где люди больше не будут пожирать друг друга, Германия, где никто больше не будет высасывать крови ближнего своего, чтобы

* «Свобода, как я ее понимаю» — начало известной немецкой песни, которое во времена нацизма было превращено в лозунг, иронически переосмысленный Барлахом в этой надписи.

румяными стали собственные щеки? Германия, где можно будет жить весело, бесстрашно, открыто, ведь жить так — это было самой сутью характера Барлаха, пока горечь времени не отравила его своей горькой желчью. Германия свободного слова, которая будет нести правду и не будет бояться правды? Германия, где художник сможет творить и для самых образованных умов, и для кухарки у очага, и для пастуха в поле? Германия, чья уверенность в себе будет зиждиться на всем лучшем, что заложено в ней; Германия, которая, отринув чувство высокомерия и превосходства, станет рядом с другими свободными народами, Германия, научившаяся чтить то высшее благо, которое существует на земле,— труд человека, его наивысшее счастье? Ну-ка, старик, приди в себя! Мечтатель остановился у железнодорожного моста, из-под стеклянной крыши вокзала вырывался шипящий пар. Перед Барлахом лежал город; он увидел кубики домов вокруг бойни, и ему вдруг захотелось повернуть и снова побрести в Парум, или в Штренц, или в Люссов и поселиться там, нанявшись подпаском к пастуху. Ах, Парум, Штренц, Люссов или Швизов, там хорошо, там можно спрятаться, не то что в Гюстрове, туда коричневые не пойдут, там перед каждым домом, перед каждой хижиной открывается простор лугов, там затерялся бы его след, там было бы хорошо! Вороны разлетелись, клубился дым. Опомнись, старик, оставь свои мечты, лучше честно подведи итог! Твоих средств при самой экономной жизни хватит еще на два года. Если ты поедешь с Маргой на лечение в Гослар — а это необходимо, наконец, сделать,— денег на два года не хватит. О заказах или продаже и думать нечего; может быть, кто-нибудь из друзей купит какой-нибудь рисунок или гипс, но это будет не более чем песчинка, попавшая в механизм гарроты. Продать дом на Хайдберге? Не воображай, что кто-то купит это дорогое, требующее больших расходов строение, эту барскую студию, которая сама владеет своим владельцем, подавляет его вереницей залов и комнат. Или, может, где-то найдется граф-скульптор? А что у тебя есть еще? Драгоценностей у тебя нет, сокровищ ты не собрал; несколько ковров, прекрасно, несколько бронз и картин, но ведь все это — как они это называют?— выродившееся искусство. Попробовать что-нибудь другое? Он был готов, как ремесленник, за обычную плату изготовлять надгробия и кресты — честная работа каменотеса,— но никто не хочет иметь ничего, к чему прикоснется его отмеченная клеймом рука. Ах, не воображай себе ничего, ты мертв, мой милый, мертв; скульптора, графика и драматурга Барлаха более не существует; груз твоего долга, под которым ты так часто стонал, снят с твоих слабых плеч, ты отлучен и освобожден от него, ты лишен всего, что имел, как Генрих Терпеливец: нет у тебя ни родины, ни государства, ни профессии, ни работы, ни чести, ни средств... И все-таки ты не испортил последними неверными движениями резца доски, с которой будет отпечатана гравюра — изображение твоей жизни: труд закончен, произведение создано. Ступай и да почиешь ты с миром! Барлах вздохнул; он еще раз оглянулся: под облачным небом лежал серый ландшафт, ветер гнал хлопья копоти, цепи дубов загораживали горизонт, и Барлах знал, что вот и странствия его окончились, что в последний раз видит он луга и пастбища вокруг Гюстрова. Так свершилось прощание; он повернулся и пошел, тяжело опираясь на палку, к стоянке такси перед вокзалом.

Гул и шум на улицах, по которым проходил Барлах, веселая суета, час послеобеденного гулянья, молодежь, ветреная и легкомысленная, болтала и порхала вокруг, все с изумлением смотрели на странного путника. Женщины отшатывались от него, шушукались, хихикали. Барлаху до всего этого больше не было дела. Его труды и его надежды были позади, а впереди — прозябание, безделие в преддверии смерти:

дышать, питаться, бодрствовать, спать и терпеть боль, жевать и пережевывать — животное счастье, призрачное существование. Так тому и быть. Перед вокзалом стояли солдаты, три неподвижные стены из мяса и амуниции, а проводивший смотр фельдфебель орал перед строем; это были привычные, знакомые звуки, так орало радио на весь народ: крик, рев, лай — нутряной голос коричневой Германии, коричневая короста, разъевшая нутро нации. Солдаты стояли как статуи, как эрзац искусства; фельдфебель изрыгал им в лицо ругательства, солдаты и пикнуть не смели; их тоже гарротировали. Содрогнувшись, Барлах укрылся в такси.

— В Хайдберг? — спросил шофер, и Барлах кивнул головой; скорее, только скорее.

На площади перед мостом через реку стояли танки, из здания вокзала выплескивались когорты солдат.

— Маневры,— сказал шофер,— в Гюстров прибывает целая дивизия!

Барлах, снова зажав между губами спасительное утешение — сигарету, сердито заворчал; шофер увидел в зеркальце искаженное гневом лицо пассажира и умолк. Танки стояли у ворот города, апокалипсические звери, приготовившиеся к прыжку; шофер мог бы провести машину между их стальными телами, но он свернул налево к Мельничным воротам. Они ехали вдоль реки, на лужайке парка играли дети; белокурые детишки то взмывали ввысь, то опускались вниз на качелях, они теснились по трое на сидениях и так взвизгивали, когда качели, приближаясь к земле, убыстряли ход, словно летели прямиком во владения бабы-яги. У Башни бедных грешников молодая женщина развешивала белье на тугой веревке, рубашки и пеленки развевались на ветру, всплескивались белым над серыми головами рыбаков, невозмутимо забрасывавших удочки с заболоченного берега, и древняя как мир пара с лицами, словно вылепленными из глины, сидела на скамейке, прислонясь друг к другу. Ветер шевелил траву. Барлах смотрел на скромные картины повседневной жизни, и они захватили его как бесхитростная мелодия вечером после тоскливого, тяжелого дня; он глядел на отдыхающих стариков и играющих детей; он слышал в свисте ветра, как благую весть, хвалу мирным делам, и вспоминал дни, когда счастье простых дел казалось ему воплощением человеческого могущества; он вспомнил свое прозрение в дни ненавистной войны, и его охватил страх. Он подумал о танках перед воротами города; он видел, как они сотрясались, он слышал их скрежет, он чувствовал горячее дыхание их ревущих пастей, он видел, как они грозно вламываются в мирную человеческую деятельность, и он с ужасом понял: они хотят войны... Властители хотят войны, огнедышащий дракон воспламеняет не только их мысли и чувства, их ярость не только варварское опьянение массового психоза, не только наслаждение грохотом сапог и хриплыми выкриками орущих глоток; им уже мало просто перекрашивать свои поражения в победы: они хотят бóльшего, они идут на все, они снова хотят схватить мир за горло, Седемунды снова хотят войны! Вот почему они уничтожают правду, искусство и справедливость, вот почему они украли ангела, вот почему им нужны концлагеря и террор, вот почему они хотят сломить все благородное и разумное. Они хотят войны! Барлах почувствовал, как сжимает его сердце ледяной холод ночного кошмара; в его груди погасла последняя, еще теплившаяся искорка надежды на чудо, он ощутил последний поворот гарроты: этот поворот отнимал у него надежду на будущее Германии. Что бы ни случилось, Германия погибнет. Если она выиграет войну, охваченная безумным стремлением к господству над миром, она сама уничтожит остатки своего народа; проиграет — победители выжгут чумную язву Германии с тела земли. Никогда не будет

той Германии, о которой он мечтал, и это, пожалуй, к лучшему, она погибнет, она ляжет в могилу вместо того, чтобы передавать ложь, воинственность и жажду крови из поколения в поколение. Так шло с незапамятных времен, от пращуров к правнукам, дед передавал это в наследство отцу, отец сыну, а сын сердцу еще не рожденного сегодня, и никто не в силах был остановить ход времени, чтобы начать все заново и по-другому! Ошейник гарроты сдавил душу нации и приближал ее ужасный конец: смерть Германии.

Но, может быть, все-таки уже зародилось иное, новое поколение? Может быть, перемены в народе произойдут, когда вырастут дети, которые сегодня так весело играют? Оставь и эту надежду! Барлах совсем сник; шофер такси сказал что-то, но он не расслышал. Они ехали по узким улицам Гюстрова, Барлах натянул плащ на лицо, он не хотел ничего видеть. Глубокая тьма, глубокая вода, глубокий покой — свершилось. Гаррота, гаррота — так умирает народ. Закрой лицо свое. Может быть — ах, слишком поздно. Барлах лежал в темноте, целую вечность лежал он так. Глубокий покой, глубокий покой! Машина остановилась, Барлах, вздрогнув, открыл глаза. Они стояли на дороге перед Хайдбергом в полкилометре от его дома.

— Поломка,— с сожалением сказал шофер и поднял капот мотора; роясь в сумке с инструментами, он попросил пассажира не сердиться, он починит машину быстро; Барлах равнодушно кивнул ему, устало прикрывая глаза, и тут вдруг его взгляд упал в нутро открытого автомобиля, и, когда он увидел скользящие поршни и черные рычаги над стучащим смазанным маслом сердцем из стали, путаницу шестерен и винтов, ему стало страшно. Он вылез из машины и, повернувшись к ней спиной, выгреб из кармана горсть монет, бросил их на шоферское сиденье и, ничего не объясняя, стал продираться сквозь заросли ольхи в дышащую тишину Хайдберга.

Хайдберг, голая возвышенность, достигавшая двух километров в длину, одного в ширину, а в самом высоком месте высоты сорока двух метров над уровнем моря, была, как гласит надпись на алтаре в соборе, в 1573 году засеяна еловыми семенами; ее засеяли дети, которых вела мекленбургская герцогиня Елизавета, самому старшему из детей было пятнадцать, младшему пять лет; так гора затопорщилась жизнью, но скоро в мрачный еловый бор на горе проникли сначала поодиночке, а потом целыми колоннами и клиньями—береза, бук, рябина, сосна, дуб, ольха и клен; они прорвались в колючую тесноту елей и утвердились на завоеванной почве; там угнездился орешник, на скатах, покрытых хвоей, разросся папоротник, ежевика и малина окаймляли накатанные тяжелыми крестьянскими повозками колеи; легионы грибов всех видов и раскраски пробились из рыхлой земли; волны камыша зашумели вокруг колеблющихся, пронизанных стеблями кочек на обмелевшей части озера; и скоро на месте однообразного елового леса возникло сказочное чудо — смешанный лес; в его рощицах, на косогорах и во рвах поселилась пестрая толпа сказок; там обитали теперь и белки, и дикие кабаны, и косули, и лисы, и барсуки, и тысячеголосые хоры птиц, и Барлах в своей крепости. На Хайдберге в зеленом соборе с тысячью нефов и капелл Барлах знал каждую тропку и каждое дерево, но теперь и Хайдберг превратился в пустыню: серебристые стволы бука не казались больше опушенными персиковым пушком, хотя солнце по-прежнему мягко играло на стройных стволах; солнечный свет пронизывал глубину леса, но красные шляпки мухоморов не пылали больше рубином под изрезанными арками папоротников. Он видел лужи, наполненные водянистой кровью, и нелепую вялую листву, и даже молодые густые ели не

казались ему, как прежде, добродушными детьми рядом с упрямыми дубами, жилистыми апостолами лесного храма! Барлах видел хвою и листву, тропки и стежки, зелень разных оттенков, но все это не обретало единого образа, все это по отдельности было мертво, все это не сливалось в целое, и тогда Барлах увидел и не удивился тому, что в чаще леса совершается убийство. Вот одно дерево схватило другое за глотку, хочет отнять у него воздух, и ветер, и свет, чтобы самому расти и зеленеть в майском приветливом тепле; зеленые птенцы уже когтят друг друга, слабые и беспомощные погибают; старые падают на землю и умирают: природа вокруг него — гаррота, все вокруг — гаррота. И этот лес — гаррота, и все кругом только пища, только жратва, все душат и давят — а он, старый Барлах, мечтал о братстве людей, когда даже от деревьев отлетел дух братства! Только камни мирно лежали друг подле друга, только камень без зависти сносит существование и соседство другого камня, но даже деревья хватают друг друга за горло, словно дикие звери, а в небе, как взбешенные жеребцы, зло ржут боги — ступай, старик, домой, когда-то ты разбирался во всем этом лучше, ступай домой, свари себе отвар из бузины, приляг, твоя дорога тебя прикончила, тебе, по чести сказать, остается только одно: брось свои мечты и жалобы, покорись! Так говорил Марут — голос зла,— и Барлах понял: зло одержало верх! В воздухе каркали вороны, тучи ворон, их карканье заполонило все небо. Барлах спустился с крутого пригорка, поросшего буком, когда-то это было его любимое место в лесу; он, как всегда, пристально глядел по сторонам и вдруг увидел странное зрелище. По спокойной заросли папоротника пробежала волна, она поднималась и опадала; она медленно скользила вперед, словно в зелени ползла гигантская змея. Морское чудовище в зеленом море папоротника, дракон из легенды? Барлах изумленно замер на месте. Что там двигалось по земле? Ветер? Но воздух был недвижим, а карканье ворон не могло поколебать и листочка.

Зверь? Нет, не зверь: ни олень, ни кабан, даже лиса не могут так скользить, но тут Барлах все понял: в траве рождались резкие крики, из молодого соснячка, вклинившегося в дубраву, с воплем выскочила какая-то банда, в папоротнике тоже задвигались коричневые и серые пятна, раздались свистки; началась яростная схватка, и вслед за первыми группами дерущихся появились арьергарды обеих сторон. Но это были не солдаты; это были дети в солдатской форме, они вцепились в папоротник, они вырывали его с землей на корнях и швыряли эти земляные гранаты друг другу в вопящие лица, искаженные яростной одержимостью военной игры, и вот тут, в этот миг осквернения и насилия, Барлах вновь ощутил столь милую ему издавна прелесть леса. Серебристые буки, их вознесенные к небу стволы — вот храм, вот собор Барлаха. Из этого собора похищают ангела тишины и вытаскивают его на цепи визгливых воплей и каркающих криков; убийцы насилуют ангела, а он, Барлах, что сделал он, увидев это? Барлах бежал. Не выхватив револьвера? Нет, он не выхватил револьвера. Это ведь дети, и Барлах бежал. Он сошел с дороги и торопливо зашагал по узенькой просеке, которую перекрывал прозрачный шатер берез, по мягкому ковру, по козьей жимолости, по сыроежкам; он шел так, покуда около насыпи, поросшей ежевикой, не наткнулся на наблюдателя. В ярости он хотел свернуть в сторону, но, не сделав еще ни шагу, понял, как это смешно — бежать от ребенка; и, снова зашагав вперед, он стал вглядываться своим беспокойным взглядом в лицо мальчика и вдруг потрясенно увидел, что в нем нет злобы, что это доброе лицо, хорошее, ясное лицо десятилетнего мальчика, что нет ненависти на этом лице, на лице мальчика в коричневой рубашке с нашивкой на рукаве, на которой тот самый знак свастики, что снился ему ночью; хорошее, незлое лицо, и, когда Барлах уви-

дел его, он постиг, в чем его долг и его призвание: и подумать только — он знал об этом всегда и давно. Он прошел мимо мальчика, который, испугавшись бородатого мужчины с беспокойными пронзительными глазами, растерянно прижался к кустарнику; Барлах зашагал еще стремительнее, сильно выбрасывая палку вперед, и в тот самый миг, когда он проходил мимо мальчика, он во второй раз в этот день увидел маленького Клауса. Он сам вызвал эту картину, она не возникла в его сознании внезапно, он выдернул ее с самого дна своих воспоминаний, куда она вросла всеми своими корнями, и поднял ее к своему взору, и увидел себя, как он, держа Клауса за руку, идет через лес: рыжебеличьим пламенем скачут в зеленом серебре буков мохнатохвостые огни, стаи скворцов стремглав проносятся сквозь пылание рябинников, но Клауса влечет вперед любопытство, он не замечает этого чуда, он рвется вперед, упрямо ворча и теребя отца, и так они шли, покуда не услышали голоса лесорубов и не оказались у цели своего долгого путешествия. Этой целью был пустырь, окруженный забором из колючей проволоки. Колючая проволока и часовые в будках, и за ржавой колючкой заграждения, перед лагерными бараками неподвижно сидящие пленные. И Барлах увидел, как Барлах нагибается к сыну и указывает пальцем на это согбенное ожидание голодающих, и Барлах услышал, как Барлах говорит:

— Гляди, Клаус, это враг!

Ах, отцы, отцы! Клаусу было тогда десять лет, ему было столько же лет, и он так же не ведал злобы, как мальчик в коричневой рубашке в зарослях ежевики; и его мысли были еще подобны податливой глине в руке лепщика, и воском был и его мозг, и характер, а душа чистым листом для того пера, которое его испишет, и в этот ум, еще не знавший злобы, он сам посеял страшное слово о враге, о другом народе: англичанине, французе, русском, как о враге, словно враг — это не тот враг, который сидит на горбу у собственного народа! Отцы, отцы! А кто сегодня учит ваших сынов?

И Барлах мгновенно понял: у него есть дело. «За работу, в мастерскую, как можешь ты медлить!» — своим звучным голосом проговорил Офферус; Барлах заторопился, он почти бежал, едва переводя дыхание, он больше не слышал, как каркают вороны, он не видел, что черная туча заволакивает полнеба, погружая лес в полумрак. Не ощущая опасных перебоев сердца, Барлах спешил домой, он спешил, он думал о двенадцати листах набросков, спрятанных в окованном медью ларе; это были его эскизы к «Немецкой псалтири»; когда в 1935 году он закончил скульптурную группу фриза «Внемлющие» — мягкое, для него, пожалуй, чересчур лирическое произведение, он создал его для кабинета Реемтса — гамбургского табачного короля, он принялся за эти наброски, и на этих листах возникла Германия в коричневой тени; создавая иногда две, иногда даже три точно схваченные фигуры в день, он закреплял на бумаге закованного в оковы, и его палача, и жирную тушу равнодушного; и того, кто вопиет в пустыне, и того, кто предостерегает, и того, кто приходит на помощь, жертвуя самим собой; и снова закованного в оковы, и художника, растерянно остановившегося в конце своего пути, и беззащитную осужденную, и тюремную надзирательницу, и голодающего с лицом Барлаха, и нищего, просящего подаяние, и палача, и судью — и всю эту процессию возглавляла изможденная молодая женщина, кем она приходилась этим людям «Страшного года» — была она пастушкой, а может быть, служанкой? И посреди процессии шел поэт, который всматривался во все вокруг своими огромными глазами, и все, что он видел, вписывал навечно в память человечества. Десять соборов могла бы заполнить Германия этими скульптурами: десять соборов предостережения и напоминания, десять соборов обвинения и

стона, и все-таки они были бы десятью соборами надежды, десятью соборами света в той тьме, которая опустилась на Германию. В стиле этих набросков, резком, почти геометрически строгом и несмотря на это глубоко человечном, шестидесятипятилетнему Барлаху в самом конце своего долгого пути еще раз удалось начать нечто новое, и хотя до сих пор он смог из-за травли и оскорблений, сыпавшихся на него, вырезать из ствола черного дуба лишь одну фигуру — «Страшный год»—именно этот, тридцать седьмой,— он понял теперь, увидев лицо ребенка, что его долг — продолжать работу. Он обязан работать, он не смеет уклониться от работы. Разве самое главное не в том, чтобы его деревянная скульптура была завершена ко времени, когда она понадобится, пусть до того пройдет сто лет? Нет, труд его не напрасен, а путь его не окончен, он нужен, работа ждет и нет никого, кто сделает ее за него! Он спешил из лесу, он не видел больше среди деревьев всех этих лающих фюреров, он не замечал, как затягивается небо, он спешил; и тут разразилась гроза: тяжко загрохотал гром, ослепительно вспыхнули молнии, и из черного вымени тучи заструились тяжелые струи, и горячая земля задымилась туманными испарениями. Молния, гром, потоп, слышишь, Барлах! Такая погода по тебе, в такую погоду колдуют колдуньи, и вещают вещуны, и бушует буря, но Барлах упрямо шагал навстречу грозе и буре и не думал ни о колдуньях, ни о грозе. Дорога спускалась под гору, ручьи рушились вниз водопадами, Барлах вышел из чащи на вырубку и увидел, что от одного леса до другого огромной аркой над Гюстровом встала радуга, радуга, созданная силой его надежды. Он не вошел в ненавистный дом, где помещалась его мастерская, он пошел ко второму дому, где жили они с фрау Бёмер, и, когда он, насквозь промокший, вошел в комнату, он увидел осколки разбитого стекла. Камень, видно, бросили с пляжа. Фрау Бёмер подметала пол.

— Я разбила окно стремянкой! — быстро сказала она.

Барлах разглядел, что куски стекол, оставшиеся в раме, направлены остриями внутрь комнаты. Он заметил это, но промолчал; ему было не до того. Он сбросил плащ, снял с крюка ключ, которым отпирался ларь, окованный медью, и стал подниматься наверх к люку, тяжело хватаясь за перила, потому что стальной кулак снова стиснул его сердце. Осколки разбитого стекла звенели в ведре.

— Ты не хочешь поесть? — заботливо спросила фрау Бёмер. Барлах, прижимая руку к левой стороне груди, покачал головой.

— Мне нужно работать,— сказал он.

ОТ АВТОРА

События этой повести, если говорить о ее внешней стороне, в большинстве случаев вымышлены; в тот день, о котором здесь шла речь, Барлах не выходил из своей квартиры. Автор использовал свое право и подошел к Барлаху как к персонажу литературного произведения с той степенью свободы, которая, преобразуя подробности внешних событий и уплотняя процессы, происходившие в течение нескольких лет, до нескольких часов, пытается создать нечто большее, чем простую копию изображаемого лица. Что касается внутреннего развития героя, то каждый его этап основан на документах и может быть ими подтвержден; сцена воспоминаний о случившемся на Хольштрассе сообщена автору фрау Маргой Бёмер.

В некоторых местах автор дословно включил в свой текст высказывания самого Барлаха, не оговаривая их специально, как цитаты.

Сцена бракосочетания в соборе придумана; сходство с реально существующими людьми могло возникнуть лишь случайно.

ФРАНЦ ФЮМАН

МУХАММЕД ДИБ

Рассказы

Перевод с французского
Н. СВЕТОВИДОВОЙ

Куда

етер раздувал полы темно-серого плаща, они били его по коленям, а он стоял средь сосен и кипарисов и молча ждал. Он все еще чего-то ждал даже и после того, как показался Шадли. Глаза его то вдруг блестели стальным блеском, то снова меркли, притаившись под пропыленным шейшем, обернутым вокруг головы. Он держал на поводке собаку, шерсть которой сливалась по цвету с землей. Собака не переставала рычать.

— Тихо! — прикрикнул он.

Шадли подошел ближе. Собака совсем остервенела, прыгнула, натянув поводок. Дай ей волю, она бы разорвала его.

— Тихо! — повторил мужчина.

Ему даже пришлось ударить пса, чтобы тот успокоился.

Остановившись поодаль, Шадли спросил:

— Пошли?

Человек не ответил. Двинулся вперед. Шадли последовал за ним, и вскоре они уже шагали рядом. Уводившая их в глубь леса широкая, вся в рытвинах, тропа, проложенная по краснозему, была завалена камнями и сучьями. Шадли шел слева от мужчины, собака, все еще неугомонившаяся,— справа. Двигались они бесшумно, словно тени.

Сосны стряхивали с ветвей им в лицо аромат смолы и хвои. Временами по их верхушкам пробегал ветер, и тогда казалось, будто слышится рокот морского прибоя. Прямые стволы высились со всех сторон.

Путники вскарабкались по горному склону, добрались до вершины. На краю обрыва остановились.

Шадли заглянул на дно пропасти. Гранитная стена отвесно падала куда-то в лес, густо покрывавший здесь все горные склоны.

Его проводник, не проронив ни слова, двинулся по гребню горы, пропустив вперед собаку. За ними и Шадли ступил на узкую каменную тропинку. Чем дальше он шел, тем ближе к нему подступала пропасть. Несколько раз он чуть было не оступился, и каждый раз его бросало в пот. У него темнело в глазах, кружилась голова, но он все шел и шел со слепым упрямством лунатика.

И добрался-таки до выемки в скале. Совсем без сил. Ноги его дрожали.

Остановившись, проводник встал на колени и принялся закреплять веревку на груди у собаки. Шадли молча наблюдал за ним, в ушах

у него шумело. Собака покорно согласилась отправиться в зиявшую яму.

И ни разу, пока длился спуск, не подала голоса.

Но вот веревка ослабла, и мужчина выпустил ее из рук. А сам уцепился за выступ скалы.

— Наша очередь,— произнес он.

И с поразительной быстротой исчез в похожей на колодец яме.

Шадли тоже ринулся туда. Ему было гораздо легче спускаться на дно, держась за неровности и выступы скалы, чем ощущать пропасть рядом с собой, как это было несколько минут назад.

Все трое собрались у подножия скалы.

Шадли посмотрел на своего спутника, потом на гранитную громаду скалы. Отсюда она казалась еще неприступней, чем сверху. А проводник словно и не замечал ее.

Не передохнув, они стали спускаться по новому склону.

Лес кончился. И сразу же потянулись виноградники.

Они пошли не таясь, по маленькой, белой от пыли тропинке, проложенной между двумя бороздами. Миновали последний сосновый перелесок и вышли в долину.

Поля простирались до самого горизонта, перечеркнутого зубчатой линией гор. И вокруг ни души. Ощущение было такое, будто они перешагнули невидимый рубеж. Навстречу им катило свои волны море виноградных лоз, все в медных отблесках. Над ним простиралось вечернее небо, наполненное тихим светом и свежестью.

Шадли удивился охватившему его ощущению. То был первый день, прожитый им на свободе, первый день за долгие восемь месяцев. Он вдыхал этот воздух, напоенный ароматом сосен, и с шумом выдыхал его.

Вот и шоссе. Проводник неожиданно сказал:

— Боятся они. Боятся всего и всех. Убивают и уничтожают все, что могут.

Закатное солнце разливалось кровавыми потоками.

— Заболели страхом. Боятся собственной тени.

Шадли слушал тихий шепот ветра.

— Проклятые.

Взгляд незнакомца был устремлен к пылающему горизонту. Горы, давно уже окутанные сизой дымкой, потемнели, стали грузными. Угрюмо звучал вокруг них голос земли.

Шадли все слушал тихий шепот ветра, и что-то неясное пробудилось в его сердце.

Он остановился. Проводник тоже. Взгляд его пронзал Шадли, словно стальное острие.

— У них нет будущего, и они ненавидят все и всех, у кого оно есть!

Алый отблеск заката четко обозначил строгие линии его лица, осветил колючки давно не бритой бороды. И померк.

— Эх!

Шадли удержался и ничего не сказал. Зашагал дальше, стараясь попасть в ногу со своим спутником.

Поля погрузились в непроглядную тьму. Сквозь нее проступали только самые высокие вершины гор. Шадли прислушивался. Но ничего, кроме равномерного и однообразного шарканья своих ног, услыхать не мог. Тяжесть, которую он носил в себе, засела где-то очень глубоко, и внезапно наступившая темнота, в которой раздавались его шаги, не приносила ему облегчения.

Он вспоминал город, откуда ему удалось выбраться. Грохот, пальба, взрывы, крики, и все куда-то бежали, пытаясь спасти свою жизнь.

Магазины закрывались, но все равно вылетали стекла витрин. Стены пестрели щербинами, звездными следами от пуль. И всюду падали, падали мужчины, женщины, дети. Земля поблескивала лужами крови, они чернели, испарялись, но следы от них оставались. И все-таки, пока не наступала ночь, было еще терпимо. Но лишь только спускались сумерки, неизбежно возвращалось безумие, жуткий страх растекался по улицам города.

Шадли шел и шел, а куда, и сам, казалось, не знал.

Ночную тишину прорезал жесткий голос проводника:

— Самое мерзкое — видеть, как наша кровь льется ради столь нечистой крови.

— Мы делаем это ради нашей страны, а не ради крови.

Сказав это, Шадли почувствовал некоторое облегчение.

В темноте слышались шорохи, стрекотанье, долгие жалобы ночных птиц. Неиссякаемая река звуков и ветра.

Он погружался в ее беспросветную глубь, всем телом ощущая ее живительные токи.

— Конец,— сказал проводник.

Шадли не уловил, что именно хотел выразить этот резкий голос. А тот продолжал:

— Теперь ты свободен.

Щемящая боль сжала его горло.

— Дальше можешь идти один.

Шадли догадался, что они вышли из зоны «прочесывания», через которую его и должен был проводить этот человек.

— Что значит — конец?

— Конец. Теперь ты *независимый.*

Снова сердце пронзила острая боль, но тут же растаяла в темноте.

Он не заметил того момента, когда перестал слышать постукиванье собачьих когтей по асфальту шоссе и ощущать присутствие своего спутника.

Была глубокая ночь, но теперь он знал, где находится. Вторая ночь пути. Днем он прятался, отдыхал...

Небо чуть-чуть посветлело. Край, по которому он шел, представал перед ним смутной, расплывчатой массой. Дороги бежали навстречу Шадли. Время от времени путь его озарялся какими-то неясными отблесками. Он мгновенно оборачивался — посмотреть, не нагоняют ли его автомобильные фары: утром он чуть было не наткнулся на колонну военных машин. Но нет, на этот раз ничего — вокруг ни одной живой души. И его захлестнуло волнение от сознания полного своего одиночества.

Он все шел и шел. В ушах у него звенели кровь, ветер и безмолвие. Образ проводника то неотступно маячил перед ним, то исчезал. Вспоминая о нем, Шадли признавался себе, что на какое-то мгновенье его было охватил страх. Человек этот состоял в организации, которая поручила ему выполнить задание — не кому-нибудь, а именно ему, и он с этим заданием хорошо справился. Шадли говорил себе, что если бы понадобилось повторить все сначала, он бы, не задумываясь, снова пустился в путь с этим проводником. И все-таки его томило чувство тревоги. Ведь он знал, что война, не скупясь, многим давала власть, и бывало, что люди не могли устоять перед искушением использовать эту власть, даже если в том и не было необходимости.

Мысли эти все еще бродили у него в голове. Потом ему вспомнилась родная деревня Тнин. Мысленно перебирая в памяти всех ее жи-

телей, он думал: «Сколько же их уцелело?» И только он подумал, что теперь уже скоро все узнает, как на него навалился сон. Ему привиделось, будто он снова на краю пропасти, и будто бы он оступился, упал с открытыми глазами вниз, но упал на какое-то упругое ложе, которое оказалось быстрым потоком. Волны понесли его куда-то, его поглотил мир невероятного, но тут же выбросил на поверхность и отступил, потом снова надвинулась волна и накрыла его. А холмы вокруг приподнялись, стали гораздо больше, они походили на корабли в открытом море, что в нетерпении ищут огни маяков, обозначенных на картах. Из черной дали он следил за очертаниями заснувшей земли, за звездами. Все было преисполнено движения, окружающий мир и сердце человека, сраженного усталостью и тоже ищущего огней, которые укажут ему путь.

Он попытался вспомнить: «Что ж это за деревня, куда я иду?»

Он заснул как раз в то мгновение, когда задал себе этот вопрос, и потому тут же забыл его. Очнулся он оттого, что споткнулся о камень. Дальше он уже шел с открытыми глазами и думал о смерти. Слушал голоса, властные, словно желание, и другие — неслыханные, смутные голоса. Зов, если только действительно это был зов, прозвучал где-то совсем рядом и в то же время издалека: он исходил из дикого чрева ночи и оттуда — из старенького домика, затерявшегося среди абрикосовых деревьев, укрывшегося за оградой из кактусов, в тени под многоствольной смоковницей.

И сразу же он снова стал ребенком, который как будто бы и не разлучался с запахами этого дома, с прохладой его стен, с голосами его обитателей. Он заглянул в комнату, где лежали сложенные шерстяные одеяла и таилась тень. Женщина, подоткнув подол длинного платья, ступала по земляному полу босая. Едва он успел увидеть ее, как она тут же исчезла.

...Тяжесть тела влекла его вниз, к корням, а вспыхнувшие, ослепительные звезды кричали, звали в небо. Раздираемый меж невесомостью и силой земного притяжения, он не мог понять, что с ним. Поля, темная ночь — да чем же они реальнее неба?

Дорога вела вверх. Он устал. И все-таки хотел идти дальше. Идти дальше? Чтобы прийти — куда?

Нет, сил больше не было. Сойдя с дороги, он свернул на луг и растянулся там в ложбинке.

Ощутил, как ласкова земля.

Вгляделся в звезды, подмигнул им. Дождем посыпались они с неба.

Но не успел этот сверкающий ливень коснуться его тела, как он уже спал.

Проснись, заря занимается! Не каждый же день возвращаются домой люди. К себе домой. Усталость, словно старая овечья шкура, упала с твоих плеч. Вот и пришел час сердечной радости, когда жизнь ведет подсчет живущим. Проснись! Скоро выйдут люди на поля...

Шадли открыл глаза навстречу звонкому свету. Полыханье дня ринулось на него, ошеломило.

Ослепительные облака спешили издалека, оттуда, где за чертой горизонта расплывались в тумане горы. Облака плутали меж олив, смешивались с ароматами тмина, мастикового дерева, сырой земли, замирали. И все замирало в этом лучезарном мареве. Потом, передохнув, они опять устремлялись куда-то.

Погрузившись в утреннюю свежесть нарождающегося дня, жизнь вокруг все медлила проснуться.

Шадли поднялся, вгляделся вдаль, туда, где была его деревня. Холмы, деревья, посевы, казалось, и знать ничего не знали о существо-

вании людей. Его восхищало могущество этого счастья, которому неведомы воспоминания.

Так он и стоял, не решаясь двинуться в путь. Снова и снова вглядывался в горы. Земля молчала, словно забытая. Нигде ни признака жизни — ни феллахов, ни их скота.

Вдруг ему показалось, что он заметил чью-то тень, нарушившую неподвижность дня.

Побежал, вцепившись взглядом в эту одну-единственную точку пространства. Отказавшись от мысли добраться до дому окольными тропками, как он сначала намеревался сделать, чтобы не привлекать внимания жителей деревни, он бежал, как бегут в атаку, прямо по большой дороге. Вот он уже поравнялся с домами, которые, как сбившиеся в кучу овцы, теснились на макушке горы. Побежал еще быстрее.

И вдруг остановился как вкопанный.

Деревня стояла перед ним холодная, безмолвная, суровая, словно древняя крепость. И ни единой струйки дыма над крышами. Немые строения вырисовывались на фоне чистого, зеленоватого от зноя неба. Лишь стаи скворцов гонялись друг за другом, разрезая воздух мельканьем черных крыльев и пронзительными криками.

Он медленно преодолел последние уступы каменистого склона. Сердце его стучало, с трудом справляясь с накатывавшимися одна на другую волнами крови. Он понял, что уже идет по узким улицам селения. Стаи скворцов взмыли в поднебесье и улетели, оставив за собой безмолвие, которое, казалось, хотело преградить Шадли дорогу.

И все-таки он двинулся дальше, осмотрел первый дом, стоявший на дороге. Окна и двери его были наглухо замурованы. Второй оказался такой же слепой глыбой. Шадли с опаской взглянул на другие дома. Все отверстия в стенах исчезли, их заложили камнями и залепили известью. Он уже ничего не понимал, сознание его затмил непроглядный мрак.

Но вот он вынырнул из тьмы в безбрежную утреннюю свежесть и, испытывая в глазах боль от света, обошел всю деревню.

Все окна, все двери были замурованы.

«А мой дом? — За этим вопросом последовала бесконечная пауза.— Как у меня в доме?»

И выбравшись из лабиринта улочек, он кинулся вперед, преодолел еще сто пятьдесят метров — или сколько там? Дорога, проходившая по камням и щебню, подымалась все выше. Он узнал деревья, свои деревья. Дом прятался за ними, и отсюда, с улицы, сквозь просвет в листве, можно было видеть лишь один угол дома, выкрашенного в веселый желтый цвет. Конечно, он узнал деревья. Даже пересчитал их. И в одно мгновенье оказался возле двери.

Замуровано.

Дрожь, сначала едва заметная, потом неодолимая, охватила его.

К величайшему своему изумлению, он услыхал собственный вопль.

— Йема! Аалиа!

Он звал свою мать, жену, как будто они просто заперлись в доме! Как будто они могли ему ответить! Или открыть дверь! Что это с ним? Он не мог понять, почему не сдержал свой вопль, и был напуган звуком собственного голоса, такого дикого в безмерном молчании утра. «Я схожу с ума»,— подумал он. И тут же, словно могучий морской вал подхватил его, швырнул к стене, закрывшей ему вход в отчий дом, он застучал по ней кулаками. Стучал, останавливался, опять стучал.

Камень не поддавался. В ярости он стал царапать его ногтями.

И лишь когда обломал себе ногти, ободрал в кровь руки, бросился бежать.

Его приняла долина.

Ему казалось, что его родной край, расстилавшийся вокруг, подме-

нили другим. То ли спрятались все места, составлявшие часть его жизни, то ли сгинули в каком-то необъяснимом мире. Он спустился по склону. И все искал чего-то по полям, где лишь осиротевшие оливы, на которых вдруг вскипала листва, стряхивали время от времени свое оцепенение. Взволнованно качая ветвями, они просыпались ненадолго и опять замирали, как недвижная стража. Ослепительно яркий свет жег глаза. Шадли долго блуждал. Гнался за собственным призраком. Шел наугад и вовсе потерял себя.

Он упал посреди плато и сразу провалился в бездну забытья. В безжизненном этом одиночестве ему пригрезился родной дом, он увидел жену. Словно журчанье воды в роднике, зазвучал чей-то смех. Припомнился какой-то давний праздник, и красная завеса опустилась на глаза. Дрожь, легкое покалыванье, пламя взрыва, и земля стала призраком. Это и был конец. Я умер, сказал себе кто-то.

Сумрачное сердце света вспыхнуло в бездонных глубинах неба. Полуденное солнце пролилось сквозь черную расщелину, набросив огненный покров на обнаженное плоскогорье. Шадли несло куда-то, беззащитного, беспомощного.

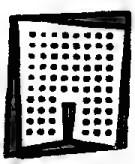
Зарево заката потускнело. Спустился вечер, вернув миру невинность. В мире не осталось ничего, только этот человек, выброшенный на истерзанные солнцем безжизненные камни, он не шелохнулся. Слушал, как рокотала, подымаясь, разливаясь в нем, река, как она говорила: «Самое страшное, что тебе предстоит,— это жить... Это жить, это жить». А может быть, она и еще что-то говорила. Приподняв голову, он огляделся. Поля обрели знакомый облик, как и прежде, кудрявая зелень олив заполоняла все до самой долины. Ему оставалось лишь ждать.

Ждал он недолго. Растопив медовое сияние дня, мгновенно пала ночь.

Он встал, спрятал руки в рукава пиджака. Стал искать дорогу. Ту, по которой пришел.

Шел, всматриваясь в темноту, укрывавшую землю. Родные горы остались далеко позади, а те, навстречу которым он шел, казалось, двигались. Молчание их, нарушенное звуком его шагов, превратилось в глухой гул. Их нескончаемые вздохи тревожили ночь. И разные звезды подавали ему знак.

Наэма не вернулась



рошло пять недель. Никаких вестей о Наэме. Ничего. Многие думают, что ее держат в казарме Бедо. Казарма Бедо... Заключенных там считают заложниками, о них рассказывают такие ужасы.

Как проверить это? Ничего определенного узнать нельзя. Ведь оттуда еще никто не возвращался. Ждать. Может быть, придет весть, что каким-то чудом Наэма предстала перед трибуналом. Ждать... Вот и все, что нам остается.

Я гуляю с детьми, часто вожу их в городской сад, который мы называем «садиком», там мы проводим немного времени после обеда. Осень окрасила зелень деревьев в красное, смешала рыжие и желтые тона с синевой неба. Долго в саду мы гулять не можем. Он очень рано пустеет, и задерживаться там опасно. А детям там так хорошо играть.

Да и для меня теперь это единственные мгновенья передышки. Война никого из нас не минует.

А если найдутся такие, что выживут, то они-то уж многому научатся. Рахиму всего семь лет, но три года он уже прожил во время войны, и иногда он смотрит на меня так серьезно, ожидая ответа на свой немой вопрос, что я отвожу глаза и чувствую себя виноватым.

Несколько дней назад я спросил его, почему он так смотрит на меня.

— Папа, ведь правда, когда бросаешь гранату, главное не зевать? — ответил он.

Безумная печаль сжала мне сердце. Что ему сказать? Какой-нибудь никчемный вздор? Этим больше никого не обманешь, даже Рахима. Взрывы, нападения, засады: эхо происходящего проникает в его слова и мысли. Я не пытаюсь учить его осторожности, он бы меня не понял. Между нами и так есть уже трещина.

Как-то раз, не подозревая, что меня ждет, я спросил его смеясь:

— А что, по-твоему, надо было бы сделать?

— Убить их всех. Бросать бомбы без перерыва.

Он говорил без колебания, испытующе глядя на меня своими невинными глазами.

— А ты бы мог это сделать?

— Да. А ты — нет?

— Нет,— сказал я.

Я до сих пор вспоминаю, как недоверчиво смотрел он на меня.

Жильцы в нашем доме становятся все более сдержанными в разговорах о Наэме. Я пытаюсь кое-как заменить ее детям, пока она в тюрьме. Соседки стараются освободить меня от хозяйственных хлопот. Подметать пол, варить обед, мыть посуду и стирать — все это они взяли на себя. Разве можно допустить, чтобы мужчина занимался подобными делами. Иной раз, если меня нет дома, они даже кормят Бенали, Захью и Рахима. Какая-то женщина в чадре регулярно приносит немного денег — пособие Фронта*, и соседки передают его мне. Эта женщина не открывает перед ними лица, им так и не удалось узнать, кто она. Впрочем, они не решаются расспрашивать.

Ни на минуту в доме не затихает волнение. Сегодня, когда было еще темно и едва начинало заниматься благоуханное свежее утро, по дому вдруг прокатились голоса, испуганное шушуканье. К счастью, это была ложная тревога. Подобное судорожное возбуждение вспыхивает очень часто и достигает своего апогея после каждого взрыва. Комнаты пустеют, все жильцы собираются во дворе, громко разговаривают, обмениваются новостями, каждый хочет вставить свое слово. На этот раз ничего этого не произошло, но ведь и день только-только начался.

В такие тревожные минуты я думаю о Наэме. Не знать, где она, что с ней сделали,— это пытка. В городе столько людей исчезло, погибло, арестовано, что их уже невозможно сосчитать, и сегодняшние жертвы заставляют забывать о тех, с кем несчастье произошло вчера.

На расклеенных повсюду объявлениях — портреты казненных. Трибуналы каждый день выносят смертные приговоры. Все больше расправ без суда и следствия, и каждое утро начинается с того, что люди находят изуродованные трупы. Большинство соседей думает — я читаю это на их лицах,— что Наэма больше не вернется, но не осмеливаются говорить об этом мне.

Вчера двое неизвестных подошли ко мне на улице и заставили караулить около мастерской портного. Когда они ушли, портной сказал мне с самым естественным видом:

* Фронт национального освобождения.

— Да, они принесли кое-что.
— Как это?
— Да так! — сказал он.
Я понял.
И в этот момент я сделал открытие: опасность меня не пугает, наоборот, у меня появляется желание бросить вызов.

Сегодня после обеда, как только я вышел на площадь Сок эль-Резель, где всегда кишел народ, ловушка захлопнулась. Толпа всколыхнулась, раздались крики. Прогремело два выстрела, потом — взрыв. И сразу началась толкотня, давка, в мгновение ока площадь обезлюдела. Осталось лишь одиноко распростертое тело мужчины, лица которого не было видно. Я бежал, спасаясь от полицейских,— их свистки уже резали воздух.

Я укрылся в соседнем переулке, у сапожника.
— Что? Что? Новое что-нибудь? — спросил он, испуганный моим неожиданным вторжением.
— Новое? Человека убили на площади Сок эль-Резель... Если это можно считать новым... — ответил я.
И замолчал, переводя дыхание.
— А-а! — сказал он.
Его бледное и тонкое лицо осветила улыбка.
— А я думал, мир наступил. Вот, думаю, сейчас услышу такую приятную новость.
— Мир? — переспросил я.— Нет, о мире никто ничего не слыхал.
Мне не забыть этой минуты и слов, которые он тогда произнес. Но не успел я ему ответить, нервно засмеявшись над своим страхом, как два новых взрыва сотрясли улицу. В ответ где-то совсем рядом раздались дикие вопли. А потом началась бешеная перестрелка. На наших глазах люди, словно подкошенные, падали на землю.

Автоматы лаяли все ближе. Я посоветовал сапожнику запереть дверь. Не говоря ни слова, он задвинул засов, и мы бросились на каменный пол.

Я слушал бурю, ворвавшуюся на улицу. Нет, не помню, чтобы я испугался. Я испытывал какое-то холодное спокойствие, мне было только любопытно узнать, что произойдет дальше. Секунды тянулись с томящей медлительностью.

Вдруг начали колотить в дверь, да так сильно, будто хотели сорвать ее с петель. Сапожник собрался было открыть и вопросительно посмотрел на меня. Я подал ему знак: «Не двигайся». В дверь били все сильнее, все яростнее. В конце концов она подалась. Ворвался солдат, схватил моего приятеля за ворот и выволок наружу. На пороге он ударил его прикладом винтовки в грудь с такой силой, что у несчастного хлынула кровь из горла, и он упал лицом к небу. Увидев у себя над головой антресоль, я взобрался туда и забился в угол. Но солдат не вернулся.

Я ждал, лежа в потемках, рядом с рулонами кожи. В щель между досками я мог разглядеть небольшую часть улицы. Мало-помалу сумерки просочились в мастерскую. Я все не шевелился, только смотрел и вдыхал запах кожи. Проходили минуты.

Шквал ушел далеко. Лишь глухие раскаты доносились теперь откуда-то из глубин города.

Я встал, отряхнулся. Выбрался за порог, отодвинув сорванную с петель дверь. Пришлось перешагнуть через тело сапожника. Улицы, по которым я шел, были пустынны и казались удивительно мирными.

Мы соглашаемся умирать, но не привыкли еще разлучаться. В эту ночь моя мысль, город, война — все безмолвствует. Я поднимаюсь, оглядываюсь вокруг: все мне кажется абсурдным. Спят дети. Какие дети? Зачем они здесь? Мне вдруг хочется одеться и, несмотря на комендантский час, бежать в старый город. Я долго мучаюсь и не могу заснуть. Наконец засыпаю. Меня качает, качает и несет куда-то бесконечная волна.

С первыми проблесками зари я выхожу. Люди уже хлопочут, каждый занят своим делом; позванивая, снуют в толпе велосипедисты, пристроились на тротуарах торговцы-разносчики. На площади Сок эль-Резель закрыты лишь те магазины, владельцы которых были убиты. На фасадах — щербины от пуль, еще не убраны разорванные в клочья железные ставни. Нет, мне не приснилось это: мостовая усыпана разбитыми стеклами, осколками кирпичей.

Я подхожу к мастерской сапожника.

Заперта. Вчера я оставил ее открытой. А сегодня на огромных кольцах, прибитых к створкам двери, висит замок. Я разглядываю дверь. А сапожник? Что с ним сделали? Захожу к лавочникам, его соседям, в надежде узнать что-нибудь еще, кроме того, что мне известно. Мне не удается вытянуть у них ни слова, узнаю только, что похорон не будет. Все трупы, и его в том числе, были подобраны ночью, свезены на кладбище и похоронены по распоряжению властей. Родственников об этом не известили.

Надо пройтись немного.

Брожу без цели. Чувствую себя далеко от этого обнаженного дня. Надо подумать. Подумать? Это зияющее небо, этот искрящийся свет, аромат окружающего — все мешает мне думать.

Долго брожу по улицам. Все — я очень скоро замечаю это — пропитано запахом крови, во всем — ее привкус.

Ночь. И вновь будто кто-то грубо расталкивает меня. Я просыпаюсь. Прислушиваюсь. Из каких-то дальних домов доносятся вопли. От квартала к кварталу перекатываются другие, не менее ужасные крики. Щелкают отдельные выстрелы, стрекочут автоматные очереди. Я слушаю. Не шевелясь, затаив дыхание. Эти крики страдания и ужаса вырываются у женщин и у мужчин. Потом наступает тишина. Я закрываю глаза. Конец света. Время спуститься на землю чудовищам.

Только автомобили рокочут еще где-то вдалеке, но вскоре и их шум тоже замирает.

Утро. Небо, отмытое до прозрачной голубизны, ошеломляющий свет. И все спешат по своим делам, и у всех нетерпение гложет сердце.

На окраине города нашли тела замученных. Их было десять. Из них три — женщины.

Война продолжается, она может длиться еще годы. Никто уже не в состоянии представить себе, что можно жить иначе, чем в постоянном грохоте стрельбы и взрывов. Шепотом люди передают друг другу ужасающие новости. Я уже не могу ходить по улицам, не оглядываясь то и дело назад, я готов в любую минуту броситься ничком на землю, если взорвется граната или бомба. Любой подозрительный жест пугает меня, я способен, не задумываясь, кинуться прочь. Если ты вышел из дому, нельзя поручиться, что вернешься живым.

Есть площади, рынки, перекрестки, особенно те, что охраняются полицией, по которым я окончательно отказался ходить. Да и по другим улицам и переулкам, перегороженным колючей проволокой,— тоже. В случае взрыва там не спрячешься, это сущие мышеловки.

Мы связаны по рукам и ногам, мы отданы во власть палачей, но где-то далеко идет настоящая война. Поэтому свою единственную защиту от террора, который не прекращается ни на один день, мы ищем в беспорядке, в крушении установленных правил и законов. Мы заплатили слишком дорого, и нам уже нельзя колебаться или отступать. Началось нечто такое, что хуже самой войны.

Иногда мне хочется погибнуть во время одного из тех бесчисленных взрывов, что гремят каждый день: из-за крови, которой все мы забрызганы, из-за этих тошнотворных запахов бойни я испытываю ко всему ужасное отвращение. Но вдруг ощущаю такую страстную потребность жить, такую жажду знать, что будет потом, что готов драться со всеми армиями и полициями мира.

Как построят свою жизнь те, что останутся в живых? Какова она будет, эта жизнь без войны? Для нас мир потерял вкус и цвет. Удастся ли им снова вернуть ему человечность?

Не успел я войти в кафе Тизауи, как туда ворвался патруль, и вместе со всеми, кто сидел за столиками на террасе, меня, с поднятыми вверх руками, втолкнули внутрь. Стиснутые до удушья, мы ждали обыска, проверки документов и «допроса с пристрастием». Черные дула автоматов грозили смертью каждому, кто посмеет пошевелиться. Мы стояли неподвижно, в полном молчании, нами владело чувство странного спокойствия. Я говорил себе: они не смогут, не смогут нас одолеть.

Проверка заняла час, целый час, в течение которого каждый должен был показать свою выдержку. А потом все мы вступили во вторую половину дня, полную опасностей. У меня все в груди горело от проглоченных оскорблений. Комендантский час начинается в половине пятого, вот-вот улицы опустеют, надо уходить. Но вместо того, чтобы поспешить домой, я решил немного пройтись. Фасады домов застыли в ожидании смерти. Люди шли молча, шагали осторожно. Замкнувшийся в себя город выглядел как в самые скверные свои дни.

Там, где кончался бульвар, голубые холмы Мансураха, вписанные в прозрачное небо, глянули мне в лицо, словно неизменное обещание счастья. Как бы мне хотелось обойти крепостную стену, выйти за ворота города и... Если бы только это было возможно!

Конечной целью моей прогулки был всего-навсего газетный киоск на площади Ратуши. Я был немного знаком с хозяином киоска и потому мог просто проглядывать все газеты, не покупая их. Я прочитал сообщения, похожие на вчерашние, и направился домой. Я шел вдоль ограды музея, как вдруг на углу улицы произошел взрыв. Он с такой силой обрушился на стены вокруг, что меня швырнуло волной воздуха, опалило мне лицо. В то же мгновенье с грохотом рухнули витрины, у всех прохожих из груди вырвался крик. По площади, окаймленной платанами, люди бежали во всех направлениях. Я свернул на ближайшую улицу. Там тоже слышались крики, кто-то кого-то звал, кто-то что-то приказывал.

Автоматные очереди сметали всех, на моих глазах упал мужчина, потом женщина, запутавшаяся в своем покрывале.

Улица застыла.

Завывая всеми своими сиренами, примчались грузовики. Они резко затормозили. С них спрыгнули парашютисты с автоматами наперевес. Один из них с ледяными голубыми глазами знаком приказал мне: «Убирайся». Я пошел.

Но на углу соседней улицы меня остановили солдаты.

Я было замер. Но потом, встретившись с ними глазами, решил идти прямо на них. Каждую секунду я ждал, что они выстрелят в меня. Я был совершенно спокоен, холоден, полон презрения. «Им не удастся насла-

диться унижением человека, которого они собираются убить»,— думал я, заставляя себя идти вперед. Там, среди них, были лица, знакомые мне, даже лица моих бывших одноклассников.

— Ни с места! — крикнул мне кто-то.

Я сделал еще несколько шагов: меня охватило чувство тошноты. Не помню точно, что произошло потом. Меня ударили по голове. Потом привели на площадь. Я очутился в группе других алжирцев, на которых были направлены автоматы. На мостовой лежали неподвижные тела людей, одни уже умерли, другие были на пороге смерти. Один из умирающих тихонько стонал у наших ног:

— Помогите, помогите...

Никто не шевельнулся, чтобы ему помочь. На площади и на улицах, которые от нее расходятся, охота на людей продолжалась. Фигуры в военной форме, пригнувшись, с винтовками наперевес догоняли тени тех, кто пытался спастись. Некоторые из преследуемых, внезапно вскинув руки, падали ничком и сливались с серой землей.

В это время из бара вышел мужчина и, увидев в углу какого-то беднягу, закричал, размахивая руками:

— Вот он! Это он подбросил бомбу! Это он, я видел!

Тот смотрел на него, не понимая, прижав жалкую кошелку к черному грязному пиджаку, мятые отвороты которого были запахнуты у него на груди. Подбежало несколько солдат. Они схватили его за руки. Он не оказал никакого сопротивления. Солдаты выволокли его на середину площади и несколько раз разрядили свои винтовки ему в грудь, в живот. Он упал, так и не выпустив из рук свою злосчастную кошелку.

Доносчик, владелец книжной лавки, воскликнул:

— Да здравствует правосудие!

Конечно, это он нас спас, этот маленький человек, погибший на наших глазах, судя по всему чернорабочий-каменщик, который после смерти стал еще меньше, он, распростертый на камнях в центре площади и, казалось, бросавший теперь вызов всем. Я не мог оторвать от него глаз, не мог избавиться от его молчания.

Немного погодя нам разрешили уйти. Кордоны были сняты, и движение в городе возобновилось: понеслись во весь дух велосипедисты, покупатели входили в магазины, а оттуда выходили другие, опять что-то кричал тоскующим голосом старьевщик, появился торговец овощами, толкая свою тележку. Конец страху. Но в воздухе остался едва уловимый запах крови, он обволакивал все, от него тяжелели голова и сердце. Я продолжал свой путь и скоро свернул на улицу, которая вела к нашему кварталу.

Все та же неуверенность, все то же безумие. Все та же зияющая пропасть, которая поглощает всю нашу жизнь.

Сегодня утром на старой площади было выставлено для обозрения двадцать трупов. Я пошел туда. Многие спешили в том же направлении, из окон домов высовывались люди с горящими глазами.

На подступах к площади солдаты оттесняли толпу, устанавливали заграждения на всех ведущих туда улицах. Дальше идти было нельзя. Я попробовал повернуть туда, сюда.

В это время появилось шествие, самое удивительное из всех, когда-либо проходивших по нашему городу: одни лишь женщины с открытыми лицами и дети. Они бурным потоком устремлялись вперед, и над ними звенела Песня Освобождения. Сила, ярость, страдание, вызов. Кто знает, что толкало этих женщин и босоногих ребят, бросало их навстречу броневикам. Над головами у них развевалось бело-зеленое

знамя, собранное из лоскутьев. Парашютисты выстроились вокруг площади, проходя мимо, женщины срывали с них береты.

Внезапно застрекотали автоматы. У меня помутилось в глазах. Все мы, кто смотрел на это шествие, кто слушал гневные, рвавшиеся к небу голоса этих обреченных, все мы почувствовали себя в одном с ними горниле смерти и крови. Я хотел броситься к ним и запеть вместе с ними эту песню, чтобы и в меня тоже стреляли.

Шквал огня повернул на нас. Все смешалось, люди сгрудились, с криком, топча друг друга, пали на землю.

Два часа утра.

Взрыв потрясает пустоту. Вдалеке нарастает какой-то ропот. Тьму прорезают вспышки выстрелов, и в ответ слышатся захлебывающиеся очереди автоматов. Проходят бронемашины, сотрясая дома. И все. Ничего не слыхать. От этого безмолвия в ночи вырастают новые стены.

В мягкой прохладе занимается день, изливая тонны света. Даже цикады поддаются на этот обман, возвращаются к жизни, посылая в небо свою песнь. Из каменных корпусов роями вырываются ребятишки, завладевая улицей.

Бессмысленная надежда владеет мной сегодня. Что бы это могло значить? Желание выжить, вопреки всеобщему крушению? Я готов поклясться, хотите верьте, хотите нет, что избавление, мир, победа придут завтра! Я чувствую какую-то новую собранность, твердость. Выпрямляюсь и отдаю, дарю другим мое мужество.

В город бежит из деревень все больше и больше людей. Изголодавшиеся, измученные, они несут с собой не только запах земли, но и веяние бури, безмолвную ярость. Я думаю о спокойствии полей, окружающих город, и об угрозе, которой исполнено это спокойствие. Даже деревья — недвижные, с порыжелой листвой, тронутой невидимым пламенем,— и те что-то почуяли.

Но странно, когда я снова вижу женщин возле дома или во дворе, слышу неясный гул их пересудов, мне начинает казаться, будто ничего не изменилось и не изменится. Так же, как и эта, неизменно ясная погода. Кажется, что ни дождям, ни туманам никогда уже не удастся прогнать ее. С ума можно сойти от этой погоды!

Я все еще на свободе и все еще живу, но каждый день спрашиваю себя, чем я заслужил это и зачем мне это. Как и прежде, непрестанно слышится пальба, все мои мысли вдруг устремляются к Наэме, потом вновь я вспоминаю об опасностях, которые таит в себе каждая секунда. Я думаю о Наэме ночью, когда в темноте с открытыми глазами слушаю малейшие шорохи города, и особенно по утрам, когда просыпаются дети и когда нам так не хватает ее. Эти утренние часы, ясные, синие, словно зимой, скорее, чем что-нибудь другое, могли бы примирить меня с жизнью, если бы я не вставал так же, как и ложился: с сердцем, пронзенным ужасом.

Жизнь — это леденящий кошмар, когда ожидание незаметно переходит в приятие неотвратимого. Медленно прокрадывается в мое сознание мысль, что я никогда больше не увижу Наэму, что она не вернется и никогда уже не пройдет по этой комнате. А я все-таки продолжаю жить, продолжаю подстерегать шорохи и голоса дома, слушать рассказы соседей.

Несколько дней дул сильный ветер. Осень умерла. Начисто смело все ее великолепие, оно уступило, наконец, место серым тонам. Деревья потеряли свою гибкость, и небо над их иссохшими ветвями заполонили тучи. При всем моем отчаянии и безразличии я обрадовался этой

перемене. Последние дни поздней осени стали просто невыносимы, так они были ослепительны, прозрачны, чисты.

Начались дожди, и это было избавлением. Дождь шел долго. Непрерывный, мелкий, пронизывающий, он медленно оседал на выжженную землю, пропитывал воздух промозглой сыростью. Война на улицах притаилась.

Вот и сейчас, когда я перебираю свои воспоминания, идет дождь, словно он и не переставал идти с тех самых пор. В промокшем городе, по которому струилась вода, я убил еще много дней и недель в бегах, хлопотах, ходатайствах, стучался в бесчисленные двери, пытаясь отыскать свою жену. Это было вчера, а мне кажется, что сегодня. И все напрасно. На почерневшую землю все еще льет дождь, он падает на обнаженные деревья, на дома, потемневшие от воды. Я гляжу на низкое, тяжелое небо, и перед моими глазами вновь возникает то же, что и тогда,— замкнутое небо, улицы, утонувшие в дымке водяных испарений и туманов, призраки прохожих. Меня еще поддерживало некое подобие надежды, граничащей с такой несбыточной мечтой, что сегодня я не решаюсь назвать это надеждой. Камень был брошен в пропасть, и я слушал шум его бесконечного падения. Я был этим камнем, а надежда, за которую я цеплялся, была, быть может. надеждой на то, что никогда он не достигнет дна.

Время от времени, если над городом появлялись неясные просветы, я выходил из дому и бродил по улицам. Я пытался заинтересоваться жизнью других, ибо к своей собственной жизни не испытывал ни малейшего интереса. По крайней мере, тогда я хоть не занимался самим собой. И вот однажды утром, довольно рано, кто-то пришел ко мне.

Человек этот ждал меня у порога, я совсем его не знал. Он отвел меня в сторону и заговорил, понизив голос. Объяснил мне, что после смерти некоего сапожника их организация очутилась в довольно затруднительном положении: мастерская была очень важной явкой, и несмотря на то, что произошло, полиция ни о чем не догадывается. Значит, мастерскую снова можно использовать.

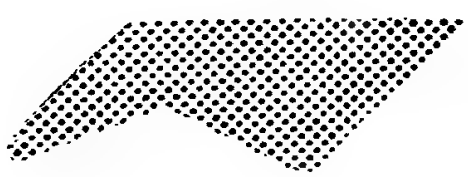
— Вы, должно быть, хорошо его знали,— добавил он,— потому что на другой день после убийства вы спрашивали у соседей, что с ним стало. С тех пор никого не нашлось, кто бы мог его заменить, вновь открыть мастерскую. И никого своего поблизости нет. А восстановить эту явку совершенно необходимо. Может быть, вы согласились бы... О, у вас есть время подумать, вас никто не торопит! Вы даже не обязаны давать ответ, если вам этого не хочется!

Я молча слушал этого человека, пытаясь составить о нем какое-то мнение.

— Ключи у вас? — спросил я, когда он кончил.

Он достал из кармана кольцо, на котором было два ключа. Я взял их, и он ушел.

Довольно воспоминаний! Мысль о моей жене, о погибшем сапожнике, о других поддерживала меня и помогала жить все это время. Они знали, ради чего они погибли.



А. СТАРЦЕВ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

Каждый новый факт из жизни Рида в революционные дни имеет прямое касательство к истории Октября и первых месяцев Советской власти. Сейчас, в год 50-летия Октябрьской революции, когда каждая добавочная страница подлинных воспоминаний об Октябре — драгоценность для историка, хочется узнать с наивозможнейшей полнотой, что видел, с кем встречался в Смольном, в Зимнем дворце, на улицах Петрограда и Москвы этот американец с необычайной и героической судьбой, ставший летописцем победных боев русского пролетариата.

Задача биографа Рида и интересы историка Октября здесь совпадают.

Большой дополнительный материал к книге «Десять дней, которые потрясли мир» дают статьи Рида, печатавшиеся в 1918—1919 годах в левой американской прессе. Особо должны быть отмечены книги близких Риду прогрессивных американских журналистов, бывших одновременно с ним в революционные дни в Петрограде, не раз его сопровождавших и деливших его опыт.

Но наиболее ценный и обильный источник новых сведений о Риде — его русские блокноты, пролежавшие долгие годы в американском архиве и публикуемые здесь впервые.

Вот эти блокноты — в фотокопии — перед нами. Иные из них в отличной сохранности, даже пронумерованные Ридом. Другие сохранились частично. А есть и россыпь недатированных, ненумерованных листков, с ветхим краем, с оборванными углами.

Часть записей сделана чернилами, четким бисерным почерком, как видно, за столом в гостиничном номере. Но больше таких, где почерк неразборчив, строка наскакивает на строку и буква на букву, слова сокращены как попало, подчас самым загадочным образом. Это беглые заметки, сделанные наспех и на ходу — на улице, на митинге или в поезде, закоченевшей рукой, тупым давно не чиненым карандашом. Для самого Рида его записи были родом стенограммы, которую он, без сомнения, легко расшифровывал на другой день под живым еще впечатлением увиденного накануне. Исследователю, через полвека обращающемуся к его блокнотам, каждую вторую или третью строку приходится брать «с бою», вчитываясь, раздумывая, гадая.

Всего я использую в настоящем очерке свыше 300 блокнотных страничек Рида. Они проливают дополнительно свет и на книгу Рида и на его участие в событиях Октября.

Я привлекаю также устные, к сожалению лишь единичные, свидетельства участников Октябрьской революции, встречавшихся с Ридом в Петрограде и в Москве.

1

Первая глава «Десяти дней» носит по преимуществу вводный характер; она так и называется — «Общий фон». Хотя Рид пишет ее в основном по собственным впечатлениям, он еще не выступает хроникером революции. Во-первых, решающие дни не наступили, во-вторых, в описываемый период (сентябрь — начало октября) он еще недостаточно близко стоит к штабу революции — Смольному.

В «Рождении бури» Рид рассказывает о своем первом посещении Смольного института.

Он описывает коридоры Смольного, где уцелевшие еще кое-где эмалированные дощечки — «Классная дама», «4-й класс», «Учительская» — завешены наспех начер-

танными плакатами: «Исполнительный комитет Петроградского Совета», «Союз солдат-социалистов», «Фабрично-заводские комитеты» и т. п.

Сохранились блокнотные заметки Рида, относящиеся, как видно, к самым первым дням его знакомства со Смольным:

«Общий вид Смольиого. Столовая. Столы с киигами и литературой.

Отделы: Профсоюзы. ФЗК. Всероссийская лига армейских социалистов. Фракции. Президиум и ЦИК, Петроградский и Всероссийский. Целое крыло — военная секция Петроградского и Всероссийского Советов. Редакция «Известий». Почта и телеграф. Комитет по борьбе с контрреволюцией. Всего более 120 комнат».

Рид вспоминает в «Десяти днях», как он стоит в Смольном, в помещении мандатной комиссии Второго Всероссийского съезда Советов, наблюдая прибывающих делегатов, «дюжих бородатых солдат, рабочих в черных блузах, длиннобородых крестьян». Девушка из плехановской группы «Единство» пренебрежительно критикует делегатов за темноту и отсталость. Назначенная старым ЦИК мандатная комиссия отводит их одного за другим под предлогом, что они незаконно избраны. Но представитель большевиков Карахан, по словам Рида, лишь посмеивается: «Ничего,— говорит он,— когда начнется съезд, вы все сядете на свои места».

Эта сцена хорошо прослеживается по блокнотам. Вот первая запись:

«Входят делегаты на съезд. (Рид уже оперирует русским словом, выписывая его латинскими буквами: sjezd). **Девушка (Плех): Эти делегаты — другие... Грубые люди».**

Ниже Рид записывает ответную насмешливую реплику, быть может, того же Карахана: **«Что ж, такова Россия — мы грубые люди».** И еще ниже, как видно, от себя: **«Пролетарский состав».**

В другой, позднейшей, заметке, уже планируя материал для будущей книги, Рид пишет: **«Для 3-й главы. Малое число делегатов, прибывших иа Второй съезд. Разиица [в составе] между ныиешиим и 1-м».**

В окончательной редакцин весь эпизод в мандатной комиссии вошел во вторую главу.

С середины октября Рид тщательнее датирует свои заметки. Счет начинает идти на дии. Очередиой новый блокнот открывается пометкой: **«15 октября, Смольный».*** Рид собирает самый различный материал, характеризующий политическую остроту момента; тут беседы, репортерские заметки, выдержки из газет. Во второй главе книги Рид, для примера и раскрывая свою журналистскую лабораторию, цитирует записи из блокнота, датированные 16 октября. К приведенным в книге пяти записям можно добавить еще три, не включенные Ридом:

«В приказе командующего Петроградским военным округом от 15-го запрещены все уличные митиигн и парады. Все офицеры и солдаты предупреждены против речей, призывающих к восстанию.

Сегодня вечером в Смольном собирается Комитет по борьбе с контрреволюцией.

Вечером сообщили, что Каледии был в Царском Селе. Коитрреволюциоиное выступление назиачено иа понедельник или вторник; то же говорят о большевистском восстаиии».

«Понедельник или вторник», названные Ридом в последней заметке,— это 23 и 24 октября (5 и 6 ноября по новому стилю). Заслуживают внимания фиксируемые Ридом сведения о готовящемся выступлении контрреволюционных сил. Тому же вопросу посвящены и следующие две записи в его блокноте, помеченные 17 октября:

«Сегодия «Новая Русь» вышла с заголовком на первой странице: «Нам иужеи Кориилов!» Призывают разгонять Советы и т. п. Речи в Совете республики за последние дии. Газеты.

Даже в дии корниловщиины оии не осмеливались выступать так иагло, как сейчас».

В тот же день, 17 октября, Рид вместе с Луизой Брайант и корреспондентом Ассошиэйтед Пресс интервьюирует «министра-председателя» Керенского в Зимнем дворце. Запись этого интервью сохранилась в блокноте.

Вечером Рид отправился на заседание Петроградского Совета и провел свою первую ночь в Смольном, слушая речи солдат-большевиков, давших бой соглашательскому руководству старого ЦИКа. Солдаты требовали немедленного мира и угрожали поднять оружие против Временного правительства и поддерживавших его меньшевистско-эсеровских оборонцев.

Блокнотная запись речей армейских делегатов не полностью отражена в «Десяти днях»: в блокноте дополнительно отмечены выступления солдат из 40-й дивизии, 7-й стрелковой дивизии, 3-й финляндской дивизии, 548-й дивизии *.

Несколько полнее сравнительно с книгой законспектирована в блокноте и речь прибывшего в Петроград с юго-западного фронат Г. И. Чудновского — через неделю одного из руководителей штурма Зимнего дворца. После имеии Чудновского Рид в блокнотной записи помечает: «американец». Чудновский прожил несколько лет в эмиграции в Нью-Йорке, и Рид стремился установить личный коитакт с каждым, кто участвовал в рабочем движении в США и объяснялся по-английски.

В нарисованной Ридом в начальных главах книги общей политической панораме армейскому делегату в Петрограде уделею много внимания. Это тот самый изголодавшийся, разутый и раздетый солдат, которого Рид в сентябре видел в окопах под Ригой, но поднявшийся сейчас на новую ступень

* В блокноте Рид датирует события по старому стилю.

* Это последнее очень яркое выступление солдатского делегата отнесено Ридом в «Десяти днях» к митингу в цирке «Модерн», описанному несколько ранее в той же, 2-й главе.

сознательности, выступающий как грозная сила близящегося революционного взрыва.

Рид был достаточно осведомлен о работе большевиков в частях петроградского гарнизона и в Кронштадте. Он также знал, что на петроградских заводах накапливается оружие и проходят военное обучение рабочие дружины. Он понимал, что восстание неминуемо, и полностью был на стороне пролетарской революции.

2

«Я проводил почти все время в Смольном»,— пишет Рид в третьей главе «Десяти дней», называющейся «Накануне».

Вопрос о вооруженном захвате власти приобретает небывалую остроту, и Рид, не отрываясь, следит за быстро нарастающими событиями. Во второй половине этой главы он описывает свои передвижения и встречи за два дня; понедельник 23 октября (5 ноября) и вторник 24 октября (6 ноября).

С утра 5 ноября Рид зашел в Мариинский дворец, где в покинутом большевиками «предпарламенте» шли прения по вопросам внешней политики. Выслушав речи Скобелева и Терещенко и чувствуя более, чем когда-либо, что выступающие министры — политические мертвецы, Рид зашагал по настороженным петроградским улицам, направляясь к Смольному. На углу Невского он купил брошюру Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?». Название ленинской статьи поражало в эти дни, как удар грома. Поздно вечером в Смольном Рид постучался в уже известную ему комнату № 10, где, не прерывая свою работу ни на час, заседал Военно-революционный комитет. Он узнал о переходе Петропавловской крепости на сторону большевиков и о других успехах революции.

Здесь будет уместно сравнить текст «Десяти дней» с записями в блокноте. Вот текст книги:

«В 10-й комнате, на верхнем этаже шло беспрерывное заседание Военно-революционного комитета. Председательствовал светловолосый юноша лет восемнадцати, по фамилии Лазимир. Проходя мимо меня, он остановился и несколько робко пожал мне руку.

— Петропавловская крепость уже перешла на нашу сторону! — с радостной улыбкой сказал он.— Мы только что получили вести от полка, посланного правительством в Петроград на усмирение. Солдаты стали подозревать, что тут не все чисто, остановили поезд в Гатчине и послали к нам делегатов. «В чем дело? — спросили они нас.— Что вы нам скажете? Мы уже вынесли резолюцию: «Вся власть Советам». Военно-революционный комитет ответил: «Братья, приветствуем вас от имени революции! Стойте на месте и ждите приказа».

«Все наши телефонные провода,— сообщил он,— перерезаны. Однако военные телефонисты наладили полевой телефон для сообщения с заводами и казармами».

В комнату беспрерывно входили и выходили связные и комиссары. За дверями дежурило двенадцать добровольцев, готовых в любую минуту помчаться в самую отдаленную часть города. Один из них, человек с цыганским лицом в форме поручика, сказал мне по-французски: «Все готовы выступить по первому знаку».

Проходили: Подвойский, худой, бородатый штатский человек, в мозгу которого созревали оперативные планы восстания; Антонов, небритый, в грязном воротничке, шатающийся от бессонницы; Крыленко, коренастый широколицый солдат, с постоянной улыбкой, оживленной жестикуляцией и резкой речью; Дыбенко, огромный бородатый матрос со спокойным лицом. Таковы были люди этой битвы за власть Советов и грядущих битв».

Блокнотный текст занимает около трех страничек, заполненных размашистой скорописью, характерной для Рида, когда он торопится и, видимо, держит свой блокнот на весу или на колене:

«**Комната 10-я, полиочь.**

Революционный военный комитет заседает в маленькой комнатке. Над картами день и ночь. Сменяются каждые пять часов. Комиссары ожидают в передней, в полной боевой готовности, чтобы отправиться в любой район, [на которые] поделен город.

Прав[ительство] направило бригады в Петроград. Остановились на последней станции, послали дел[егатов]. Какого черта? (Рид пользуется характерным американским выражением: What the hell?) **Что вы нам скажете? Мы приняли резолюцию: «Вся власть Советам». Сов[ет] послал [тел]грамму: «Братья, мы приветствуем вас от имени рев[олюции]. Оставайтесь на месте, пока вас не вызовем».**

Кроме этого основного текста имеются три приписки Рида, более круглым и четким почерком, каким он пишет, сидя за столом; сделаны они, видимо, после того, как он вышел из комнаты Военно-революционного комитета.

На первом листке в правом верхнем углу приписано: **«Курьеры каждую минуту. Телефон перерезан. Но имеется телефонная связь по всему городу, автомобили и проч.».** Сбоку другая приписка: **«Петропавловская. Арсенал».** На втором листке в правом верхнем углу третья приписка: **«Молодой офицер, говоривший по-французски, сказал: все готово. Подимутся по сигналу».**

Здесь репортерская запись Рида составляет твердую основу для приведенного выше литературного текста. Он лишь слегка развертывает свою запись, приводит имена действующих лиц, уточняет и детализирует характеристику.

Совсем иначе сделан заключительный абзац, посвященный четырем военным деятелям начинающегося восстания. Возможно, что Рид в эту ночь в Смольном не видел ни одного из них (Дыбенко вообще к 5 ноября еще не прибыл из Гельсингфорса в Петроград). Последняя фраза, где говорится, что

Подвойский, Антонов-Овсеенко и другие сыграли свою роль не только в описываемый час, но и в дальнейших судьбах революции, должна подчеркнуть, что Рид, зарисовывая их в канун восстания, дает также им оценку и после совершившейся победы. Это не репортерская запись о встрече, а обобщенный портрет героев революции, на котором все четверо предстают перед читателем великими в своей непритязательности, в ореоле самоотверженно выполняемого революционного долга.

Следует сказать, что Антонов, Крыленко и Дыбенко — герои «Десяти дней», воплощающие в своих действиях и в своей личности ромаитические стороны восстания. Еще ранее в той же третьей главе Рид пишет, знакомя читателя со Смольным: «В одной из комнат верхнего этажа сидел тонколицый длиннонолосый человек, математик и шахматист, когда-то офицер царской армин, а потом революционер и ссыльный, некто Овсеенко, по кличке Антонов. Он был поглощен разработкой планов захвата столицы».

Крыленко в дальнейших главах книги посвящеиы два самостоятельных эпизода. В пятой главе, пристальио наблюдая Крыленко, Рид выясняет, что столь поразившая его постоянная улыбка Крыленко — вовсе не улыбка, а «просто гримаса бесконечиой усталости». В шестой главе ои описывает, как в дни уже начавшегося контрреволюционного мятежа Крыленко в Михайловском манеже увлекает колеблющиеся команды броневиков на сторону революции. Выступление Крыленко производит глубокое впечатлеиие на Рида: «Крылеико еле держался иа ногах от усталости. Но чем больше он говорнл, тем яснее проступала в его голосе глубокая искренность... Кончив свою речь, он пошатнулся и чуть не упал. Сотии рук поддержали его, и высокий темиый манеж задрожал от грохота аплодисментов и восторженных криков».

Дыбеико появляется в книге иесколько позднее; первый раз Рид наблюдает его во дворе Смольиого в момент отъезда на фронт против казаков Краснова — Керенского и второй раз в Пулкове, в штабе большевистских войск. Оба раза Дыбеико изображеи у Рида с воронеиым маузером, которым поигрывает, не выпуская ни на минуту из рук.

Непосредственио за цитированиым описанием Военно-революционного комитета у Рида следует еще один абзац, посвященный подготовке восстания в Смольном:

«Внизу в помещеиии фабрично-заводских комитетов сидел Сератов. Он подписывал ордера на казенный арсенал — полтораста виитовок каждому заводу... Перед ним выстроились в очереди сорок делегатов».

Эти строки Рида вызывали всегда недоумение нз-за имеии Сератов. Такого работника в Смольиом не было. Блокнот устраняет неясность:

«В комнате 39 фаб[ричио]-завод[ских] ком[итетов] Шатов, подписывающий ордера на оружие в Арсенал. 150 штук».

Описка, вкравшаяся в первое амернкаиское издание, была повторена в последующих и перешла в русский перевод. В. С. Шатов — член Петроградского Военно-революционного комитета и член президиума Центрального Совета фабрично-заводских комитетов — друг Рида, с которым он поддерживал контакт в предоктябрьские днн. Никакого Сератова вообще не существовало.

Чтобы завершить разбор этой страиицы Рида, следует добавить отрывочную запись из другого блокнота, где встречаются «заготовки» для будущей книги: «(Фамилия проводника Рида по Смольному отсутствует.— А. С.) **...знакомит меня с Лазимиром, первым председателем Военно-революциоиного комитета, юиошей лет 18, с рыжей шевелюрой; также с Подвойским».**

Здесь, как видно, зафиксировано самое первое знакомство Рида с деятелями Военно-революциоиного комитета, однако запись более поздняя, так как Подвойскнй сменил Лазимира на посту председателя ВРК не ранее 25 октября.

Рид ушел из Смольного в 3 часа утра. Уходя, он отметил, что по обеим стороиам от входа установлены пулеметы и что ворота и ближайшие перекрестки охраняются сильными солдатскими патрулями.

В той же третьей главе книги опнсан следующий день — 24 октября (6 ноября). С утра Рид отправился к цензору, канцелярия которого находилась в здании министерства иностраниых дел. Проходя по Дворцовой площади, он видел, как юнкера выстраивали артиллерию перед Зимним дворцом. Из министерства Рид поспешил в Мариинский дворец, где выслушал конец речи Керенского, угрожавшего большевикам и личио Ленину арестами и репрессиями. Керенский цитировал уже хорошо известную Риду статью Ленина «Письмо к товарищам». Рид приводит в книге характерные выдержки из речи «мннистра-председателя»:

«Для того чтобы не быть голословиым,— говорнл Керенский,— я процитирую вам наиболее определенные места из ряда прокламаций, которые помещались разыскиваемым, ио скрывающимся государственным преступником Ульяновым-Ленниым в газете «Рабочий путь». В ряде прокламацнй под заглавием «Письма к товарищам» данный государственный преступник призывал петербургский пролетарнат н войска повторить опыт 3—5 нюля и доказывал необходимость приступить к немедленному вооруженному восстанию».

Из Мариинского дворца Рид пошел по Невскому, иаправляясь в Смольный. У Казанского собора он впервые увидел вооруженный матросский отряд и оценил эту встречу по достоинству:

«На их матросскнх бескозырках были надписи «Аврора» и «Заря свободы» — названия самых известных большевистских крейсеров Балтийского флота, —пишет ои в книге.— «Кронштадт идет!» — сказал один из матросов... Эти слова значили то же самое, что зиачнли в Париже 1792 года слова «Марсельцы идут!» Ибо в Кронштадте было двадцать пять тысяч матросов, и все они

были убежденные большевики, готовые идти на смерть».

В этот же день Рид лично познакомился с одним из руководителей кронштадтских матросов. На блокнотном листке записано: **«Ховарин. Крейсер «Республика». Делегат от Балтийского флота на Всероссийский съезд Советов».** Это, конечно, Николай Александрович Ховрин — двадцатичетырехлетний матрос-большевик, член Центробалта и Гельсингфорского комитета партии.

Старый большевик, полковник в отставке, Н. А. Ховрин, к которому я обратился с просьбой прокомментировать эту блокнотную запись Рида, рассказал об их встрече.

Он прибыл в Петроград 24 октября с группой других делегатов Второго съезда Советов от Балтийского флота. В Смольном Антонов-Овсеенко сообщил, что с ним хочет увидеться Альберт Рис Вильямс (Ховрин познакомился с Вильямсом, когда тот летом приезжал в Гельсингфорс). В гостинице у Вильямса был Рид. Беседа продолжалась около часа и касалась политической ситуации и настроения балтийских моряков.

По пути в Смольный Рид почти целиком переписал в блокнот только что напечатанное в «Рабочем и солдате» воззвание Военно-революционного комитета от 24 октября. Военно-революционный комитет сообщал о заговорщических действиях Временного правительства корниловского офицерства и призывал к срочной мобилизации всех революционных сил. Запись Рида кончается следующими словами из воззвания: **«Дело народа в твердых руках. Заговорщики будут сокрушены».**

В Смольном Рид сперва присутствовал на очередном заседании Петроградского Совета. Потом он посетил собрание делегатов-большевиков, прибывших на съезд Советов. В блокноте имеется пометка: **«24-е. Комната 18, большевистская фракция».** С наступлением ночи Рид перешел в Актовый зал Смольного, где начиналось экстренное заседание старого эсеро-меньшевистского ЦИКа совместно с прибывшими на съезд делегатами, и приступил к систематическим блокнотным записям.

«25-е. 12.30 пополуночи. Встреча ЦИКа Всероссийского съезда Советов и делегатов нового съезда. Председательствует Гоц. Дан делает доклад. Присутствуют Мартов, Богданов и все прочие».

Подробное изложение этого бурного заседания в «Десяти днях» базируется на сохранившихся в блокноте личных записях Рида — вплоть до заключительного выступления Володарского против меньшевистской резолюции, после которого большевики покинули зал заседания.

Восстание петроградского пролетариата началось. Выходя из Смольного в 4 часа утра, Рид впервые увидел вооруженные рабочие отряды — Красную Гвардию. Была слышна беглая ружейная перестрелка.

Рид не знал, что Ленин в Смольном уже принял на себя руководство восстанием.

Рид, Луиза Брайант и их спутники уходили в ночной город, понимая, что наступили решающие часы.

«За нашими спинами сверкало огнями и жужжало, как улей, огромное здание Смольного...»

3

Последние несколько суток перед восстанием Рид почти не спал и дошел до крайней усталости. Четвертую главу своей книги «Конец Временного правительства» он начинает с признания, что в среду 7 ноября встал поздно и, выйдя на Невский, услышал выстрел полуденной пушки из Петропавловской крепости.

Завернув на Большую Морскую (улица Герцена), Рид и Луиза Брайант подошли к караулу, выставленному у запертых дверей Государственного банка.

«— Вы чьи? — спросил я. —Вы за правительство?

— Нет больше правительства! — с улыбкой ответил солдат.— Слава богу!»

Купив газеты, Рид с женой зашли к Альберту Рис Вильямсу, жившему напротив банка в гостинице «Франция». Там они прочитали о первых успехах восстания. Потом все втроем отправились на Исаакиевскую площадь. «Астория» была оцеплена вооруженными матросами, не выпускавшими на улицу собравшихся в вестибюле офицеров. Рид подошел к Мариинскому дворцу. В толпе солдат и матросов, стоявших у дворца, Рид услыхал рассказ матроса о бесславном конце Совета Российской республики («предпарламента»). Попытка Рида пройти по журналистским документам на галерею прессы оказалась безуспешной. Выходя из дворца, Рид встретил члена Военно-революционного комитета большевика Я. Х. Петерса. Петерс владел английским (он жил несколько лет в эмиграции в Англии) и уже не раз беседовал с Ридом. Сейчас на вопрос Рида о судьбе министров Временного правительства Петерс с досадой ответил, что кое-кого арестовали ночью, но потом, по недосмотру, отпустили.

Расставшись с Петерсом, Рид и его спутники решили идти в Зимний дворец. Они знали, что Временное правительство заседает во дворце, и хотели выяснить, что намерен делать Керенский.

С заднего хода им удалось (предъявив швейцару американские паспорта) проникнуть во дворец. В «Десяти днях» описано их путешествие по дворцовым анфиладам, превращенным в юнкерские казармы; Керенского не было, он бежал в Гатчину; министры скрывались где-то во внутренних дворцовых помещениях. Рид, как обычно, не расстается с карандашом, но делает только отрывочные записи. Вот на блокнотном листке адрес командовавшего юнкерами пьяного офицера, который решил искать у Рида протекции для перехода на службу в американскую армию. **«Штабс-капитан Арцыбашев Владимир. Адрес: Старый Петергоф. 2-я Ораниенбаумская школа прапорщиков (praporstchikoff)».** Можно предста-

вить себе саркастическую улыбку Рида, записывающего адрес доблестного защитника Временного правительства!

Из Зимнего дворца Рид и Луиза Брайант снова зашли к Вильямсу, после чего все втроем отправились в Смольный, чтобы поспеть к открытию Второго съезда Советов. Луиза Брайант записывает, что когда они вышли на Невский, была половина шестого вечера.

Большевистские войска готовились к заключительному удару. Разъезжали броневики. На Полицейском (ныне Гражданском) мосту была построена баррикада. Рядом солдаты устанавливали орудия. Свежий номер «Рабочего и солдата» возвещал победу пролетарской революции. Хотя уже темнело, Рид продолжал делать заметки. На блокнотном листке неразборчиво набросано карандашом:

«Олег.
Рюрик.
Святослав.
Р. С. Д. Р. П.
Красный флаг.
Автомобили.
Имена первых царей».

В дальнейшем эта запись была обработана в следующих строках «Десяти дней»: «По улице разъезжали броневики, на которых еще были видны старые названия: «Олег», «Рюрик», «Святослав» — все имена древнерусских князей. Но поверх старых надписей уже краснели огромные буквы: «РСДРП» (Российская социал-демократическая рабочая партия)».

Описание Смольного в вечерние часы 7 ноября, кипящего революционной энергией, заполненного вооруженными солдатами и красногвардейцами, хорошо известно из «Десяти дней».

В Смольном Рид узнал о происходившем днем и лишь недавно закончившемся чрезвычайном заседании Петроградского Совета, где впервые после четырех месяцев подполья выступил Ленин. По просьбе Рида Каменев перевел ему по-французски принятую резолюцию, и Рид тут же конспективно занес ее в блокнот:

«25. Сегодня на чрезвычайном заседании Петроградский Совет объявил правительство низложением: вся власть в руках [Военно]-революционного комитета». (Comite Revolutionnaire,— пишет Рид. Когда он слушает французскую речь, то и в записи частично переходит на французский:) **«[Совет] объявил также, что власть его будет основана на следующем:**

1. Земля — крестьянам.

2. Заключение мира.

3. Рабочий контроль над промышленностью. Выступали Ленин и Зиновьев».

Встретившийся Риду в коридоре Смольного Рязанов выразил неверие в целесообразность захвата власти без помощи западноевропейского пролетариата. В книге Рид отмечает, что Камепев и Рязанов были противниками восстания. «Рязанов и Каменев возражали против восстания и испытали на себе всю страшную силу ленинской полемики».

Вместе со своими спутниками Рид направился в Актовый зал Смольного, уже переполненный делегатами Второго съезда Советов. «Делегат от Обуховского завода, анархист Петровский, усадил меня рядом с собой»,— пишет Рид в книге. Петровского Рид знал еще по Америке. Сейчас он работал в Военно-революционном комитете. Усевшись, Рид немедленно принимается за дело. Заполненные убористым почерком блокнотные листки позволяют подробнее познакомиться с рабочей манерой Рида. Сперва идет подробная запись дневных впечатлений:

«25. Мариинский дворец окружен. Я был у Вильямса, 61-я комната в гостинице «Франция», слушал чтение газет. В 1.15 пошел вниз по Морской. Солдаты перед телефонной ставцией. За угол — на площадь Николая I. У дворцового подъезда большая толпа матросов и солдат. Посредине площади выставлен кордон. Ко дворцу не пускают, и в боковые улицы тоже, на протяжении двух кварталов. Набережная Канала (Каналом Рид называет здесь Мойку.— А. С.) **вдоль дворца блокирована с обеих сторон. На южной стороне площади не менее тысячи солдат, матросов; видно, как подходят еще. Большой броневик «Святослав» с красным флагом объезжает площадь. Переулки забаррикадированы с обоих концов. Выходы на площадь — тоже. Улица вдоль Канала. На одном конце огромные ящики, бочки, старый матрас. На другом — подводы (их остановили и выпрягли лошадей), грузовые машины. На набережной штабеля дров. Перед дворцом, вдоль фасада — баррикады из дров».**

Тут Рид делает миниатюрную зарисовку дровяной баррикады.

Продолжать свою запись дальше он не может, так как открывается заседание съезда. Следующий листок блокнота Рид начинает краткой записью речи сдающего свои полномочия председателя старого ЦИКа меньшевика Дана.

«25-е, 10.55. Дан открывает заседание. «Власть в наших руках, но, к несчастью, некоторые элементы подняли против нас оружие».

Рид следит за выборами президиума, отмечает, что большинство в нем получили большевики, записывает оглашенную председателем повестку дня. По-видимому, соседству хорошо владевшего английским языком Петровского Рид обязан довольно подробной записью этого заседания съезда. Как известно, из-за саботажа думских стенографисток полного отчета Второго съезда Советов не имеется. Поэтому все в отчете Рида, что основано на его живых впечатлениях, сохраняет особую ценность и привлекается исследователями как исторический источник.

Протоколируя заседание съезда, Рид одновременно не оставляет попыток закончить начатую ранее запись о событиях дня. Для этого он делит блокнотный лист на две части и под проведенной чертой, как видно, в паузах между выступлениями продолжает свой рассказ о Мариинском дворце. Сна-

чала идет запись о разгоне «предпарламента».

«Мариинский. Ворвались во дворец с комитетом во главе. Два-три солдата и матрос. Говорит председателю: «Совета республики больше иет. Уходите, добром прошу!» Помахал рукой. Депутаты сперва запротестовали, потом одии за другим ушли».

Дальше Рид пишет о своей неудавшейся попытке «прорваться» во дворец. **«Проник до самой двери иа галерею прессы. Меня остаиавливает смеющийся солдат.— Просто так, пришел узнать, какие у вас новости.— Ухожу. Суматоха. Стараюсь выбраться, делаю два отчаяиных...»**

Здесь запись Рида снова обрывается; его целиком захватывают выступления с трибуны, беспрнмерный политический бой, который большевики дают соглашательским партиям. Протоколируя выступления, он лишь успевает вставлять краткие попутиые заметки:

«Володарский, Петровский с воспаленными, запавшими глазами, иебритые — три ночи без сна».

И еще в другом роде:

«О русских правилах: достаточно положить на стул шляпу или билет, и твое место никто не займет, как бы ни было тесно».

Но вот на краю блокнотной странички, сбоку от речей Мартова и левого эсера Карелина, призывавших к созданию коалиционного правительства, появляется знаменательная запись:

«Сообщают: крейсер «Аврора» иачал обстрел Зимнего дворца».

Как известно из «Десяти дней», взволнованный сообщением о штурме Зимнего, Рид покинул заседание, чтобы ехать к месту боя. К этому времени американцев было уже пятеро. К Риду, Луизе Брайант и Вильямсу присоединились Бесси Бнтти и Алекс Гомберг (переводчик американской миссии Красного Креста, свободно объяснявшийся по-русски и не раз сопровождавший Рида и Вильямса в Петрограде).

Выбравшись из переполнениого зала, все пятеро направились за пропусками на третий этаж Смольного в комнаты Военно-революционного комитета. Там царило величайшее напряжение. «Принимая и отправляя запыхавшихся связных, рассылая по всем уголкам города комиссаров, облеченных правом жизни и смерти, лихорадочно работал Военно-революционный комитет,— вспоминает Рид в книге.— Беспрерывно жужжали полевые телефоны. Когда дверь открылась, навстречу нам пахнуло спертым, прокуренным воздухом и мы разглядели взъерошенных людей, склоненных над картой, залитой ярким светом электрической лампы с абажуром...» Работники Военно-революционного комитета хорошо знали Рида. «Товарищ Иозефов-Духвинский *, улыбающийся юноша с целой копной бледно-желтых волос, выдал нам пропуска»,— пишет Рид.

Из пяти выданных пропусков два сохранились у владельцев и позднее были воспроизведены в написанных ими книгах. Это пропуск № 1 на имя Луизы Брайант и № 5 на имя Бесси Битти. Каков же он, пропуск Военно-революционного комитета в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года, дававший право пройти через воинские и красногвардейские заслоны и патрули к штурмуемому Зимнему дворцу? На небольшом листке отпечатан типовой машинописный пропуск в здание Смольного; заключительные строки «разрешается вход во все отделения Совета, находящиеся в Смольном институте», зачеркнуты, и сверху от руки вписано: «Разрешается свободный проезд по городу». За председателя ВРК — подписал Духвинский. Круглая печать военного отдела Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Но и с пропусками ВРК добраться до Зимнего в эту ночь было мудреной задачей. Рида и его спутников выручил грузовик, ехавший в центр города с прокламациями.

Бесси Бнтти пишет, что когда грузовик выехал на Знаменскую (ныне Октябрьскую) площадь, вокзальные часы показывали час ночи. Площадь была пуста, машина покатила по Невскому.

«Нагните головы!» — скомандовал казак, увидев впереди вооруженных людей. Это оказались большевистские матросские части, охранявшие баррикаду у Казанского собора. Матросы заверили грузовик, сказав, что впереди идет бой. Со стороны Зимнего доносилась артиллерийская и оружейная пальба. Журналисты простились с попутчиками, решив пробираться дальше пешком. Прежде, однако, они стали свидетелями необычайного зрелища, ярко описанного Ридом в «Десяти днях». Процессия в несколько сот человек — мужчины в дорогих пальто, изящно одетые женщины, офицеры, руководимые деятелями павшего режима и меньшевистско-эсеровскими вождями, пытались миновать матросский заслон, чтобы «умереть в Зимнем дворце». После решительного отказа матросов пропустить их «смертники» степенно зашагали прочь, по четыре в ряд, в Городскую думу, дабы обсудить там наилучшие способы борьбы с большевистской революцией. В своей статье о Риде Б. И. Рейнштейн вспоминает, как Рид впоследствии изображал в лицах эту трагикомическую ночную сцену на углу Екатерининского канала.

Матрос, командовавший заслоном, беспрепятственно пропустил Рида и его друзей, предъявивших пропуска ВРК, и они двинулись вниз по Невскому. Однако красногвардейцы, охранявшие баррикаду на Полицейском мосту, оказались несговорчивыми; у них даже явилась мысль, что не худо бы задержать и проверить неведомых иностранцев, спешащих в Зимний дворец. Драгоценные минуты уходили зря, но делать было нечего. Журналисты вернулись к Казанскому собору и оттуда со специальным провожатым от командира матросской цепи миновали Полицейский мост. Бесси Битти

* И. В. Иосифов-Духвинский, сотрудник отдела донесений ВРК.

записала, что, когда они вошли под арку Генерального штаба, было четверть третьего. Из тьмы выбежал матрос.

«— Все! — крикнул он.— Они сдались!»

В «Десяти днях» Рид рассказывает, как, примкнув к передовой шеренге красногвардейцев, они бежали по Дворцовой площади, пригибаясь, преодолевая баррикады. Луиза Брайант пишет, что еще слышались выстрелы, свистели последние пули. Помедлив у Александровской колонны, красногвардейцы снова ринулись вперед, к сиявшему огнями Зимнему дворцу.

Из воспоминаний Рида и других видно, что они сперва вбежали с красногвардейцами в правый подъезд дворца; но там, должно быть, не оказалось прохода во внутренние помещения. Тогда, выйдя снова на площадь, они предъявили свои пропуска командиру матросского караула в левом подъезде. Тот впустил их в вестибюль; но тут же велел повременить и усадил на боковую скамью у стены. Мимо них повели арестованных. Сперва это были обезоруженные юнкера, но потом появились охраняемые красногвардейцами члены Временного правительства. Третьим шел известный всем им в лицо министр иностранных дел Терещенко. Рид пишет, что сердитый взгляд министра задержался на их группе. Бесси Битти вдруг вспомнила, что как раз на сегодня «министр-председатель» Керенский пригласил ее к завтраку в Зимний дворец.

В «Десяти диях» Рид подробно описывает, как они бродяли по захваченному Зимнему дворцу, как осматривали длинный, покрытый зеленым сукном стол в Малахитовом зале, за которым всю ночь заседали бывшие министры, составляя проекты воззваний и манифестов. Один листок, исписанный рукой министра торговли и промышленности Коновалова, Рид захватил на память. Листок воспроизведен в первом американском издании «Десяти дией». «Временное правительство обращается ко всем классам населения с предложением поддержать правительство...» — пишет Коновалов. Но тут же зачеркивает написанное. Далее идут задумчивые арабески...

Около четырех часов иочи Рид и его спутники вышли из Зимнего дворца. Обойдя дворец по набережной, они зашли в Городскую думу, где уже формировался центральный орган всех антибольшевистских сил, так называемый Комитет спасения родины и революции. В блокноте у Ряда краткая запись: **«4.20. Городская дума. Заседает беспрерывно, совместно с меньшевиками и эсерами. Обращение к стране: не подчинять-ся большевистскому правительству».**

Рид вернулся в Смольный и присутствовал до конца на заседании Второго съезда Советов. Он вошел в ту минуту, когда оглашалось доаесение Антонова-Овсеенко со списком арестованных членов Временного правительства, и сразу взялся за блокнот.

«Смольный,— записывает он (судя по неровному почерку, еще даже не сев на место.— А. С.).— **5.05 пополуночи. Терещенко. Громовые аплодисменты, возгласы одобрения, смех. Рутенберг. Слабее. Пальчинский. Сильные** [аплодисменты]. **Комиссаром дворца назначен Чудновский.**

Керенский в Гатчине».

В книге подробно изложена и заключительная часть заседания, однако эти листки блокнота, как видно, утрачены.

Когда Рид вышел из Смольного, близилось утро.

«Было шесть часов. Стояла тяжелая холодная ночь. Только слабый и бледный, как неземной, свет робко крался по молчаливым улицам, заставляя тускнеть сторожевые огни. Тень грозного рассвета вставала над Россией»,— так пишет Рид.

Первый из десяти дней, которым суждено было потрясти мир,—закончился.

4

Пятая глава книги Рида «Неудержимо вперед» целиком посвящена четвергу 8 ноября (26 октября), второму дню революции. Глава начинается с обширного монтажа революционных документов, приказов Военно-революционного комитета, а также прокламацнй и газетных статей, показывающих яростную реакцию буржуазиых и соглашательских партий на победное восстание пролетариата. Далее Рид описывает два заседания в здании петроградской Городской думы, которые он посетил в первой половине дня; в Николаевском зале заседала дума, в Александровском — Комитет спасения. Оба заседания имели единственной целью сплочение антибольшевистских сил — от кадетов до меньшевиков.

Резкая черта классовой принадлежности разделила два лагеря.

«Поразителен был контраст между этим собранием и съездом Советов,— пишет Рид в книге.— Там — огромные массы обносившихся солдат, измазанных рабочих и крестьян: все бедняки, согнутые и измученные жестокой борьбой за существоваине; здесь— меньшевистские и эсеровские вожди, Авксентьевы, Даиы, Либеры, бывшие министры-социалисты Скобелевы и Черновы, а рядом с ними кадеты вроде елейного Шацкого и сладенького Винавера. Тут же журналисты, студенты, интеллигенты всех сортов и мастей. Эта думская толпа была упитана и хорошо одета; я заметил здесь не больше трех пролетариев...»

Прямо из думы Рид направился в Смольный, где должно было начаться второе заседание съезда Советов. «В Смольном атмосфера была еще напряженнее, чем прежде, если это только возможно»,— пишет он.

К сожалению, имеется только семь блокнотных листков с записями Рида о Смольном 8 иоября. Последняя из этих записей касается заключительного слова Ленина по вопросу о мире. Обширный отчет об этом заседании в «Десяти днях» показывает, что Рид собирал материал не менее тщательно, чем в предыдущий день; но эта часть блокнота отсутствует. Впрочем, и сохранившиеся семь листков весьма замечательны, в особенности потому, что в них занесеиы впечатления Рида от выступления Ленина.

Интересный материал о пребывании Рида в Смольном в день 8 ноября, дополняющий его блокнотные заметки и страницы книги, имеется также в малоизвестном очерке Рида «День второй», написанном в 1918 году и опубликованном в США в сборнике «Год революции», который вышел к первой годовщине Октября *.

Блокнотные записи Рида в Смольном 8 ноября начинаются с трех заметок, посвященных будущим народным комиссарам. Декрет об образовании советского правительства еще не был принят, но Рид, как видно, располагал по этому вопросу некоторыми предварительными сведениями.

«26-е. Меижинскнй — министр финансов (над словом «министр» Рид вписывает сверху: «комиссар».— А. С.); **в бурке, какие иосят в Дикой дивизии; небритый, кусает карандаш, что-то пишет; служил когда-то банковским клерком во Франции».**

(В утвержденном съездом составе правительства народным комиссаром финансов был назначен И. И. Скворцов-Степанов. Однако он остался на партийной работе в Москве, и через четыре дня Ленин подписал декрет о назначении на этот пост В. Р. Менжинского.)

«Рязаиов. Торговля и промышлеиность. Сообщил мне доверительио, что ничего не смыслит в бизиесе».

(Рязанов не вошел в правительство.)

«Чичерина, интернированного в Англии, думают назначить министром иностраиных дел».

(Комиссаром иностранных дел в первом советском правительстве, как известно, стал Троцкий. Чичерин вернулся из Англии в январе 1918 года и тогда же фактически стал во главе Наркоминдела; в мае он был назначен Народным комиссаром.)

Заметки о Менжинском и Рязанове Рид использовал в «Десяти днях». О Чичерине он не упоминает. Между тем свидетельство Рида, что кандидатура Чичерина на пост комиссара по иностранным делам называлась уже 8 ноября, имеет бесспорный исторический интерес.

Дальше в блокноте идут две записи, сделанные в ожидании открытия съезда.

Первая запись Рида:

«26-е. Заседание назиачено на час дня. В семь часов вечера еще ие началось. Большевистская фракция заседает... 7.05. Левые эсеры только что прииняли решеиие войти виовь в Военно-революциоиный комитет. [Меньшевики]-интериациоиалисты все еще совещаются».

Как известно, оттяжка заседания была вызвана тем, что решался вопрос о составе правительства. Ленин отверг коалицию с соглашательскими партиями, на которой настаивали Каменев, Рязанов и другие. Левые эсеры, которых Леиин хотел привлечь к участию в правительстве, ответили отказом, и ЦК большевиков принял решение представить съезду Советов однопартийное, большевистское по составу, правительство.

В ожидании открытия заседания Рид пытливо всматривается в зал. Зарисовка зала заседаний и делегатов Второго съезда Советов в уже названном очерке «День второй» весьма выразительна:

«Пространство между колоннами уставлено креслами, всего их около тысячи. Большинство делегатов в форме рядовых солдат. На остальных простые черные рубахи русских рабочих и несколько пестрых крестьянских рубах. Несколько женщин. Редко где мелькнет золотой с красным погон офицера, а иногда белый воротничок. Всюду вокруг, между колоннами, на подоконниках, на каждой ступеньке, идущей на сцену, да и на краю самой сцены — публика, также состоящая из простых рабочих, простых крестьян и простых солдат. Кое-где в публике щетинятся штыки. Измученные красногвардейцы, опоясанные патронными лентами, спят на полу у колонн».

Вторая блокнотная запись Рида сделана через час и пять минут после первой:

«8.10. Поиски президиума. Обходим все помещеиия Смольного. Никто ие зиает, где президиум съезда. В комнате № 17 Крыленко, возглавляющий Воеино-революциоиный комитет. Здоровается с моим приятелем, с которым сидел в тюрьме: «Пролетарская революция — большой успех. Возможно, еще встретимся снова в тюрьме». Курьер, бежавший всю дорогу из Зимнего дворца, иагруженный винтовками и револьверами».

Эта запись резюмирует множество впечатлений.

Избранный при открытии съезда президиум состоял в основном из большевиков и левых эсеров; и те и другие, как уже сказано, находились на заседаниях своих фракций. Рид предпринимает в это время обход Смольного вдвоем с неким русским журналистом, противником большевиков, с которым только что познакомился за столом прессы. Развертывается один из характерных эпизодов «Десяти дней»; иронический замысел автора — в изображении самоуверенного противиика революции иа фоне неудержимого хода революциоиных событий. Начало этого эпизода, впрочем, опущено в книге и сохранилось лишь в цитируемом очерке «День второй»; так что в целом эпизод приходится восстанавливать по двум источникам.

«За столом прессы,— пишет Рид в «Дне втором»,— сидит хорошо одетый интересный молодой интеллигент, последователь Кропоткина, который долгое время жил в эмиграции в Париже. Он разглядывает грубую напряженную толпу с усмешкой и иесколько отрешенным видом, бросая время от времени остроумные замечания. Ему кажется невероятным, как эти неотесанные, невежественные люди осмеливаются думать о том, что смогут управлять великой Россией.

«Пошли,— говорит он мне по-французски.— Мне надоело. Давайте назначим сами себя комитетом по нахождению президиума,

* Цитирую этот очерк Рида по сокращенному русскому переводу («Известия» № 263, 1964. Публикация И. М. Краснова и З. В. Рахлиной).

чтобы этот спектакль мог уже начаться». Когда мы выходим, он добавляет: «Впрочем, особой спешки нет. Через сорок восемь часов они побегут сломя голову...»

(Здесь Рид прерывает свои воспоминания, специально напнсанные к первой годовщине Октябрьской победы, чтобы комментировать последнюю реплику «остроумного молодого интеллигента»:

«Теперь, через двенадцать месяцев, я часто вспомииаю это замечание»,— пишет Рид.)

«Мы идем по слабо освещенному, сводчатому коридору,— продолжает Рид,— полному огромных, расплывчатых фигур спешащих рабочих и солдат и отчаянно холодному... Сквозь двери комнаты 28-й, где заседают левые эсеры, иесутся громкие голоса спорящих; дверь заперта. 18-я комната на первом этаже — это ленинская секция: в нее набилось иесколько сот большевиков. Похоже, что никому нет дела, войдем мы или нет. На вопросы о том, когда заседание закончится, присутствующие нетерпеливо пожимают плечами. Все охвачены восторгом, в глазах у людей — выражение решимости н триумфа. Выглядят оии так, словно не спали много иедель. Но глаза горят».

Рид со своим знакомцем решают направиться иа третий этаж в хорошо известиое Риду помещение Военно-революционного комитета. Пока они идут по лестнице и коридорам, спутник Рида рассказывает ему о себе (эти строки вошли в «Десять дней»):

«По дороге мой спутник рассказал мне о своей прежней революционной деятельности, о том, как ему пришлось бежать из России и с каким удовольствием он довольно долго прожил во Франции... Большевиков этот человек считал грубыми, пошлыми и невежественными людьми, без всякого эстетического чутья...»

Вот они доходят до знаменитой комнаты № 17 (снова текст «Дня второго»):

«На верхнем этаже в маленькой комнатке день и ночь заседает Военно-революционный комитет, центр широко раскинувшегося восстания. Вбегают и выбегают курьеры. Из этой комнаты доносится гул низких решительных голосов».

Происходит встреча спутника Рида с Крыленко (текст «Десяти дней»):

«...Дверь открылась, и из комнаты вышел коренастый широколицый человек в военной форме без погон. Казалось, ои улыбался, но присмотревшись, можно было догадаться, что его улыбка—это просто гримаса бесконечной усталости. То был Крыленко.

Мой спутник — изящный молодой человек очень культурного вида, радостно вскрикнул и шагнул вперед.

«Николай Васильевич! — воскликнул он, протягивая руку.— Разве вы забыли меня? Мы с вами вместе сидели в тюрьме».

Крыленко сделал над собой усилие, сосредоточился, вгляделся. «Ах, да,— ответил он наконец, глядя иа собеседника с самым дружеским выражеиием.— Вы С... Здравствуйте!» Они поцеловались. «Ну, что вы здесь делаете?» Крыленко сделал рукой широкий жест.

«О, я только наблюдаю... Вы, кажется, пользуетесь большим успехом?»

«Да,— ответил Крыленко несколько упрямым тоном.— Пролетарская революция — это большой успех!» Он улыбнулся. «Впрочем... впрочем, может быть, мы снова встретимся с вами в тюрьме!..»

Крыленко шутит, но как один из военных руководителей восстания отлично знает, что враг не сдался и что, прежде чем праздновать победу, нужно нанести еще не один удар.

Легко представить себе эту группу у дверей Военно-революционного комитета вечером 8 ноября 1917 года; бесконечно усталого, нн на минуту не покидающего свой пост Крыленко, утонченного аиархиста, считающего, что большевики «не имеют эстетического чутья», и Рида, внимательиого, напряженно вслушивающегося в разговор этих двух людей на плохо знакомом ему языке.

Переведя Риду свою беседу с Крыленко, «изящный молодой человек» навсегда исчезает со страниц «Десяти дней», успевая, впрочем, сообщить на прощание Риду, что совершившаяся революция отнюдь не успех, как сказал Крыленко, а «огромная неудача», лишь доказывающая, что «русский народ еще не созрел для революции».

Свои следующие записи Рид ведет уже в зале заседания. Впечатления Рида от исторического ночного заседаиия Второго съезда Советов с 8 по 9 ноября и его сохранившиеся записи подробно охарактеризованы нами в специальном очерке «Ленин и «Десять дней, которые потрясли мир».*

Рид и Луиза Брайант покинули Смольный лишь под утро.

В «Дне втором» имеются такие заключительные строки, отсутствующие в книге:

«Уже пробило пять часов утра, когда мы наконец выходим. В более южных странах, на востоке уже алела бы заря, здесь еще часа четыре будет темная ночь. Снега еще нет, но черная грязь, покрывающая улицы, смерзлась. На перекрестках, вокруг ярко горящих костров, на корточках сидят небольшие группы красногвардейцев. При виде нас они кричат: «Да здравствует свободная Россия!» — глаза их горят, а голоса полны неистощимого волнения».

5

Шестая и седьмая главы книги Рида посвящены пятнице 27 и субботе 28 октября (9 и 10 ноября), в течение которых созрел контрреволюционный мятеж Керенского — Краснова.

Блокнотных заметок Рида к шестой главе не сохранилось. Эта глава, «Комитет спасения», показывает, как остро сумел увидеть Рид бешеное сопротивление контрреволюции, мгновенно спаявшихся воедино антибольшевистских сил от Каледина и кадетов до эсеро-меньшевистской интеллигенции.

27 октября (9 ноября) Рид вышел утром

* «Иностранная литература», № 11, 1966.

ия Невский проспект, направляясь к Городской думе. Вокруг большевиков бушевало, как он пишет, «море вражды». Буржуазная толпа, «состоящая из тех же людей, какие в полдень заполняют тротуары Пятой авеню», со злобой накидывалась на рабочих, продававших большевистские газеты, на идущих в одиночку матросов и красногвардейцев. В Городской думе шли беспрерывные заседания Комитета спасения, вырабатывавшего планы борьбы с пролетарской революцией. Буржуазные журналисты радостно передавали слухи, что войска Керенского в Гатчине. Ждали Краснова с казаками, ждали Каледина, чтобы разделаться с ненавистными большевиками.

Между тем начавший действовать Совет Народных Комиссаров и ставший под его руководство Петроградский Военно-революционный комитет с огромной энергией бросили все наличные силы на защиту революции.

В надвигавшихся ранних сумерках Рид и Луиза Брайант отправились в Михайловский манеж; там должен был решиться первостепенной важности вопрос о позиции «броневиков» в предстоящей битве. Уже упоминавшаяся драматическая сцена в Михайловском манеже, где падающий от усталости Крыленко сумел увлечь бронеполк на сторону революции, принадлежит к сильнейшим в книге. Митинг в Михайловском манеже дает Риду повод для прямой ораторской публицистики, не частой в «Десяти днях», но составляющей один из важных органическнх элементов книги:

«Вообразите, что такая же борьба шла в каждой казарме, по всем городам, по всем округам, по всему фронту, по всей России! Вообразите себе этих бессонных Крыленко, бодрствующих над каждым полком, торопящихся с места на место, уговаривающих, спорящих, грозящих! И затем представьте себе, что то же самое происходило в помещении всех профессиональных союзов, на фабриках, на заводах, в деревнях, на боевых кораблях далеко разбросанных русских флотов; подумайте о сотнях тысяч русских людей, пожирающих глазами ораторов по всей огромной России, о рабочих, крестьянах, солдатах, матросах, так мучительно старающихся понять и решить, так напряженно думающих и, в конце концов, решающих с таким беспримерным единодушием. Такова была русская революция!..»

Из Михайловского манежа Рид снова направился в думу, где фабриковалось в это время клеветническое обвинение против большевистских войск, якобы расправившихся самосудом в Зимнем дворце с юнкерами и министрами Временного правительства. После резкого протеста Веры Слуцкой, большевистского гласного думы, была назначена особая комиссия из представителей всех партий для проверки положения заключенных в Петропавловской крепости. Рид отправился вместе с комиссией. В Петропавловской крепости, пока комиссия устанавливает полную необоснованность клеветы, Рид и его спутники пьют чай с красногвардейцами, матросами и солдатами и слушают их рассказы о «великом дие восстанния». Когда уже глубокой ночью американцы возвращались домой по Невскому, мимо них прошли «бесконечные и молчаливые колонны солдат». Поднятые Военно-революционным комнтетом верные революции войска выступали на фронт против Керенского — Краснова.

Блокнотных заметок Рида к седьмой главе тоже нет; сохраннлось лишь два случайных листка. В основном глава посвящена поездке Рида в субботу 28 октября (10 ноября) в Царское Село.

И этот день Рид начал с посещения Городской думы. Там буржуазные газетчики читали Риду и его спутникам прокламации Керенского, злорадно сообщали об антибольшевистской забастовке министерских чиновников и клялись, что Смольный уже пуст.

События между тем развертывались своим чередом.

«Явившись в Смольный, мы застали его не только не покннутым, но и еще более оживленным и деловитым, чем когда бы то ни было»,— пишет Рид в книге. В Военно-революционном комитете, перебравшемся в более просторное помещение на верхнем этаже, дежурство несли близкий друг Рида Шатов и хорошо знакомый ему Яков Петерс, оба владевшие английским языком. Они ввели его в курс событий: в Москве завязались бои; на фронте под Петроградом положение угрожающее; Военно-революционный комитет поднимает петроградские заводы на защиту революции. Когда Рид вышел из Смольного, уже ревели тревожные заводские гудки и красногвардейские отряды строились, чтобы выступить на фронт.

У ворот Смольного стоял автомобиль, в котором готовились выехать на фронт члены Комитета по военным и морским делам Антонов и Дыбенко. Рид выразил желание отправиться вместе с ними, но в машине не было свободных мест. «Тем не менее,— пишет Рид в книге,— один мой русский знакомый, которого я назову Трусишкой, преспокойно уселся в автомобиль и, несмотря ни на какие просьбы, не соглашался очистить место».

Дальше в книге следует рассказ Трусишки о поездке с Антоновым и Дыбенко, в течение которой Трусишка дважды оказывается полезным обоим командующим. Первый раз, когда они, оба голодные, решают купить что-нибудь поесть, выясняется, что кошельки их пусты. Второй раз, когда нужно написать приказ, оказывается, что ни у Дыбенко, ни у Антонова нет ни карандаша, ни бумаги. У Трусишки в запасе и карандаш, и бумага, и деньги. «У меня нет никаких оснований не верить рассказу Трусишки»,— пишет Рид. Действительно, на пятые сутки напряженной боевой деятельности, без отдыха и сна, Антонов и Дыбенко едва ли могли преду-

смотреть все необходимые мелочи своей поездки.

В более ранней версии этого эпизода, в напечатанном в «Либерейторе» очерке Рида «Керенский наступает», «русский знакомый» Рида, поехавший с Антоновым и Дыбенко, назван Козловым*. На самом деле речь идет о переводчике американской миссии Красного Креста, уже упоминавшемся Алексе Гомберге.

Сохранилось два блокнотных листка с конспективной записью этого эпизода, частично со слов Гомберга.

«Едет на фронт с Антоновым и Бобреико (Дыбенко — ошибка Рида.— А. С.); **один военный министр; другой — морской. Антонов уже описан. Бобреико — могучего сложения броизоволицый матрос; в руке все время револьвер. Поломка машины. Пытаются реквизировать другую. Принадлежит пулеметиому полку. Отказ. У Антонова докумеит, требующий подчииеиия ему. Решают купить провизию на четыре дня. И тот и другой без денег. Заиимают у Гомберга, журиалиста. У Нарвской заставы докладывает командир Красиой Гвардии. Говорит: все в порядке** (Рид пользуется характерным американским речением: «О'кей».— А. С.), **но иет патронов. «Не беда, у иас в Смольном миллиоиы».— «Тогда дайте ордер». Нет бумаги, нет караидаша. Берут взаймы у журналиста».**

«Трусишкой» Гомберг, очевидно, был прозван после того, как в те же дни в прифронтовой полосе под Петроградом, боясь встречи с казаками Керенского, спрятал в рот и невзначай проглотил пропуск из Смольного, свой и Альберта Рис Вильямса, которого сопровождал в качестве переводчика. Этот эпизод рассказан в книге Луизы Брайант. В «Десяти днях» Рид пишет «Трусишка» английскими буквами (Trusishka), без всякого перевода, придавая своей иасмешке скрытый характер.

Рид был, конечно, немало огорчен, что не сумел поехать на фронт прямым путем с Антоновым и Дыбенко, но не отступил от своего намерения. Вдвоем с Луизой Брайант они отправились иа вокзал и поехалн в Царское Село поездом. Луиза Брайант пишет, что они выехали в 6 часов вечера.

В книге Рид подробно передает свои впечатления от поездки.

Вернувшись в Петроград, Рид еще раз отправился в Городскую думу, чтобы выяснить настроение в антибольшевистском лагере. Контрреволюция открыто поднимала голову. В Александровском зале думы шло ночное заседание Комитета спасения. Уже была избрана комиссия для торжественной встречи Кереиского. Никто не захотел верить Риду, что в Царском Селе войск Керенского нет. Знакомый буржуазный журналист «под строжайшим секретом» сообщил, что в полночь контрреволюциоиные силы попытаются захватить власть в Петрограде, и показал Риду отпечатаиное воззвание к юнкерам и офицерству за подписью лидера эсеров Гоца и бывшего главнокомандующего Петроградским военным округом при правительстве Керенского полковника Полковникова.

* "Kerensky is coming!" "The Liberator", 1918, July.

6

В восьмой главе, названной Ридом «Контрреволюция», описаны два дня — воскресенье 29 октября (11 ноября) и понедельник 30 октября (12 ноября).

В восьмой главе Рид описывает мятеж юнкеров в Петрограде и разгром его солдатами-большевиками, красногвардейцами и кронштадтскими матросами.

С утра 29-го Рид отправился в Смольный, где «полным ходом, ие слабея, действовал, наиося удары, Военно-революционный комитет».

Рид был на заседании Петроградского Совета (в блокнотной записи помечеио: **«4 часа пополудни»**) и потом на заседании нового ЦИКа, обсуждавшего и утверждавшего декреты и постановления работавшего этажом выше Совета Народных Комиссаров. На обоих заседаниях, как пишет он в книге, «присутствовало иесколько сот человек, в большинстве вооруженных». Из Смольного во второй половине дня Рид пошел в думу. В Александровском зале продолжал заседать заговорщический Комитет спасения; приказом Военио-революционного комитета он был уже объявлен вне закона. Провал мятежа в Петрограде был очевиден, и в думе, как пишет Рид, «царило явиое сомнение и упадок сил». На юнкеров махнули рукой, но все еще ждали казаков Керенского. Тем времеием Военно-революционный комитет наращивал свои силы.

Те часы в это воскресеиье, когда он ие был в Смольном и в думе, Рид провел на петроградских улицах. Сам он, Вильямс, Луиза Брайант и Бесси Битти стали свидетелями кровопролитных уличных боев. Вильямс был на захваченной юнкерами телефонной станции. Луиза Брайант присутствовала при жестокой схватке матросов с броневиком мятежников на Исаакиевской площади. Значительная часть блокнотных заметок Рида за этот день посвящена их рассказам, с помощью которых он стремится воссоздать картину мятежа.

Первая заметка называется **«В субботу ночью»:**

«На рассвете 50 юнкеров подошли к телефонной станции (по приказу Полковиикова) и, пользуясь большевистским паролем, коварио захватили ее. Разоружили и арестовали матросов. Утром подъехал иа автомобиле Антоиов, думал, что иа станции матросы, был арестован. Матросы начали осаду».

Вторая заметка под заглавием **«Телефонная станция»** посвящена развитию событий в воскресенье, 11-го.

«Матросы с броиевика и другие матросы ворвались иа Телефоииую стаицию и загнали юикеров иа верхний этаж. Те, желая спастись, умоляли дать им штатское платье. Вильямс направился к Антонову, обещал,

что спасет им жизнь, если они капитулируют. Вильямс и Антонов выступали с речами, уговорили пощадить».

О капитуляции юнкеров на телефонной станции подробно рассказывает Альберт Рис Вильямс в своих воспоминаниях. Последний эпизод — обращение юнкеров через посредство Вильямса к арестованному ими Антонову-Овсеенко со слезной просьбой пощадить их — юмористически изложен самим Антоновым-Овсеенко *.

Третья заметка Рида касается боя у «Астории»:

«Утром юнкера захватили «Асторию». Матросы выбили их вон. Броневик подъехал к «Астории»», открыл огонь по матросам и собравшейся толпе. Четверо убитых, из них двое—малеиькие мальчики. Матросы с криком бросились к броневику и закололи всех, кто был в нем, в том числе аиглийского офицера».

Совсем отдельно стоящая запись Рида **«Адъютант Керенского в Европейской гостинице 29-го»** осталась бы нерасшифрованной, если бы не подробный рассказ о тех же воскресных событиях в книге Луизы Брайант. Оиа вспоминает, как пришла из Смольиого со знакомым большевиком (И. А. Залкиидом, с которым у Рида и у нее установились близкие дружеские отношения) в Европейскую гостиницу, чтобы добыть в квартировавшей там американской миссии Красного Креста дефицитиое лекарство для кого-то из заболевших жителей Смольного. В вестибюле гостиницы к ией подошел молодой грузин, в котором она легко призиала переодетого в штатское адъютанта Керенского, памятного ей по посещениям Зимнего дворца. Переодетый офицер обрадовался американской журналистке и громогласно заявил, что завтра же Керенский будет в Петрограде с 80 тысячами казаков и большевистские вожди будут висеть на фонарях. Когда, выйдя из гостиницы, Луиза Брайант объяснила Залкинду, кто был наглый незнакомец, Залкинд сказал, что примет меры к его аресту. Луиза Брайант запротестовала, считая, что арест слишком крутая мера, но тут же получила веское доказательство своей неправоты. На углу улицы Гоголя и Исаакиевской площади их обстреляли офицеры-снайперы с окрестных крыш. Укрывшись во дворе за гостиницей «Англетер», они попытались пройти к «Астории», но вновь попали под огонь подъехавшего броневика мятежников. Это был тот самый, упомянутый в записи Рида броневик, который был обезврежен геройской атакой матросов **. Луиза Брайант пишет, что один из ее спутников уговорил матросов отпустить шофера броневика, сказавшегося раненым. У Рида есть блокнотная заметка об этом шофере: **«Гомберг уговорил пощадить шофера с броневика, который сказал, что ранеи. Позже этот шофер отправился в думу и там хвалился, что провел всех за нос».**

Рид специально интересуется деятельностью иностранных офицеров, оказывавших военную помощь мятежникам. **«Английские и французские офицеры на «Телефонной станции»,**— записывает он в блокноте; и еще: **«Фраицузский офицер, оказавшийся в другом броневике, посажеи в Петропавловскую крепость. Комитет спасения требует освободить его».** Он также записывает, что французские офицеры в Москве принимают участие в боях на стороне контрреволюции. В книге он говорнт: «Каково бы ни было официальное поведение союзных посольств, отдельные английские и французские офицеры вели себя в эти дни весьма активно, вплоть до участия в качестве экспертов на заседаниях Комитета спасения...» Вниманне Рида к этому вопросу вполне обосновано. В дальнейшем была документально установлена связь Комитета спасения с ннострannыми посольствами.

Последняя заметка Рида, посвященная ликвидации мятежа, написана им на следующий день, в понедельник 30 октября (12 ноября).

«Вчера вечером, около 8 часов, захвачеиа Михайловская иижеиериая школа, штабквартира Комитета спасеиия. Юнкера под конвоем проследовали в Петропавловскую крепость».

В коице этого дия, 30 октября, когда на фронте под Петроградом решалась судьба революции, встреченный Ридом в думе знакомый эсер предложил провести его на нелегальную квартиру разгромленного во вчерашних уличных боях Комитета спасения. В сумерках они направились к дому на Невском. Их впустили по условному стуку. В писавшем что-то в ваниой комнате пожилом офицере Рид узнал одного из руководителей мятежа, полковника Полковникова. В книге Рид подробно рассказывает о своей беседе с двумя офицерами, членами партии эсеров, которые, укрывшись вместе с другими заговорщиками, дожидались исхода сражения под Петроградом.

В блокноте на десяти страничках, под заголовком **«Тайиая квартира Комитета спасения»** сохранилась конспективная запись этой беседы. Записан номер дома по Невскому, куда привели Рида (№ 86), и номер квартиры (№ 229). Расшифрован и «особенный стук проводиика» **(«4 коротких удара»).** Как указывается в записи (этого нет в книге), один из собеседников Рида был секретарем военной организации партии эсеров.

Конец беседы не вошел в книгу. Вот некоторые дополнения по блокнотной записи Рида:

«— Мы ие признаем диктатуры пролетарната, только всенародное правительство,— говорит эсер.

---

* «...Внезапно открылась дверь, и с парой трясущихся юнкеров передо мной предстала довольно знакомая фигура Вильямса, корреспондента социалистической американской газеты». (В. А. Антонов-Овсеенко. Записки о гражданской войне, т. I, М., 1924, стр. 83).

** Захват матросами мятежного броневика описан в воспоминаниях Н. А. Ховрина, который был сам в числе атакующих (см. Н. А. Ховрин. Балтийцы идут на штурм. М., 1966, стр. 189—190).

— Вы готовы терпеть кадетов вплоть до самого Учредительного собрания,— отвечает Рид.— Почему же вы не можете сотрудничать с большевиками?

— От кадетов не будет вреда.

— Но Московский Совет потребовал же удаления (имя не разобрано.— А. С.)...— **возражает Рид.**

— Раз большевики хотят строить социалистическое государство, значит, работать с ними невозможно. Большевистская система — это передача всей власти Советам, народным комиссарам. Это значит — идти против всех, свергать правительство.

— А что вы делали вчера,— отвечает Рид,— разве вы не пытались свергнуть правительство пролетариата, стоящее у власти?»

Ниже — запись Рида о классовом составе тех, кто концентрировался в эти дни вокруг контрреволюционной думы. **«Ни единого рабочего или солдата. Сплошь офицеры, буржуазия, чиновники».**

Вечером Рид снова в Смольном. Он присутствует на затянувшемся до ночи заседании Петроградского Совета, где с краткой речью об аграрной политике Советской власти выступил Ленин.

Когда Рид под утро готовился покинуть Смольный, пришла весть о решающей победе революционных сил под Петроградом.

В блокноте имеется запись Рида, не вошедшая в книгу; она не вполне точна по фактам, но хранит жар и волнение минуты:

«31-е. В Смольном. Весть о великой победе большевистских войск. Участвовали: все петроградские полки, 5000 кронштадтских матросов и 50 000 красногвардейцев (Krasnaia Gvardia). **Красногвардейцы захватили Ред Вилледж** (Красное Село), **трижды атаковали с ужасными потерями, бросались толпами; порой, забывая стрелять, сбивали прикладами казаков с коней и заставляли бежать пеших. Захватили Колпино, Александровку, Царское Село, Гатчину (?).**

Нельсон всю ночь находился в Красном. Освобождены все поселки в Петроградской Campagna*. В Смольном все повеселели».

Ниже запись другого рода:

«Гомберг узнал о контрреволюционной интриге. Хотят достать какие-то бумаги, полученные Милюковым из Германии, и выдать их за большевистские документы, чтобы представить большевиков немецкими шпионами».

Это самые ранние сведения об антибольшевистской фальшивке, известной под названием «документов Сиссона». Тесно связанный с посольством США в Петрограде американский журналист-разведчик Эдгар Сиссон (занимавшийся среди прочего и политической слежкой за Ридом) вывез из России и опубликовал в США заведомо поддельные антибольшевистские документы. Риду по возвращении на родину пришлось специально заниматься этим делом. Он разоблачил фальшивку в брошюре «Документы Сиссона», вышедшей в Нью-Йорке в 1918 году.

* Дачная, пригородная местность *(итал.)*.

7

В девятой главе «Победа» описан вторник, 31 октября (13 ноября).

Рано утром Рид отправился в Смольный. «Идя от внешних ворот по длинным деревянным мосткам,— вспоминает Рид в книге,— я заметил, что в сером безветренном воздухе порхают первые снежинки. «Снег! — весело улыбаясь, закричал часовой, стоявший у двери.— Здорово!»

Рида поразила тишина, царившая в здании. На полу в коридорах и в залах заседания спали рабочие и солдаты, вернувшиеся с фронта, взлохмаченные, забрызганные грязью, многие в окровавленных повязках. В Военно-революционном комитете дежурил Н. А. Скрыпник, информировавший Рида о ходе событий. Он высмеял попытку обанкротившегося Чернова занять позицию нейтрального посредника между Керенским и Смольным.

«Теперь не может быть никаких «нейтральных»,— сказал он.— Мы победили!» Его резкое бородатое лицо пылало почти религиозным воодушевлением».

Встреченный Ридом Каменев рассказал, что он от имени большевиков согласился на предложение Викжеля образовать коалиционное правительство совместно с меньшевиками и эсерами. Это было нарушением партийной директивы. Через два дня ЦК большевиков, по предложению Ленина, отверг соглашение с контрреволюционными партиями.

В то же утро в Смольном — он не пишет об этом в «Десяти днях» — Рид получил от Ленина краткое обращение к американским рабочим-социалистам:

«Товарищи! Первая в мире пролетарская республика приветствует вас. Мы призываем вас к борьбе за мировую социалистическую революцию!»

Узнав в Смольном об антибольшевистской забастовке союза банковских служащих и усиливающихся финансовых затруднениях правительства, Рид отправился в Государственный банк, где добровольцы, рабочие, солдаты и матросы, пытались разобраться в брошенных бастующими чиновниками банковских книгах и документах.

Из банка Рид зашел в Городскую думу, сильно поумерившую свой антибольшевистский пыл, а оттуда вернулся в Смольный с намерением ехать на фронт.

В полдень у ворот Смольного Рид договорился с шофером санитарного автомобиля, что поедет на фронт в его машине. В книге он вспоминает, как сперва они завернули на Кирочную, в солдатский комитет 6-го запасного саперного батальона, которому, как видно, принадлежал автомобиль. Там Рида дружески приняли, как американского социалиста, накормили, расспросили об американских делах, и весь комитет вместе с Ридом отправился в Царское Село. Рид познакомился с председателем комитета унтер-офицером Баклановым, который немного говорил по-французски. В основе этой части рассказа Рида лежат две блокнотные записи.

Первая заметка (о машине у ворот Смольного): **«Санитарная машина идет на фронт. Мой пропуск. Молодой доброволец. Разговариваем по-немецки».**

Пропуск Рида — это, очевидно, воспроизведенное в первом издании его книги удостоверение ВРК на бланке Военного отдела Петроградского Совета:

«Настоящее удостоверенне дано представителю американской социал-демократии, интернационалисту товарищу Джону Риду в том, что Военно-революционный комитет Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов предоставил им право свободного проезда по всему Северному фронту в целях осведомления наших американских товарищей-интернационалистов с событиями в России».

28 октября 1917 года. Круглая печать Военного отдела.

Вторая заметка Рида касается посещения солдатского комитета на Кирочной: **«Помещение комитета 6-го батальона. Завтрак. Общий котел с супом; 6 или 8 ложек. Котел с кашей** (kasha). **Хлеб ломтями. Сердечная встреча. Смех, шутки».**

В книге дальше следует известный рассказ Рида: фронтовая дорога, захваченное большевистскими войсками Царское Село, Дыбенко, склонившийся над картой.

В конспективной блокнотной записи, легшей в основу печатного текста, имеются интересные варианты.

«Мы едем на фронт вниз по Литейному, огромная серая арка с золочеными надписями в честь побед в Персии, Турции и Центральной Азии (Московские триумфальные ворота на нынешнем Московском проспекте.— А. С.). **Городские ворота. Вооружены до зубов. Говорят, можно наскочить на казаков.**

Красногвардейцы идут по шоссе, шлепают по глубокой грязи. По сторонам монастыри с золотыми куполами. В большинстве молодежь, встречаются мальчуганы лет одиннадцати. Идут работницы с повязками Красного Креста на рукаве, многие с винтовками, патронташами. Проносится грузовик, ощетинившийся штыками. Красногвардейцы одеты бедно, во что попало, смеются, шутят, поют. Другие бредут назад, из жестокого боя, иссиня-бледные, заляпанные грязью. Санитарные машины. В крестьянской телеге молодой рабочий скорчился, схватившись за рану в животе, громко кричит. Весь город вооружился и вышел на дорогу.

Петроград в лучах солнца. Справа белые и золотые купола и шпили. Слева высокие трубы пускают черный дым в сумрачное небо. Еще левее — блещущее море. Всюду солдаты, дорога забита. Возвращаются раненые. Артиллерия. Броневики.

На повороте к Пулкову — толпа. Здесь красногвардейцы вчера ночью разбили казаков. Шумный разговор, поздравления. Красноармеец на казачьей лошади носится взад-вперед».

В книге, описывая, как машина въезжает на холм у Красного Села, Рид передает рассказ шофера о смерти большевички Веры Слуцкой, убитой утром этого дня здесь на высоте прямым попаданием снаряда из мятежного бронепоезда. Рид знал Слуцкую по ее выступлениям в Городской думе. В одной из блокнотных записей имеется также рассказ И. А. Залкинда, который был с Верой Слуцкой в момент ее гибели.

«Большое Пулково на холме, господствующем над местностью, — продолжает Рид.— **Открывается огромная равнина, словно море; мчатся облака, сверкающий город выбрасывает на дорогу тысячи яростных людей. Царское. Новые толпы солдат, матросов и рабочих».**

Дальше Рид зарисовывает Дыбенко:

«Штаб. Дыбенко, военный министр, руководит операцией. С ним председатель Царскосельского Совета. Подходят с просьбами штатские и офицеры. Склонился над картами, составляет план наступления. Сам печатает на машинке один приказ за другим. Отдает распоряжения об арестах. Кругом его матросы и красногвардейцы. Длинные волосы (но не до плеч), борода, благородное спокойное лицо, исполненное достоинства. На столе револьвер вороненой стали, от которого он не может оторваться. Строгая охрана в большевистской армии. Наши пропуска проверены уже десятки раз».

Дыбенко назначает приехавшего Бакланова комендантом Царского Села, и Рид сопровождает Бакланова в Екатерининский дворец. Там они застают старого комендаита, полковника, который так начальственно принимал Рида и Луизу Брайант два дня назад. **«Он приветствовал меня словно без вести пропавшего брата»,** — пишет Рид. Бакланов вступает в командование; полковника арестовывают и отправляют в Петроград.

Еще одна запись о Царском Селе дополняет текст книги:

«Иду назад в штаб (во дворце великого князя Михаила). Кучка солдат с изумлением разглядывает через окна зимний сад. Вижу грузовик, буксирующий на фронт пушку. Набит матросами, красногвардейцами и женщинами. «Можно с вами?» — «Пожалуйста!» (Pojalst!)».

В грузовике с красноармейцами и матросами Рид едет дальше, к линии фронта. По дороге начитанный красногвардеец, которого зовут Владимир Николаевич, расспрашивает его о рабочем движении в США. После нескольких путевых приключений солдатский патруль останавливает машину для проверки документов; Рида неожиданно арестовывают, так как его удостоверение из Смольного не похоже на солдатские пропуска остальных. Плохо умеющие читать конвоиры уже подумывают, не расстрелять ли Рида, как иностранного шпиона, но Рид заставляет их отвести его в солдатский комитет расквартированного неподалеку 2-го Царскосельского стрелкового полка; там его снова гостеприимно принимают, как американского товарища-соцналиста. «Идите в офицерский клуб,— говорит ему пред-

седатель полкового комитета,— там есть кому поговорить с вами на вашем языке». Рида ведут обедать в офицерское собрание, где ему, среди отлично объясняющихся по-французски царских офицеров в полной форме, при орденах, сперва кажется, что он попал в дореволюционный мир; но затем он убеждается, что на самом деле полком командует солдатский комитет. Полк готовится выступить против казаков Керенского.

Рид едет назад в Царское Село, где еще успевает увидеть Дыбенко, мчащегося на автомобиле в Гатчину «разделываться с Керенским». Это было во втором часу ночи 1 (14) ноября. В конце главы Рид рассказывает о своем возвращении в Петроград, в кабине попутного грузовика с шофером, старым петроградским рабочим.

«Старый рабочий, правивший нашей машиной, восторженным жестом взмахнул в сторону сиявшей вдали столицы.

«Мой! — кричал он, и лицо его сияло.— Теперь весь мой! Мой Петроград!»

Цитируемый блокнотный материал упорядочен, страница за страницей исписаны ровным, убористым почерком. Запись, по-видимому, сделана Ридом по возвращении из поездки. Она составила надежную основу для будущей девятой главы книги.

Следующие несколько дней Рид был занят литературной работой. Он пишет свои первые очерки о революционных событиях, свидетелем которых ему пришлось стать. Время работы Рида над этими очерками устанавливается по его собственным указаниям в тексте. «Вчера Керенский, после поражения в Гатчине, бежал переодетым...— пишет Рид.— ...вчера вечером пролетарская милиция... триумфально прошла по Загородиому проспекту». Это написано 2 (15) ноября. Дальше Рид сам датирует свой очерк: «Сейчас — я пишу эти строки 4 ноября — рабочие крепко держат власть...» *

2 (15) ноября Рид получил на руки разрешение отправить в «Нью-Йорк Колл» обращение Ленина и краткое сообщение о победе Октябрьской революции. Это разрешение на бланке только что сформированного штаба Военно-революционного комитета воспроизведено в первом американском издании «Десяти дней»:

«Удостоверение.

Дано сие журналисту нью-йоркской социалистической прессы Джону Риду в том, что текст телеграммы просмотрен Правительством народных комиссаров и препятствий к отправлению не имеется, а также предлагается всячески содействовать ее отправлению по назначению.

2 ноября 1917 года. За главнокомандующего: Антонов. Начальник штаба: Влад. Бонч-Бруевич».

В те же дни Рид отправил почтой в Нью-Йорк и свои очерки, написанные 2—4 (15—17) ноября. Вместе с более ранними очерками о предреволюционных днях в Петрограде они были опубликованы в «Либерейторе», уже по возвращении Рида в США, и затем вышли в Нью-Йорке и Лондоне отдельной брошюрой под заглавием «Красная Россия».

* "The Triumph of the Bolsheviks". "The Liberator", 1918, March.

8

Десятая глава книги Рида называется «Москва».

Бои с юнкерами в Москве носили напряженный характер. В Петрограде распространились слухи о катастрофических разрушениях в городе, о невозвратимой гибели соборов и других архитектурных памятников Кремля. Иностранная капиталистическая печать охотно подхватывала эти ложные сведения, дабы объявить всему миру о «варварстве большевиков». Верный своему правилу держаться фактов и проверять их лично, Рид решил, невзирая на трудности, пробиться в Москву. С ним вместе поехала Луиза Брайант. «В Смольном нам выдали пропуска, без которых никто не мог уехать из столицы...» — пишет Рид в «Десяти днях». В книге Луизы Брайант факсимильно воспроизведен ее пропуск.

«Пропуск.

Военно-революционный комитет разрешает тов. Луизе Брайант свободный выезд из Петрограда до ст. Москва и обратно.

Пропуск действителен на 3 дня со дня выдачи.

9 ноября 1917 года. Подпись секретаря. Круглая печать Военно-революционного комитета».

В «Десяти днях» Рид очень живо описывает свою поездку в перегруженном поезде, набитом солдатами и всевозможным людом. Ознакомившись с пропусками из Смольного, солдаты дружелюбно освобождают купе для американских журналистов.

«Идем отсюда, товарищи! — закричал один из них.— Это американские товарищи! Они приехали посмотреть нашу революцию за тридцать тысяч верст... Здорово небось устали!»

Рид описывает Москву после отгремевших боев и свои встречи с московскими большевиками. Он также описывает похороны на Красной площади рабочих и солдат, отдавших жизнь за победу революции. Это — знаменитые страницы книги. В своем предисловии к «Десяти дням» Н. К. Крупская, напоминая читателям, что Рид погребен у Кремлевской стены, пишет: «Тот, кто описал похороны жертв революции, как Джон Рид, достоин этой чести».

По блокнотным заметкам Рида и по книге Луизы Брайант можно несколько пополнить сведения об их пребывании в Москве.

Они пробыли в Москве три дня — 9 (22), 10 (23) и 11 (24) ноября. Они жили в «Национале», поврежденном менее других гостиниц в центре города. Луиза Брайант пишет, что окна их номера глядели на Кремль и Красную площадь.

В четверг 9 ноября Рид установил контакт с советскими органами власти. В Московском Совете он беседовал с большевиком М. Н. Роговым, комиссаром по гражданской части города. Рогов пригласил аме-

рикаиских журналистов принять участие в торжественной похоронной процессии, иазначенной на следующее утро. Здесь же, в Моссовете, Рид встретил Г. Н. Мельничанского, секретаря Московского профсоюза металлистов и члена Московского Военно-революционного комктета; Мельничанский жил в эмиграции в США, и Рид помнил его как Джорджа Мельчера, одного из руководителей известной стачки на предприятиях Рокфеллера в Байонне, штат Нью-Джерси, в 1916 году. Мельничанский рассказал Риду об уличных боях в Москве.

Обойдя московские улицы по следам боев, Рид записал в блокноте:

«На Тверской, близ «Националя» все витрины разбиты. Бой был ожесточенным... Окопы на Тверской. Следы разрушеиий на Никитской, на Тверском бульваре. Баррикады иа Театральиой площади, иа Красной площади (булыжник из мостовой)».

И еще:

«Гостиница «Метрополь» разбита — насчитал 30 пробоин от сиарядов. Также ворота в Кремль. Большевики не всегда точно зиали, где засели юнкера; стреляя, ориентировались на богатые кварталы; иа окраине, в рабочих кварталах, никаких следов прошедшего боя. Шесть дней ни одии буржуй ие смел и иоса высунуть иа улицу».

Рид сделал также несколько беглых записей о том, как развивались революционные события в Москве:

«Столкиовения здесь начались со стачки кожевников. Московские фабрикаиты хотели спровоцировать всеобщую забастовку. Тут произошли события в Петрограде. Тогда здешиий Совет сформировал Военно-революциоиный комитет, предписал кожевенным фабрикаитам немедленно удовлетворить требоваиия стачечников. Направил солдат (256-й поляк) под комаидованием Берзина, которые вошли в Кремль, окружили юнкеров и приказали им очистить Кремль. Юикера спросили Берзина, могут ли они мирио удалиться; он дал согласие. Юикера вышли, открыли пулеметный огонь, убили 60 человек; избили Берзина. Юнкера и белогвардейцы бросились в артиллерийские казармы; захватили два орудия; красногвардейцы их позже отбили. Тогда вступили в действие артиллеристы, до того храиившие иейтралитет. Пушки на Скобелевской площади и в других пунктах города. Юнкера и другие — в центре. Войска Военио-революционного комитета атакуют со всех сторон, сжимают кольцо. Выбивают юикеров артиллернйским огием из «Метрополя». Ведут огоиь по думе, по Кремлю, разбивают кремлевские ворота. После сопротивлеиия юнкера сдаются Муралову (простой солдат, окончил сельское училище, председатель Совета солдатских депутатов, главнокомандующий). Большевики отпустили всех плениых».

Поздно вечером Рид присутствовал на общегородской конференции московских большевиков в Колонном зале Благородного собрания (Дома Союзов); приехавшие из Петрограда Рыков и Ногин давали объяснения, почему они покинули свои посты в Совете народных комиссаров. Собрание резко осудило их за дезертирство.

Почти всю эту первую ночь в Москве Рид и Брайант провели на Красной площади, где московские рабочие рылн в мерзлой земле братские могилы.

В 2 часа ночи они пошли в Моссовет получить пропуск на траурную демонстрацию. Этот пропуск воспроизведен в книге Луизы Брайант. Небольшой квадратик бумагн, удостоверяющий личность «участника похоронной процессии». Печать Московского центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и подпись секретаря комиссии по организации похорон Л. А. Каменской.

Риды вернулись на Красную площадь. Там они познакомились со студентом, участником революционных боев, которого Рид упоминает в книге. В блокноте стоит запись: **«Студент, с которым мы познакомились ночью у могил; немного говорит по-немецки: «Русские революционные методы — лучшие. Они дают результаты».**

В 5 часов утра Риды пошли в гостиницу немного передохнуть, а в половине восьмого уже стояли на Скобелевской (Советской) площади в строившейся колонне демонстраитов. Они шли в первых рядах вместе с большевистскими руководителями. На Красной площади, стоя на огромной груде вырытой земли, служившей импровизированной трибуной, Рид записывал свои впечатления, послужившие в дальнейшем основой для знаменитых страниц его книги.

(Начало записи отсутствует) **«...с красиыми знаменами — «Жертвам буржуазии», «Мученикам первых боев социалистической революции» — идут рабочие и работницы, поют, иекоторые плачут. Оркестры играют траурный марш и революциоиный походный марш. Несут гробы на плечах или на матерчатых лентах, везут на грузовиках, на санитарных автомобилях. Гробы, иаскоро сколочеиные, из неструганых досок. Некоторые вовсе иепокрашены, другие выкрашены красным. Красное всех тонов, чаще всего — цвета запекшейся крови. Несколько анархистских знамен — черные с белыми буквами. Остальные красиые, всех оттенков, с серебряными и золотыми буквами, с черными траурными лентами. Гробы покрыты золотой или серебряиой парчой. Другие — с именами павших на прибитых гвоздями листах бумаги. Но многие, многие без всяких имен — мертвецы неизвестны... Гробы с головиыми уборами — шапками,— прибитыми на гробовых крышках. Шли весь день, час за часом, с заводов, с дальних окраин; с 10 утра до 6 вечера, с гробами павших и со зиаменами; красиогвардейцы, солдаты, женщины; шли через Красную площадь, где их встречала толпа в 50 тысяч человек. На стенах Кремля огромные знамена с надписями: «Да здравствует победа пролетариата!» На солдатских зиамеиах: «Да здравствует III Интернациоиал». На миогих — требование «справедливого демократическо-**

го мира». Женщины помогают нести гробы. Старухи работницы с морщинистыми лицами, стеная подобно раненым животным, пытаются броситься в открытую могилу, на гроб родного человека. Пролетарии любят своих близких! Близится морозный вечер, солдаты и рабочие начинают засыпать могилы землей, поспешая в сгущающихся сумерках. Взмахи лопат, крики. На всех деревьях кругом — люди, на Кремлевской стене тоже. Сотни огромных венков свисают с деревьев».

Видимо, позже Рид записал еще несколько строк:

«Не в пример Петрограду, где не было случая показать силу сочувствия [павшим], здесь сотни тысяч вышли на улицу. Грандиозное зрелище. Почти сплошь пролетарии. Но также студенты, литераторы и другие представители интеллигенции. Ярославский в похоронной процессии. Терпеливость, добродушие, вежливость толпы».

С окоченевшими руками и ногами Риды стояли на площади до 7 часов, когда в могилу был опущен последний гроб. В тот же вечер кто-то из иностранных корреспондентов повез их в дом к московскому коммерсанту, нажившемуся на военных поставках. Пораженный зоологической ненавистью хозяина и его гостей к революции, Рид опросил сидевших за столом, кого они предпочитают, кайзера или большевиков? Подавляющее большинство высказалось за немецкое нашествие. Рид вспоминает об этом в первой главе книги.

На третий день своего пребывания в Москве, в субботу 11 ноября, Рид и Луиза Брайант осмотрели Кремль.

Уже 10-го они получили из Московского Военно-революционного комитета следующее письмо к коменданту города:

«Военно-революционный комитет при Московском Совете рабочих и солдатских депутатов. 10 ноября 1917 года.

Настоящим Военно-революционный комитет просит выдать пропуска для осмотра Кремля представителям Американской социалистической партии при социалистической прессе тт. Риду и Брайант».

Письмо подписали член Московского Военно-революционного комитета А. П. Розенгольц и секретарь А. А. Додонова.

(Анна Андреевна Додонова сказала мне, что хорошо помнит это утро 10 (23) ноября в Московском Совете. Она вела прием; вестибюль был забит посетителями; Рид вошел и занял место в конце огромной очереди. Увидев, что это иностранец, Анна Андреевна подозвала его и расспросила, что ему нужно. Рид по-русски объяснил свою просьбу. Вопрос был тут же согласован с дежурным членом Военно-революционного комитета, и машинистка ВРК Рождественская «отстукала» письмо коменданту Кремля для Рида и Луизы Брайант.)

На блокнотном листе запись Рида:

«Получить пропуск в Кремль.

Неглинная, 7.

Поблизости от Александровского сада».

Очевидно, комендант Кремля все же принял Ридов за досужих иностранцев и обошелся с ними не очень любезно, потому что Рид дальше записал:

«Новый комендант Кремля, выдавший нам пропуска. Суровый, преисполненный важности (он — капрал; мы — буржуи!)».

Результатом осмотра Кремля явилось составленное тут же на месте и сохранившееся в блокнотной записи Рида краткое коммюнике под названием «Повреждения в Кремле». Это черновой вариант отчета, приложенного им позднее к «Десяти дням» и начинающегося словами: «В Кремле я был лично непосредственно после его бомбардировки и сам осматривал все повреждения...»

В черновой, блокнотной, записи Троицкие ворота названы «воротами верхнего входа», Благовещенский собор — «маленьким собором» и Чудов монастырь — «красным монастырем». В дальнейшем кто-то из друзей Рида помог ему отредактировать отчет о Кремле. Из отчета следует, что в Кремле пет катастрофических разрушений и те памятники, которые пострадали от артиллерийского обстрела, без особого труда могут быть восстановлены.

Луиза Брайант вспоминает в своей книге, как она с Ридом обошла Кремль в сопровождении красногвардейцев и как кремлевские священники провожали их угрожающими взглядами.

В блокноте Рид записывает сразу же после отчета о повреждениях:

«Обозленные попы. Обозленные буржуазные художники и др. Несчастные обозленные бедняки, которые крестятся и что-то бормочут, глядя на Кремль. Обозленные толпы спорщиков на Красной площади. Эти последствия боев представляют опасность для большевиков».

Рид уехал из Москвы, выполнив свою задачу, полный новых, глубоко взволновавших его впечатлений, еще более утвердившийся в своей преданности Октябрьской революции.

9

Глава одиннадцатая «Завоевание власти» представляет собою сжатый обзор текущих политических событий и посвящена борьбе большевиков за укрепление советского государства. Обзор составлен Ридом по документальным материалам. В «Приложениях к «Десяти дням» эта глава также документирована обильнее, чем все предыдущие. Самый поздний из приложенных документов датирован 16(29) декабря 1917 года, то есть, строго говоря, выходит за календарные пределы книги. Хотя, конечно, Рид и здесь описывает многие события с учетом собственных впечатлений, одиннадцатая глава выделяется тем, что он почти не упоминает в ней о личных встречах и беседах, не указывает, присутствовал ли на заседании, о котором идет речь, от кого именно получил нужную информацию и т. п. Весь материал такого рода Рид, как видно, резервирует для следующей своей книги «От Корнилова до Брест-Литовска», которую ему уже не пришлось издать.

Рид не только описывает борьбу советского правительства с силами контрреволюции, с разрухой, саботажем и голодом; он также уделяет большое внимание внутреннему положению в большевистской партии, борьбе большевистского руководства с колеблющимися и соглашательскими элементами внутри партии.

В этой связи он подробно освещает заседание ВЦИКа в ночь на 4 (7) ноября, на котором левые эсеры и группа «правых большевиков» предприняли безуспешную попытку отменить декрет Совета народных комиссаров о закрытии буржуазных газет за контрреволюционную агитацию.

Рид, без сомнения, присутствовал на заседании, хотя и не говорит об этом прямо. «В ночь на 17(4) декабря огромный зал ЦИКа был набит битком,— пишет он.— Атмосфера была зловещая». Перед тем как привести известную речь Ленина на этом заседании, он дает зарисовку Ленина на трибуне, бесспорно основанную на личных впечатлениях: «Затем выступил Ленин, спокойно, бесстрастно. Он морщил лоб, говорил медленно, подбирая слова; каждая его фраза падала, как молот».

Рид пишет об уходе через две недели после Октябрьских дней Каменева, Зиновьева и группы народных комиссаров из ЦК и с правительственных постов вследствие отказа Ленина и большинства ЦК разделить власть с соглашательскими партиями. «Ответ ленинцев был быстрым и беспощадным»,— пишет Рид, сообщая о решительных мерах, принятых большевистским руководством, и о замене дезертиров сторонниками ленинской линии.

«Не компромиссами с господствующими классами или с другими политическими лидерами, не примирением со старым правительственным аппаратом завоевали большевики власть,— так заключает Рид эту главу.— Но они сделали это и не путем организованного насилия маленькой клики. Если бы широкие массы российского населения не были готовы к восстанию, оно потерпело бы неудачу. Единственная причина огромного успеха большевиков кроется в том, что они осуществили глубокие и простые стремления широчайших слоев населения, призвав их к работе по разрушению и искоренению старого, чтобы потом вместе с ними возвести в пыли падающих развалин остов нового мира...»

В последней, двенадцатой, главе книги, называющейся «Крестьянский съезд», Рид словно возобновляет свое повествование в прежней манере. Глава начинается с очень живой сценки, разыгрывающейся в трактире «Хижина дяди Тома», напротив Смольного, где в ожесточенном споре красногвардейцев с контрреволюционно настроенным офицером встает важнейший политический вопрос — об отношении крестьянских масс к происшедшей пролетарской революции.

«Когда шум несколько утих, капитан встал.

— Ладно,— сказал он,— вы называете себя русским народом, но русский народ это не вы! Русский народ — это крестьяне! Вот погодите, крестьяне...

— И погодим,— кричали ему спорщики,— и посмотрим, что скажут крестьяне! Мы-то знаем, что они скажут!.. Разве они не такие же трудящиеся, как и мы?..»

Сцена эта настолько остра и служит столь идеальным эпиграфом к последующему рассказу о борьбе большевиков за крестьянские массы, что легко было бы заподозрить Рида в некоторой доле «вымысла».

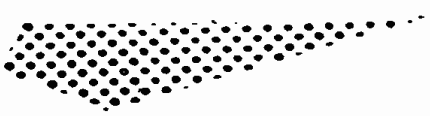
Однако с трудом поддающаяся прочтению, нацарапанная неочиненным карандашом запись в блокноте хранит репортерское зерно этой политической схватки в петроградском трактире с названием, словно специально придуманным для американца, пишущего о России. А в справочнике «Весь Петроград» за 1917 год находим в списке трактиров: «Хижина дяди Тома», Суворовский проспект, 64». И здесь Рид безукоризненно точен.

Далее Рид подробно рисует знаменательные события 10(23)—15(28) ноября, открытие Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, отчаянную борьбу старого правоэсеровского руководства за утраченное влияние на делегатов, соглашение левого большинства съезда с большевиками о слиянии ВЦИКа и Исполкома крестьянских Советов и, наконец, торжественное совместное заседание в Смольном Крестьянского съезда, ВЦИКа Советов красноармейских, рабочих и солдатских депутатов и Петроградского Совета.

Блокнотных записей, относящихся к Крестьянскому съезду, не сохранилось; между тем личные впечатления Рида и, как следует полагать, сделанные на месте заметки играют в описании съезда немалую роль. Бесспорно, по личным впечатлениям описано Ридом и торжественное шествие делегатов Крестьянского съезда с пением и с факелами из Императорского училища правоведения на Фонтанке через ночной город к Смольному.

«Никогда не забуду я... потрясающее шествие к Смольному по засыпанным снегом улицам этих поседелых пролетариев земли, их песни, их кроваво-красное знамя, развевавшееся на ветру,— пишет Рид в статье «Структура советского государства», предшествующей «Десяти дням».— Была глубокая ночь. На ступенях Смольного стояли сотни рабочих, готовых принять своих братьев-крестьян, и в мутном свете они ринулись навстречу друг другу, одни вниз по ступеням, другие вверх, и обнялись, смеясь и проливая слезы».

Эта встреча рабочих и крестьянских депутатов в двенадцатой главе книги и последующее торжественное заседание в Смольном — как бы финал «Десяти дней, которые потрясли мир»: великий революционный союз рабочих и крестьян закрепляет победу, одержанную пролетарской революцией.



РАБОЧИЙ КЛАСС, ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

«Рабочий в современном обществе и современной литературе» — этой важнейшей теме была посвящена творческая встреча, организованная журналом «Иностранная литература» совместно с Институтом международного рабочего движения и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького (начало публикации см. в № 10 за 1967 год). В дискуссии приняли заочное участие и зарубежные писатели. Она коснулась фактов, говорящих о возрастающей роли рабочего класса и его союзников в жизни общества и идущих в современной литературе поисках путей воплощения в искусстве образа человека-труженика, человека-борца — центрального героя нашей эпохи.

Алан Силлитоу

(АНГЛИЯ)

Более широкие духовные горизонты

Этот герой возвращается в литературу. Приглядитесь к нему. Конечно, он никогда не умирал; но теперь он одет по-иному: он лишь иногда ходит в комбинезоне, обычно же на нем парадный воскресный костюм, у него страшный выговор, и порой он употребляет более крепкие выражения, чем его предшественники. Он — простой человек, и он — человек сложный; во многих отношениях он величина неизвестная. Критики называют его — новый человек, пролетарий, герой из рабочих. Однако они вешают на него все эти ярлыки, чтобы скрыть от нас его истинные качества, его подлинный внутренний мир, его большие потенциальные возможности. И здесь наступает очередь писателя. Этих мужчин и женщин, этих героев, если угодно,— тех, кого писатель должен раскрыть нам,— миллионы. Все они очень разные, хорошие и плохие, каждый из них — индивидуальность, но, главное, каждый из них — человек и способен к совершенствованию. Рабочий — человек практического склада, и его стремление к благосостоянию, как правило, препятствует его духовному развитию, что в прошлом ставило его в зависимое положение.

Все это говорит о том, что представление о герое-рабочем будет широким, в это понятие войдут (и, безусловно, уже вошли) миллионы интересных характеров. Появление нового героя-рабочего в мировой литературе может лишь обогатить ее, изменить до неузнаваемости.

Во всяком случае, мы надеемся на это, думаем, что так произойдет. Но происходит ли так в действительности, зависит от условий, известного каждому писателю. Без стиля, обработки, мастерства любой роман или рассказ подобен двери с тугой пружиной. С его помощью вы не войдете в сердце читателя, а настоящего писателя интересует именно читательское сердце, потому что все, о чем он пишет, в первую очередь идет от его собственного сердца.

Плохой стиль встречается часто. Романов и рассказов, написанных плохо, гораздо больше, чем написанных хорошо. Плохой стиль можно сравнить со льдом — вы перекатываетесь через строчки, падаете и тратите уйму времени, чтобы приехать в никуда. Хороший стиль подобен бесконечному и богатому участку земли. Это почва, запахи которой вы вдыхаете, и вашим ногам хочется идти по ней без конца. Вы чувствуете хороший стиль, потому что ваша собственная кровь пульсирует в унисон с его ритмом.

Так что же лежит в основе хорошего стиля? В первую очередь — доверие; общество, в котором творит молодой писатель, долж-

но доверять ему. Он должен чувствовать это доверие и не считать себя обязанным вернуть определенную часть того, что он благодаря этому доверию получает. Чтобы иметь возможность рассказать нам о новых людях, о новых героях из рабочих, если это название вам больше нравится (лично для меня новым героем-рабочим может быть врач, который работает по много часов подряд и часто тяжелее рабочего), писатель должен чувствовать себя свободным, свободным в море доверия, которым окружает его общество. Он может стать одним из них или продолжать оставаться одчим из иих и изучать их судьбы и речь, которые его искусство будет трансформировать, а воображение — превращать в литературные произведения только в том случае, если общество доверяет ему, дает ему полноту свободы говорить о себе все, что он считает нужным сказать.

Рабочий, его жизнь, духовный облик, социальное положение — новые темы в современной литературе. Я говорю так, потому что считаю, что до сих пор эти темы не были затронуты сколько-нибудь глубоко или талантливо. Если вы намерены изображать народ, надо быть объективным и писать так, чтобы ваш собственный голос слился с его голосом и чтобы никто не заметил швов на этом сплаве.

Мы никогда не должны забывать, что писательское дело — не механический труд, а искусство. И, независимо от того, согласны ли вы с этим или нет, только при этом условии можно дать людям настоящие произведения, каких они безусловно достойны. Положение нации, народа на карте мира определяется его писателями и художниками наравне с великими учеными и изобретателями, и все они — выходцы из народа.

Джозеф Норт
(США)

Рабочий в литературе США

В сущности, ни один американский писатель еще не создал убедительного и впечатляющего образа рабочего. Думаю, это объясняется тем, что ни один писатель не в состоянии хорошо написать о том, чего не пережил сам, а большинство из них никогда не были рабочими. Вот почему отношение рабочего к своему труду, к своему хозяину и своим товарищам, к обществу, в котором он живет, не получило должного отображения в нашей литературе.

Впервые рабочий появляется в произведениях Джека Лондона, с книгами которого советские читатели хорошо знакомы. Джек Лондон — исключительное явление в американской литературе. Это редкий пример превращения рабочего в писателя. Как известно, он знал жизнь рабочих по собственному опыту и рассказал о ней в своих произведениях, с наибольшей полнотой раскрыв эту тему в классическом романе «Железная пята». Роман этот пронизан идеями социализма, скорее утопического, чем научного, что соответствовало уровню политического мышления того времени. Джек Лондон изображал рабочих в слишком романтических тонах и к тому же испытал воздействие ницшеанской доктрины сверхчеловека. Но мечты о социализме сопутствовали ему всю жизнь, невзирая на превратности судьбы.

Патриарх американской литературы Уильям Хоуэллс также принимал этот социальный идеал; в своем романе «В поисках нового счастья» он описывает забастовку в Нью-Йорке; герой этой забастовки плотник, ветеран Гражданской войны, потерявший руку в борьбе против рабства. В конце романа его убивают полицейские. И хотя этому герою отведено в романе небольшое место, он изображен как человек мыслящий, убежденный и стойкий. Можно считать это первым появлением рабочего на американской литературной сцене. Не знаю, был ли знаком Джек Лондон с творчеством Хоуэллса. На мой взгляд, есть основания полагать, что представление Лондона о человеке далекого утопического мира социализма возникло под влиянием книги Хоуэллса «Пришелец из Альтрурии». Герой Хоуэллса превосходит своих современников, толпы американского общества, преисполненные любопытства, засыпают его вопросами; среди них — банкир, относящийся к нему с возрастающей враждебностью. В то время такие романы пользовались популярностью и могли оказать влияние на Джека Лондона, так же как и утопический роман Беллами «Через сто лет», вышедший в 1888 году, в котором изображается Америка в век социализма. Едва ли можно утверждать, что в этой книге создан полнокровный образ американского рабочего. Однако в несколько дидактичной форме в ней выражена мечта о свободе, об освобождении рабочего от цепей рабства.

При упоминании о борьбе против рабства мы должны вспомнить также об одном из благороднейших представителей американской литературы — о Марке Твене и его негре Джиме из «Гекльберри Финиа». В известном смысле, Джима безусловно можно считать одним из предшественников образа рабочего.

Морально Джим выше всех окружающих его людей, и дети, Гек и Том, чувствуют это. Марк Твен так же, как Уильям Хоуэллс и Джек Лондон, был свидетелем эпохи бур-

РАБОЧИЙ КЛАСС,
ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

ного развития американского капитализма. Классовая борьба потрясала страну — одна за другой вспыхивали забастовки железнодорожников, шахтеров, рабочих автомобильной промышленности. Во время этих забастовок промышленники вели себя с жестокостью колонизаторов. И если они не отрубали рабочим руки, как это делали в Конго король Леопольд и его приближенные, то лишь потому, что эти руки были нужны им для дальнейшего приумножения своих богатств. Это было время, когда у баронов-грабителей стали сосредоточиваться громадные состояния. Рокфеллеры, Карнеги и им подобные — целое племя убийц — начали появляться в произведениях молодого Эптона Синклера, а иногда и в книгах Фрэнка Норриса. Роман Синклера «Джунгли» пользовался огромной популярностью, он пробудил сознание народа, привлек внимание к бедственному положению рабочих чикагских боен, снабжавших мясом всю Америку. В то время появились и другие романы, авторы которых пытались сделать рабочего своим героем. Томас Белл запечатлел в своих книгах жизнь чехословацких рабочих-иммигрантов на питтсбургских сталелитейных заводах, причем сделал это, на мой взгляд, ярко и убедительно. Но, как правило, попытки изобразить рабочего были безуспешными, так как писатели довольно плохо знали, что такое рабочий.

Ведь, как я уже сказал, лишь немногие наши писатели имели в жизни «трудовой опыт», другими словами, в молодости проработали несколько лет, одновременно занимаясь в колледже. Однако чувство принадлежности к рабочему классу им так и не привилось. Мне кажется, что такое чувство присуще было политическому деятелю — Уильяму Фостеру, который ярко выразил его в своей автобиографии «Страницы трудовой жизни». Романистам же до сих пор не удалось достичь этого.

И только в 30-е годы рабочий появляется на литературной арене как главный герой. Книга Майкла Голда «Еврейская бедиота» предвосхитила появленне романов, в которых образ рабочего получил свое дальнейшее развитие. Голд описал трагическую судьбу бедняков, живущих в трущобах Нью-Йорка, Джек Конрой в «Обездоленных» создал образ современного рабочего-шахтера.

Рабочий часто становится героем прозы и стихов, публиковавшихся на страницах еженедельника «Нью-Мэссиз». Образ рабочего находит свое воплощение в живописи «американского Домье» — художника Роберта Майнора, а также в произведениях художников Фрэда Эллиса, Лидии Гибсон, Билла Греппера, Хью Геллерта, Арта Яига и других. В их работах этот образ часто был стилизован — обычно они рисовали мускулистую фигуру, окруженную ореолом физической и моральной силы.

Выдающимся произведением 30-х годов явилась книга молодого Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Герои этой книги пришли ие с фабрики и не из шахт — это обездоленные крестьяне. Стейнбеку удалось выразить их страдания, их моральную снлу, их мечты. Большая потеря американской и мировой литературы состоит в том, что сам Стейибек утратил видение своего героя Тома Джоуда.

Рабочий занял свое место на театральных подмостках в первой пьесе американского драматурга Клифорда Одетса «В ожидании Лефти»; никто до него не сумел с такой силой изобразить мужественную борьбу, которую ведет бастующий городской рабочий — водитель такси. Это было время голода. Семнадцать миллионов рабочих оказались на улице без работы. Голод захлестнул страну, но рабочие перешли в контриаступление. Оно вылилось в голодные марши, с которыми рабочие направлялись в столицу, в массовые забастовки рабочих сталелитейной, автомобнльной промышленностей и моряков. Эти события нашли отражение в нашей поэзии, драматургии, прозе, песнях. Впервые в истории Америки в среде рабочих стали формироваться писатели, артисты, художники. Широкое распространение получили традиции Джо Хилла.

Сейчас я работаю над сборником, посвященным журналу «Нью-Мэссиз» и его авторам. Скорее, эту книгу можно назвать антологией литературы тридцатых годов. Я отобрал для этой антологии лучшие произведения того времени и пишу к ней предисловие. В ходе работы над этим сборником мие стали ясны две вещи. Во-первых, талантливые писатели того времени не имели возможности достичь творческой зрелости— многих из них соблазнила работа в Голливуде либо другие заманчивые перспективы, а затем началась война. Все мы были детьми своего времени, детьми тридцатых годов. А главиым для этой эпохи было появление так называемой «пролетарской литературы», созданной серьезными, боевыми, зачастую талантливыми писателями. Но в силу многих причин, в том числе и тех, о которых сказано выше, мало кому из них удалось достичь чего-нибудь значительного.

Затем из среды молодых писателей выделились «гиганты». Они испытывали сильнейшее воздействие атмосферы тридцатых годов, хотя многие из них начали свою творческую деятельность в двадцатых годах и отнюдь не намеревались создавать «пролетарскую» литературу. Я имею в виду Драйзера, Синклера Льюиса, Хемингуэя, Фицджеральда, Томаса Вулфа, Фолкнера, Лэнгстона Хьюза, Карла Сэндберга, Уолдо Фрэнка и других. Без них нельзя представить себе литературу того периода. Следует добавить к ним Шервуда Андерсона, который в своем романе «В ногу» также попытался примкнуть к пролетарской литературе. Это пытались сделать почти все писатели: и Дос Пассос, отрекшийся впоследствии от всего, чем он жил в молодости; и Стейнбек — в «Гроздьях гнева» ему удалось превосходно рассказать о фермерах Оклахомы, а потом иачался упадок. Если бы Томас Вулф лучше знал среду рабочих, он сумел бы написать о них действительно хорошо, его отец был нскусным ремесленником-каменотесом, но у Вулфа не было чувства кол-

лективизма, ощущения солидарностн с массой, которое отличает рабочих середины XX века как в Америке, так и всюду на земле. В тридцатые годы мы стремились выразить это ощущение: кое-что нам удалось сделать, хотя и в грубых формах; и все же о рабочих в то время писали с воодушевлением, и это вселяло надежду.

Еще несколько слов о Ричарде Райте. Его ранние опыты были удачными. Райт нашел своих героев в среде негритянскнх рабочих Юга. Но затем он отошел от пролетарской литературы, долго плутал и лишь перед смертью вновь возвращается к ней. Как много творческих трагедий в нашей многообещающей американской литературе!

Вот почему нельзя утверждать, что рабочий занял в нашей литературе подобающее ему место. Я полагаю, что это относится не только к американской литературе — во всей современной литературе Запада вряд ли удастся обнаружить правдиво и точно воссозданный образ рабочего. Говоря так, я прежде всего имею в виду изображение жизни индустриального рабочего — во всяком случае, американская и английская литературы свидетельствуют об отсутствии мастерства в обрисовке этого существеннейшего героя современной действительности.

К сожалению, никому еще не удалось описать мучительно однообразиый и изнурительный промышленный труд. Как ни странно, лучше всех сумел сказать об этом Чарли Чаплин в картине «Новые времена». Он создал образ рабочего, окончательно изношенного к сорока годам, человека, не способного угнаться за темпом конвейера. До сих пор никому еще не удалось выразить разочарование рабочего в жизни, его отчуждения от процесса творчества; никто ие сумел рассказать о его тщетных попытках разрешить материальные и духовные проблемы своего бытия. Вместо этого литература сосредоточивает внимание читателя на сексе, жестокостях, извращениях, на пагубных последствиях бездушного, безрадостного круговорота современной американской жизни. Никто не запечатлел Нью-Йорк, парализованный шестидневной забастовкой транспортных рабочих. А между тем это характерный штрих в картине современного индустриальиого труда, примечательная черта века пролетариата, века его страданий и битв. Пока еще нет книг, рассказывающих о попытках рабочего снизить лихорадочный темп жизни, о его повседневных трудностях. Никто не отразил нежелание рабочего вести бессмысленную и жестокую войну во Вьетнаме, создающую атмосферу, в которой для каждого юноши естествен отказ от призыва в армию. Американским писателям не удалось отразить священную борьбу за мир, являющуюся характерной чертой жизни нашей молодежи. На осуществление этой задачи потребуется время. Тема борьбы за мир уже начинает звучать в нашей поэзии и иародиых песнях. Я убежден в том, что она найдет воплощение и в наших рассказах и романах.

Но одним из самых существеиных пробелов в американской литературе является отсутствие киигг о героической борьбе негритянского народа, рабочих-негров. Уже миого лет в США то затухая, то вновь разгораясь, идет гражданская война, она проявляется иногда в мощных взрывах, подобных недавним событиям в Калифорнии или тем, о которых мы читаем сейчас в газетах.

И говоря об образе рабочего в нашей литературе, не следует забывать о том, что 95 процентов негритянского населения — рабочне.

Есть основаиия утверждать, что в американской литературе начался расцвет, порожденный молодыми негритянскими талаитами нашей страны. Я думаю, что благодаря ему в нашей литературе складывается новое направление. И выход негров на литературную ареиу будет, возможно, способствовать появлению рабочего в нашей литературе.

Я думаю, что число новых писателей, которые уже заявили о себе в литературе, как крестоносцы мира, будет расти по мере эскалации опасности, угрожающей американскому народу и всему миру. Я вижу молодых писателей, пришедших из рабочей среды, писателей, знающих страдания и мечты рабочих. Это им, сыиовьям и дочерям наших трудяшихся, предстоит создать образ рабочего на страницах своих книг.

Г. Брейтбурд

Современное капиталистическое общество и культура

Усилия, предпринимавшиеся в 30-е годы и позднее некоторыми даже вполне уважаемыми исследователями с целью обнаружить признаки раннего капитализма, скажем, в «Канцонах» Петрарки, были делом не только сложным, но скорей всего просто бесполезиым.

Нельзя, однако, че отметить, что чрезмерно затянувшаяся у нас реакция на вульгарный социологизм порой лишает нашу

критику того ключа, который при верном им пользовании помогает осознать во всей сложности исторических переплетений взаимосвязь между изменениями в экономической и общественной жизни и формами современного искусства.

Социологический анализ искусства сегодня тем актуальней, что ни в один из предшествующих периодов истории влияние общественной структуры на душевный мир человека, на мотивированность его психологии и поведения не было столь интенсивно и всеобъемлюще. Невиданное доселе убыстрение темпов научно-технического и общественного развития делает эту детерминированность еще более наглядной.

Для критиков, работающих в области современного западного искусства, приобретает особую важность анализ изменений экономического и социального характера, которые происходят в той ограниченной территориально и по количеству населения части мира, где мы встречаемся с определенным типом развитого индустриального общества. Общество этого типа — разумеется, оставаясь капиталистическим, хотя бы в силу сохранения основного противоречия между общественным характером производства и частным характером присвоения — многими своими проявлениями отличается от прежнего капитализма. Анализ некоторых черт этого общества в статье Е. Амбарцумова мне представляется интересным и важным, особенно сегодня, когда мы еще не располагаем достаточно подробной обобщающей характеристикой современной фазы развития государственно-монополистического капитализма. Попытаюсь в свою очередь бегло обрисовать некоторые черты капиталистического общества этого типа, имеющие касательство к интересующему нас предмету, то есть к влиянию этого общества на культуру и искусство.

Прежде всего следует отметить, что в обществе этого типа, в условиях научно-технической революции особое развитие получили некоторые отрасли промышленности, непосредственно связанные с потреблением, в частности автомобилестроение, химическая промышленность, электронная и радиоэлектронная промышленность.

Массовое производство предметов потребления вызвало необходимость в увеличении емкости внутреннего рынка, в создании массового потребителя. Доля прибавочной стоимости, расходуемая на заработную плату, в обществе этого типа возросла, так же как возросла доля прибавочной стоимости, отдаваемая государству в виде налогов. Разумеется, это перераспределение обусловлено отнюдь не заботой о жизненном уровне масс, а необходимостью обеспечить само функционирование системы, нуждающейся в массовом сбыте товаров потребления.

Особенно важной чертой современного развитого капитализма становится все растущее вмешательство государства в экономическую жизнь путем увеличения государственных инвестиций, путем осуществления известных форм государственного контроля, ограничивающих хаотический характер капиталистической экономики, позволяющих в известных пределах регулировать стихийные процессы развития. Как в области государственной, так и внутри крупных корпораций все шире становится тенденция к многолетнему планированию.

Любопытные изменения происходят и в самой организации производства, в значительной мере свидетельствующие о внимательном изучении со стороны хозяев современного капитализма опыта социалистического индустриального развития. На смену устаревшему тэйлоризму приходит так называемая система «человеческих отношений», с ее попытками воздействия на психологию рабочего, создания у него моральных стимулов заинтересованности в своем труде. Разумеется, все эти меры не более чем попытки, направленные к ослаблению все возрастающего воздействия всей системы отчуждения.

Владение средствами производства при невиданной их концентрации становится все более анонимным. Вместе с тем возникает известная автономия определенной группы высокооплачиваемых, осознающих свою руководящую роль технократов.

Важной особенностью общества этого типа становится ощущаемая им как неизбежная и неотложная потребность постоянной замены предметов потребления, не зависящая от действительной их пригодности или степени износа.

Такую фазу потребления, которая основана на стремлении к постоянной и быстрой замене вполне пригодных изделий новыми, порой ничуть не лучше прежних, можно назвать маниакальной. Однако без постоянного и агрессивного обращения к потребителю, которого, в сущности, призывают как можно быстрее уничтожить, сломать, выбросить, пустить под пресс вполне пригодные вещи и заменить их новыми, функционирование самой системы становится невозможным. В этом смысле современный капитализм отличается отказом от таких буржуазных добродетелей, как бережливость, поощрение личной экономии и т. д.

Общество такого типа (не без влияния рекламируемой буржуазной модели потребления) вырабатывает у своих членов психологически обязательное следование иррациональной смене вкусов, моды.

Культурная индустрия, организующая сбыт изделий массовой культуры — книг, журналов, фильмов, живописи и музыки,— на наш взгляд, подчиняет свою деятельность той же необходимости в непрерывной смене вкусов, приемов (gadgets), направлений, стилей. В этом обществе устанавливается до предела искаженная, деформирующая человеческую личность связь между потребителем и предметом потребления, между человеком и вещью. В столь кратком выступлении невозможно подробней остановиться на этой важной стороне дела. Скажем только, что связь эта утрачивает функциональный характер — холодильник, автомобиль, любые иные предметы потребления (сохраняя, разумеется, свое функциональное назначение) становятся прежде всего сим-

волами уверенности в себе, символами власти, могущества, средствами обозначения социальной значимости человека. Человек значителен не своим умением, талантом, знаниями — нет, единственной мерой его значительности становятся предметы, которыми он обладает. С этой особенностью «потребительского» общества в плане идеологическом связан его фактический отказ от таких, казалось бы, традиционных, идущих от просветительства буржуазных ценностей, как развитие индивидуальности. Стандартизация образа жизни, мыслей, чувств и вкусов — настоятельная потребность такого общества. Разница лишь в уровне стандарта — скажем, существует стандарт для людей с годовым доходом в двенадцать тысяч долларов и стандарт для тех, кто зарабатывает восемнадцать тысяч в год,— однако внутри определенной группы потребителей действует тенденция к предельной униформированности.

Современное капиталистическое общество отличается, таким образом, предельным отчуждением человека, установлением ложных, искаженных, мистифицированных связей между потребителем и предметом потребления, между человеком и вещью. Тенденция к «овеществлению» всех человеческих отношений, обнаруженная Марксом в капитализме XIX века, сегодня предельно усилилась. Этим объясняется особое внимание к самой проблеме отчуждения со стороны наиболее честных художников, работающих в условиях капиталистического общества. Изображение и критика бесчеловечно организованного потребительского изобилия стали темой многих произведений искусства.

В нашей критике еще и сегодня можно встретить пренебрежительное, а то и вовсе негативное отношение к рассмотрению самой проблемы отчуждения человека. Порой утверждают, что этой проблемой, дескать, занимался ранний Маркс, Марксом еще не ставший. Сторонникам такой аргументации не мешает заново ознакомиться с главой «Капитала» «О товарном фетишизме». Да и само стоящее за этим противопоставление кажется глубоко неверным: ранние работы Маркса важны и необходимы и при исследовании проблем социалистического гуманизма, приобретающем сегодня немалое значение.

Порой у нас проявлялся крайне односторонний, я бы сказал, убогий духовно, опасный идеологически подход к вопросу о соревновании двух систем, как соревновании, носящем характер лишь экономический, при котором предполагалось, что превосходство социалистической системы как бы автоматически обеспечивается, когда наша страна превзойдет по уровню производства наиболее развитые страны капитализма.

Такой подход лишь на руку сторонникам теории «конвергенции» высокоразвитых индустриальных обществ социалистического и капиталистического типа.

Нам кажется, что в соревновании двух систем, продолжающем быть борьбой экономической, политической, идеологической, одним из всего более решающих факторов становится проблема гуманизма, проблема человека, проблема сохранения полноты, цельности, осмысленности и значительности человеческого существования — если хотите, проблема «антиотчуждения». Лишь утверждение принципов социалистического гуманизма может опровергнуть домыслы наших идеологических противников, которые говорят нам: сегодня ваши люди поселились в отдельных квартирах, через столько-то лет у каждого из них будет своя машина, поглядим, что тогда останется от созданных вашим социализмом моральных ценностей. «Автомобиль — это идеология на четырех колесах. Русские уже никогда не будут такими, какими были»,— заявляет, например, на страницах газеты «Нью-Йорк таймс» от 16 мая с. г. Джордж Болл — бывший заместитель государственного секретаря США.

Возвращаясь к нашей попытке определить черты современного капиталистического общества индустриально развитого типа, мы не можем оставить без внимания серьезные изменения в классовом составе этого общества. Сущность этих изменений сводится к выявившемуся уменьшению численной доли лиц, непосредственно занятых в материальном производстве (промышленность и сельское хозяйство), и значительному увеличению доли лиц, занятых интеллектуальным трудом (в широком смысле слова), включая сферы управления, а также резкое увеличение в сфере управления числа людей, занятых в сфере обслуживания. В США начиная со второй половины пятидесятых годов число лиц, занятых интеллектуальной работой и другими видами труда вне сферы материального производства, стало превышать число лиц, занятых в сфере физического труда. Наряду с этим отмечается численный рост интеллигенции, ее возросшее значение в общественной жизни.

В обществе рассматриваемого нами типа возникла мощная «культурная индустрия», и действие ее подчинено закономерностям, которые присущи любой иной отрасли промышленности, работающей для потребления. Вмешательство «культурной индустрии» в творческую область осуществляется при помощи предельно грубых приемов. Проблемы так называемой «культуры для масс» вызывают обоснованную тревогу западных художников, озабоченных идеологической агрессивностью «культурной индустрии», ее активным стремлением к подчинению собственным стандартам образа мышления и чувственного мира миллионов людей, присущим ей стремлением к бесконтрольному управлению умами, к внушению определенных правил и норм поведения.

Одной из важнейших черт идеологии капиталистического общества такого типа становится тенденция к интеграции, вы-

ступающая в самых различных областях (от социальной до дипломатической). Для этого общества характерно стремление, направленное к тому, чтобы включить в свою систему, интегрировать и направленную против этого общества критику, в том числе и критику, идущую от марксизма. Марио Аликата в одном из последних своих теоретических выступлений, например, отмечал:

«...В эпоху общего кризиса капитализма и перед лицом социалистической революции любая форма более продвинутой буржуазной идеологии стремится выступить в качестве «ревизионистского» течения или же хочет «интегрировать» марксизм».

По отношению к искусству, к литературе это стремление современного капитализма к интеграции направленной против него критики, стремление видеть в искусстве, в литературе занятие безопасное и безобидное проявляется с особой наглядностью. Сама общественная система стремится перемалывать направленную против нее критику, превращая ее в один из предметов того же потребительского круговорота. То, что вчера еще «было скандальным, сегодня уже стало бизнесом, вызов свелся к аперитиву, пощечина — к удовольствию, испуг буржуа поощряет продажу «бестселлеров»,— пишет об этом Э. Фишер.

Особого внимания заслуживает выяснение связи между определенными тенденциями современного капитализма, его стремлением предстать как система, обладающая абсолютной новизной,—и некоторыми самыми последними проявлениями экспериментальных форм в искусстве, например, неоавангардистской «Группой 63» в Италии и близкими к ее позициям группами неоэкспериментализтов во Франции, в ФРГ и других странах. Я уже пытался дать характеристику того, чем является сегодня неоавангард*. Отказ от признания за искусством общественной роли, иными словами, отказ от «завербованности» художника, отрицание какого-либо значения идеологии для искусства — таковы исходные позиции наиболее экстремистски настроенных представителей этого направления.

Такой подход к предназначению художника должен был привести и к отказу от коммуникативной функции литературы, к созданию произведений, в сущности рассчитанных на отказ от общения с читателем или, как принято говорить, с потребителями создаваемых неоавангардом текстов. «Литература отказа», таким образом, становится отказом от литературы.

Главная, если не единственная задача этого авангарда, главное проявление его протеста против капиталистического общества состоит в ломке «привычных» языковых структур, в «лингвистическом взрыве», в уничтожении «изношенного», превратившегося в орудие «культурной индустрии» языка буржуазного общества. Некоторые из представителей неоавангарда говорят при этом о своей близости к марксистским позициям.

Должно быть, увлеченные своей борьбой против «фраз» буржуазного мира, они, подобно младогегельянцам, забыли, что «отнюдь не борются против действительного, существующего мира, если борются только против фраз этого мира».**

Е. Трущенко

В жизни и в литературе

Рабочий в современном мире и в современной литературе. Эта тема касается двух сфер, разных, но тесно связанных: социальной действительности и художественного творчества. Первая — в поле зрения социологов, вторая — критиков и литературоведов. Различный аспект ее рассмотрения ведет к различным выводам, суждениям. Они могут сближаться, могут не совпадать.

XX век дал немало свидетельств неизмеримо возросшей роли рабочего класса в жизни и развитии общества, в материальном производстве, в социальной, идеологической и политической борьбе. Все эти сдвиги нашли отражение в художественной литературе. Тема рабочего человека, его жизни, труда и борьбы закономерно вышла на первый план во всемирной литературе. Известны многие выдающиеся произведения, в которых с большой художественной силой воссозданы образы рабочих, освещена тема труда, созидания.

Социологи говорят, что рабочий класс в развитых капиталистических странах как будто утрачивает свои прежние черты, становится какой-то новой категорией индустриального общества. В странах социализма он интегрируется в монолитном понятии «народ». Если считаться с этими выводами, следует поставить вопрос: не происходит ли что-либо подобное с темой рабочего класса в литературе? Может быть, пора менять наш подход к делу, модернизировать литературоведческий словарь?

Оставим социологам судить и делать выводы об изменении понятия «рабочий класс», о роли «белых воротничков» и т. п. Но если говорить о художественной практике, она пока не дает повода и оснований для пересмотра принятых категорий.

Мир и человек в наше время стремительно изменяются. Литература следует за ве-

* «Новый мир» № 3 за 1967 год.

** К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе, т. 3, стр. 18.

ком. Она улавливает и отражает изменения объективной действнтельности, духовной жизни людей, их образа мыслей, вйдение мира. Вместе с тем было бы трудно доказать, что рабочий класс утрачнвает свою определенность как социальная категорня в художественной литературе. Так же трудно доказать, что рабочая тема исчезает в романах, повестях, пьесах.

Подобные выводы могут показаться мало обоснованными, если мы сами будем сужать свои представления и не охватим широко прогрессивную литературу в различных странах. Для полноты представлений и основательности выводов необходнмо учитывать многие обстоятельства. Литература о рабочем классе сегодня — это не только особый жанр «рабочего» или, как ранее говорили, «пролетарского» романа или повести. Рабочий класс со своими героями, жизненными проблемами входит во все жанры, он составляет естественный и нередко главный элемент социального романа, в самом широком смысле. Образы рабочих выступают крупиым планом во многих произведениях рядом с представителями других социальных слоев, в логической жизненной связи, так же как мы это видим в действительности. Кроме того, тема рабочего в литературе сегодня — это не только тема труда и производства, забастовочной борьбы (если иметь в виду капиталистический мир), безработицы, нужды и поиска куска хлеба. Она в наши дни во многом не та, что во времена Золя или Пьера Ампа. В наше время все больше создается произведений, трактующих проблемы идеологические, моральные. Темой их становится духовная жизнь во всей ее полноте, рабочая честь, гумаиистический долг.

Я ограничусь примерами из французской литературы, зная, что для аналогий дает основание опыт английской, немецкой, итальянской литератур, литератур стран Америки. Романы Жана-Пьера Шаброля, Андре Стиля, Жоржа Коншона, Андре Ремакля и ряда других авторов — как известные советскому читателю по переводу на русский язык, так и малоизвестные у нас — позволяют со всей определенностью говорить о том, что рабочий ие утрачивает своего лица в современной литературе. Он выступает как определенная и известная нам социальная категория, важнейшая составная часть современного общества, отличающаяся своим миропониманием, сознанием классового долга, своей исторической миссии.

Если более детально характеризовать литературу, изображающую рабочих, то прежде всего необходимо видеть ее внутреннее развитие. Отражая непрерывно возрастающую роль рабочего класса в жизни общества, в социальном прогрессе, силу его сплоченных и организованных действий, сама литература приобретает новые качества.

Роль рабочего класса и его передового отряда — коммуннстов в судьбе страны была в свое время с исключительной художественной силой и убедительностью раскрыта Арагоном в романе-эпопее «Коммунисты», ставшем наиболее выдающимся произведением прогрессивной французской литературы. Сейчас во Франции появляются новые яркие произведения, главные герои которых — рабочие, коммунисты. В них находит продолжение и развнтие арагоновская традиция. К таким произведениям относятся совсем недавно вышедшие романы Жана-Пьера Шаброля «Мятежники» и «Нищая», о которых здесь уже говорилось. Описываемые в них события относятся к 30-м годам. Но Шаброль рассматривает их не только в объективном свете истории, ио и в свете современных классовых, политических и идеологических битв. Романы Шаброля самым действенным образом участвуют в современных битвах за прогресс. Они восторженно оцениваются критикой и читателями, что лишний раз подчеркивает высокий уровень и важное место в художественной культуре и в духовной жизни нации, произведений, посвященных рабочему классу. Эти романы интересны и в другом отношении. В них рабочий класс изображается ие по упрощенным схемам (чем нередко страдала ранее литература, которую называли пролетарской), а во всей его жизненной сложности. Персонажи книг Шаброля, рабочие—это люди различных характеров и политических убеждений и верований: коммунисты, социалисты, анархисты, католики и протестанты. Все это определяет сложность взаимоотношений в самой рабочей среде, сложность социальных конфликтов.

Изображаемое Шабролем в романе «Нищая» столкиовение социалистов и идущих за ними рабочих со сторонниками коммунистов в эпизоде выборов рабочего делегата от горняков бассейна, а затем преодоление этой розни в последующнх политических кампаниях — метко схваченная тенденция политической жизни сегодняшней Франции.

Реальные условия сегодняшнего дня определяют развитие рабочей темы в литературе. Вот еще один штрих. Шаброль в романе «Нищая» создает весьма жизненный, вызывающий сочувствие образ горного мастера Арсена Мурая. Этого честного и безотказного труженика сделало «своим человеком» начальство шахты. Но каким беспощадным разоблачением современных теорий буржуазных социологов о «равных возможностях», открываемых для всех капиталистическим производством, о народном капитализме и т. п. служит участь Арсена Мурая. Отработавшего сорок лет в шахте верой и правдой человека безжалостно выбрасывают в трудную для него минуту, чтобы отдать его место, когда-то предоставленную ему в директорском доме квартиру тому, кто будет лучше служить компании. В романе есть потрясающие по контрасту два эпизода. Первый — посещение директором шахты Мурая. Какие либеральные речи, какая демонстрация широты натуры!

Совсем по-другому ведет разговор со старым мастером господин Флюбель во втором эпизоде, когда ставит в известность, что

компания увольняет его с работы и предлагает освободить квартиру в доме шахтоуправления: «Я думаю, что вам все ясно. Вы не проявили никакой доброй воли, чтобы помочь компании. Вы были слишком мягким на вашем ответственном посту...»

Так оборачивается в жизии «сотрудничество» труда и капитала.

Пожалуй, самой характерной, иеотъемлемой особенностью художественного воплощения рабочей темы в наше время является показ в гуще жизни и событий коммунистов как героев дня, берущих на себя ответственность за будущее, олицетворяющих твердую волю, светлый разум, оптимизм трудового народа. Иллюстрацию этого положения мы опять же находим в романах Шаброля. Но можно сказать то же самое о книгах Андре Стиля, Пьера Куртада и многих других французских авторов.

Современная литература о рабочем классе обнаруживает большое многообразие идейно-художественной проблематики, подсказываемой жизнью, условиями труда, быта. Многое могут сказать книги Андре Стиля «Обвал», «Последняя четверть часа», «Андре» из серии «Поставлен вопрос о счастье», романы английского романиста Герберта Смита или же известного уругвайского иисателя Альфредо Гравины, если называть лишь отдельные имена.

Говоря о рабочем человеке в жизни и в современной литературе, нельзя обойти недавио вышедший ромаи писателя из Марселя Андре Ремакля «Время жить», который отмечен литературной премией. Эта книга, оцененная критикой как «очень современная» и страстная, иитересна не только новаторской техникой. Автор очень правдиво показал в ней, как сегодняшние условия работы и жизни опустошают, уродуют рабочего в капиталистическом мире, калечат его душу.

Книга сделана по впечатлениям анкеты, проведениой автором среди большой массы рабочих,— об условиях их труда и жизни. Герой этого романа — рабочий-строитель. Действие развивается в спокойной обстановке, в условиях кажущегося благополучия. Персонажам романа ие грозит безработица. У них есть возможность прилично зарабатывать, если не считаться со временем и отдыхом. Квартира, купленная в кредит, телевизор, холодильник, собственный автомобиль, который служит для воскресных прогулок. Все это есть у героя книги «Время жить» штукатура Луи Люнелли. Но писатель заглядывает за внешнюю оболочку благополучия и раскрывает изнурительную драму современной жизни и труда рабочего-строителя.

Сдельная работа иа стройках, стремление больше заработать, чтобы обеспечить бытовой комфорт, приводит к тому, что у Луи не хватает сил и времени для нормальной семейной жизни. Дом для него превращается в место для ночлега. Он всегда приходит усталым, ему постоянно хочется спать. «Я стал машиной, которая должна все время работать,— признается сам себе Луи.— После того, как ее завели, оиа уже не останавливается... Я чувствую себя опустошенным, иссякшим». Его осаждает мысль: «Все бесполезно». Мир вокруг кажется враждебным. «Луи жил в пустыне, где догорали его последние силы».

Герой книги писателя-коммуниста, однако, находит в себе силы и мужество, чтобы искать выход из тупика,— он открывает этот выход в коллективиой борьбе рабочих за изменение условий труда.

Гордостью за звание — рабочий, металлист, сталевар, сознанием величия труда пронизаны романы Роже Шатонё «Железные арфы» и «Искры» *, хотя эти произведеиия и рисуют нелегкие условия труда на капиталистических индустриальных гигантах, тяготы, физические и моральные испытания, с которыми связана жизнь рабочего класса сегодня.

Андре Стиль в новом романе «Андре» отражает поиски взаимопонимания между инженером и рабочими на шахте; их разделяют социальные и классовые перегородки и предубеждения, но долг перед обществом заставляет переосмысливать жизнь.

Даже эти иемногие примеры достаточны для доказательства силы современной литературы о рабочем классе, ее активного участия в социальных битвах наших дней, ее важного места в мировом литературиом процессе. Эта литература не исчерпала себя и не угасает. Она развивается вместе с развитием современного общества. Ей присущи активные поиски, новые открытия.

Задача в том, чтобы полнее ее знать, по достоинству оценивать.

Альфред Клейн
(ГДР)

Центральный герой нашей эпохи

Собственно говоря, в литературе социалистического общества ведущую роль должен был бы играть рабочий, не так ли? Рабочий класс связан с современной промышленностью, а через нее и с наукой как производительной силой. Он стоит на передовых позицнях научно-технической революции, которую — вместе с интеллигенцией — призван осуществить в интересах увеличения общественного богатства. Формируется новый тип рабочего с высоким умением отвечать иа постоянно растущие требоваиия производственного процесса и с богатой нравственной духовиой жизнью. Но дело не только в этом. Рабочие массы в условиях социализма явля-

* Роман печатается в этом номере журнала.

ются, как известно, средой, которая питает интеллигенцию. Рабочий, повышая квалификацию, становится руководителем производства; дети из рабочих семей получают образование в школах и университетах, становятся учеными, специалистами. Наконец, рабочий класс является правящим классом, именно он держит в своих руках государственный аппарат, именно его партия направляет развитие всего общества. Мне кажется, что понимать под «рабочим» только производственного рабочего было бы слишком узко. Мы не сможем так правильно оценить ни роль, влияние, функции рабочего класса, ни задачи писателей в изображении рабочего. Рабочий, этот центральный и характерный герой современной действительности, встречается в столь многих сферах нашей жизни и в столь различных образах, что его роль и значение трудно охватить полностью, истолковать достаточно широко.

Рассматривая литературу Германской Демократической Республики в этом широком аспекте, мы найдем, особенно в жанре романа, ряд образов, представляющих различные слои и типы современных рабочих. В романах Эрвина Штриттматтера о пробуждении и социалистическом преобразовании деревни после победы над фашизмом классово сознательные рабочие воздействуют, как фермент, на крестьян-бедняков, центральных героев повествования. В романах Дитера Нолля и Макса Вальтера Шульца, где изображается процесс духовного прозрения участников войны, ослепленных фашистской идеологией, появляются образы рабочих, которые в силу своих социалистических убеждений могут указать колеблющимся и ищущим путь к осмысленному существованию на стороне тех, кто трудится. У нас есть, наконец, так называемая «литература прибытия», обязанная своим названием повести Бригитты Рейман «Прибытие в будни». Эта литература, показывающая становление характера, также не мыслится без героев-рабочих и созидательного труда в буднях социалистического строительства. И хотя во всех этих случаях речь идет не о таких книгах, в которых прослеживались бы судьбы рабочего класса в наши дни, классово сознательные рабочие всегда фигурируют в них как образы, определяющие масштаб событий; их морально-политический облик является для писателя, так сказать, эталоном. Нетрудно понять, что в этом отражается процесс, имеющий особое значение для Германии,— внутреннее освобождение от вековой подданнического духа, который реакционные силы возвели на высоту государственного идеала и который теперь уступает место личности, осознающей собственную ценность и работающей для скорейшего развития социалистического общества.

Романисты прекрасно понимают и показывают, какая человеческая сила заставила героев их книг сделаться иными, чем прежде, кто указал им путь из прошлого, кто помог им стать на сторону новой Германии. Романисты изображают современный рабочий класс как силу, изменяющую человека, притягательную для остальных членов общества. О том, как рабочий класс ГДР приобретал знания и навыки, позволяющие ему возглавлять и направлять государство, созданное им в союзе со всеми трудящимися, повествуется в романе Германа Канта «Актовый зал». Об этой книге недостаточно сказать, что в ней прослежена судьба четырех рабочих-студентов, начавших в 1949 году — в год основания Германской Демократической Республики — учиться на рабоче-крестьянских факультетах (которые, кстати, давно уже ликвидированы), чтобы получить образование. Юношеская страстность героев, их упорство в учебе, их несокрушимая убежденность в необходимости и правильности своего дела, которое они, стремясь взаимно поддержать друг друга, сравнивают со штурмом Зимнего дворца,— все это становится в книге Германа Канта (который воспринимает недавнее прошлое без всякой патетики, изображает его со здоровым юмором, иронически, а иногда и сатирически) своего рода символом подъема ранее подавляемых или ложно направляемых духовных и моральных сил рабочего класса.

Но если поставить вопрос о месте, которое занимает современный индустриальный рабочий в современной социалистической литературе, ответ будет явно разочаровывающий. Нельзя не видеть, что рабочий очень редко выступает как центральный образ литературного произведения, и это заставляет задуматься даже тех, кто готов признать, что самое понятие «рабочий» следует толковать расширительно. Создается впечатление, что писателям значительно лучше удался портрет сегодняшнего жителя деревни, его будней и его мироощущения, чем образ индустриального рабочего и его среды. Почему? Потому ли, что изменения в каждой отдельной личности, вызванные социальными преобразованиями, острее и нагляднее проявляются у крестьян и сельскохозяйственных рабочих, чем в среде рабочих в крупных промышленных центрах? Или потому, что характерное для социализма раскрепощение творческих способностей более конкретно, ярко и оригинально можно показать на модели изменений в деревне, чем на примере индустриального рабочего? Широкоизвестный роман Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп»*, казалось бы, подтверждает эту мысль.

Тем острее встает вопрос о создании в литературе образа современного производственного рабочего. Рабочего, жизнь которого определяется не продвижением по служебной лестнице, а ежедневной работой у станка — работой, которой он занимается всю жизнь. Выше мы говорили, что и в среде рабочих происходят существенные

* Опубликован в журнале «Иностранная литература» №№ 7—10 за 1965 год.

изменения, хотя, быть может, они и не лежат столь явно на поверхности. Но разве литература не должна вскрывать глубинные жизненные изменения? И разве с литературной точки зрения эта сфера менее плодотворна? Почему же существует так мало романов, в центре которых стоял бы образ рабочего, судьба рабочего?

Вероятно, мы все еще имеем дело с ситуацией, доставшейся нам а наследство от старого общества и, по-видимому, особенно резко выраженной как раз в Германии: с изоляцией писателя от народа и повседневной жизни народа. Или, если выразиться более мягко, с последствиями этой изоляции. Ибо у нашей литературы слабая традиция изображения рабочего, как в драматургии, так и в романистике. Ведь даже в тех случаях, когда такие писатели, как Генрих Манн или Бернгард Келлерман, воспринимали эту изоляцию от рабочего человека как обеднение и сужение своих возможностей, их попытки изобразить рабочую среду вряд ли можно признать удачными. И только роман Анны Зегерс о шахтерах «Спасение», в котором писательница продолжает традицию «Жерминаля», знаменует собой сдвиг в этом направлении. Анна Зегерс принадлежит к писателям, которые не только перешли на позиции самого революционного класса в истории, но и видели свой долг в том, чтобы войти в будничную жизнь пролетариата и в своем литературном творчестве выдавать на-гора таящиеся здесь богатства неиспользованной энергии, нравственных ценностей, интеллектуальных и духовных возможностей. Этот процесс, начавшийся еще в годы Веймарской республики, нашел теперь, в наши дни, свое продолжение в Германской Демократической Республике, хотя еще нет книг, достойных по широте охвата и глубине проблематики встать рядом с романом Анны Зегерс «Спасение». Задача эта сохраняет свою актуальность. А ведь в немецкой литературе существует другая традиционная линия, тесно связанная с только что названной: я имею в виду приход в литературу писателей из рабочего класса, таких как Вилли Бредель, Ганс Мархвица, Эдуард Клаудиус. Эта линия играет столь важную роль еще и потому, что писатели, имеющие иной жизненный опыт, почти не обращались к жизни рабочих. В книгах рабочих писателей в первую очередь мы находим в наиболее резко выраженной форме то явление, которое в литературе отражается обычно во взаимосвязях индивидуума и общества: капиталистическое отчуждение, основывающееся, по Марксу, на «отчужденном труде». Здесь особенно выделяется Ганс Мархвица, его «Юность», «Кумиаки» и «Возвращение Кумиаков». Западногерманский рабочий писатель Макс фон дер Грюн своим романом «Светляки и пламя» объективно продолжает ту же традицию.

Следует исходить из того, что требование широкого изображения рабочего в литературе социалистического общества основывается на объективных социальных и психологических процессах, а не на каких-либо схематических представлениях о полноте тематического каталога. В сопоставлении с прошлым и западногерманской современностью мы расширяем границы проблемы. Мы встречаемся здесь с вопросом о том, что принято называть преодолением отчуждения. В какой степени этот процесс имеет место в сфере труда? Что способствует ему и что мешает? Как формулируется отношение рабочих к своему труду в условиях социализма? Правильный ответ на этот вопрос представляет интерес не только для аудитории, живущей в социалистическом мире. Читатель по ту сторону границы, и, может быть, он в первую очередь, хотел бы знать и ясно представить себе, в какой степени осуществляется на практике требование социализма вернуть труду его человеческое достоинство и смысл. Следует отдать должное старшему поколению немецких рабочих писателей: ведь как раз они ставили в свое время эту проблему и пытались сделать освобожденный труд основной темой своего творчества. В романе «Кумиаки и их дети» Ганс Мархвица показал, как герои, известные нам по прежним книгам о Кумиаках, переживают и осмысливают этот переход от труда на эксплуататора к работе в интересах социалистического строительства. Эдуард Клаудиус написал роман «Люди на нашей стороне», главный герой которого каменщик Гаис Эре благодаря выдающимся трудовым достижениям, завоеванным путем преодоления внутренних и внешних препятствий, становится носителем новой трудовой морали, изменяющей не только его самого, но и людей его окружения. Слова, которыми Мархвица завершает свой роман, могут сегодня показаться наивными и даже выспренними: «Все двинулось вперед. Твоя шахта, твое дело! Гора покорена. А теперь дальше, Петер, дальше, дальше, товарищи!» И все же такова была и есть отправная точка, открывающая писателю социалистического общества жизнь сегодняшних рабочих.

Иное дело, что мысль о социалистическом характере труда может свестись к голой фразе из-за незнания автором жизни и боязни изображения острых конфликтов, вылиться в порочную идеализацию действительности. За первыми достижениями Мархвицы и Клаудиуса последовало не так уж много книг, главными героями которых были бы рабочие. Однако недавно вышли в свет два романа, которые нужно непременно упомянуть в данной связи: «След камней» Эрика Нейча и «Моя безымянная страна» Иоахима Кнаппе. И хотя их нельзя причислить к шедеврам повествовательной прозы, они тем не менее показывают правомочность сюжета, взятого из жизни современных рабочих, служат доказательством, что эта тема ни в коей мере не сужает социальный размах и идейный горизонт произведений. Напротив. У Нейча в центре повествования стоит бригадир Ганнес Балла, рабочий; он долгое время не может стать на ноги, пока не встречает людей, ведущих за него упорную борьбу, и не осознает, что работает в обществе, цель которого очелове-

чение человека и которое потому иуждается в инициативе каждого своего члена. В конце концов он признает в Германской Демократической Республике свою родину, свое отечество.

Нечто похожее происходит и у Иоахима Киаппе, герой которого, Стефан Бек, из неприязни к отцу, иаходящемуся еще под сильиым алиянием фашистской идеологии, покидает родную деревню, чтобы хоть где-нибудь на свете иайти родиину. (Этот сюжетный мотив иапоминает переселение Кумиаков в Рур, описаиное у Гаиса Мархвицы.) На одной из крупных строек Стефан Бек становится рабочим и так же, как иекогда Петер Кумиак, врастает в иовое для себя окружение. И хотя ои здесь попадает под влияние сомнительиых личностей, которые толкают его к прежнему одиночеству, провоцируя конфликт с формирующимся обществом трудящихся, он все же не меняет, как Петер Кумиак, одиу нищету на другую, но будучи рабочим, среди рабочих находит себя и вместо безымяниой страны своих мечтаиий обретает свое «Здесь» и «Сегодия».

Источник иовых или по-новому увиденных литературиых мотивов, из которого можио черпать материал для изображеиия судьбы рабочего в современном социалистическом обществе, еще не увиден иами во всем объеме. Но уже ясно, что иесмотря на некоторую фрагментариость и даже иеудачу отдельных попыток, этот источник приобретает более ясиые очертания и положит начало прочной традиции.

■ ■ ■

Тема, которой посвящена эта публикация, затрагивает самые глубинные процессы развития современного общества и современной литературы. В иашу эпоху, осиовное содержание которой составляет переход от капитализма к социализму, начатый Великой Октябрьской социалистической революцией, удельный вес пролетариата в обществе, его роль и зиачеиие постоянно возрастают. Сегодия ие легко иайти такую область общественной жизии, изображение которой в искусстве не заставляло бы писателя определить свое отношеиие к миру труда. В то же время — и современиое искусство дает тому множество подтверждеиий — само поиятие рабочего класса стало иеизмеримо сложиее и дифференцированиее, чем прежде. Меияются условия жизни, более разнообразиыми стаиовятся формы классовой борьбы, более сложиыми взаимоотиошеиия пролетариата с другими классами современиого общества.

Кореиным образом измеиилась социальная природа рабочего в страиах социалистического лагеря. В ходе крутой ломки, переустройства общественной жизни иа социалистических осиовах, иачавшейся два десятилетия тому иазад, стремительио меняются жизиь и созиание рабочих, растет рабочий класс, и количествеиио, и по своему зиачению. Следует сказать, что социологическая наука еще мало заиимается особеиностями развития стран социалистического лагеря; развитие это, во миогом повторяя то, что было пережито советским иародом за пятьдесят лет ее истории, имеет в каждой страие свои зиачительные и существеиные отличия.

В нашей творческой встрече участвовали социологи и литературоведы; дискуссия коснулась и иовых явлеиий социальной жизии, и особеиностей литературиого процесса наших дней, затроиула и проблематику историко-литературиую. Содружество социологической и литературоведческой наук может быть очень плодотвориым — вспомиим ту высокую оценку, которую Маркс давал киигам Бальзака как источиику знаний об обществе. Художествеииая литература, обладая жизиеиной достоверностью, содержит в высшей степеии полезиый материал для социологических исследоваиий, иаполияя их коикретикой человеческих судеб. Углубленное поиимаиие перемеи, совершающихся в обществе, помогает литературоведам избавиться от устаревших представлеиий и более точно оценивать иовое в текущем литературном процессе. Искусство чутко отражает изменения в общественной жизии, а критика ие всегда видит их в достаточно широком историческом коитексте.

Неравномерность развития производительных сил, исторические и иациоиальные особеиности жизии разиых народов привели к тому, что иаряду с иовыми формами хозяйства в современном мире есть и примитивио-отсталые. На разных ступеиях «лестиицы» уровией промышлеиного производства складываются сегодия в одио и то же время — шестидесятые годы двадцатого века — совершеиио отличиые друг от друга условия существоваиия, которые в своей конкретиости определяют жизнь, мышлеиие, борьбу миллионов и миллионов наших современников. Выступления в нашей дискуссии известиых писателей Кришана Чандара (Иидия) и Сембеиа Усмаиа (Сеиегал) наглядно доказывают это. Мы допустили бы грубую ошибку, если бы, говоря о теиденции расширения и углубленна в мировом масштабе современной техиической цивилизации, хотя бы иа мгиовение упустили из внду бесконечное разнообразие реальных условий бытия людей в разиых странах, в разиых частях земиого шара.

Тема, поднятая в дискуссии, не прииадлежит к спокойио-академическим; оиа иаходится в самой гуще острой идеологической и политической борьбы современности. Утверждение, что рабочий класс «растворяется» в современном обществе,— один из отравленных аргумеитов в арсеиале современной реакциоиной пропаганды, вместе с теориями «народиого капитализма», «ликвидации классовых противоречий» и т. п.

Весь ее мощный аппарат направлен сегодня на то, чтобы навязать рабочему буржуазный образ жизни и мышления — и не только в сфере потребления и досуга, но и в сфере производства. Буржуазия стремится культивировать себе на пользу то «чувство одиночества», «безликости», о котором говорят в нашей дискуссии и итальянский писатель Джованни Арпино, и западногерманский писатель Макс фон дер Грюн, и, исходя из совсем других обстоятельств и задач, польский писатель Александр Баумгардтен. Однако сами условия жизни и труда, даже подневольного, объективно воспитывают в рабочих чувство солидарности и взаимной поддержки. Всевозможные новые, рафинированные методы раскола и подчинения (система «человеческих отношений», «социальное партнерство», «патернализм» и т. д.), о которых так много пишет современная литература, призваны воспрепятствовать естественно возникающему духу коллективизма, основанному на осознании рабочим противоположности своих интересов интересам предпринимателей. Именно в сфере производства, на заводах и фабриках, а теперь и в конторах рождается забастовочное движение, потрясающее сегодня весь буржуазный мир.

Художественная литература свидетельствует против ложного тезиса о затухании классовой борьбы. Самые разные писатели подчеркнуто полемически говорят сегодня об остроте классовых противоречий в своих странах. Даже те небольшие «пробы», которые были сделаны в разном «группе» в ходе нашей дискуссии, наглядно показывают, что рабочий, как характерная фигура нашего времени, не только не исчезает со страниц художественной литературы, но и начинает привлекать все большее внимание чутких писателей. Да и почему бы ему исчезать в наши дни, когда значение рабочего класса в жизни общества непрерывно увеличивается? Ничто не сняло с повестки дня вопрос брехтовского «читающего рабочего» — «Кто воздвиг семивратные Фивы?»

Иногда высказывается мнение, что, только уйдя от образа рабочего, писатель сможет преодолеть свою «узость». Не правильнее ли видеть узость в таком «догматическом наизнанку» требовании, ограничивающем писателя? Нет сферы общественной жизни, которая лежала бы за пределами возможностей искусства. Опасность узости может появиться тогда, когда писатель не видит идущих в жизни перемен и навязывает действительности свои устаревшие представления о ней. Конечно, жизнь и борьба рабочего класса — это трудней ший для творческого воплощения материал, и не случайно Алан Силлитоу именно в связи с ним пишет о сложности писательского ремесла. Но для освоения и познания современности трудно найти материал более важный и благодарный. Об этом справедливо говорят в нашей дискуссии, основываясь на опыте своей литературы, писатели разных стран — и Луис Эмилио Дэлано (Чили), и Джозеф Норт (США), и Альфред Клейн (ГДР).

«Исчезновение» из литературы рабочего героя может почудиться только тем, кто не видит перемен, или тем, кто, следуя поверхностной и скоро преходящей моде, боится впасть в «рабочего романа», якобы всегда сектантского, всегда, в любых условиях ограниченного, не способного поднять проблемы общенационального и общечеловеческого значения. Конечно, можно указать на слабые, плохие «рабочие романы» (как и на плохие, слабые романы из жизни других социальных слоев), но из этого следует только то, что эта тема требует таланта, мастерства и не допускает никаких скидок. Как доказывают многие современные литературные произведения, именно в рабочей среде, в сфере труда писатели находят нерастраченные нравственные ценности, противопоставляя их бездушию и бесчеловечию буржуазного общества. Это свидетельство мировой литературы знаменательно. Оно помогает понять, что здоровые силы нации действуют в сфере труда, созидания, что человек-творец является носителем будущего своих народов. Понимание человеческого характера, как способного к сопротивлению враждебным силам, способного к развитию, к росту, свойственное активному гуманистическому отношению к действительности, постоянно находит себе опору в рабочей среде. В этом сказывается — иногда прямое, непосредственное, иногда косвенное — воздействие энергии революционной борьбы, которое хотя бы потенциально всегда живо в рабочем классе. Его революционизирующая роль в жизни общества коренится в самой природе общественных отношений.

Эхо победы, одержанной рабочим классом России в 1917 году, гремит над миром все громче и громче. Иоганнес Бехер говорил: «Обозначение «век техники» не соответствует основному историческому характеру эпохи; следовало бы говорить «эпоха человека». Великая Октябрьская социалистическая революция и ее последствия дают нам право на такое обозначение, ибо 1917 год завершил предысторию человечества и положил начало «царству человека».

Журнал «Иностранная литература»» стремится знакомить советского читателя с книгами, посвященными жизни и борьбе рабочего класса. Задача нашей публикации — привлечь внимание к этой важнейшей стороне современной литературы. Редакция выражает благодарность всем, принявшим участие в нашей творческой встрече. В дальнейшем журнал предполагает продолжить обсуждение затронутых дискуссией проблем в работах как советских, так и иностранных авторов.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

МЕРА ВРЕМЕНИ

Эта правдивая история могла бы начаться в Фужере, на родине Малыша Луи, или в Манья-л'Этранж, родине Раймона, в Лилле у Люсьена — словом, в каком угодно уголке Франции, у любого из наших товарищей. И если я выбрал местом действия улицу Мазарини в Париже и две-три прилегающие улицы, то вовсе не потому, что встретился здесь со всеми своими друзьями, но потому что наш квартал вобрал в себя воспоминания многих столетий, и если я порой буду отдаляться от него — как можно реже,— то для того лишь, чтоб вы не подумали, будто мой взгляд ограничен крышами родного уголка. Когда приходится выбрать наугад десяток-другой коммунистов, чтобы проследить путь, пройденный страной, проще всего найти их там, где история их жизни пересекается с историей Франции.

Чтобы попасть в метро, они должны пройти мимо особняка, где в конце XVII века обосновалась «Комеди франсез», а по пути на почту миновать типографию, где Марат издавал «Друга народа». А из окон приемной Ги виден парк, где возвышался дворец королевы Марго; Гельвеций и Рамо посещали дом, где теперь служит консьержкой жена Деде; и когда Люсьена идет по набережной на работу, то проходит мимо тех мест, где Люлли ставил свои оперы и где играл Мольер, мимо дома, где Шампольон открыл тайну иероглифов, и мимо дома, где жила Шанмеле, исполнительница трагедий нашего соседа Расина, влюбленного в нее. Здесь воспоминания наслаиваются во множестве, как черепица на крышах; и к мемориальным доскам с именами людей, живших два-три века назад, прибавляются, все на той же улице Мазарини, другие — памяти Робера Десноса, «французского поэта, арестованного гестапо и отправленного в концлагерь», майора Луи Эли, «погибшего за Францию 19 августа 1944 года» у той самой длинной стены Академии, которую описал Бальзак. Мадам Бридо, «бедная разорившаяся вдова, поселилась на третьем этаже одного из домов, расположенных в этом сыром, мрачном и холодном закоулке», и не потому ли Бальзак в «Жизни холостяка» поместил свою героиню в конце моей улицы, что, должно быть, часто проходил по ней, направляясь к типографии, находившейся в трехстах метрах отсюда на маленькой улочке, где двумя веками раньше жил Расин.

Где кончается прошлое? Где начинается настоящее? Робер Деснос, живший по соседству с семейством бальзаковской мадам Бридо, умер в концлагере, а в начале улицы, на перекрестке Бюси, где в 1792 году помещался первый вербовочный комитет, куда приходили записываться добровольцы для защиты отечества в опасности, где в первый день революции 1848 года была воздвигнута баррикада, откуда, как говорят, впервые раздался клич: «Да здравствует Республика!» — на этом самом перекрестке каждое воскресенье Ивонна, Раймон и Жак продают «Юманите». И кто из старых завсегдатаев квартала, случись ему проходить мимо, отказался бы купить эту газету? Вольтер? Дидро? Робеспьер? Жорж Санд? Анатоль Франс, сотрудничавший в «Юманите»?

Итак, это будет правдивая история о нескольких коммунистах моего квартала, выбранных наугад. Или, вернее, наброски к истории их жизни, которая, даже если она протекает в самой глуши,— потому что, где кончается настоящее? и где начинается грядущее? — сливается с историей Франции.

Однажды вечером в марте 1934 года в кафе, где собиралась наша ячейка, вошла женщина лет сорока, в трауре, у нее были большие красные потрескавшиеся руки.

В те дни прием в партию был событием. Мы хотели знать все, и в особенности как, почему и в силу каких обстоятельств эта женщина пришла к нам.

*Новенькая объяснялась с трудом. Она сообщила, что работает судомойкой в ресторане. Ее муж был в числе шести рабочих, убитых полицией 9 февраля у Восточного вокзала во время запрещенной манифестации, из которой впоследствии родилось единство действий * — Народный фронт. Это случилось всего лишь несколько недель назад. Она поднесла к глазам свои руки, распухшие от мытья посуды.*

Разными путями приходят люди к коммунизму, сказал Ленин. Десятки тысяч французов и француженок состоят в партии, это десятки тысяч самых различных судеб и дорог. Человек с детства тянется к счастью, но в период созревания жизнь больно ранит его, и наступает такой день, когда боль от нанесенных ему ран и ненасытная жажда лучшей жизни соединяются, помножаются друг на друга (подобно тому, как дважды два дают четыре) — и вот уже прежнего человека нет и в помине и вместо него совсем другой человек.

Но нужно было начинать сначала. Мне следовало бы это помнить, я давно уже убедился в этом. Вопрос: как ты стал коммунистом? — надо ставить вторым. Первый нетрудно угадать: как ты узнал о революции, происшедшей в России? И тот и другой вопрос я задавал разным людям самого разного возраста. Я бродил по своему кварталу и расспрашивал друзей и товарищей. Их ответы — вот в чем суть. Что касается меня, то я всего лишь упорядочил эти ответы.

I

Одиннадцать маленьких французских историй о Великой Октябрьской революции

1. Девочка с барашком

К тому времени как Феликс, державший маленькую книжную лавку в одной из парижских улочек, вступил в свой восьмой десяток, он обнаружил, размышляя о прошлом, что память преобразила прожитую им жизнь в некий мир теней, среди которых ярко выделялись лишь отдельные картины. В том числе — маленькая сербская девочка, пасшая в горах над монастырем барашка, на шею которому повязала голубую ленту. Ей могло быть лет семь или восемь, и она ужасно испугалась, когда увидела направлявшегося к ней французского солдата с винтовкой. Но Феликс покушался лишь на барашка. Когда девочка заплакала, он бросил винтовку, опустился на колени и, развязав ленточку, отдал ее малышке, которую узнал бы и сегодня: она была в полном отчаянье, видя, что уносят ее барашка, да и сам он чувствовал себя несчастным оттого, что отнял у нее все, чем она владела, но его ждали товарищи, такие же голодные, как и он. «На войне как на войне»,— сказал он себе, так и не сумев изгнать из памяти образ ребенка, навсегда оставшегося для него напоминанием о войне.

Это было на Салоникском фронте, и пехотная часть, к которой принадлежал Феликс, около двадцати месяцев занимала высоты, господствовавшие над монастырем. Их соседями были русские солдаты, тоже пехотинцы. Наступила осень, а с ней холода. Уже много недель они были лишены снабжения и новостей. Если бы внезапно жизнь на земле остановилась, они все равно ничего бы не узнали.

Однажды утром они проснулись от странного гула, словно неподалеку сорвалась снежная лавина. Русские солдаты с криками и песнями бегом спускались с горы, подбрасывая в воздух фуражки. Французы сразу же решили: перемирие. Но три года напрасных надежд научили их ко всему относиться с недоверием. Кое-кто из русских немного говорил на ломаном французском языке. Солдат, которого остановил Феликс, улыбался во весь рот:

— Война конец.

Сомнений не оставалось: значит, и вправду перемирие.

Но пехотинцы — народ недоверчивый и дотошный.

— Для всех? — спросил Феликс.

— Нет,— ответил солдат.— Мы, русские...

Он попытался объяснить, но его французский язык был слишком беден. Наконец он произнес русское слово, которое Феликс слышал впервые и сразу запомнил, так и не поняв, что оно означает:

— Ленин.

Русский бросился вдогонку за своими товарищами, а Феликс, терзаемый завистью и разочарованием, смотрел ему вслед, и в сознании его запечатлелась картина: солдаты, смеясь и распевая песни, низвергаются, подобно лавине, по скалистому склону. Картина эта стала для него олицетворением Октябрьской революции.

2. Жанна Лабурб

В феврале 16-го года Дюбрей, старый краснодеревщик, владелец мастерской на улочке, по которой ходили Бальзак и Расин, находился еще в Вердене. Следующей весной его полк был переброшен на Восточный фронт. Должно быть, именно здесь

* Единство действий ФКП и социалистической партии.

он впервые услышал об Октябрьской революции — а впрочем, в точности он не помнит. Вести доходили с опозданием на месяц, политикой он тогда еще не интересовался, и к тому же никто здесь и не смог бы что-нибудь рассказать про эту революцию. Россия, отвлекавшая значительную часть немецких дивизий, вышла из игры: следовательно, война могла лишь затянуться. А что касается остального, поживем — увидим!

Вряд ли он подозревал тогда, что его слова и в самом деле сбудутся. В феврале 18-го года 58-й пехотный полк переправился через Днестр у Тирасполя. Солдаты думали, что их отправят на родину; увидев, что их поворачивают в обратном направлении, спиной к Франции, чтобы воевать против русских, они отказались выступить. Их мучила тоска по родине, и дело было вовсе не в Октябрьской революции, о которой они по-прежнему почти ничего не знали. И все же это были первые французские солдаты, отказавшиеся стрелять в революцию.

Командование перебросило их на другой берег Днестра. Дюбрей, переведенный в артиллерийский полк, прибыл в Одессу. Это был порт — надежды солдат ожили.

Стояла зима. Город был оккупирован французскими, греческими и польскими частями. Русские солдаты, оборванные, закутанные в одеяла, присев на краю тротуара, ели воблу. Жители страдали от голода и холода. К французам они относились дружелюбно. Некоторые из них говорили по-французски.

В городе было полно листовок, отпечатанных черными буквами на красной бумаге; никто не знал, откуда они появлялись и кто их распространял, но они ходили по рукам во всех полках. В них были обращения к «сынам французской Революции», к «детям Парижской коммуны». Потом рассказывали, что все это делали подпольщики во главе с французской учительницей Жанной Лабурб. После ее смерти Дюбрей и его товарищи пошли взглянуть на то место позади вокзала, где темной безлунной ночью ее расстреляли по приказу французского командования. За их плечами было пятьдесят два месяца фронта, грязь траншей, дизентерия, малярия, и они уже начинали кое-что понимать.

Весной 19-го года они снова отказались стрелять. На этот раз они думали не только о себе. Многотысячная колонна солдат с опущенными штыками прошла по улицам Одессы. Дюбрей шел вместе с остальными. В сущности говоря, именно Жанна Лабурб была первым человеком, открывшим ему Октябрьскую революцию.

3. Цветы на ружьях

Мимо городской ратуши Лилля с песнями проходили солдаты, и винтовки их были украшены цветами. Штыки ослепительно сверкали на солнце, стояло прекрасное лето, прекрасное лето 14-го года. Люсьену было три года, и картина эта стала его первым воспоминанием. Вскоре его отец тоже ушел на фронт, а в Лилль вступили немцы. Только два года спустя Люсьену довелось снова увидеть французских солдат, их было человек сорок, они приехали на грузовике. Все они были калеками и с трудом спускались на землю, некоторые даже падали. Женщины бросились к ним. Люсьен смотрел, как они помогали подняться этим изувеченным. Ему было пять лет, его отец был в плену, а мать шила мешки. Иногда он отправлялся со своим котелком к немцам, и те давали ему поесть. Когда в 19-м году отец вернулся из плена, сын показался ему очень маленьким и худым. Все это и было войной.

Отец Люсьена — столяр — был мастером своего дела, настоящим художником, впоследствии он нашел работу в Париже, в предместье Сент-Антуан. Анархо-синдикалист по убеждениям, он читал «Юманите» и много рассказывал о поездке Марселя Кашена в Россию.

Однажды на уроке старый учитель (молодые еще не были демобилизованы) спросил ребят:

— Кто может рассказать о том, что происходит на Черном море?

Люсьен поднял руку. Он встал и сказал:

— Я знаю, мосье. На Черном море французские моряки подняли бунт, потому что не захотели воевать против русских.

Учитель внимательно оглядел его: маленький, хилый ребенок, словно ссохшийся от войны и оккупации.

— Верно, мой мальчик,— сказал он.

4. Поль Вайян-Кутюрье

На обширной сцене беспрерывной чередой сменялись аттракционы: выступали певцы, комические и другие актеры. Праздник происходил в окрестностях Иль-Адана, посреди леса на большой поляне, которую пересекает дорога в столицу,— на поляне, названной Охотничьим домом Парижа, потому что в старину здесь было место сбора охотников, «разумеется, псовой охоты»,— уточняет Боэр.

Он уже и раньше приходил сюда вместе с товарищами. Ему было тогда восемь лет, и бесплатные спектакли в те времена были редкостью. Его отец, служивший возчиком у владельца замка, умер, когда Люсьен был совсем маленьким. Мать зарабатывала тем, что брала на воспитание малышей, она вырастила тридцать восемь детей, не считая своих собственных и племянницы, которую удочерила. «И знаешь, что она получила за это? — говорит Боэр.— Медаль, только и всего; жизнь была несладкой, да что и говорить — ужасающая нищета».

Попав в тот день на праздник, мальчик увидел вокруг себя целое море кепок. Казалось, все рабочие округа сговорились встре-

титься на этой поляне. На сцену поднялся человек с ножом в зубах, он изображал «большевика». Боэр знал это слово и испугался, но увидев, что все хохочут и хлопают в ладоши, успокоился. Потом на сцену вышел другой человек, и аплодисменты усилились. А между тем он ничего не делал — только говорил. Все это закончилось демонстрацией, и ребята вместе со взрослыми прошли по улицам Иль-Адана.

Только десять лет спустя — после того, как одиннадцатилетним мальчишкой он был разносчиком газет и официантом в кафе, а в тринадцать подмастерьем в Сент-Антуанском предместье, после того, как приобщился к секретам лакирования, своего основного ремесла, разъевшего ему ладони, после того, как вступил в ряды Коммунистической молодежи,— он понял, что праздник, на котором он присутствовал ребенком, был посвящен четвертой годовщине Октябрьской революции. «Мне кажется,— сказал Боэр,— что оратор, которого я слушал в тот день, был Вайян-Кутюрье, хотя утверждать не могу».

5. Вороны

Морису исполнилось три года, когда умерла его мать. Отец был солдатом в Аргонне. Семья насчитывала четверых детей; старшая, пятнадцатилетняя девочка, взяла на себя заботы о малышах. Когда война закончилась, отец вернулся. По профессии он был дорожным рабочим в департаменте Сена-и-Марна на линии Бри — Конт — Робер. Зарабатывал мало.

Это от него Морис узнал об Октябрьской революции. Социалист и противник большевиков, отец любил повторять, закончив рассказ о событиях в России, что, пока не увидит все это своими глазами, ничему не поверит.

Они жили в глубокой нищете, и Морис не смог даже закончить начальную школу. Он нанялся на работу к богатому крестьянину: Морис должен был отгонять ворон, чтобы они не уничтожали посевы. Это давало ему три франка в день — и возможность подолгу размышлять о самых разных вещах. Поля были обширны, колосья наливались тяжестью, вороны жирели, а Морис ходил голодным.

Однажды, когда отец по обыкновению повторял, что надо своими глазами увидеть, что именно происходит в Советском Союзе, а не принимать все на веру, Морис внезапно сказал:

— Если хочешь знать, папа, там — наше будущее.

6. Женевьева

Отец Женевьевы был социалистом. В молодости он участвовал в революционном движении бок о бок с Вайяном, дружил с Жоресом. Женевьева выросла под рассказы отца, не всегда понимая, о чем он говорит: она научилась повторять слова, еще не улавливая их смысла. Впоследствии, как она ни напрягала память, ей не удавалось вспомнить, когда и при каких обстоятельствах она впервые услышала об Октябрьской революции. Скорее всего, в один прекрасный день у нее просто открылись глаза, и она поняла, что революция всегда была в ее жизни.

7. Дыня под винным соусом

В час дня семья села за стол: отец Жан-Поля строго придерживался раз и навсегда установленного распорядка в приеме пищи, тем более что за последнее время в повседневное течение жизни грубо ворвался беспорядок. Несколько недель назад Жан-Поль сопровождал отца на избирательный участок, куда пятнадцать лет спустя, уже после Освобождения, он сам придет голосовать за коммунистов. «Это катастрофа»,— бормотал отец, он имел в виду Народный фронт. Квартал являл собой совершенно невиданное зрелище: в заводских дворах плясали рабочие.

В то воскресенье к завтраку подали любимое блюдо Жан-Поля — дыню в портвейне, возвышавшуюся на горке из мороженого посреди стола. Няня ушла, мальчик был дома с родителями.

Едва лишь он устроился на своем стуле, как на улице грянули медные трубы оркестра. Торжественная и ликующая мелодия, которую Жан-Поль слышал впервые, заполнила комнату. Родители переглянулись и поднялись из-за стола. Такого еще никогда не случалось. Мальчик тоже встал. Никто не призвал его к порядку. Он приблизился к окнам, выходившим на проспект Республики, на полпути между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашэз. Внизу волновалось море кепок.

Толпа с реющими над ней красными парусами-знаменами двигалась вперед, заполонив всю мостовую. С обеих сторон ее сдерживала двойная цепь полицейских. На гребне людской волны всплывали плакаты и эмблемы — до самого горизонта, насколько хватал глаз, и весь этот поток стремился по направлению к кладбищу, где некогда коммунары дали свой последний бой. Люди пели, скандировали лозунги, из общего хора вырывались отдельные выкрики, потом опять взмывала песня, подхваченная новыми голосами. Время от времени толпа расступалась, чтобы дать дорогу музыкантам, и едва лишь затихала вдали барабанная дробь, как уже гремели трубы и флейты. Демонстранты группировались по профессиям, это было видно по спецодежде: почтальоны в темно-синей форме, парикмахеры в белых халатах. Никогда еще город не видел такого множества почтальонов и парикмахеров, собравшихся вместе. Десятка два молодых людей придерживали за края, растянув его во всю ширину проспекта, огромное красное полотнище, наполненное мелкой монетой. Какой-то человек в мягкой шляпе пробился сквозь цепь блюстителей порядка и бросил монету.

— Отойди от окна,— сказала Жан-Полю мать.— Не надо, чтоб тебя видели.

Мальчик заметил, что родители наблюдают это зрелище из глубины комнаты. Он отступил и взобрался с ногами на стул, ожидая, что ему сделают замечание. Но отец, казалось, забыл о нем.

На противоположной стороне улицы за плотно закрытыми окнами молча притаились богатые обитатели вторых этажей. В глубине столовых и гостиных можно было различить их угрюмые лица, они, стараясь оставаться незамеченными, следили за уличным шествием. А на верхних этажах, вплоть до чердачных каморок, занимаемых прислугой, люди высовывались из окон и приветственно махали руками, кое-где колыхались красные флаги.

На мостовой толпа все увеличивалась от вливавшихся в нее новых потоков, и все та же мелодия, которая заставила родителей Жан-Поля подняться из-за стола, звенела снова и снова — то песней, то подхваченная оркестром.

Наступил уже вечер, когда последние демонстранты с последними знаменами прошли под окнами. Шествие продолжалось семь часов. Жан-Поль не двинулся с места: он до сих пор еще помнит ощущение усталости в ногах, испытанное шестилетним мальчиком.

Семья в молчанье уселась за стол. Мороженое растаяло; безвкусная, разбухшая дыня плавала в тепловатой жидкости. Жан-Поль вполголоса затянул мелодию, которую слышал в течение всего дня: «Это есть наш последний...»

Отец задумчиво посмотрел на него.

— Это революция,— сказал он.— Как в России.

8. Дырявые башмаки

Когда ему исполнилось девять лет, его мать — одинокая женщина, работавшая в скорняжной мастерской, отдала сына в пансион Венсена. Он был кроткий, как ягненок, и не обидел бы и мухи. Теперь ему предстояло защищаться.

В пансионе было несколько ребят — и он в том числе,— которые пользовались скидкой в оплате, то были парии. Остальные время от времени получали на ужин вареные яйца, он — никогда. Его мать вносила дополнительную плату за кофе с молоком — ни разу он его не попробовал.

Детей били. Классные наставники били их линейкой по вытянутым пальцам. Среди мальчиков считалось доблестью сносить удары молча и стойко. В тринадцать лет Жан отличался железной выдержкой.

Иногда он удирал из пансиона, чаще всего чтобы повидаться с матерью. Она отводила его обратно.

Однажды он тайком улизнул в кино. Фильм назывался «Мы из Кронштадта». У одного из героев фильма были дырявые башмаки, как у самого Жана. А враги этого парня щеголяли в нарядных ботинках, как и те, что преследовали Жана. Он не знал, где и когда происходили эти события и была ли это вымышленная история или правда. Но моряки взбунтовались, они победили. Жан вышел из кино с радостным сердцем. Он чувствовал себя отомщенным.

9. Полный вагон друзей

Симона поздно научилась говорить. В три года она произносила лишь обрывки фраз и невпопад повторяла слова, поразившие ее своей звучностью, пытаясь уловить их смысл. Мать была в отчаянье, она считала, что малышка отстает в развитии из-за плохого питания. Симона ни разу еще не видела апельсина — это было во времена оккупации.

Однажды мать с дочерью ехали куда-то в метро в переполненном вагоне. Молодая женщина держала девочку на руках, она была совсем легонькой. Сначала Симона заинтересовалась голубой полотняной кепкой своего соседа, потом ей пришло в голову произнести слово, которое ее родители повторяли дома, когда думали, что девочка спит.

После освобождения ее мать охотно рассказывала эту историю всем желающим — и так часто, что Симона выучила ее наизусть во всех подробностях: и какой взгляд бросил на нее человек в голубой кепке, и как отнеслись к ней остальные пассажиры,—но в ту минуту молодая женщина едва не лишилась чувств, услышав, как ее дочь задумчиво и растягивая каждый слог, словно ворочая на языке конфетку, сказала: «Сталинград».

10. Военнопленный

Родители Марселя были земледельцами в Нормандии, неподалеку от города Дьеп; политика для них была пустым звуком. Закончив обучение, Марсель устроился подручным к мяснику, державшему лавку в Гран-Кевили. Ему было шестнадцать лет, когда вспыхнули забастовки 36-го года. Молодой крестьянин рассеянно наблюдал за пикетчиками, патрулировавшими дорогу. Тут впервые он услышал о профсоюзах и коммунистах. Он не знал толком, о чем шла речь, да и не стремился понять: он стал солдатом, ни разу в жизни не раскрыв газету.

Перемирие 40-го года застало его в лагере. Там он познакомился с советскими солдатами: пленные помогали друг другу. В концлагере он пробыл пять лет — срок вполне достаточный для того, чтобы научить нормандского крестьянина уму-разуму. По возвращении во Францию его уже многое интересовало, и он попытался разобраться в пережитом, вспоминал забастовщиков из Гран-Кевили и советских военнопленных, сопоставлял факты и делал вы-

---

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР
МЕРА ВРЕМЕНИ

воды; он начал читать газеты. В «Юманите» он прочел статью, посвященную годовщине Октябрьской революции; так наконец он узнал, что означают эти слова.

11. История одной любви

Жинетта родилась в Алжире. Ее отец был француз, по профессии маляр и по убеждениям антикоммунист. Став взрослой, она превратилась в изящную красивую девушку с тонкой гибкой шеей — таких часто рисовал Пикассо. В 19 лет она работала секретаршей на Алжирском радио. Здесь она познакомилась с молодым актером из Парижа. Через месяц они поженились и уехали во Францию. И только там Жинетта узнала, что ее муж коммунист: он просто еще не успел сообщить ей об этом раньше, так много надо было им узнать друг о друге. Она сказала себе: если ее муж — коммунист, значит это прекрасно — быть коммунистом. От него она впервые услышала, по приезде во Францию, об Октябрьской революции.

II

Одиннадцать маленьких историй о Французской коммунистической партии

1. Малыш Луи

Впервые я обратил внимание на Малыша Луи на рынке Бюси, где он продавал «Юманите-диманш»; это был человек лет сорока, с заметной проседью в волосах, подстриженных бобриком. Прозвище не имело отношения к его росту: не будучи высоким, Малыш Луи отличался крепким сложением, как и подобает рабочему-металлургу.

— Даже детвора называет меня Малыш Луи,— сказал он.— Так звала меня еще мать, хотя я не был ни младшим в семье, ни самым маленьким.

Бретонец, он начал свою трудовую жизнь в Фужере, в обувной промышленности, подобно своему отцу и большинству местных рабочих. В 1933 году двадцатипятилетним парнем он перебрался в Париж.

Один из соседей, тоже бретонец и, как говорится, горячая голова, о котором он помнит лишь, что его звали Даниэлем и у него был зычный голос, стал водить его на собрания. Он же повел его на площадь Республики 9 февраля 1934 года. Малыш Луи увидел, как полицейские стреляли в рабочих. «После этого Даниэлю не стоило большого труда привлечь меня в партию»,— сказал он.

В то время недостаточно было только заполнить вступительную анкету. Какой-то товарищ, которого Малыш Луи никогда еще не видел, донимал его вопросами: он хотел во что бы то ни стало знать, в силу каких причин Луи вступал в партию. Малыш Луи не сумел на это ответить. Он сказал, что знаком с некоторыми коммунистами с заводов Ситроена и что, в общем, во всем согласен с партией. Экзаменатор вынужден был этим удовольствоваться, поняв, что ему не удастся больше ничего вытянуть из молодого бретонца, чьим политическим образованием, несомненно, следовало бы заняться.

Первым за это и взялся Ситроен, уволивший Малыша Луи, примеру Ситроена последовал Рено. «Я никогда сам не просил расчета, —говорит Малыш Луи,— мне его всегда выдавали». На металлургических заводах черные списки велись очень аккуратно; Малышу Луи пришлось пойти на стройку, потом он нанялся на работу к печнику. Именно здесь, на улице Сены, в 1936 году он начал, согласно его выражению, свой путь забастовщика. Он продолжал в том же духе. Так длилось два года. В 38-м году дирекция вышвырнула его. Лишь в сентябре 39-го года Малышу Луи снова удалось получить постоянное место службы — в пехотном полку. Накануне перемирия он попал в плен. Только в 46-м году он опять оказался в Бийанкуре у Рено, где работает и поныне.

И вот теперь, сидя напротив меня, он степенно рассказывает о недавних волнениях на заводе и о том, как трудно собрать людей, даже из числа сочувствующих, потому что после девяти с половиной часов работы каждый мечтает только об одном — поскорей добраться домой. («Нас 40 000, и что же?.. Меньше чем за час на заводе — ни души, и даже разговорами о кино никого не заманишь»). Он рассказывает о двух собраниях, проведенных на прошлой неделе, и трех — на этой, чаще всего в обеденный перерыв, на улице или где придется; о партийной организации департамента: «Вот где можно встретить наших лучших коммунистов,— говорит он,— самых стойких парней». Я гляжу на него поверх бутылки сидра, которую мы с ним осушили,— черные глаза, волосы бобриком, теперь уже почти совсем седые,— и думаю о всех тех Малышах Луи, каких знал, не привыкших говорить о себе и ничем как будто не приметных, но без которых не было бы коммунистической партии.

2. Живое сердце

В голубом небе над куполом Академии застыли позолоченные стрелы флюгеров. Под мостом Искусств стоят на причале ка-

тера: «Жорж» и «Джулиа», «Минерва» и «Меркурий». У входа в библиотеку Мазарини плитки мостовой выложены в форме сердца. Когда рабочие ремонтируют дорогу, они никогда не забывают уложить на место это каменное сердце. На одной из колонн, поддерживающих портал главного входа в Академию, под которым долгое время виднелась написанная мелом фраза: «Мир Алжиру!» — вы увидите и другие сердца, тоже нарисованные мелом и пронзеиные стрелами. И все это: тень деревьев и свежесть воды, мир и сердца,— все это напоминает мне Люсьену.

Она стоит около своих лотков, заваленных старыми книгами, гравюрами и старинными картами. Ее белые как лунь волосы оттеняют розовый, словно у девушки, цвет лица. Она смотрит на меня черными глазами и чуть ли не с испугом говорит:

— Тебе следовало предупредить меня вчера, я постаралась бы вспомнить. Ты же знаешь, я всегда все забываю.

Я спрашиваю:

— Ты выросла среди книг?

— Папа был фермером в Босе.

— У него были такие же убеждения, как у тебя?

— Этого я не знаю, я была еще совсем юной, когда он скончался. Помню только, что в день смерти Жореса он пришел домой с газетой в руках и плакал. В то время я уже работала младшей мастерицей у Дусе. Папа целых четыре года страшно бедствовал, после этого он уже не смог стать на ноги. Мы переехали в Париж, он устроился на железную дорогу, а между тем в свое время папа занял первое место среди выпускников коллежа в Шатодене; ну, а я не пошла дальше начальной школы и в 14 лет уже работала в ателье швеей, что поделаешь! Знаешь, таких девочек обычно называют мидинетками, может быть, потому, что они обедают в полдень, вместе с птицами. Но когда началась война 14-го года, людям стало не до нарядов, и знаешь, чем я тогда занялась? Я была контролером на авиационном заводе, а потом намотчицей. У меня умелые руки, всякая работа у меня спорится. Я говорю сбивчиво, да?

И она мило улыбнулась, перебирая кипу раскрашенных эстампов: крутые берега Сены, заросшие травой, Нельская башня — так выглядел квартал три века назад.

— А потом я вышла замуж за краснвого офицера, вернувшегося с войны,— продолжает она; должно быть, так же пылко звучал ее голос в 1919 году.— Он был сыном шахтера и в молодости мечтал о восьмичасовом рабочем дне, хотя и не верил, чтобы это могло сбыться. Он всегда любил читать, любил книги и хотел устроиться на такое место, чтобы быть при книгах, но ему пришлось работать шофером такси, а я по-прежнему шила. Я мало читала, потому что мои роднтели не былн богаты, да и то одни лишь детские книжки, а когда я снова, уже вместе с мужем, взялась за чтение, мы читали одии серьезные труды, вот и вышло, что я почти не знаю романов. Если б ты предупредил меня вчера, я могла бы дать тебе названия прочитанных нами книг, я помню лишь переписку Маркса и Энгельса; а в 36-м году мы вступили в партию, я вместе с мужем и с нами еще десяток друзей, целая компания. То была полоса забастовок, я участвовала в сборе денег и пела на заводах, а рабочие подхватывали хором, можешь себе представить?

Она снимает очки словно для того, чтобы лучше увидеть свое прошлое.

— Я не помню подробностей моего приема в партию, помню только, как я записала в дневнике, что это — самый прекрасный день моей жизни. А мое первое партийное собрание! До чего же сильно билось сердце!

Она засмеялась.

— У меня опять все перемешалось.

И она надела очки.

Я спросил:

— А во время оккупации?

— Муж ушел в маки. И мы с сыном поехали в те же края. Мальчнк мечтал только об одном — быть возле отца, его никак нельзя было удержать. И вот однажды муж приехал за малышом на машине. Один товарищ дал ему автомат и показал, как с ннм обращаться. Они простились со мной и сели в машину, муж рядом с шофером, а малыш сзади, со своим автоматом в руках, сияя от гордости. Ему было всего лишь четырнадцать лет. И я подумала: на первом же повороте они могут нарваться на немцев. Они уехали, мой муж и мой сын,— и унесли с собой мою жизнь. Помнится, во время войны 14-го года я видела на площади Клиши колонну санитарных машин, такие маленькие повозки, а в них раненые, и они кричали в голос от боли. Несчастные мы, матери,— добавила она и внезапно смолкла.

Я спросил ее, какие минуты за тридцать лет работы в партии запомнилнсь ей, как особеино волнующие.

— Ты прекрасно знаешь, что я все забываю,— ответила она. И с некоторым удивлением протянула: — Разве уже тридцать лет? — Она задумалась: — И в самом деле, тридцать. Знаешь, за это время я пережила так много волнующего.— Она перебирает воспоминания.— Ну, например, митинг в Буффало, я пришла туда с младенцем, не с моим, нет, с племяшком. Народу было уйма — шагу ие сделаешь. Но вот чьи-то мужские руки подняли детскую коляску в воздух и так и понеслн ее над головами...

Она снова задумывается.

— Или вот еще: до войны я собирала пожертвования на Зимнем велодроме и, случайно зайдя в какую-то маленькую комнату, увидела Долорес Ибаррури, она сидела совсем одна, такая простая, совсем родная. Мне хотелось, чтоб мой сын поцеловал ее; но он был еще совсем маленьким и застеснялся. Видишь, как все смешалось,— огромный велодром и разные мелочи.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР
МЕРА ВРЕМЕНИ

Она улыбнулась молодой улыбкой двадцатилетней девушки.

— Знаешь, что больше всего трогает меня в партии,— сказала она,— наше братство.

3. Требуются врачи

— Доктор Женон еще не вернулся,— сказала девушка и провела меня в просторную приемную. В этот час здесь пусто; беспорядочно сдвинутые вдоль длинных белых стен стулья, кажется, еще хранят следы волнений и нетерпеливого ожидания пациентов, на одном из кресел белеет забытый кем-то носовой платок.

Входит Ги с докторским чемоданчиком в руках, издали его можно принять за подростка.

— Сейчас поедем,— говорит мне Ги. Он снимает телефонную трубку и, набирая номер, бросает девушке: — Как дети? Хорошо ведут себя? — Затем в трубку: — У нее нет жара? Прекрасно — И мне: — Ну, отправились.

Машина поднимается по улице Сены, сворачивает на бульвар Сен-Жермен. Я спрашиваю:

— Ты давно в партии?

— С 36-го. В Гренобле. Мне тогда было семнадцать.

Он улыбается.

— Семнадцать лет — это возраст, когда создаешь свою философию. За один этот год я прочитал книг больше, чем за всю жизнь. У меня были левые убеждения, вернее, даже не убеждения, а чувства. Родители мои были учителями, дед — плотником, и я знал, что такое нужда. К народу меня влекло мое сердце, коммунистическую партию я выбрал сознательно.

Мы прибыли на площадь Мобер. Он ставит машину у тротуара. Я жду его в кабине. Мимо проходят алжирцы, по двое, по трое, о чем-то вполголоса споря. Ги возвращается.

— Плеврит, — говорит он. — Рабочая семья. Представь себе, когда я с ними только что познакомился, они читали «Паризьен».

Мы едем дальше.

— В 41-м,— говорит Ги,— я все еще жил в Гренобле. Ветераны партии — кто в маки, кто в концлагерях, кто в плену. А нас всего-навсего пятнадцать — рабочих, школьников, студентов. Одному было, кажется, под тридцать, остальные совсем еще мальчишки, вроде меня. Однажды мы узнали, что Петен собирается выступить в Гренобле. Решили устроить демонстрацию протеста. Обошли всех учителей города, посвящая их в свой замысел. Приезжает Петен, площадь Вердена полна народу. Тут же стоят школьники группами. Только-только старик заговорил, ему в ответ ребята грянули «Марсельезу». Он замолк на минуту, снова принялся говорить, а они снова запели. Толпа подхватила хором. А мы бросали из окна пачки листовок.

Мы пересекли Париж в разных направлениях. Машина идет вдоль канала Сен-Мартен к Ла-Шапель.

— Нас арестовали в мае 41-го,— говорит Ги,— за месяц до нападения на Советский Союз.

Он берет свой чемоданчик и уходит. Тяжелые косматые тучи плывут над крышами. Откуда-то доносится радио, передают о велогонке вокруг Франции. Проходят обнявшись влюбленные. Полицейская машина поворачивает за угол, где слоняется стайка праздных юнцов. Им, наверно, столько же лет, сколько было Ги и его друзьям в тот день, когда они устроили в Гренобле демонстрацию протеста. Появляется Ги.

— Продавщица книжного магазина,— сообщает он.— Карбункул.

Мы спускаемся к Сене и мчимся по набережной. Ги смотрит прямо перед собой на шоссе и внезапно улыбается.

— Нас отправили в лагерь,— начинает он рассказывать,— там было множество наших — все старые коммунисты. Им на все лады твердили, что с партией покончено и упорствовать незачем, что вся Франция стоит за маршала, к тому же и Гитлер занимал все новые области в Советском Союзе, и вправду казалось — всему конец. Они, конечно, внушали себе, что это невозможно, что партия не могла распасться, и все же поддавались отчаянию. И вот, когда привели нас, мальчишек, которых никто из них не знал, новичков, попавшихся при распространении коммунистических листовок, все эти старые коммунисты собрались вокруг нас и смотрели на нас со слезами на глазах. Да,— сказал Ги,— они в самом деле плакали от полноты чувств: партия продолжала жить!

Он остановил машину на маленькой улочке близ Сен-Клу.

— Мне надо заглянуть к приятелям,— говорит Ги.— Славные ребята, рабочие. Это я привлек их в партию.

Совсем стемнело. Улица кажется уснувшей. Через полчаса возвращается Ги.

— Обе малышки заболели,— объясняет Ги.— Одна — ангиной, у другой начинается краснуха.

Скоро полночь, а он еще не обедал.

— Теперь, когда я стал врачом,— говорит он,— и вижу нищету, я просто не понимаю, как можно жить вне партии. Если б я не был коммунистом, моя жизнь не имела бы смысла.

Я говорю:

— Ты знаешь, что тебе уже стукнуло тридцать лет?..

— Знаю,— говорит он.

Я жду. Он молчит. Я настаиваю:

— Ну, и как?

— Что ж,— говорит Ги, и в темноте его голос звучит чуть-чуть печально, словно он тоскует о своих первых листовках и первой демонстрации, о своем прибытии в лагерь и слезах товарищей, словно он тоскует о своей юности, потому что она была такой, какую он сам выбрал, а другой ему и не надо, потому что он не жалеет ни о чем, что произошло в его жизни за эти тридцать

лет, отданных партии. Он улыбается.— Что ж,— повторяет он,— это можно отпраздновать.

4. Подставлять плечо

Кто только не жил в моем квартале! Клерон, прославившаяся в трагедиях Вольтера, обитала в этом доме. Я поднимаюсь на шестой этаж. Комната разделена занавеской: по эту сторону — гостиная-спальня-столовая, по другую — кухня. Все вместе — не больше двенадцати квадратных метров. Вода и уборная — на пятом этаже. Печка отапливается углем. А из окна прекраснейший в мире вид: до самого горизонта — море парижских крыш.

Ева, маленькая робкая женщина с близорукими глазами, живет здесь с 1943 года; ей пришлось перебраться сюда, что называется, в мгновенье ока после того, как ей позвонили на работу по телефону и предупредили, что нацисты уже наведались к ней, кто-то донес: она ни за что не хотела носить желтую звезду.

Ева, портниха «Дома мод», не решилась вернуться на работу.

— Я не участвовала в Сопротивлении,— объясняет она.— До войны я ходила на митинги, была на празднике «Юма». Я была сочувствующей. Но, честно говоря, я даже не читала «Юманите». В начале оккупации ко мне пришли и спросили, не соглашусь ли я хранить у себя кое-какую литературу. Я согласилась. Позднее мне случалось выполнять и другие мелкие поручения: я сопровождала приятельницу, которая подсовывала под двери листовки. Она их подсовывала, а я ничего не делала, только сопровождала ее. Порой у меня на квартире встречались товарищи, так, кое-кто, и не особенно часто. Весной 44-го ко мне привели двух советских парней; я предупредила: если кому-нибудь будет грозить беда, пусть ведут их ко мне. Парни эти спали на полу, на одном матраце. Один был из Ленинграда, сын железнодорожника, другой из крестьянской семьи, шестнадцати и девятнадцати лет. Приходилось все время приглядывать за ними: молодые — их так и тянуло то в окно высунуться, а то и дверь отворить на любой стук. Через некоторое время они ушли в маки.

Только к концу 47-го Ева вступила в партию. Она сделала бы это раньше, но все колебалась. Ее пугала мысль, что ей поручат слишком сложные задания.

— Это не по мне,— говорит она.— Я не люблю браться за дела, с которыми не в силах справиться.

Как-то она узнала, что один ее знакомый вступил в партию. Она уважала его, но не считала способным на ту трудную и таинственную деятельность, которая, по ее представлению, требовалась от коммуниста. Она поделилась своими сомнениями с приятельницей, состоявшей в партии. Та ответила:

— Каждый делает, что может.

Ева долго размышляла над этими словами, а когда все обдумала, отправилась — совсем одна, маленькая и робкая — в партийный комитет шестого района, где не знала ни души, и заполнила вступительную анкету. На собраниях ячейки она редко выступает. Те краткие сведения, которые я из нее вытянул, стоили мне куда больших усилий, чем можно предположить. Но когда я спросил ее, что означает для нее партия, она ответила с поспешностью, поразившей меня:

— Перемены.

5. Вбить в голову...

У меня был друг, писатель. Он хорошо относился к нам, коммунистам, но был полон колебаний. Однажды вечером, из любопытства, он пошел на митинг. Произошла схватка с полицейскими, один из них, ударив писателя своей дубинкой по голове, свалил его наземь; тот поднялся убежденным коммунистом. Таковы уж эти интеллигенты: если вы хотите их в чем-то убедить, знайте — путь к их сердцу лежит через голову.

6. Грузчик с Центрального рынка

Помещение консьержки состоит из одной комнаты, выходящей во двор: света и воздуха мало, а шума много. Стоит лишь Деде вздремнуть, как его будит кто-нибудь из жильцов или поставщиков, и потом он подолгу не может заснуть.

Но сейчас он спит. Маленький и чересчур хрупкий для ремесла, которым занимается, он выглядит куда моложе своих 27 лет. Жена склоняется над ним и окликает его. Он с трудом открывает глаза.

— Пора,— говорит она.

На дворе ночь, половина двенадцатого. В полутьме комнаты светится лишь экран телевизора: соревнования по кетчу. Деде смотрит на гримасы борцов и тоже корчит рожу, потом спускает ноги с постели.

— Если б мы могли найти жилье получше,— говорит его жена,— мы бы не ютились в этой конуре. Из-за нее мне приходится каждую неделю натирать воском три лестницы.

— Легко сказать — найти! — говорит Деде.— Прежде чем устроиться здесь, мы за десять месяцев десять раз перебирались с места на место.

Он надевает свитовку и сандалии, берет куртку и зажигает сигарету.

— Пошли.

Напоследок он говорит жене:

— Раньше одиннадцати или полдня меня не жди. Сама знаешь, суббота.

Он целует жену в обе щеки, и мы выходим.

— Телевизор я купил для нее,— сообщает он,— а то, при моей работе, она всегда одна

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР
МЕРА ВРЕМЕНИ

по вечерам, Для нас это не роскошь, а необходимость,— говорит он и, помолчав, добавляет:— Последний взнос в декабре.

Полночь. Квартал спит.

Здесь Деде родился, играл, ходил в школу, и здесь же в шестнадцать лет он оказался совсем один, без профессии, без завтрашнего, даже без сегодняшнего дня.

— У меня не было ничего,— говорит он.— Дурацкая жизнь. Посмотри, вон там я ночевал.

Мы спустились по улице Дофин и вышли на набережную. Слева от нас — Мост искусств. Его оранжевые и белые огни отражаются в темной воде. Здесь, на берегу Сены, Деде спал. По утрам появлялся сторож со шлангом и будил Деде и других ребят, таких же бездомных.

— А потом я устроился к Ситроену,— сообщает Деде.— Квалифицированным рабочим.— Он повторяет: — Квалифицированным, понимаешь?

Его поставили к станку, три недели спустя он уже здорово зарабатывал. Мастер тут же перевел его на другое место: новый станок, новая профессия; а две недели спустя он опять загребал уйму денег. У Деде были незаурядные способности к работе механика. Через год он покинул завод, проработав на всех станках своего цеха и достигнув в каждой специальности высокой квалификации.

Мы пересекаем Новый мост. Парочка влюбленных облокотилась о парапет; парень играет распущенными волосами девушки.

— В 59-м я женился,— говорит Деде.— Я и тогда уже работал грузчиком на Центральном рынке. Понятно, я взялся за это без особого удовольствия. Если бы я мог найти другую работу, я бы оттуда ушел.

Набережная Лувра чуть дрожит под тяжестью огромных грузовиков. На тротуаре около «Прекрасной садовницы» спит босая женщина.

— Работать приходится по десять-двенадцать часов,— говорит Деде.— Но зато располагаешь некоторой свободой.

Мы переходим улицу Риволи. Впереди виднеются павильоны Центрального рынка. Сюда со всех сторон съезжаются грузовики, словно на ощупь отыскивая дорогу в ночи; они останавливаются, из кабины вылезает шофер со свинцово-серым от усталости лицом, с потухшей сигаретой во рту — человек, не сомкнувший глаз в течение шестнадцати, а то и двадцати часов, ему уже не хочется ни спать, ни есть, и он с трудом держится на одеревеневших ногах.

Вокруг нас воздвигается город, будто из «Тысячи и одной ночи»: крепостные стены из цветной капусты, сторожевые башни из помидоров, тримумфальные арки из салата-латука. Над ними струятся ароматы: пахнет персиком, клубникой, а то вдруг потянет апельсином.

— Привет, Деде,— раздаются голоса.

Я спрашиваю его:

— Ты давно в партии?

— Пять лет,— говорит Деде.

— Почему вступил?

— Не знаю. Когда я был мальчишкой, мой отчим брал меня с собой расклеивать плакаты, мы ходили на митинги. Он был хороший человек, даже безупречный.

— Это он привлек тебя в партию?

— Нет.

— Так кто же?

— Скорее всего нищета.

Он пожимает мне руку и отправляется строить баррикады из мешков с картошкой.

7. Бакалавр

— Меня приняли,— говорит она, и голос у нее совсем детский.— Преподаватель математики безобразно придирался, и по географии я ничего не знала, но по французскому я получила 15 баллов из 20.

Младший брат разглядывает ее красное от волнения лицо, растрепанную челку, полосатую сине-белую матроску и замечает с иронией, тоико прикрывающей восхищение сестрой:

— Хотите знать, как выглядит бакалавр: это нечто синее в белую полоску.

Против обыкновения, она принимает похвалу.

— Профессор попросил меня объяснить монолог Андромахи,— рассказывает она.

Я говорю:

— Раз уж ты ответила сегодня на столько вопросов, и так блестяще, разреши мне задать тебе еще два-три. Почему ты вступила в партию?

Она смотрит на меня без того удивления, которого я ожидал.

— Во-первых,— говорит она степенно, словно все еще находится перед экзаменатором,— я не представляю себе, в какую еще партию я могла бы вступить, а, во-вторых, я не сделала этого раньше, считая, что для этого нужно быть более образованной.

— А сколько тебе было лет, когда ты вступила?

— В апреле исполнится год, следовательно, мне было семнадцать.

— А почему ты не могла бы вступить ни в какую другую партию?

Она удивленно взглядывает на меня и на мгновенье задумывается.

— Потому что мои родители коммунисты,— говорит она наконец.

— Кому, если не студентке, получившей 15 баллов из 20 по французскому, полагается знать, что одна из главных проблем, которой посвящено немало шедевров мировой литературы,— конфликт отцов с детьми.

— Это не про меня,— отвечает она.— Я считаю, что следовать примеру родителей — значит поступать здраво.

— Здраво?

— Да, так же здраво, как есть и пить.

И, наверно по ассоциации, она принимается за тартинку с маслом.

8. Жаклина и Люсьен

В период забастовок 36-го года Люсьену было три года, а Жаклина только что появилась на свет божий в Бельвиле. Отец

Люсьена был чернорабочим на предприятиях Годриш-Коломб, отец Жаклины — сафьянщиком, а ее мать работала мастерицей в ателье мод. Когда объявили войну, Люсьену исполнилось шесть лет: это было его первым четким воспоминанием о внешнем мире, тогда как трехлетняя — в те годы — Жаклина еще и понятия не имела о том, что происходит на свете, и своего отца, военнопленного, видела только на фотографиях; она часто мечтала о нем, но не узнала его, когда он вернулся после пяти лет плена. Ко времени Освобождения ей исполнилось восемь лет, у нее были светлые волосы, и она любила кронть. Люсьену было одиннадцать. Его родители купили маленькую колбасную лавку, торговля шла успешно, и сын смог учиться в лицее. Но он никогда не вспоминает об этой поре с легким сердцем: семья жила, будто скрючившись вокруг кассы.

По-настоящему он понял это в Ницце, на встрече итальянской и французской молодежи. Перед ним распахнулись широкие горизонты, он открыл одновременно и дружбу и солнце. Он вступил в комсомол, из комсомола перешел в партию. Перед его отъездом в Берлин на Фестиваль молодежи отец заявил: если он уедет, если будет упорствовать и продолжать свою деятельность в партии, пусть не рассчитывает на поддержку с его стороны. Он все же уехал.

На германской границе французов встретила толпа, ожидавшая их уже в течение нескольких часов: поезд прибыл с опозданием. Среди французской делегации находились бывшие узники концлагерей. Припав к окнам, они пристально всматривались в лица немцев, которых не видели со времени Освобождения. Как только они начали выходить из поезда, немцы, собравшиеся на перроне,— а их было несколько сотен,— хором запели «Марсельезу». Эта минута навсегда запомнилась Люсьену. Он вернулся активным борцом.

Он готовился к экзаменам в педагогический институт Сен-Клу. Родители привели свою угрозу в исполнение, и Люсьену пришлось самому зарабатывать на жизнь, чтоб продолжать ученье. Он устроился преподавателем в лицей, получая за это стол и жилье, но не оплату. Продавал рекламные проспекты, был санитаром, статистом в опере, в «Болеваре».

Ну, а Жаклине не пришлось столкнуться с подобными трудностями: ее родители были коммунистами. Она училась в лицее, вступила в комсомол, потом в партию. Волосы ее из белокурых стали темно-русыми, она увлекалась уже не кройкой, а рисованием: в классе она всегда шла первой. Живопись была ее страстью.

В 1953 году, окончив второй курс высшего учебного заведения, она поехала в Бухарест на Фестиваль молодежи. Там она познакомилась с одним из руководящих работников партии; у нее создалось впечатление, что он для того только и приехал, чтобы все время и по всякому поводу спорить с ней. Только позднее Люсьен рассказал ей, что обратил на нее внимание еще в поезде, по пути в Бухарест. Они уговорились встретиться в Парнже.

Жаклина вернулась первой, в воскресенье. Перед отъездом отец предупредил ее, что не сможет больше платить за ее ученье и что ей придется работать. Она считала, что у нее еще будет время подумать об этом. В понедельник с самого утра она пришла в ателье; подобно своей матери, она стала портнихой.

Люсьен известил ее сразу же по возвращении. Теперь они уже больше не спорили. Ему пришлось отказаться от педагогического института в Сен-Клу, и он стал готовиться к конкурсу на место преподавателя ремесленного училища. Жаклина, тем временем освоившая швейную машинку и утюг, слишком тяжелый для ее рук, горько завидовала ему: ей казалось, что она забыла все, чему училась. По вечерам после работы у нее было лишь одно желание — спать. Она жила у родителей. Люсьен занимал вместе с товарищем каморку для прислуги.

В домах моего квартала велнкое множество клетушек, притаившихся под самыми крышами, крохотных комнатенок об одно окошко, выходящее во дворик, всевозможных закутков, конур и норок, которые являются предметом вожделения, потому что обладание ими означает для одних — возможность жениться, для других — обзавестись детьми, для многих — взять от жизни свое счастье; счастье, каким его представляют себе в наши дни во Франции.

После долгих поисков Люсьену и Жаклине удалось найти темную и сырую комнатушку не больше пятнадцати квадратных метров. Они поженились.

Для Люсьена партия — это постиженне смысла жизни и приобщение к солидарности рабочих. Настоящее же мрачно, как их жилище.

— Благодаря партии,— говорит он,— мы не замыкаемся в себе и своих трудностях, мы живем общей жизнью вместе с другими людьми, мы живем в будущем.

Партия для Люсьена — это путь надежды.

Для Жаклины партия — это борьба.

9. Когда они поднимаются во весь рост

Поверх низкой серой стены, на которой можно прочесть полустершиеся слова: «Освободите Анри Мартена», в лучах солнца четко вырисовываются сухие ветки шелковицы и жимолости. Давно уже французы прекратили войну против Вьетнама, и давно уже Анри Мартен вышел из тюрьмы, и давно уже американцы изничтожают вьетнамцев с неслыханной жестокостью, но по таким вот надписям, деревьям и кустарникам вы сразу узнаете французскую дорогу. За спиной еще чувствуется близость Парижа и

его пригородов, а тут вас обступают со всех сторон заиндевевшие вспаханные поля, в которых копошится воронье; беспредельные и однообразные, они закругляются вдали, сливаясь в сплошной массив, простирающийся до самого горизонта.

— Весь этот кантон принадлежит одному человеку,— говорит мой проводник и, помолчав, добавляет: — Даже и школа принадлежит ему.

Мы только что побывали у мадам Брюне, жены и матери сельскохозяйственных рабочих. Она приняла нас в своей продымленной кухне и рассказала, что владелец дома отключил электричество не потому, что она не оплатила счет, а чтобы выжить отсюда ее и всю семью.

— Я обратилась к мэру,— продолжает она спокойным тоном,— и сказала ему: «Хозяин не имеет права так поступать». А мэр мне в ответ: «Ну, право-то у него есть, он имеет право, если захочет, даже выбить ваши стекла».

И вот мы сидим в крохотном кафе в Буаземоре, деревне, насчитывающей две сотни обитателей. Жак устроился напротив меня. Большой, прямой и неподвижный, он словно вытесан из дуба. Он положил на стол перед собой могучие кулаки, словно они слишком тяжелы для его рук.

— По утрам, приходя на работу,— говорит он,— я кормлю быков месивом из рубленой свеклы. Потом убираю навоз, даю им сено, даю им овес, даю им солому. В полдень я чищу их скребницей. Только кончу чистить, опять надо задавать корм. Сто тридцать семь быков, а рабочих всего двое, мой брат и я. Накормив скот, мы заходим сюда пропустить стаканчик, возвращаемся домой, ужинаем и ложимся спать.

— И это каждый день?

— Всю неделю, и даже в воскресенье.

— Круглый год?

— Нет, летом я сажаю свеклу, потом копаю картошку, а когда с этим кончено, копаю свеклу и снова принимаюсь откармливать быков.

Он работает с четырнадцати лет, а сейчас ему восемнадцать с половиной; и никогда еще он не имел ни одного выходного дня.

— Ты читаешь?

Он отрицательно качает головой.

— Ходишь на танцы?

Он пожимает плечами.

— В кино?

— Раньше каждые две недели к нам привозили картины, время от времени я ходил смотреть. Теперь больше не возят.

— Ты был в Париже?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

Париж отсюда в шестидесяти километрах — на другом конце света. Я думаю о крестьянах Лабрюйера: «...Порою на полях мы видим каких-то диких животных; грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая и перекапывая ее с неесокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди».

— Позавчера в этом кафе у нас было собрание,— говорит Жак, словно угадав мои мысли.— Позавчера я получил свой партийный билет,—продолжает он медленно,—я, и мой отец, и оба брата — все четверо.

10. Знаменитый первый шаг

Мы теснимся в единственной комнате партийной секции Пантена, парижского пригорода. Секретарь находится тут же, но стоит в стороне и тихо, стараясь не мешать нам, разговаривает с товарищами, пришедшими к нему.

Я оглядываю людей, сидящих полукругом передо мной: вот Андре Леконт, белокурый, светлоглазый парень с правильными чертами лица, Жак Буйе, Жильбер Копье; последний — в прошлом активный участник движения, вновь вступивший в партию в конце 55-го года. Двое других — новички, и все трое работают на «Больших мельницах» * Пантена, где прежде никогда — с тех пор как существует это предприятие — не бывало партийной организации. Вот Марсель Сюир, он несколько старше, несколько солиднее других, работает там же. Он выбран секретарем ячейки пантенских «Мельниц», насчитывающей три недели существования. Его партийный стаж — одиннадцать лет. Вот пятый в спецовке — Жан Баге, маленький, живой, юркий, работает фрезеровщиком в штамповочном цеху.

Я говорю:

— Вас пятеро, а я один, рассказывайте обстоятельно и неторопливо.

Но Буйе уже понесся во всю прыть.

— Что именно мне не нравится в нашем режиме, это всем более или менее понятно. Из-за этого я и пришел в партию. Две недели назад я стал коммунистом. А первый шаг помог мне сделать товарищ Сюир.

— Какой первый шаг?

— О, знаменитый первый шаг,— говорит он, и остальные одобрительно кивают.

Я поворачиваюсь к Леконту, а Сюир вставляет:

— Это интересная история, ее стоит рассказать.

Но в разговор вступает Леконт и сыплет словами еще быстрее, чем Буйе, словно спешит наговориться за всю свою жизнь.

— Вот я, самый обыкновенный француз, каких много,— говорит он.— До недавнего времени я не интересовался политикой, но это было ошибкой.

Он поворачивается к остальным.

— Я был в шоферах у одного князя,— продолжает он.—Не стоит называть его имени. Я видел, как они живут, все эти господа, о которых столько разговоров. Я видел, как они смеются над рабочим человеком, и когда я все это видел... может быть, у меня маленький умишко, но в моей голове это

* Мукомольный завод в Париже.

не укладывалось. Мие нужен был человек, который бы мне многое объяснил.

— Знаменитый первый шаг,— замечает Копье.— И теперь ты живешь с открытыми глазами.

— С шнроко открытымн глазами,— подтверждает Буйе, но неизвестно, кого он имеет в внду — своего товарнща, себя илн нас всех.

— Я вступил в партию три дня назад,— говорит Лекоит.

— А почему вступил?

Он задумывается.

— Я был в Северной Африке,— говорит он,— увидел, какая там ннщета. Ну, и многое другое.

— Хотя бы все трудности с твоим жильем,— вставляет Сюир.

— Мие ие на что особенио жаловаться,— говорит Леконт.

— У него четверо детнщек,— замечает Сюир.

Леконт снова задумывается.

— Я уверен, что в России такого не бывает,— говорнт он.— Мне ужасно хочется побывать в Росснн.

Он опять замолкает.

— У меня нет никакого опыта,— говорит он.— Я ничего не принес партии. Только свою преданность.

Я взглядываю на рабочего-металлиста.

— Это довольно занятная нстория о том, как я стал коммунистом,— говорит Баге.

Еще полгода назад на его фабрике не было ни одного члена профсоюза. В один прекрасный день началась забастовка, никто толком не знал, как это произошло. Но что делать дальше? Какой-то рабочий предложил обратиться в профсоюзную организацию, чтобы получить нужные сведения. Профсоюзная организация? Выяснилось, что никто из иих даже не знал, где она находится. Все тот же рабочий подал мысль спросить адрес у продавца «Юманнте». Получив сигнал тревоги, профсоюз вмешался в пожарном порядке. А забастовщики, поняв, что есть адреса, которые выгодно знать наизусть каждому рабочему, начали вступать в профсоюз.

Забастовка эта заставила меня о многом призадуматься,— говорит Баге,— и я сказал себе: так продолжаться не может, надо записаться в партию. Когда сообщил об этом жене, она ответила: «Ты прав»,— и мы оба записались. На нашей фабрнке я вступил в партию первым. Теперь нас уже пятнадцать.

Он обращается к остальным:

— Замечательно это получилось: всего четыре месяца назад у нас не было ни профсоюза. нн партийной организации.

— Красота! — говорнт Копье с видом знатока.

Слушая их разговор, я думаю о всех мужчинах и женщинах, которых так часто спрашиваю, как и почему они сделалн «знаменитый первый шаг».

— Это как бы вспыхнвает,— говорит Леконт.

— Взрывается, — вторит ему Баге. — Представь себе человека, который не может говорить. Он терпит, терпит н потом вдруг...

— Чье это изречение,— спрашивает Сюир,— «Кто сеет ветер, пожнет бурю»?

Ответы раздаются хором:

— Ленин?

— Виктор Гюго?

— Библия?

— Все равно кто,— заявляет Копье,— но он был прав, и это здорово сказано.

11. Живые камни

Я побывал в деревне, посетил прнгороды, нсходил весь Париж и вот опять вернулся в свой квартал. Сегодня воскресенье, и Раймон стоит на своем обычном месте, пржав к груди пачку газет. Он невысок ростом, его загорелое длинное лицо кажется еще длиннее из-за острого подбородка, а глубоко посаженные глаза всегда глядят вдаль.

Мимо нас по тротуару идут хозяйки: вверх — на рынок, с пустыми кошелками; вниз — возвращаются домой с полными; рынок Бюси расположен на той стороне улицы, как раз напротив того места, где мы стоим.

Отец Раймоиа работал каменщиком в Парнже в течение целых трндцати лет; теперь он поселился на покое в департаменте Крез; здесь, в деревне Манья-л'Этранж, Раймон вырос и кончил среднюю школу, здесь работал на земле. Старший брат был каменщиком в Париже, так же как и отец. Двадцатилетний Раймон в свою очередь приехал в столицу.

Наш разговор прерывает какой-то человек. Он оброс щетиной, верно, не брился дней десять, его баскетбольные ботинки прохудились на носках, а пиджак заколот у ворота аиглийской булавкой: напрасная уловка — сквозь щели все равно проглядывает голое тело.

— У тебя ие иайдется для меия «Юма»? — говорит он.— Я прочнтаю и передам другим.

Раймон колеблется, потом протягивает ему газету. Бродяга хитровато щурится.

— Ну, колн так,— говорит он н извлекает из кармана пригоршню су.

Спустя два месяца после своего приезда Раймон нанялся как черноработий на стройку на Елисейских полях. Он не был даже членом профсоюза. А между тем еще с 1920 года его отец голосовал за коммунистов. Друзья посылалн ему «Юманите», и Раймон прочитывал эту газету от корки до корки. Читать он любил.

— Всех наших великнх писателей: Виктора Гюго, Бальзака, Золя — я прочел еще до приезда в Париж,— заявляет он и, прерывая самого себя, вдруг обращается к какой-то женщнне в шлепанцах: — Хорошо выспались? Как чувствует себя ваш муж, ему лучше?

Женщина уходнт с газетой в руках.

— В сорок втором,— продолжает Раймон,— одни приятель сказал мне: «Нельзя сейчас оставаться в стороне». Я ответил: «Ты прав, я с тобой согласен».

В те годы он работал на строительстве ангаров для немцев.

— Мы организовали там забастовку вместе с одним товарищем, впоследствии отправленным в концлагерь. Нас было две сотни бастующих. Пришли немцы, обвинили нас в саботаже. Все же мы продержались целый день.

Он продает газету алжирцу, какой-то женщине в фартуке и объясняет старому господину, где находится ближайший магазин, торгующий семенами.

— Подпольная «Юма»,— говорит он, и в его голосе звучат почтительные ноты,— мне довелось видеть подпольную «Юма».— Он смотрит на свои руки.— Я сам распространял ее на стройке.— И добавляет: — Мы тогда работали в Нотр-Дам-де-Пари, на кладке камней: реставрация.

Скромно одетая старая женщина протягивает ему два франка.

— Не надо сдачи,— говорит она.

Раймон провожает ее взглядом.

— В годы своей юности,— говорит он,— я смотрел на партию со стороны. Я думал, что коммунисты — особые люди, не такие, как все, считал, что они выше других. Теперь я знаю: коммунистом не рождаются, коммунистом становятся.

Я смотрю на своего приятеля-каменщика и вспоминаю слова Рабле, которые относятся и к Раймону: «...искусные каменщики, создающие свои творения из древних камней, не описаны в моей книге жизни. Я создаю ее только из живых камней: это люди». Я спрашиваю:

— Ты веришь, что мы ее увидим — социалистическую Францию?

Он задумывается, словно вспомнив о Деде, который в шестнадцать лет вынужден был ночевать под мостами и так и не смог обучиться какому-нибудь ремеслу, о Жаклине, дочери рабочих, которой не удалось стать художницей, о Маргарите, которая могла бы стать писательницей, не будь она женой рабочего,— словно вспоминая о всех наших товарищах, всех как есть, молодых и старых, о всех молодых и старых обитателях нашего квартала и других кварталов. Он думает долго-долго, словно своим ответом берет на себя обязательство.

— Я на это надеюсь,— говорит он наконец. И добавляет еще решительнее: — Я верю, что увижу ее.

Перевод с французского Л. ПЕТРОВОЙ

В № 6 нашего журнала за этот год была опубликована повесть В. Познера «Испания—первая любовь». Повесть эта, вышедшая год назад во Франции, вызвала там много откликов. Ниже мы публикуем один из них, пришедший к нам в виде письма.

Повесть Владимира Познера — краткая и, очевидно, именно в силу своей краткости необыкновенно насыщенная, плотная — передает как нельзя лучше кошмар разгрома Испании и трагический исход во Францию республиканской армии, побежденной, измученной, голодной и... гордой. Это в самом деле походило на сон, на дурной сон, на чудовищный кошмар. Прежде всего, по несправедливости жуткого финала. К нему привела людская несправедливость — преступление иноземных правительств, фашистских и нацистских, которые, презрев все международные законы, как и все законы человеческие, вмешались в дела испанского народа, а также преступление западных демократий, позволивших удушить этот народ. И несправедливость судьбы, возмутительная несправедливость Истории. Еще одно сообщало этому ужасному событию характер страшного кошмара, от которого кровь цепенеет в жилах,— оно рождало предчувствие иных событий, не менее устрашающих. Ибо то было начало неумолимого рокового развития. Мы присутствовали при первом акте трагедии, которая должна была охватить весь мир. И в этой трагедии нам предстояло быть уже не зрителями, завороженными галлюцинацией, как вначале, а либо исполнителями, либо жертвами, подчас же и теми, и другими вместе.

Нет положения ужасней, чем ощущать себя персонажем надвигающейся трагедии, при первом акте которой присутствуешь, не очень понимая, что происходит, и только предчувствуя неминуемость наступления апокалипсиса. Понимали лишь сами герои этого первого акта — испанцы. Они знали, за что сражались и против кого. Они сознавали все необъятные последствия своего поражения. Они знали, что их честь не потеряна, но что над другими странами, и в первую очередь над Францией, которая сейчас принимала их в лагерях, окруженных колючей проволокой, нависла смертельная угроза. Они ведали цену добра, зовущегося свободой, за которое стоит заплатить всей кровью народа. И когда автор, преодолевая их ожесточенное молчание, вырывает у них несколько неясных фраз, из недр прошлого внезапно всплывают горькие слова, подобия темных пророчеств, и он узнает в них бичующие образы «Бедствий войны» Франсиско Гойи. Ибо в ходе своей истории этот народ вторично стал объектом чудовищного беззакония и еще раз восстал против него со всею яростью праведного гнева. Оба события — странно сходные и сходно странные — рождают отзвук в сердце рассказчика. Он узнает подлинное лицо испанского народа, верного самому себе, эпическую сущность этого народа. И он об этом свидетельствует, он заверяет, что Гойя — жив, что его мстительный гений, неизменный, вечно воскресающий в оскорбленном и истекающем кровью народе, присутствует в испанцах и сегодня.

Итак, все это сказано — и сказано хорошо — в печальной повести Владимира Познера, с ее душной, ночной атмосферой отчаяния и загнанного внутрь гнева. «Испания — первая любовь» — в самом названии уже выражена пылкая страстность отношения к Испании, принесенной в жертву. Испания была принесена в жертву первой, поэтому она наша первая любовь. Мы, выжившие после самой чудовищной попытки завоевать и разрушить мир, какую когда-либо знало человечество, мы должны любить Испанию, где все началось, беспредельной любовью. Там, в Испании, впервые свершилось ужасное. И эта возмутительная несправедливость Истории все еще длится, поскольку для Испании развязка не наступила. И для героев, которых мы видим здесь в их величественных окровавленных лохмотьях, для их жен, стариков родителей и детей, искавших убежища в изгнанье, заря справедливости все еще не взошла.

ЖАН КАССУ

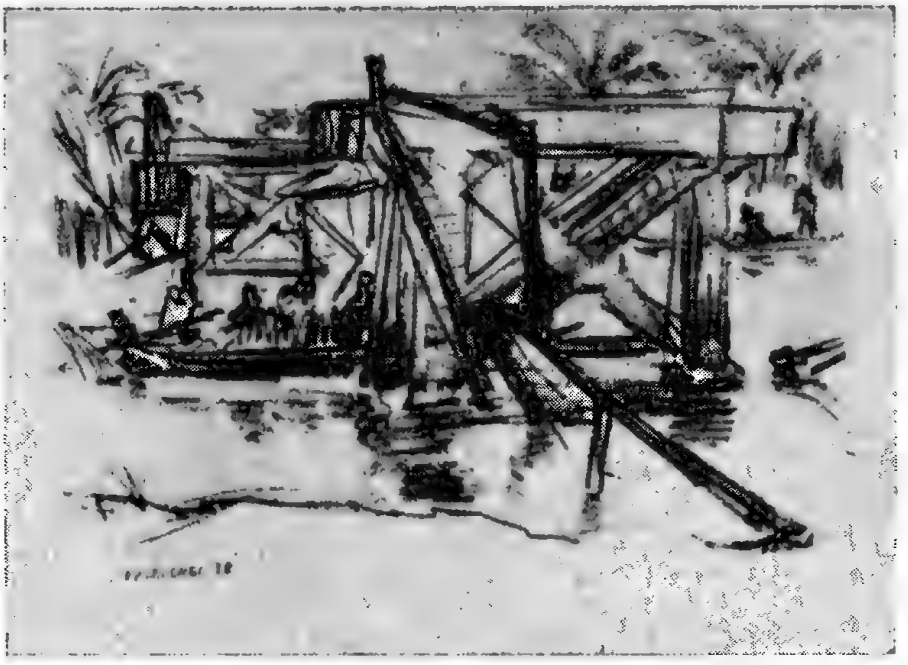
ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ

ЗЕМЛЯ, ЛЮДИ

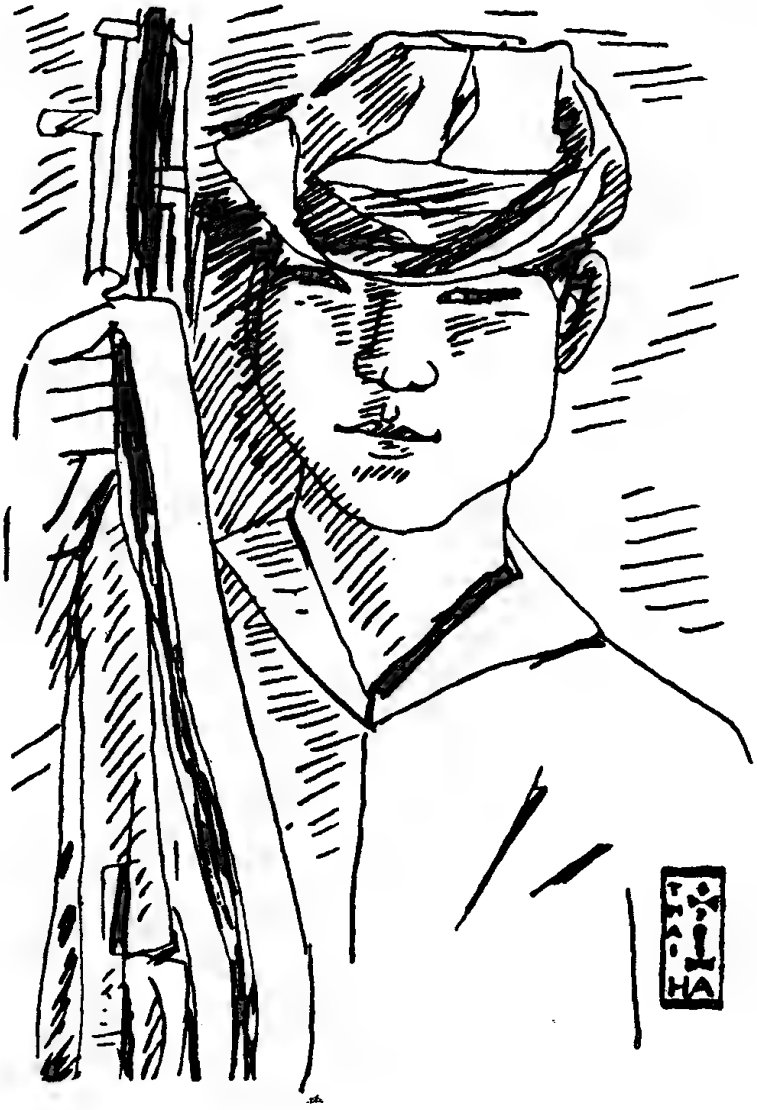
(Эскизы южновьетнамских художников)

Серия репродукций, выпущенная издательством «Освобождение», названа «Эскизы южновьетнамских художников». Уже в самом названии серии — и обстановка, в которой работают графики и живописцы партизанской армии, и их дальнейшие задачи. Эти рисунки сделаны, по преимуществу, на марше, на привале, в суровой боевой обстановке. Впрочем, другой мастерской нет у южновьетнамских художников: планшет с бумагой и красками — на поясе, рядом с гранатой, с запасом риса на дорогу... И хотя работы южновьетнамских художников скромно названы «эскизами», рассматривая их, мы получаем не только представление о жизни и борьбе народа, но и то наслаждение, которое возникает от встречи с настоящим искусством: художник с большой выразительностью выявляется в эскизе, в скупом и быстром штрихе. Художнику мало уметь рисовать — ему надо уметь видеть, и этим качеством в высшей степени наделены южновьетнамские художники. Мысль воина армии освобождения, его рука, держащая карандаш или уголек как боевое оружие, особенно взволновали меня: велика эмоциональная сила этих работ — любовь и ненависть кричат с этих страничек. Традиционные, уходящие в века штрихи и сегодняшняя действительность сливаются воедино, пластично дополняют друг друга. Придет время, когда живописцы и графики Южного Вьетнама превратят свое искусство в большие полотна, но не ослабнет воздействие этих фронтовых набросков, сделанных талантливо и вдохновенно.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ



Хуинь Фыонг Донг. Мост, разрушенный партизанами.



Тхай Ха.
Боец Освобождения.

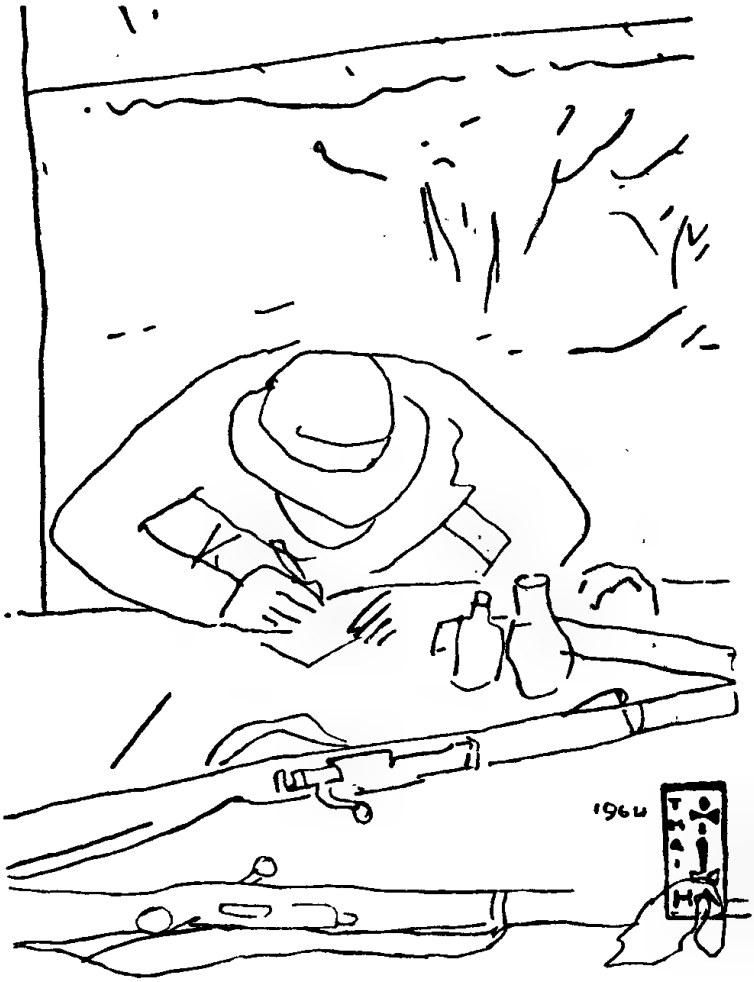
Тхай Ха.
Подростки-партизаны.

Тхай Ха.
Обсуждают уроки политической борьбы.

Хуинь Фыонг Донг.
Через мост.

Тхай Ха.
Мальчик-связист.

Тхай Ха.
Письмо домой.



Нгуен Ван Кинь.
Связисты в пути.

Хуинь Фыонг Донг.
Партизанка.

Хуинь Фыонг Донг.
Отомщу за тебя!

Ко Тан Лонг Тяу.
Боец армии Освобождения.

Хуинь Фыонг Донг.
Дорога на фронт.

Нгуен Ван Кинь.
В подземном туннеле

Хуинь Фыонг Донг.
Партизаны в джунглях.

Тхай Ха.
Делают патроны.

Хуинь Фыонг Донг.
Жертва американской бомбардировки.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ИССЛЕДУЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ...

В венгерской печати опубликовано несколько статей, авторы которых поставили в центр обсуждения проблемы национального самосознания. Основанные на материале венгерской истории и современной духовной жизни страны, статьи эти имеют и более широкий, в известном смысле теоретический интерес.

Обсуждение открылось статьей Вильмоша Фараго в литературном еженедельнике «Элет эш иродалом». Автор проделал любопытный опыт: 125 учащихся пяти гимназий ответили на вопросы анкеты, составленной В. Фараго, который затем прокомментировал эти ответы. Первый вопрос: «Горд ли ты тем, что являешься венгром? Если да, то почему? Если нет, то почему?» — сразу вводит нас в суть дискутируемой проблемы. 83 процента опрошенных молодых людей (им по семнадцать—восемнадцать лет) ответили утвердительно — обстоятельство, которое вызвало, однако, у В. Фараго чувство некоторой тревоги. Дело в том, что социальная аргументация у гимназистов встречалась довольно редко, о социалистическом строе новой Венгрии, как о причине гордости своим «венгерством», мало кто из них сказал.

> «Наиболее характерный стереотип, который встречается у девяноста процентов опрошенных,—пишет В. Фараго,—в одинаковой степени у тех, кто горд своей принадлежностью к венгерской нации, и у тех, кто не гордится этим, сводится к следующему: «Мы маленькая страна». Создается впечатление, что этот «геополитический» факт является основным ощущением опрошеяных, причем настолько, что определяет почти каждый их ответ. Из этого основного ощущения... проистекает тот образ мысли, который я назвал бы укрощенным, ставшим пацифистским национализмом».

«Отсутствие классовой точки зрения» В. Фараго находит и в характере ответов на другие вопросы.

Мы назвали проделанный эксперимент любопытным. Однако он вряд ли в достаточной мере основателен для того, чтобы судить об образе мысли венгерской молодежи. Сам В. Фараго, замечая, что его выводы касаются только участников опроса, добавляет:

> «Я почти уверен в том, что непосредственная беседа изменила бы картину, которая создалась на основе анкеты. Но, боюсь, все же не в такой степени, чтобы развеять всякое беспокойство».

Таким образом, сто двадцать пять ответов не столько подвели автора к статистически обоснованным итогам, сколько явились интересным, жизненно-конкретным поводом для того, чтобы развернуть дальнейшее обсуждение.

Решительное несогласие с В. Фараго очень скоро выразил на страницах газеты «Непсабадшаг» председатель Союза писателей Венгрии Йожеф Дарваш. Его статья повторила заголовок первой — «Маленькая страна», но снабдила его вопросительным знаком. Этот знак вопроса больше относится не к методике анкетирования и даже не к выводам В. Фараго, а к «получившему, по мнению Й. Дарваша, в настоящее время довольно широкое распространение явлению», а именно к «одностороннему, немарксистскому толкованию борьбы против национализма», к «отрицательной оценке

наших прогрессивных исторических традиций под видом формирования исторического реализма, реального национального самосознания». Йожеф Дарваш — писатель, который в собственном творчестве доказывал, что, говоря словами его же статьи «Маленькая страна?»,

> «нельзя щадить «национальную» чувствительность в интересах истины, потому что без реального, если нужно — беспощадного самоанализа невозможно выработать новое чувство национальной ответственности».

Но тем более, подчеркивает он, нельзя проходить мимо того, что в некоторых кругах становится модой провозглашение «национального дезиллюзионизма». Й. Дарваш соглашается со словами В. Фараго, что «быть венгром — это не программа, а данность, рамка». Однако с этой «данностью», во-первых, нужно считаться, ибо она реально существует, а во-вторых, нельзя объявлять националистическими те чувства, которые вызваны принадлежностью к «маленькой стране».

> «Национальная гордость — еще не патриотизм (точно так же, как она не обязательно и национализм) и особенно не социалистический патриотизм,— пишет Й. Дарваш,— но она может быть одним из его составных элементов».

Й. Дарваш не находит ничего предосудительного в том, что у людей возникает гордость за свою небольшую страну, ее историю и культуру:

> «Мы действительно маленькая страна, маленький народ; не выше и не ниже остальных. И все же нет беды в том. что это обстоятельство помогает нам обрести уверенность, самосознание: хоти мы и маленький народ, мы тем не менее выстояли, выдержали бури истории, дали в можем давать миру ценности. В этих словах заключено и сознание того, что можно и стоит быть венгром и социалистом».

Социалистический строй не отменяет национального самосознания, а обогащает его, наполняя новым содержанием.

> «Существуют ли в нашем общественном мышлении националистические пережитки? Да, существуют,— пишет в заключение Й. Дарваш.— Даже и у молодежи? Да, и у нее, хотя я повторяю, что не считаю это большой опасностью (большей опасностью автор считает «национальное безразличие», «отсутствие национальной гордости», несущие в себе зачатки национального нигилизма, космополитизма.— *Ю. С.*). Нужно ли бороться против этих пережитков? Да, нужно. Но на правильной основе и правильными методами. Иначе мы, с одной стороны, будем порождать в качестве ответной реакции новый национализм, а с другой — питать национальный нигилизм».

В. Фараго выступил вторично. В «Ответе Йожефу Дарвашу», напечатанном газетой «Элет эш иродалом», он еще более отчетливо очертил главный предмет обсуждения. Допустим, что главной опасностью «сегодня и у нас» становится космополитизм, хотя Фараго не считает этот факт полностью доказанным, но суть вопроса, по его мнению, не в том, чтобы указать на два полюса — национализм и космополитизм. Речь идет о том, чтобы национальное самосознание было социалистическим, то есть органически включало в себя пролетарский интернационализм. Надо точно выяснить, говорит Фараго, чем мы гордимся как венгры. А для этого, по его мнению, нужно не обличать «национальный дезиллюзионизм», который он «назвал бы скорее научно реалистическим подходом к истории», а развивать и воспитывать его, поскольку он «не только не противоречит социалистическому патриотизму нового духа, но и является его предпосылкой»...

> «Если мы без иллюзий, на научной основе будем исследовать наше собственное прошлое, то сможем с большей уверенностью ступать и на почву настоящего,— продолжает Фараго,— если мы не будем втискивать население тысячелетней Венгрии, имеющее самые различные интересы, в один ковчег, который «бури истории» бросали то туда, то сюда, а будем рассматривать нашу национальную историю как историю борьбы классов, то тогда мы сможем почувствовать подлинно своей родину, которая стала нашей в результате классовых битв. «У пролетариата нет родины!» Она стала нашей в результате того, что стала социалистической родиной».

Не приходится сомневаться в том, что В. Фараго понимает вредность космополитических настроений — точно так же как Й. Дарваш понимает различие между буржуазной и социалистической трактовкой национального самосознания. Спор между ними, по существу, касается, если можно так выразиться, не стратегии, а тактики интернационального воспитания в сегодняшних условиях Венгрии. Об этом свидетельствуют и другие выступления. Так, Жигмонд Пах, историк, ректор Будапештского экономического института им. К. Маркса, в статье «Национальное самопознание — национальное самосознание» (газета «Непсабадшаг») заявил, что не следует говорить «или— или» там, где нужно видеть обе стороны медали:

«те же самые люди, которые, с одной стороны, представляют космополитические взгляды и чувства, с другой стороны, являются носителями националистических мнений и чувств».

Необходимо одновременно преодолевать пережитки обеих чуждых тенденций, противопоставлять «им обеим их подлинный антипод — интернациональный патриотизм». Социалистическое национальное сознание можно сформировать и развить на основе национального самопознания, что предполагает и самокритику и гордость всем достойным, что было в прошлом и что есть в настоящем.

Писатель Имре Добози в статье «Человек, нация, миф» (газета «Непсабадшаг») напомнил, что венгерские коммунисты еще до второй мировой войны сформулировали в своей политике Народного фронта основные принципы научно-социалистического отношения к венгерскому национальному прошлому, к его положительным и отрицательным традициям. Это не означает, что можно успокоиться простым их повторением, поскольку каждое новое поколение рассматривает проблему национального самосознания в связи с собственным опытом. Конечно,

«грубый национализм,— пишет И. Добози,— уже не представляет опасности, не вирулентен. У нас уже не существует условий для него. И все же было бы опасно спешить и с облегчением махнуть на национализм рукой».

От прошлого осталась еще «целая груда хлама, рухляди», «старый реквизит» претерпевает всякого рода «модернизацию». И. Добози замечает в этой связи, что есть люди, которые «в целом одобряют социалистическую концепцию истории», социалистический патриотизм и в то же время раздраженно протестуют против осуждения того или иного постыдного факта нашего прошлого. Или в лучшем случае стыдливо оправдываются: зачем выносить сор из избы? Подобная «защита социальной чести вместе с пятнами» иногда проводится под лозунгом того, что, мол, решительная самокритика дает аргументы в руки врагов.

«Не будем волноваться,—отвечает И. Добози,—у других тоже есть, что критиковать и осуждать. Но пусть каждый выметет сор из своего собственного дома».

И. Добози, как и другие участники обсуждения, настаивает на историческом реализме, а это означает, что «из глубин нужно выгребать не только ржавчину, но и железо, на котором она выступила». Традиции демократической культуры, культуры, связанной с революционной борьбой венгерского народа,— вот то наследство, которым овладевает и которое обогащает социалистическая Венгрия.

Обсуждение в основном подтвердило принципы марксистско-ленинского подхода к истории, к предшествующему национальному опыту. Современное национальное самосознание, как подчеркнул доктор исторических наук Аладар Мод (автор статьи «Национальное чувство или патриотизм»), диалектично. И в том смысле, что точно, объективно, с позиции социализма различает плюсы и минусы прошлого. И в том — что диалектически рассматривает современное взаимоотношение социального и национального.

«Национальное может... прийти в противоречие со всеобщим,— пишет А. Мод,— но особенность социалистического патриотизма как раз в том и состоит, что он тем подлиннее, чем выше степень осуществления им в конкретных условиях общего — современного прогресса всего трудящегося человечества...»

К изложенному хотелось бы добавить следующее.

Современная марксистская мысль, опираясь на классические работы Маркса, Энгельса, Ленина, все внимательней исследует национальный вопрос во всем многообразии его аспектов. Все больше внимания уделяется ею и проблеме национального самосознания. Оно анализируется философами, историками, этнографами, социологами, специалистами по искусству. Один из важнейших аспектов проблемы — взаимоотношение национального и социального. Очевидно, что национальное сознание нельзя отрывать от классовых, социальных корней; национальное есть определенным образом трансформированное социальное. Однако и сводить первое ко второму было бы неверно, недиалектично. Национальное чувство всегда социально «окрашено» у разных классов (особенно в классово-антагонистическом обществе), но оно не есть ни сумма социальных чувств, ни то «общее», что остается за «вычетом» социального.

Национальное самосознание, национальное чувство — это особый феномен, определенный исторический факт, а также фактор, оказывающий «обратное» воздействие на социальный процесс. Этот феномен заслуживает специального изучения, является специальным предметом исследования. Практическое значение такого исследования в политическом и в культурно-историческом отношениях трудно переоценить.

Интересная дискуссия в венгерской печати, о которой мы коротко рассказали,— еще одно доказательство тому.

Ю. С.

РЕНЕГАТЫ ВРЕМЕН «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Особенностью переворота, совершеиного группой Мао Цзэ-дуиа, было то, что в центре борьбы протнв законной народной власти в КНР оказались проблемы культурноой политики. Именно в сфере культурной политики произошло столкновение враждебных сил, откуда идет и само название «культурная революция», лицемерно подделаиное под ленинскую терминологню.

Невежественные н озлобленные молодчики, пользовавшиеся полной безнаказаниостью, учиинли расправу над творческой интеллигенцией, в том числе и писательской общественностью. Издевательства, побои, пытки, убнйства — таков доступный им арсенал воздействия иа инакомыслящих. Но число «раскаявшихся» в КНР тем ие менее ничтожно, их можно перечесть по пальцам одной руки.

Первым выступил с заявлением Го Мо-жо. В прошлом поэт и ученый, он выразил желанне сжечь все, когда-либо им напнсанное. Остаток жизии Го Мо-жо собирался посвятить изучению сочинений Мао Цзэ-дуна. Его речь была равносильна моральному самосожжению. Она многократно транслировалась на весь Китай и публиковалась в центральных газетах. Что же означала широкая популяризация позориой речи Го Мо-жо? Экстремисты, группа Мао Цзэ-дуна, надеялись привлечь на свою сторону ренегатов, тех, кто отреклись бы н от самих себя и от культуры своего иарода, за что нм было бы даровано помилование. Но надежда не оправдалась: за Го Мо-жо не последовал никто. «Культурная революция» предстала во всей ее обнаженной неприглядности.

Одиако со временем объявился н второй ренегат. Им стала Сюй Гуан-пии, вдова великого китайского писателя Лу Синя. Оиа прииняла деятельное участие в «культурноой революции», выступая с «разоблачениями» Чжоу Яна, замеснтеля заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, видного китайского критика. В ее речах сквозила личная неиависть к Чжоу Яну. Для беспринципного человека «культуриая революция» открывает широкие перспективы сведеиия личиых счетов. Сюй Гуан-пии получила поддержку потому, что не постеснялась клясться в любви к Мао Цзэ-дуну от имени покойного мужа. Между тем в одиннадцати томах сочинений Лу Синя имя Мао Цзэ-дуна не встречается ни разу! Сюй Гуан-пин оскорбила его память, когда заявила, будто Лу Сиинь, великий демократ н гуманист, человек твердых убеждений и большого мужества, послал телеграмму с выражением «безграничной любви к Председателю Мао»; уж кто-кто, а Лу Синь чурался культа личности. Он послал телеграмму с поздравлениями героям китайской Красиой Армии, совершившим в те годы Великий поход. Бесстрашиый Лу Синь из гомииданоВского Шанхая поздравлял всех революциоиеров и всех героев Красной Армии. А теперь Сюй Гуан-пин пытается повернуть дело так, будто Лу Синь имел в виду только одного человека, «горячо любимого Председателя Мао», чье имя в поздравлеиии даже не упоминалось.

Третьим, совсем недавно, оказался шаихайский писатель Ху Ваиь-чунь. По происхождению он рабочий, в середине пятидесятых годов начал печататься как непрофессиоиальный писатель. С годами его умение росло, он приобщился к культуре, стал писать профессионально. Повесть «Внутренний вопрос» принесла ему известность, пьеса по ее мотивам ставилась в Шаихае с благословения супруги Мао Цзэ-дуиа, Цзян Цин. Прежде в творчестве Ху Вань-чуня было немало чуждого идеям «культурной революции». Теперь ои говорит, что «вкушал отраву идеологии феодализма, капитализма и ревизионизма». Недавно «Жэньминьжибао» опубликовала его статью «Всесторонне утвердим абсолютный авторитет идей Мао Цзэ-дуна в литературе и искусстве».

Статья отступника, отвергнувшего то, к чему он успел причаститься, интересна тем, что он сообщает в ней. Другие-то ведь молчат! Их заставили умолкнуть, лишив слова. Говорят недостойные, но и из их речей все-таки можно кое-что узиать. Ху Вань-чунь рассказывает о Шанхае, но начинает с общей декларации:

> «Поддержка «Выступления» Председателя Мао в Яньани илн противодействие ему — критерий, необходимый для того, чтобы отличить революционное от контрреволюционного, подлинно революционное от лжереволюционного».

Не только Ху Вань-чунь рассматривает выступление Мао Цзэ-дуна по вопросам литературы и искусства в Яньани двадцать пять лет тому назад как «вершину эстетической мысли марксизма-ленинизма нашего времени». Такова точка зреиия всех маоистов.

> «В течение семнадцати лет после создания нового Китая средн литературно-художественной общественностн постоянно шла острая борьба между двумя политическими линиями. Главной причиной было то, что в центре и на местах проводилась черная линия в отношении литературы и искусства, прямо протнвостоящая пролетарской революционной линии, представляемой Председателем Мао. Эта черная линия служила реставрацни капитализма, ее осуществляла кучка контрреволюционных ревизионистских элементов, таких, как Лу Дин-и,

Чжоу Ян, Ся Янь и др., а их главной закулисной опорой был главарь обладающих властью внутри партии и идущих по капиталистическому пути».

Ренегат Ху Вань-чунь преданно повторяет хунвэйбиновские формулировки. Этот способ выражения нуждается в пояснениях.

Лу Дин-и, Чжоу Ян и Ся Яиь на самом деле — старые коммунисты. Все они участвовали в борьбе за освобождение. Ся Янь, например, руководил подпольной работой на гоминдановскнх киностудиях еще в тридцатых годах. После 1949 г. семнадцать лет они строили новый Китай. Лу Днн-и заведовал отделом пропаганды ЦК КПК, Чжоу Яи был его заместнтелем, Ся Янь был заместителем миннстра культуры КНР и руководил китайской кинематографией. «Главарь», на которого они опирались,— не кто иной, как председатель КНР Лю Шао-ци; в газетах его еще не прнято называть по имени, хотя бранить можно в любых выражениях. Ху Вань-чунь щепетильно соблюдает принятые хунвэйбинами правила. Далее он сообщает, что в 1962 г. в Шанхае «подул черный ветер». Что он имеет в виду? Кого и в чем обвиняет?

«Они всемерно насаждали реакционный феодальный, буржуазный и ревизионистский товар. На сцене появлялись нмператоры, вельможи и полководцы, талантливые юноши и красавицы. Пьесы с выходами духов и сверхъестественных существ, любовные пьесы — все вырвалось из клетки в качестве «традиционного репертуара». В кино развивались «традиции» тридцатых годов, не жалея труда и средств снимали фильм «Сестры по сцене». В литературе точно так же культивировалось «великое», «иностранное», «древнее» и феодальное, буржуазное, ревизионистское. В печати много говорилось о далеких от политики вещах, вроде «литературных направлений», «литературного мастерства» и «стиля», широко цитировался «Резной дракон литературной мысли» и ии словом не упоминалось «Выступленне» Председателя Мао. Проповедовали теорию «безвредности нечистой силы», создавали буржуазные низкопробные произведения, ревизионистские произведения в духе примирения классов и надклассовой человечности; был период, когда с помощью исторических примеров высмеивали современность»...

Переведем Ху Ваиь-чуня с хунвэйбиновского жаргона на общепонятный язык. Те, против кого он выступает, популяризировали отечественную и иностраниую классику. В театре они утверждали репертуар, любимый китайским иародом, соответствующий национальной традиции. В кино показывали борьбу революционеров тридцатых годов, которые действовали еще не под руководством Мао Цзэ-дуиа — чудовищное преступление в глазах хунвэйбинов! В печати пропагандировался древний эстетический трактат «Резной дракон литературной мысли», с которым можно сравнить «Поэтику Аристотеля», но невозможно сопоставлять пресловутое «Выступление» Мао Цзэ-дуна. В литературе не чурались любовной тематики — именно она названа «низкопробной», не думайте, что речь идет о порнографии. Под видом «ревизионнстских произведений» злобно оболгана советская литература, которую так много переводили и которой зачитывались в Китае. И, наконец, те, протнв кого выступает Ху Вань-чунь, дерзали в собственных сочинениях под прикрытием исторического сюжета роптать на растущий культ личности Мао Цзэ-дуна.

Ху Ваиь-чунь сообщает, что основные посты в Шанхае были заняты противниками Мао Цзэ-дуна. На второй сессии шанхайской ассоциацин деятелей литературы и искусства в ее члеиы было прннято немало заслуженных литераторов, которые получили «право слова». Руководители шанхайского отделения ассоциации Е И-цюнь и Кун Лосунь во время сессии показывали собравшимся советские фильмы — Ху Вань-чуиь иазывает их «ревизионистскими» — и даже позволяли читать советские журналы. В Шанхае с уважением относились к старым писателям. Одного из иих, Ба Цзиня, называли «левым интеллигентом, всегда близким к партии». Ху Ваиь-чунь теперь именует известного прогрессивного романиста «буржуазным по духу аристократом», хотя по каким-то соображеииям еще не решается назвать его прямо по имени, заменяя иероглифы крестиками. Может быть, дурная слава «культурной революции» заставляет погромщиков с опаской говорить о своих деяниях...

Ху Вань-чунь пишет, что первый секретарь шанхайского горкома КПК Кэ Цин-ши принадлежал к группе Мао Цзэ-дуна. Руководители шанхайской ассоциации деятелей литературы и искусства боролись с его влиянием, опираясь на ЦК партии. Ху Ваньчунь не скупится на восторги по поводу деятельности ныие покойного Кэ Цин-ши, особо отмечая, что он «прислушивался к мнеиию товарища Цзяи Цин». Согласие с мнениями супруги Мао Цзэ-дуна служит главным критерием «революционности» в нынешией «культурной революции».

Ренегат требует «утвердить абсолютный авторитет идей Мао Цзэ-дуна в глубиие души каждого из нас». Однако тут же следует признание, что с авторитетом далеко не все благополучно.

«Мы должны трезво осознать: в глубине души наших работииков литературы и нскусства, а также в организациях и учреждениях абсолютный авторитет ндей Мао Цзэ-дуна о литературе и искусстве еще не утвердился полиостью.

Мы должны трезво осознать: представляемые Чжоу Яном и Ся Янем контрреволюционные ревизионистские элементы столь долгое время господствовали в литературно-художественных кругах, что пустили ядовитые корни во многих местах... Часть корней мы выкорчевали, часть еще нет, а часть попряталась. Мы должны трезво осознать: в рядах литературы и искусства сумятица; левых, центр и правых не так-то просто разграничить, классовые ряды вокруг левых еще только смыкаются; ревизионистская линия в литературе и искусстве еще не полностью раскритикована, лицо некоторых из прежних руководителей еще не ясно, в некоторых организациях еще не взята власть»...

И в самом деле до полного торжества идей Мао Цзэ-дуна еще далеко!.. А «сумятица», организаторы которой сами не знают, «где право, где лево», открывает простор для расправ, сведения личных счетов, бесконечных злодеяний и махинаций. Ведь «корни», которые они выкорчевывают,— живые люди! Ведь те, у кого «лицо еще не ясно», семнадцать лет под руководством ЦК партии строили новый Китай! Групповая борьба и насаждение культа личности уродуют китайское общество. Свою критику маоцзэдуновцы прямо называют «пушечной пальбой»; но стреляют они не по воробьям, а в людей, лучших людей Китая, людей с революционным прошлым, в тех, кто не страшился гоминдановских репрессий и боролся за народную революцию. Ренегатов в Китае мало, но все они говорят на один манер. Их выступления предвещают новые преследования, новые репрессии; говоря их языком, предстоит выкорчевывание новых «ядовитых корней», предстоят новые разоблачения «подлинного лица»...

Все преступления против родной культуры мотивируются необходимостью «всесторонне утвердить абсолютный авторитет идей Мао Цзэ-дуна». Несостоятельная идеология утверждается насилием над волей, чувствами, здравым смыслом и человеческим достоинством китайской социалистической интеллигенции.

А. СНИГИРЦЕВ

РАВНОЕ СРЕДИ РАВНЫХ

«История мидян темна и непонятна». Давно ли ходячие суждения об африканских цивилизациях в европейской литературе, если не говорить о немногих, сугубо специальных исследованиях, напоминали это глубокомысленное изречение, которым И. Ф. Горбунов в свое время пародировал историков типа Кайданова. Но в последнюю четверть века, когда историческая инициатива перестала быть привилегией Европы и Америки, а в особенности в последнее десятилетие, ознаменованное распадом всей колониальной системы, все чаще появляются серьезные и хорошо документированные работы, посвященные историческому прошлому и современной общественной жизни африканских народов, их национальным традициям, культуре, искусству. Это не означает, конечно, что уже развеяны и отброшены глубоко укоренившиеся на Западе европоцентристские предрассудки и предубеждения. Однако каждая такая работа, как и начинания, подобные недавнему дакарскому фестивалю, получившему широкое освещение в международной прессе, способствует их преодолению.

Несомненную ценность в этом плане представляет только что вышедшая во Франции книга «Черная Африка; изобразительное искусство» Мишеля Леирнса и Жаклин Деланж, а также «Искусство и народы Черной Африки. Введение и анализ произведений скульптуры» Жаклин Деланж с предисловием Мишеля Леирнса.

В интервью, которое Мишель Леирис дал Пьеру Дэксу для еженедельника «Леттр франсез», французский этнолог и искусствовед подчеркнул, что в своей книге он стремился прежде всего ясно и убедительно показать не только богатство и своеобразие африканских цивилизаций, но и их безусловную равноценность западной.

«Меня возмущает,— сказал Мишель Леирнс,— что западной цивилизации приписывается какое-то превосходство над ними. Конечно, налицо фактическое превосходство западной техники, утвердившейся теперь почти повсюду; нет сомнения: она высоко развита, и тот, кто владеет ею, обладает большой мощью. Но это вовсе не значит, что цивилизации менее развитые в техническом отношении являются низшими по сравнению с нашей, западной, и в работе над книгой я, как и мой соавтор, постоянно руководствовался той идеей, что африканское искусство следует рассматривать как равное среди равных. Мало отбросить термин «примитивное искусство», надо отрешиться от той точки зрения, что это — явление, лежащее где-то на обочине, за пределами искусства в истинном смысле слова».

Такую точку зрения нередко пытались обосновать тем, что произведения африканских негров для них самих имеют якобы лишь религиозное или магическое значение, но отнюдь не являются произведениями искусства, то есть предметами, способными доставлять им эстетическое наслаждение.

Мишель Леирис решительно отвергает эту предвзятую идею, которая, как он замечает, сродни расизму, ибо она в сущности сводится к тому, что неграм отказывают в эстетическом чувстве. Из того факта, что произведения африканского искусства в большинстве случаев действительно выполняют также те или иные религиозные или магические функции, отнюдь не следует, что они не могут вызывать эстетических эмоций.

«Ясно, что, если из наших музеев изобразительных искусств,— говорит по этому поводу Мишель Леирис,— убрать все функциональные произведения, там мало что останется. Например, романское и готическое искусство — искусство религиозное. Разве можно из этого заключить, что ходившие в соборы люди средневековья были совершенно нечувствительны к красоте скульптур, которые они видели в этих соборах? Мне это кажется совершенно невероятным.

Если обратиться к примерам из более близкого прошлого, то вся историческая живопись, все картины, написанные по заказу монарха или вельможи, и вообще любой портрет являются более или менее функциональными произведениями. Это не искусство для искусства. Собственно говоря, искусство для искусства — всего лишь теория, созданная в сравнительно позднее время, и даже на современном Западе истинное искусство остается по существу средством выражения, а не самоцелью... И если в этом смысле можно сказать, что в Африке нет искусства для искусства, то это вовсе не специфическая особенность Африки».

Другое, не менее распространенное заблуждение, которое опровергает Мишель Леирис, состоит в том, что африканское искусство будто бы до крайности косно и стереотипно. Не отрицая, что у африканского художника традиционного типа нет того стремления работать в своей особой манере, которое проявляется, хотя и не с такого уж давнего времени, в западном искусстве, Леирис вместе с тем убедительно показывает, что при всем том индивидуальность такого художника имеет немалые возможности для самовыражения, что и он накладывает на произведение отпечаток собственной личности, а не остается всего лишь копиистом, скрупулезно повторяющим стародавние образцы. Об этом свидетельствует и появление новых масок, существенно отличающихся от традиционных; и постоянная клиентура некоторых скульпторов, состоящая из богатых людей, которые в состоянии приобрести статуэтку или маску, выделяющуюся среди изделий того же рода именно высокими художественными достоинствами; и популярность некоторых художников, обеспечивающая им клиентов даже за пределами родного племени.

«Все это,— замечает Леирис,— показывает, что хотя различия и существуют, нет пропасти между художником западного мира и африканским художником, на которого смотрят как на простого ремесленника».

Существует легенда о единообразии африканского искусства, якобы характеризующегося исключительно чертами условности и стилизации и неизменно чуждого «натурализму». Когда же художественные явления слишком очевидно противоречат этой легенде, их объясняют западными влияниями.

«Так было,— заявляет Леирис,— с искусством Ифе и Нигерии, относительно которого люди вроде Фробениуса выдвигали всякого рода фантастические гипотезы, потому что в то время казалось немыслимым, чтобы африканцы могли создать вещи, столь замечательные в смысле естественности и гармонии. Так было и с искусством Бенина, сменившим искусство Ифе. Вначале полагали, что люди Бенина научились бронзовому литью у португальцев, ибо не верили, что они могли самостоятельно достигнуть подобных результатов... Теперь же мы знаем, что искусство Бенина было преемником культуры Ифе, которая в свою очередь восходит к цивилизации Нок, существовавшей на протяжении целого тысячелетия вплоть до первых столетий нашей эры. Искусство Ифе таким образом соответствует нашему средневековью, а классическое искусство Бенина — Ренессансу».

Общеизвестно, что, хотя и существует африканская живопись, доминирующая роль в искусстве Черной Африки принадлежит скульптуре. Однако это вовсе не значит, подчеркивает Леирис, что можно пренебречь другими видами африканского искусства, например, архитектурой:

«Мы слишком склонны считать, что африканцы всего лишь неискушенные строители соломенных или глинобитных хижин, обреченных на исчезновение. Конечно, чаще всего они пользовались недолговечными материалами, и, кстати сказать, в этом, по-моему, одна из причин, по которым мы недооценивали их цивилизацию. Люди испытывают глубочайшее уважение к тем, кто оставил после себя внушительные руины или мраморные статуи. Те же, кто строил из глины или растительных материалов, а скульптуры резал по дереву, проигрывают в сравнении с ними, потому что оставили гораздо меньше памятников культуры. Но это вовсе не значит, что созданное ими качественно ниже. Вы обнаружите, например, в области архитектуры, относительно менее известной, нежели скульптура, выдающиеся достижения даже у жителей деревень, в частности, знаменитые хижины на берегах Логоне, о которых Жид прекрасно сказал, что это скорее

работа гончара, нежели каменщика. Они хрупки, но необыкновенно красивы. Можно было бы назвать и многое другое».

С любовью, восхищением и глубоким знанием предмета говорит Леирис о многообразии африканского художественного творчества, включая и татуировку, без сомнения имеющую самостоятельную эстетическую ценность, и прикладное искусство, и в особенности то, что можно назвать бытовым артистизмом.

«Перед вами не только огромное количество украшенных предметов обихода, но и множество неукрашенных предметов, отличающихся редкой красотой форм, потому что они сделаны вручную, потому что они — не продукция массового производства, а изготовлены по мерке человека. Затем — искусство украшать себя, которому, как вы заметили, придается огромное значение. ...Я был в Дакаре по случаю всемирного фестиваля негритянского искусства, в сегодняшнем Дакаре, в Дакаре Сенегальской Республики, которого я еще не знал — я знал только прежний Дакар. И то, что я там видел, потрясло меня. Я видел необычайно элегантных женщин в одеждах удивительной красоты, являющих собою настоящие произведения искусства, в которых часто чрезвычайно удачно сочетались традиционные фасоны с европейской модой. Мимо этого нельзя пройти. Не зная Африки, не увидев заполняющей рынок толпы в таком городе, как Дакар, гордых мужчин в их белых бубу и женщин в одеждах из «Тысячи и одной ночи», нельзя осознать глубокого артистизма африканской жизни. Он поражает также и во многих церемониях африканцев, которые, кстати, проходят в идеальном порядке в противоположность тому, что слишком многие себе представляют».

Леирис с удовлетворением отмечает, что такие мастера современного искусства, как Пикассо, приходя в соприкосновение с африканским искусством, находят в нем «собеседника», а не сборище курьезов, каким оно представлялось прежде, когда произведения африканских негров красовались в кунсткамерах рядом с редкими минералами и рогами нарвалов. И это не только свидетельство подлинного новаторства передовых художников, но и знамение времени: как говорит, подытоживая интервью, Пьер Дэкс, происходит знаменательная переоценка ценностей, отказ от претензии на мировую гегемонию западной художественной традиции, западной культуры, достигшей, бесспорно, огромных успехов, но отнюдь не являющейся, по выражению Леириса, культурой-эталоном.

Н. Н.

✻ ДОКУМЕНТЫ

ПИСЬМО

Ярослава Гашека председателю Центрального Чехословацкого Бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП(б) Я. Салату-Петрлику

Иркутск, 17 сентября 1920

Дорогой товарищ Са́лат!

Только что приехал товарищ Фриш и привез мне Ваше письмо и литературу; все я принял с огромной радостью...

Ваше письмо меня порадовало: оно говорит о том, что на меня не смотрят больше как на человека легкомысленного. Легкомыслие свое я утратил в течение тридцати месяцев непрерывной работы в Коммунистической партии и на фроите, кроме небольшой авантюры в 18-м году, после того как «братья» штурмовали Самару *. Тогда мне пришлось, прежде чем я пробрался к Симбирску, два месяца разыгрывать в Самарской губернии печальную роль слабоумного от рождения сына немецкого колониста из Туркестана, который в молодости скрылся из дому и бродит по свету.

Путь от Симбирска до Иркутска, который я прошел с армией, где на мне лежало множество различных серьезных обязанностей — партийных и административных,— был бы наилучшим материалом к полемике с чешской буржуазией, которая, как ты сообщаешь, твердит, что я «примазался» к большевикам. Она сама не может обойтись без идеологии, заключенной в слове «примазаться». Она пыталась примазаться к Австрии, потом к царю, затем примазалась к французскому и английскому капиталу и к «товарищу Тусару» **. Что касается последнего, то здесь очень трудно судить, кто к кому «примазался». Да здравствуют политические спекулянты!

Если бы я захотел рассказать и написать, какие я занимал должности и что вообще делал, не хватило бы всего имеющегося у нас в Иркутске небольшого запаса бумаги. Сейчас я, например, начальник организационно-осведомительного отделения 5-й армии, поскольку все командированы в Политическое управление Сибири в Омске, а я остался здесь, на Востоке.

Кроме того, я редактор и издатель трех газет: немецкой «Штурм», в которую сам пишу статьи; венгерской «Рогам», где у меня есть сотрудники, и бурятомонгольской «Заря», в которую пишу все статьи (не пугайся: не по-монгольски, а по-русски; у меня есть свои переводчики). Сейчас на мне еще сидит РВС армии, требуя, чтобы я издавал китайско-корейскую газету. Тут уж в самом деле не знаю, что буду делать. Китайцев я организовал, но по-китайски понимаю очень мало и из восьмидесяти шести тысяч китайских иероглифов знаю всего-навсего восемьдесят. В довершение всего со вчерашнего дня я еще состою в редколлегии «Бюллетеня политработника».

---

* «Братьями» называли друг друга чехословацкие легионеры. Самара была занята восставшим чехословацким корпусом 8 июня 1918 года.

** Тусар Бластимил — премьер-министр Чехословацкой республики (1919—1920), председатель чешской социал-демократической партии, правый оппортунист, проводивший политику соглашения с буржуазией и жестоко подавлявший революционные выступления рабочего класса.

Мне всегда дают очень много работы, и когда мне кажется, что уже больше никто ничего не сможет изобрести, что бы я мог еще сделать, появляются обстоятельства, которые опять принуждают работать еще и еще. Но я вообще не ропщу, потому что все это нужно для революции.

До нашего отступления из Уфы в 1919 году я приехал туда организовать Особый отдел 26-й дивизии (до этого я был комендантом города Бугульмы), а там кроме этого мне дали еще работу по Комиссариату печати — назначили заведующим типографией Политического отдела армии и поручили организовать армейскую газету, не говоря уже о политической работе. А если говорить о «примазывании» к Коммунистической партии, я должен еще дополнить, что во время нашего продвижения от Уфы до Иркутска я проводил всю организационную работу, касающуюся бывших военнопленных всех национальностей. Об этом хорошо знает товарищ Трауб*, потому что мы организовали там Областное бюро иностранных секций партии. При этом я был еще председателем райкома штаба 5-й армии. А доклады и выступления на собраниях у нас дело совершенно обычное и второстепенное, так же как и работа во всевозможных комиссиях, в которые меня выбирали за эти два года.

Извини, что я обо всем этом пишу. Я не хочу хвастаться, хочу лишь разъяснить, как я «примазался» к коммунизму.

Если я поеду в Чехию, то не для того, чтобы любоваться чистыми улицами Праги или проверять, пишут ли еще газеты, что я примазался к коммунизму. Поеду туда, чтобы смазать спину славному чешскому правительству с такой же энергией, какую я привык проявлять и наблюдать в борьбе нашей 5-й армии против контрреволюции в Сибири.

Это письмо передаст тебе товарищ Валоушек, которого я командирую в ПУР**, чтобы оттуда его послали к вам. Он также из нашей славной 5-й армии.

Я буду стараться отсюда освободиться, но знаю, что сам ничего не смогу сделать, потому что здесь никого нет и я должен подписывать все бумаги в качестве помощника начальника Политического отдела армии. Поэтому не думайте, что я нарушаю партийную дисциплину, если ничего у меня не выйдет. Проталкивать это дело должны вы, об этом я вас и прошу.

Ваш Ярослав Гашек

■

Во время первой мировой войны Гашек был мобилизован в австро-венгерскую армию и отправлен на Восточный фронт. В сентябре 1917 года он добровольно сдался в русский плен. В 1916—1917 годах писатель был в рядах чехословацких добровольцев, воевавших вместе с русскими войсками против австро-германского блока (так называемые «чехословацкие легионы»).

После Великой Октябрьской революции, когда руководство чехословацкого корпуса перешло на контрреволюционные позиции, Гашек порвал с легионами, вступил в Коммунистическую партию и Красную Армию.

В рядах 5-й армии Восточного фронта писатель сражался против Колчака в Поволжье и в Сибири, занимал ряд ответственных постов в Политотделе 5-й армии (начальник Интернационального отделения, заместитель начальника Политотдела и другие), сотрудничал во фронтовой печати («Наш путь», «Красный стрелок», «Красная Европа» и др.), был редактором и издателем нескольких газет, выходивших на иностранных языках.

В связи с возникновением в октябре 1918 года Чехословацкой республики (28.X.1918) Центральный Комитет чехословацких групп в России и на Украине (преобразованный позднее в Центральное Чехословацкое Бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП(б)) начал производить учет и отправлять на родину работавших в Советской республике чешских и словацких коммунистов; приобретенные ими в ходе революции и гражданской войны политические знания и опыт

---

* Речь идет об организации по инициативе Гашека иностранных секций Коммунистической партии в Сибири, которые летом 1920 года были объединены в Отдел нацменьшинств агитационно-пропагандистского отдела Сибирского бюро РКП(б). Трауб был членом президиума Отдела нацменьшинств и его секретарем. Чехословацкая секция была создана Гашеком одной из первых.

** Политическое Управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

революционной борьбы должны были укрепить позиции чешской левой социал-демократии, ускорить создание Коммунистической партии в Чехословакии и сколачивание единого фронта против наступающей реакции.

Осенью 1920 года Гашек получил распоряжение Центрального Бюро сдать все свои должности по армии и в партийных органах и явиться в Москву для отправки на родину. Вначале он отказался выполнить это требование, ссылаясь на то, что еще недостаточно глубоко изучил практику строительства социализма в России. Не хотели отпускать его и местные армейские организации.

Но Центральное Бюро, предполагавшее использовать Гашека на партийной работе среди горняков Кладно, настаивало на выполнении своего решения.

Публикуемое нами письмо Гашека к председателю Центрального Бюро Я. Са́лату-Петрлику было его ответом на это повторное требование. Оно раскрывает и многогранную самоотверженную работу писателя в рядах Красной Армии в самые тяжелые для молодой Советской республики годы, свидетельствуя об огромном влиянии на Гашека Октябрьской революции, которая превратила его в сознательного коммуниста, помогла ему вырасти в сатирика мирового значения.

В полном объеме письмо публикуется на русском языке впервые.

Перевод с чешского и публикация С. ВОСТОКОВОЙ

НАШИ ГОСТИ

«БЕЗ ОБЩЕНИЯ — ЖИЗНЬ БЕССМЫСЛЕННА»

Недавно в Советском Союзе гостила группа индийских литераторов и переводчиков, деятельность которых была отмечена премией Неру. Наш журнал уже рассказывал читателям о премии Неру, о ее лауреатах 1965 и 1966 годов *.

Премия Неру была учреждена в 1964 г. в память о великом сыне великой страны. Ею награждаются лучшие литературные произведения и журналистские работы, укрепляющие дружбу СССР и Индии и служащие делу упрочения мира. Премию Неру присуждают и за лучшие переводы на индийские языки классической и современной литературы нашей страны. Индира Ганди вручает премию, носящую имя ее отца, 14 ноября — в день рождения Джавахарлала Неру.

Среди лауреатов премии Неру, приехавших в Москву в этом году,— Шри Шри, один из лучших индийских поэтов, пишущий на языке телугу. Он получил премию за сборник стихов «Рождение меча», в который поэт включил стихи разных лет.

Во время войны огромной популярностью пользовалось стихотворение Шри Шри «Реви, Россия». Шри Шри рассказывает, что импульсом для стихотворения был броский газетный заголовок: «В бой вступает советская авиация».

Не менее популярны и переводы Шри Шри — он много переводил из Пушкина («Зима» вошла в сборник «Рождение меча»), перевел поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», переводил Поля Элюара.

* См. «Иностранную литературу» №№ 1, 10 за 1966 год.

Кришан Чандар

Когда Шри Шри спрашивают, кто его любимый поэт, он отвечает: «Ну конечно же Маяковский! Хотя я очень люблю и стихи Евтушенко».

О значении Октябрьской революции Шри Шри сказал:

«В «Упанишадах» — философских трактатах древней Индии — есть такие строки:

В Бытие возврати меня из Небытия,
Из Тьмы верни меня на Свет,
К Бессмертию приведи через Смерть.

В буддистском каноне сказано:

Ищу защиты у Будды, у Прозревшего,
Ищу защиты у единомышленников,
Ищу защиты на пути справедливости.

Французская революция провозгласила:

Свобода. Равенство. Братство.

На язык действий эти слова перевела только Октябрьская революция. Она сделала слова — жизнью».

Ленина — так зовут одну из дочерей Шри Шри.

Когда на тот же вопрос попросили ответить Кришана Чандара, он написал:

«До Октябрьской революции человек духовно ползал на четвереньках. Революция помогла ему распрямиться, и он вскинул руки к небу в ликующем торжестве. Революция завершила собой долгий, мучительный поиск, поиск любви и человеческого достоинства, поиск, оплаченный

страданием и кровью. Сотни миллионов в Азии и Африке приветствуют Октябрьскую революцию, потому что она — осуществленная мечта и об их будущем. Октябрьская революция — самое светлое из мечтаний человечества — будет жить в веках». Кришан Чандар был удостоен премии Джавахарлала Неру за произведения, утверждающие гуманизм и призывающие к миру между народами.

Совсем недавно Кришан Чандар сказал: «Человека надо любить, любить сострадательно. Без сострадания нельзя понять, без понимания нет общения между людьми, без общения — жизнь бессмысленна».

У нас переведено много книг Кришана Чандара — и романы его, и новеллы: щемяще-нежные, сатирические, почти документальные в своей обнаженной правдивости — очень разные, но неизменно самобытные. Кришан Чандар научил нас любить не экзотику Индии, а ее людей — простых и непростых; он научил нас понимать их, приблизив их к нам силой своего большого таланта.

Все, что пишет Кришан Чандар, посвящено одному: борьбе Человека со Зверем. Со Зверем внутри себя, с государственно организованной системой обесчеловечения Человека.

Чуждый прекраснодушия оптимизм Кришана Чандара, сочетаясь с пониманием объективных законов истории, приводит к тому, что даже самые трагические его произведения заставляют верить в конечное торжество Человека.

Сурендра Мохан Дас

Шри Шри

Кришан Чандар говорил, принимая премию:

«Волна опасного возбуждения заливает сегодня человеческий разум, и такие слова, как свобода, человеческое достоинство, мир и братство людей, иной раз кажутся лживо звучащими — как фальшивые монеты. Так тем больше у нас причин зубами держаться за эти слова, чтобы уберечь их и подлинное их значение, твердую основу их пути от тлена и смерти. Если мы спасем их сегодня, мы спасем себя, спасем человечеству его будущее».

Сурендра Мохан Дас — родом из Ассама, из восточной части Индии.

«Я начал читать Льва Толстого,— рассказывал он,— потому что о нем упоминал Махатма Ганди. Толстой был первым, кто раскрыл для меня красоту русской литературы».

Премию Сурендра Мохан Дас получил за перевод на ассамский язык «Войны и мира». Перевод был напечатан в 1964 году Литературной академией Индии.

Над переводами из Толстого Сурендра Мохан Дас работает вот уже скоро тридцать лет — он был первым, кто познакомил ассамского читателя с нашей литературой на родном его языке. В 1939 году

П. В. Гадгил

Дакшина Ронджан Басу

Дас напечатал первый сборник рассказов Толстого в своем переводе, а сейчас работает над большой книгой о жизни и философии любимого писателя.

На вопрос о роли Октябрьской революции Сурендра Мохан Дас отвечает:

«В борьбе за дело коммунизма создается человек нового типа. Стремясь к единству народов внутри своей страны, страна социализма не может не стремиться и к единению народов всего мира. Именно поэтому Советский Союз проявляет такой интерес к укреплению культурных связей с другими странами — он крепит узы дружбы в духе того гуманизма, который проповедовал Будда, Махатма Ганди, Лев Толстой. Живым символом этого гуманизма был для нас, индийцев, Джавахарлал Неру».

Сурендра Мохан Дас, по его словам, посвятил всю свою жизнь Толстому, потому что «он воплотил в себе лучшие черты универсального гуманизма. Убежденный интернационалист, Толстой берет духовную пищу не только из богатой гуманистической традиции русской литературы и общественной мысли, но и черпает ее из других стран. Результаты этого синтеза Толстой оставил в наследство своим продолжателям. Искреннейший призыв к братству всех людей, к прогрессу и миру, звучащий сегодня в советской литературе, лучшее тому свидетельство».

Йоги Судананда Бхарати — человек, страстно верующий в гармонию мира и человека. Он полон жаркого интереса ко всему, что происходит в мире — близко ли, далеко ли от него. Лингвист, ученый и поэт, Бхарати был награжден премией Неру за сборник стихов под названием «Вечерняя песнь о Советском Союзе».

«Люди должны жить, как горные ручьи,— писал он,— орошая своей жизнью сады и поля; они должны быть исполнены жертвенности, как медоносные цветы; они должны быть щедрыми, как дождевые облака, и, как океан, неисчерпаемы в любви».

На вопрос о значении Октябрьской революции Йоги ответил в стихах:

За что мы любим Советский Союз?
Нам нужен мир,
Нужна красота его,
Нужна дружба.
Советский Союз для нас — обитель
красоты.
Обитель красоты и юности.
Юность мира цветет в этой стране,
Ликует в цветении,
Мы ликуем вместе с нею.

Бенгальский журналист Дакшина Ронджан Басу и маратский журналист П. В. Гадгил получили дополнительные премии по журналистике. Басу — за серию статей о классической и современной литературе, среди которых особенный интерес вызвали эссе о Пушкине, Гоголе, Толстом и Горьком.

Когда Д. Р. Басу спросили о воздействии Октябрьской революции на умы и сердца, он в связи с этим вспомнил известного индийского писателя Рабиндраната Тагора: «Еще когда Тагор побывал в России, он был удивлен и восхищен размахом ее созидательной деятельности. Он говорил, что, если бы не посетил Россию, его паломничество не было бы завершенным. С тех пор взгляд Индии прикован к советской стране, благодаря которой во всех областях индийской культуры все большее значение приобретают гуманистические и социалистические идеи новой эпохи».

Книга П. В. Гадгила называется «Неру — вестник мира». Это глубокий и серьезный анализ миролюбивой политики Неру и ее роли в современном мире.

«Октябрьская революция, разбив оковы капитализма, показала всему миру путь к прогрессу,— писал Гадгил.— Эта революция, вдохновляемая и руководимая Лениным, стала примером воплощения в жизнь гуманистической теории, она проложила человечеству дорогу к духовному расцвету, к вершинам культуры».

Выступая с речью на вручении премий, носящих имя ее отца, премьер-министр Индии Индира Ганди очень точно обозначила ее значение:

«Следует помнить, что знать — значит понимать, что понимание ведет к миру, а мир способствует прогрессу. Таким образом, наша с вами работа полезна не только для наших стран, но и для всего мира».

М. САЛГАНИК

Рисунки А. Яра-Кравченко

Йоги Сударанда Бхарати

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ИНДИЙСКИЕ ДЕТИ

Революция была юной и нетерпеливой, голодными и запальчивыми были ее поэты. Шли годы, когда городским улицам давали имена Пожара Мировой Революции, когда с яблочком-песней в зубах молодой Светлов скакал в свою Гренаду, а молодой Тихонов писал «Сами» — поэму о мальчике-индусе из никогда не виденного поэтом города Амритсара. Интернационализм революции зажигал интернационализмом ее стихи.

Не в умах теоретиков литературы рождалась концепция интернационализма — она диктовалась логикой революции, свершавшейся во имя того, чтобы каждый, кто был ничем, мог стать всем. Интернационализм нашей литературы с самого начала не имел ничего общего с комфортабельно-равнодушной скороговоркой — «все люди — братья». Он требовал действия, он звал на баррикады.

«Сами» написан в 1920 году, когда пики Гималаев, вознесенные чуть не в стратосферу, — Калидаса назвал их «застывшим хохотом бога Шивы» — были самой трудной преградой между Индией и нами...

Залп «Авроры» прогрохотал и над Гималаями. По ту сторону Гималаев Субраманья Бхарати на юге Индии и Мухаммад Икбал на северо-западе ее — теперь это Пакистан — страстно славили революцию в никогда ими не виденной России.

Маленький слуга белого сахиба услышал имя Ленина в душной глубине амритсарских лавок и перестал верить словам англичанина:

Ты рожден, чтобы быть послушным:
Греть мне воду, вставая рано,
Бегать с почтой, следить за конюшней.
Я властитель твой, обезьяна!

Сами знает: Ленин так безмерно далек от него, что «слон бежал бы и сдох от бега», но ведь Ленин есть, и Сами чувствует, что Ленин слышит его:

...мальчик стоял на коленях
С мокрыми большими глазами,
А вскочил легко и проворно,
Точно маслом намазали бедра.
Вечер пролил на стан его черный
Благовоний полные ведра,
Будто снова он родился в Амритсаре —
И на этот раз человеком,—
Никогда его больше не ударит
Злой сахиб своим жестким стеком.

Будто скользит кинокамера — босоногий мальчишка стремительно растет, занимает весь кадр, и вот уже сама Индия стоит во весь громадный рост перед нами: свободная, независимая держава, которой никто больше не может приказать быть послушной.

— А я знаю эти ваши стихи! — заявила Николаю Семеновичу Тихонову недавно маленькая индуска Мира Манохар Гаиквад.— Эти знаю и другие тоже!

Ее подруге Кумари Раминдер Васу очень не хотелось отстать.

— Моя мама родилась в Амритсаре,— сказала она, утверждая и свою причастность к тихоновскому «Сами».

Четверо индийских детей — они получили премии имени Неру на конкурсе сочинений «Кем я хочу стать, когда вырасту» — приехали в Советский Союз и, вернувшись из «Артека» в Москву, пришли в дом к Тихонову.

Бенгалец из Калькутты Абиджит Кумар Бхаттачария привез из «Артека» уйму русских слов — пошли, молодец, отряд, равняйсь! — и даже песню: почему-то песня оказалась «Как родная меня мать провожала».

Абиджит получил почетную награду за сочинение «Хочу быть учителем». Он писал:

«Я хочу стать учителем, когда вырасту. Я буду учить всех, а денег ни с кого не возьму... Многие взрослые — инженеры, врачи, летчики и проч. Но ведь все, что они знают теперь, им рассказали учителя. Поскольку учитель дает нам знание, он наш величайший друг».

Когда Абиджита спросили, а любит ли он стихи, мальчик стал читать наизусть отрывок из «Рамаяны» — древнеиндийской эпической поэмы. Закончил это чтение сам Тихонов: он начал пересказывать один из самых популярных эпизодов поэмы: злое чудовище Раван похитил красавицу Ситу и увез ее на далекую Ланку, которую мы теперь называем Цейлоном. Рама отправился в путешествие за своей женой. Ему помогали и звери, и птицы Индии: обезьяний царь Хануман велел своим проворным подданным сцепиться хвостами и построить мост на Цейлон, а мудрый коршун Чиль летал к вершинам Гималаев за целебными травами для воителей за справедливость.

Тринадцатилетняя Кумари Раминдер Васу никогда еще не сомневалась, что именно борьба за справедливость составляет смысл жизни человека. Но как лучше за нее бороться?

Ей хотелось быть то врачом, то инженером, то агрономом.

«Но,— писала она в своем сочинении,— у меня такое чувство, что, если я стану государственной деятельницей, я смогу направлять усилия многих хороших врачей, инженеров, агрономов и учителей.

Я уверена, что с течением времени я построю полный социализм в моей стране. Я добьюсь того, чтобы никто не умирал от голода и каждый получал бы сполна за свой труд».

— Я тоже люблю политику,— вмешался Прободх Нарайян Агарвал из Эттавы.— И еще спорт. Мне так понравилось в «Артеке»! Я думаю, когда мы все вырастем, нужно будет такой «Артек» устроить и у нас.

Мира Манохар Гаиквад, которой так нравится «Сами», оказалась, пожалуй, самой решительной из лауреатов — она решила стать космонавтом и побывать на Луне.

Она рассказывает, что, когда была маленькой, она очень любила наблюдать звездное небо, но когда она спрашивала взрослых об устройстве вселенной, то они не давали «ни вразумительных, ни удовлетворительных ответов».

Мира очень огорчалась, но вот пришла весть о полете в космос сначала Юрия Гагарина, а потом — самое главное — Валентины Терешковой, — так что теперь Мира не сомневается, что сумеет побывать на Луне. Она говорит, что готова пройти сложную подготовку к полету, но, вернувшись с Луны, она непременно посадит свой космический корабль поближе к «Артеку» и расскажет ребятам о своих приключениях.

Не хочется идеализировать сочинения четырех юных индийцев — в конце концов их отбирали взрослые, и если даже кто-то из детей и написал, что, выросши, он хочет стать продавцом мороженого, чтобы поесть его вдосталь, то понятно, что эти мечты не сделали мечтателя лауреатом. Еще менее допустима идеализация положения в Индии — детям голодающего Бихара нужен просто рис, а риса нет. Если официальные статистические справочники говорят о примерно 30 процентах грамотных в стране, можно подсчитать, сколько детей не ходит в школы. Но сейчас речь не об этом — написан уже не один десяток серьезных книг об объективных трудностях строительства нового общества в тех странах, разграбление и порабощение которых было сделано материальной основой промышленной революции Запада.

Тем важнее сейчас для этих стран формирование гражданского самосознания молодежи, того поколения, которое не знает уже национально-освободительной борьбы. Через нее прошел тихоновский Сами и миллионы его ровесников, а маленьких гостей Николая Семеновича ждет иное — они должны вывести полумиллиардную Индию на орбиту XX века. Это прекрасно понимал человек, именем которого названа премия,— Джавахарлал Неру. Премии вручаются каждый год 14 ноября в день его рождения, а Неру всегда проводил этот день среди детей.

Джавахарлал Неру писал в своем завещании:

«...Индия должна избавить себя от всех пут прошлого, которые связывают и тяготят ее, разделяют ее народы, давят множество людей и мешают свободному развитию их тела и духа...»

Двадцать лет назад индийские девочки не смогли бы так уверенно говорить о профессиях космонавта и политического деятеля и вряд ли бы так четко проходила через все сочинения мысль о необходимости действия на благо человечества — не размышлений о благе, а действия!

О Тихонове рассказывают, что, когда он впервые приехал в Лахор, он так уверенно вел своих спутников по городу, будто это родной его Ленинград.

— А здесь за углом должна быть старинная пушка,— говорил он.

Пушка появилась, будто по мановению старика Хоттабыча. О влюбленности Тихонова в Восток говорит каждый сборник его стихов и чуть не каждое прозаическое произведение. Тихонов упоен музыкой восточных имен, красками и запахами Востока, но со времен «Сами», ставших уже историей, до сегодняшнего дня Тихонов пишет о реальном Востоке без заманчивых экзотических покрывал. Сегодня это Восток его «Зеленой тьмы», где все проникнуто личным писательским восприятием, но и рядом с этой книгой романтический «Сами» не утратил ничего из той правдивости прозрения, которую дает художнику подлинный гуманизм.

С. М.

СОВЕСТЬ МИРА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Друзья Октября и мира. Редколлегия: Ю. Дашкевич, Б. Песис, А. Старцев, Б. Сучков. Вступительная статья А. Чаковского. Москва, «Художественная литература», 1967.

Под обложкой этой книги собраны высказывания шестидесяти выдающихся прогрессивных писателей двадцатого века об Октябре, о его месте в истории, о его значении для человечества.

Бессмертный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», начертанный на красных знаменах нашей революции, с первых ее дней, как магнит, притянул к ней сердца миллионов угнетенных и обездоленных людей на всех материках земли, пробудил в умах честной, чуткой к движениям истории интеллигенции живой, сочувственный интерес к нашему дерзкому, невиданному социальному эксперименту.

И если в бессильном стремлении остановить поступательный ход истории капиталистический мир обрушил на молодую республику Советов вооруженную интервенцию и голодную блокаду, трудящиеся разных стран мира подняли голос в защиту нашего правого дела.

С самого начала гражданской войны в рядах защитников завоеваний Октября самоотверженно сражались бок о бок с нами мадьяры и чехи, немцы и поляки, болгары и сербы, китайцы и монголы. Своей жертвенной кровью они скрепляли боевое братство международного пролетариата. Интернациональные бригады, полки, батальоны, бившиеся против Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича и иностранных интервентов, были прообразом будущих интернациональных бригад, пришедших в 1936 году на помощь испанскому народу в его героической борьбе с фашизмом.

Навсегда записаны в историю акты героического сопротивления солдат и матросов Франции, Англии, Соединенных Штатов, брошенных империалистами против молодой Красной Армии.

Никогда не забудут трудящиеся нашей родины и то охватившее многие страны движение — «Руки прочь от Советской России!»,—которое привело к забастовкам докеров и матросов в Глазго и Гавре, Генуе и Неаполе, тормозя отправку войск интервентов, оружия и снаряжения на русский фронт. Это движение вынудило правительства Антанты умерить их боевой пыл и отозвать из России войска, посланные на помощь белогвардейцам.

И уже с первых послеоктябрьских дней наша революция, наше дело стали предметом пристального внимания лучших, честнейших представителей мировой интеллигенции.

Нельзя без глубокого волнения читать помещенные в сборнике мужественные строки, написанные американцами Джоном Ридом и Альбертом Рис Вильямсом, которые из наблюдателей стали участниками нашей борьбы. В одном ряду с нами сражались за дело Октября венгерский писатель Матэ Залка и талантливый чешский сатирик Ярослав Гашек. В трудные для молодой советской республики дни приехал в Москву всемирно известный писатель-фантаст Герберт Уэллс, чтобы воочию увидеть то, против чего с такой слепой яростью обрушились все черные силы мира. Побывав в Москве и Петрограде, побеседовав с Лениным и Горьким, заморский гость написал книгу «Россия во мгле». Пусть эта книга свидетельствовала об узости взглядов Уэллса, о том, что у писателя-фантаста не хватило воображения представить себе будущее нашей страны, лежащее за пеленой окутавшей ее мглы безвременья, он все же не мог не отметить, что «встреча с этим изумительным человеком (Лениным.— *А. С.*), который откровенно признает колоссальные трудности и сложность построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его построению, подействовала на меня живительным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, преображенный и построенный заново».

Горячо выступил в защиту Советской России от капиталистической интервенции мужественный французский писатель Анри Барбюс.

В речи, произнесенной в 1919 году на митинге профсоюза землекопов, посвящением защите молодого советского государства, он говорил: «Я призываю, я заклинаю вас действовать. Не будьте равнодушными свидетелями величайшего преступления, которое когда-либо знала история. Наши слова не должны остаться пустым звуком и правильная мысль — только мыслью. Надо найти средство, достаточно верное и грозное, которое показало бы, что народ отвергает заговор палачей и убийц, направленный против великого народа и великих надежд, которые ведь также и ваши надежды!»

Замечательный английский сатирик Бернард Шоу, переболевший в свое время болезнью реформистского фабианства, сразу почувствовал подлинную историческую суть Октябрьской революции и встал на ее сторону.

В 1921 году он говорил: «Русский солдат сделал одну чрезвычайно удивительную вещь. Долго он сражался, испытывая ужасные страданья, а потом ему вдруг пришла в голову остроумная мысль: он взял и неожиданно перестал сражаться, вернулся домой и захватил себе всю землю. Это с точки зрения грабительских классов других стран была первая ужасная русская жестокость. Может быть, это и есть жестокость, но если это и так, то эта жестокость очень практичная и хорошая. Когда потом русские приступили к организационной работе, они стали организовывать промышленность в интересах народа, уничтожая бездельников, а также буржуазную демократию, стоявшую им поперек дороги».

Шоу до последнего дня своей жизни не изменил симпатиям к нашей стране и умер ее другом.

Как кровное дело всего человечества оценивал Октябрьскую революцию современник Бернарда Шоу, великий французский писатель Анатоль Франс: «Если в Европе есть еще друзья справедливости,— писал он в 1922 году,— они должны почтительно склониться перед этой Революцией, которая впервые в истории человечества попыталась учредить народную власть, действующую в интересах народа. Рожденная в лишениях, возросшая среди голода и войны, Советская власть еще не довершила своего громадного замысла, не построила еще царства справедливости. Но она, по крайней мере, заложила его основы.

Она посеяла семена, которые при благоприятном стечении обстоятельств обильно взойдут по всей России и, быть может, когда-нибудь оплодотворят Европу».

Широк круг друзей нашей страны среди крупнейших писателей мира, живших и творивших в первой половине XX века.

Среди них и пламенный ирландский революционер и талантливый писатель Шон О'Кейси, и глубокий мыслитель Ромен Роллан, и индийский писатель Рабиндранат Тагор, и американский романист Теодор Драйзер, и крупнейшие романисты Германии Томас и Генрих Маины, и Лион Фейхтвангер, и Арнольд Цвейг, и другие представители старшего поколения мировой литературы.

Победоносное строительство социализма в годы первых пятилеток вызвало новую волну интереса и сочувствия в писательской среде мира. Для писателей поколения тех лет — испанцев Рафаэля Альберти и Марии Тересы Леон, французов Луи Арагона и Жан-Ришара Блока, поляков Владислава Броневского и Юлиана Тувима, юного Юлиуса Фучика, будущего героя Сопротивления, Иогannеса Бехера и Бертольта Брехта, чехов Ивана Ольбрахта, Марии Пуймановой и Станислава Костки Неймана, так же как для болгар Людмила Стоянова, Христо Радевского и героя неравной борьбы с фашизмом молодого поэта Николы Вапцарова, китайских писателей Лу Синя и Цюй Цю-бо,— посещение нашей страны или знакомство с результатами трудовых усилий народа издалека сыграли огромную роль не только в смысле привлечения их симпатий к нашей борьбе и нашему труду, но и привели к глубоким общим сдвигам в их мировоззрении.

И недаром большой испанский поэт-революционер Рафаэль Альберти, для которого, по его собственному признанию, первая поездка в СССР была переломной вехой в становлении его мировоззрения революционера-коммуниста, писал в прославлении Октября:

Великий свет возник однажды в мире
как маленькое солнце над землею;
оно росло, и лился свет все шире,
и счастье перестало быть мечтою.

. . . . . .

А свет растет, и весны голосисты.
Кто может блеск и песнь весны убить?
Вы видите, что правы коммунисты:
быть счастью или не быть? Конечно, быть!

(Перевод О. Савича)

Героический подвиг советского народа в Великой Отечественной войне неизмеримо расширил круг наших друзей среди писателей на всех континентах земли, а послевоенная борьба за мир поставила в один ряд с нами всех «людей с чистой совестью» в литературной среде мира. И недаром лучшие писатели, такие как Пабло Неруда, Назым Хикмет, Анна Зегерс, Николас Гильен, Жан-Поль Сартр, Артур Лундквист и многие, многие другие, составили авангард всемирной армии борцов за мир в нашем тревожном и неустроенном мире.

Немало голосов прозвучало со страниц этого сборника. Но ими и в малой мере не исчерпывается тот большой моральный актив, которым располагает наша родина среди лучших представителей литературы. И от года к году, от победы к победе, которые мы одерживаем на путях строительства коммунизма, растет и ширится круг наших друзей.

Вот почему, прочтя эту книгу, испытываешь чувство радости и гордости за свою великую страну, за то невиданно трудное и невиданно благородное по своим целям дело, во имя которого поставил нас под красные знамена Владимир Ильич Ленин в незабываемые дни Великой Октябрьской социалистической революции.

И возникает естественная потребность закончить эту рецензию взволнованными строками стихов Арагона:

Слава льющему свет на землю
яркому солнцу большевиков!
И слава большевикам!

АЛ. СУРКОВ

ПОЭЗИЯ НАРОДНОЙ БОРЬБЫ

Эмилияи Станев. Иваи Коидарев. Роман. Частн 1 и 2. Перевод с болгарского Н. Попова и Л. Лихачевой. Предисловие Д. Маркова. Редактор А. Собкович. Части 3 и 4. Перевод Л. Баша. Редактор А. Собкович. Москва, «Прогресс», 1967.

Новый роман большого и самобытного писателя открываешь всегда с особым интересом. Из всех жаиров эпического искусства роман заключает в себе возможность наиболее всестороннего и синтетического изображения действительности. Ему подвластны все сферы человеческого бытия — интимные и общественные. Несмотря на страстные уверения иных западных критиков, что потенции романа иссякли, он продолжает сохранять безграничную эстетическую власть над людьми. Сегодия, так же как и сто лет иазад, его читают все, кто вообще что-нибудь читает.

Вот какие раздумья приходят в голову, когда зиакомишься с только что появившимся иа русском языке романом Эмилияна Станева «Иваи Коидарев».

Этого писателя в нашей стране уже хорошо знают и почитают. Его повести и рассказы, прежде изданные на русском языке, снискали ему репутацию мастера психологической живописи, тонкого знатока природы. «Иван Кондарев» — центральное произведение Э. Станева. В нем яркое дарование художиика раскрывается новыми и весьма существенными гранями.

Перед нами обширное повествование, объемом около пятидесяти пяти печатиых листов. С немалым основанием его можио назвать романом-эпопеей. И дело вовсе не в объеме, а в широте и размахе той жизненной панорамы, которую воссоздал писатель.

Роман посвящен бурным общественным событиям, развериувшимся на болгарской земле после первой мировой войны. Накал социальных противоречий вызывает в стране подъем освободительного движения. Народные массы, проникнутые ненавистью к прогнившей монархии и всему господствующему буржуазно-помещичьему строю, ищут путей к революциоиному обновлению родины. Это был сложиый и мучительно трудный процесс. Не хватало опыта, демократические силы были раздроблены, разобщены. Реакция, игравшая на иациональных чувствах иарода, прилагала отчаянные усилия, чтобы натравить отсталую часть общества против его наиболее жизнедеятельиых сил. И тем не менее здоровое, прогрессивное ядро иации самоотверженно ведет борьбу за революциоиное преобразоваиие страны.

Приход к власти Земледельческого союза во главе с Александром Стамболийским был иемаловажной вехой на этом пути. Но либеральные колебания этой крестьянской партии, присущий ей дух компромисса, ее боязнь идти на открытый союз с Коммунистической партией Болгарии — все это сыграло роковую роль. В начале 1923 года реакционный политический деятель Александр Цанков, поддержанный блоком буржуазных партий, совершил фашистский переворот. Стамболийский был убит. Демократическое движение Болгарии потерпело жестокое поражение. Большой кровью пришлось ему расплачиваться за проявленную близорукость в оценке движущих сил революции, за тактические просчеты. Вдохновляемые опытом Великой Октябрьской революции и иа ходу исправляя ошибки, прогрессивные деятели Болгарии, прежде всего руководство Коммунистической партии, развернули широкую подготовку к новому туру революционной борьбы. Антифашистское сентябрьское восстание 1923 года явилось венцом этих усилий.

Вот те исторические события, на основе которых строятся сюжетные линии романа — очень сложные и разнообразные.

И хотя эти события не раз уже привлекали к себе внимаиие болгарской литературы, Э. Станев внес в их художественную интерпретацию что-то очень свое и сумел, таким образом, во многом по-новому осмыслить одну из страниц политической истории Болгарии.

Какова же все-таки жанровая природа монументальиого повествования Эмилияна Станева? Что такое «Иван Кондарев» — исторический роман или роман социально-бытовой, в котором личные судьбы героев развертываются лишь на «историческом фоне»? Теоретики литературы, привыкшие к строгим нормативным построениям, оказались бы в весьма затруднительном положении, возымей они намереиие ответить на этот вопрос. Живой опыт литературы всегда сопротивляется попыткам втиснуть его в тесные границы жестоких формул. Лев Толстой затруднялся определить, к каким жанровым формам относятся такие произведения, как «Мертвые души» или «Записки из мертвого дома» и даже его собственная эпопея «Война и мир». Еще лет сто назад Е. Эдельсон, довольно известный в свое время русский критик, проницательно заметил: «Если всмотреться хорошенько в деятельность современных нам и старых романистов, окажется, что видов романа создалось гораздо больше, чем обыкновенно принимается их в трактующих об этом предмете учебниках». Опыт современной литературы, русской и зарубежной, еще более подтверждает обоснованность суждения старого критика. Форма художественных произведений, в конце кон-

цов, столь же разнообразна, как и их содержание.

Особенность романа Станева состоит в том, что в его сюжете нет ни одного реально-исторического персонажа, и вместе с тем вся жизненная атмосфера этого произведения кажется исторически достоверной. Эпицентр событий романа находится в неизвестном городе К. И нам нет нужды знать, что скрывается за этим географическим анонимом. Правда искусства всегда шире правды факта. Но истинный художник никогда не противопоставляет одно другому. В романе Станева все вымысел и все правда. В самом точном и доподлинном значении этого слова.

Читая этот роман, мы словно листаем страницы летописи. День за днем развертывается очень сложный клубок событий — значительных и мелких, серьезных и смешных, жизнерадостных и драматических. И сквозь все эти повседневные бытовые коллизии сверкают зарницы грозных исторических конфликтов, в которых решаются судьбы страны.

Идейный пафос романа Станева — в изображении народной, революционной борьбы. Эта борьба интенсивно воздействует на общественное самосознание людей, заново формирует человеческие судьбы, выпрямляет характеры, придает им крылья. Можно понять изумление Маиола, впервые услышавшего от своего батрака такие слова: «Я ведь тоже живая душа... Вы все думаете, что я дите малое, а ведь это не так. Да еще... все дурачком меня считаете. Вижу я, вижу вашу эксплуатацию, да куда денешься». Далее следуют еще несколько строк:

«— Кто тебя научил этому слову,— спросил Манол, изумленный его речами.

— Зачем меня учить, ежели я сам все вижу?..

— Ага, и тебя к коммунизму потянуло!..

— А если и потянуло, так что? Плохо? Вам, может, и плохо, а мне хорошо. Вот...»

Таким языком батраки в Болгарии еще никогда не осмеливались разговаривать со своими господами. Мощный подъем освободительного движения развязал вчерашнему рабу язык, помог впервые ощутить себя хозяином на своей земле.

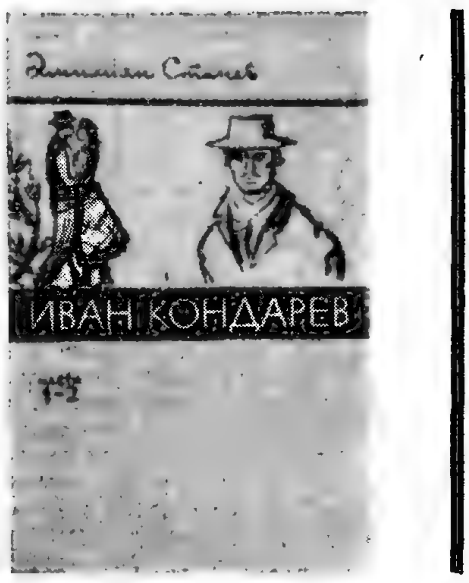
В центре романа — сильный и своеобразный характер Ивана Кондарева. Это человек, посвятивший себя служению народу,— честный, мужественный, добрый. И нет в нем того «железобетона», который порой отвращает читателя от подобных персонажей. Кондарев — человек открытого сердца, он и сложный человек, со всеми присущими ему слабостями, увлечениями, противоречиями. В огне народной борьбы вызревает его духовный и нравственный облик, его неистребимая ненависть к угнетателям и страстная, убежденная вера в конечное торжество правды на земле. Характер этот показан в живой динамике, в непрерывном развитии. В первых главах романа мы видим его еще во власти непреодолимых индивидуалистических предрассудков и умозрительных схем. Он бывал иногда чересчур прямолинеен в своих суждениях и оценках. Постепенно эта прямолинейность исчезает, и Кондарев все более овладевает сердцем читателя.

И вот что еще примечательно: Иван Кондарев показан как человек не только революционного действия, но и страстной революционной мысли. Наблюдая, например, за его словесными поединками со следователем, а затем прокурором Христакиевым, мы хорошо ощущаем и нравственное, и интеллектуальное превосходство революционера, коммуниста. Станеву удалось раскрыть поэзию революционной мысли, ее власть над людьми. Ее когда-то хорошо умели изображать Герцен и Чернышевский. Художественный опыт этих писателей, вероятно, не прошел мимо Эмилияна Станева.

Рядом с Иваном Кондаревым действуют его друзья и соратники, делающие вместе с ним одно общее дело. Рельефно выписаны образы учителя Йоно Нишкова, повстанцев Радковского, Саны. Это люди героического духа, самоотверженно выполняющие свой революционный долг. И как разительно отличаются они от Петра Янкова, претендующего на лавры некоего народного лидера и всякий раз на каждом остром повороте исторических событий трусливо взывающего к умеренности и аккуратности!

На другом идеологическом полюсе действуют в романе и откровенный палач поручик Балчев, воплощающий, так сказать, «железную руку» контрреволюции, и колоритные братья Маиол и Костадин Джупуновы, и многие другие.

Костадин — младший в семье крупного торговца Джупунова. В отличие от своего старшего брата Манола — стяжателя и хищника,— Коста как бы выламывается из своей среды. Его возмущает жадность и бессмысленное накопительство Манола, он привязан к земле и мечтает о тихой, спокойной жизни в безмятежном общении с природой. Он ненавидит Кондарева, «будоражащего» народ, и вместе с тем презирает всех тех, кто готов на любые мерзости во имя сохра-



нения прогнившего строя. «Тягостные раздумья» не дают покоя Костадину. Он мечется между «левыми» и «правыми» в тщетной надежде найти себе тихое пристанище, вне схватки: «Я никому не мешаю жить, ни от кого ничего не требую, только бы меня самого оставили в покое». Но логика борьбы рушит эти прекраснодушные иллюзии, ввергая Костадина в водоворот политических событий. Поставленный перед необходимостью сделать окончательный выбор, он довольно легко преодолевает свои сомнения и колебания и оказывается рядом с Маноломи. Это именно он, Манол, предрекал Костадину: «Крестьяне убьют тебя палками». Так оно и случилось. Смерть Костадина от руки батрака, мстящего барину за былые обиды, становится как бы искуплением за бессмысленно и бесплодно прожитую жизнь.

Роман Э. Станева густо населен. И не так легко уследить за прихотливыми поворотами судеб всех его персонажей. Но есть один образ, занимающий в сюжете романа особое место,— Александр Христакиев. Этот общественно-психологический тип становится предметом пристального художественного исследования.

Александр Христакиев считал себя человеком, призванным сыграть роль в истории. Умный, начитанный, знающий толк в музыке, склонный к философической рефлексии, он хотел производить впечатление человека, отрешенного от грубой земности и живущего в атмосфере возвышенных духовных интересов. Он любил выхваляться своей ненавистью к «полицейщине» и горделиво говорил о себе: «Я исследователь человеческих душ». Но все это было фикцией. Для Христакиева нет ничего возвышенного, ничего святого. Каждый шаг его подчинен грубому расчету. И удивительно ли, что именно он оказывается во главе тех сил, которые творили кровавую расправу над повстанцами.

Христакиев люто ненавидит свой собственный народ, потенциально всегда склонный к «бунту». Содрогаясь от ужаса, он вдруг вспоминает опыт советской России: «И тут, как в России, погибнет свобода духа, здравый смысл, и тут будет идиотски ухмыляться любой неуч, которому все разъяснят и для которого уже не будет никаких тайн на свете... Если бы он мог, он одним ударом раздавил бы этот сброд! Но он боится его, боится...» В раздумьях о возможных путях спасения мира этот новоявленный философ приходит к мрачному выводу, что любое «представление о совершенном обществе» не имеет под собой никакой почвы, ибо «человек — свинья, и таким он будет всегда, и жизнь его аморальна».

Так, можно сказать, завершается процесс саморазоблачения этого «мыслителя». Но есть в характере Христакиева еще один интересный штрих.

Станев часто сталкивает лицом к лицу Христакиева и Кондарева. Они антиподы в романе. Однако следователю нравится Кондарев — человек сильного интеллекта и высокой отваги. Он чует в нем смертельного врага. Терпеливо, с дьявольской настойчивостью — лестью, посулами, угрозами — он пытается заставить Кондарева отречься от марксизма. Между ними идет сложная борьба.

Христакиев убежден, что он сломит волю Кондарева. Следователь давно мог бы уничтожить свою жертву. Но этого ему мало, он ждет духовной, идеологической капитуляции противника. Это крайне необходимо Христакиеву, ибо только таким путем он сможет самому себе доказать духовное свое первородство. Но так и не доказал. После разгрома сентябрьского восстания Кондарев был схвачен. Судьба его, руководителя восстания, предрешена. Но Христакиев, теперь уже всемогущий прокурор, за несколько часов до расстрела Кондарева добивается встречи с ним. И снова — мучительная игра: он обещает Кондареву спасти его от расправы, говорит ему медовые слова, снова льстит, угрожает и снова умоляет быть его «интеллектуальным другом»... Нет, ничего не получилось, капитуляция и на этот раз не состоялась. Униженный и опозоренный в собственных глазах, Христакиев осознает, что «спектакль провалился... постыдно провалился». Обреченный на казнь, Кондарев торжествует нравственную победу над своими победителями...

«Иван Кондарев» — это не роман о прошлом. Написанный на историческом материале, он сохраняет в себе огромную взрывчатую силу. Очень современное произведение создал Э. Станев. История болгарской революции, связанной в истоках с революцией Октябрьской, драгоценна своим политическим опытом. И он имеет несомненно международное значение. Сегодня во многих странах мира продолжается борьба между кондаревыми и христакиевыми. Художественное исследование этих характеров поможет людям глубже понять силы добра и зла, прогресса и реакции, поможет им обрести путь к правде.

Э. Станев — крупный художник. В его манере чувствуется не только верность реалистическим традициям болгарской литературы, но и школа больших русских мастеров XIX века. Какими-то гранями скрещиваются здесь и Тургенев, и Достоевский, и Толстой. Но самое главное в том, что Станев никогда не утрачивает своей самобытности, своего собственного ощущения мира. Сильно выражен в романе национальный колорит. Он во всей атмосфере письма, и, может быть, особенно явно — в скуповато-сдержанных психологических характеристиках персонажей, в размеренно-несенных интонациях их речей, в сосредоточенном интересе к изображению быта и т. д.

Меня особенно привлекает в искусстве Эмилияна Станева присущая ему широта социального мышления, удивительная пластика в лепке характеров, в портретной живописи. Писатель стремится избегать плоскостного изображения. Станева не смущает, если, скажем, в «отрицательном» пер-

сонаже неожиданно мелькнет какая-то черта привлекательная и, напротив, если в «положительном» герое откроется нечто такое, что поначалу может смутить наше представление о нем. И во всем этом не ощущаешь никакой нарочитости, никакой эстетической заданности. Уж так, очевидно, устроено художническое зрение Станева, воспринимающее любое явление жизни в светотени, объемно, стереоскопически.

И, наконец, еще надо сказать об одной немаловажной особенности этого романа: его очень интересно читать. Э. Станев — превосходный рассказчик. Широкое, многоводное течение романа нигде не выходит на мель. Своеобразная композиционная структура этой эпопеи помогает держать читателя в непрерывном напряжении.

Почти полтора десятилетия трудился Э. Станев над этим своим детищем. Три года назад работа была завершена. Роман обретает новую жизнь в хорошем русском переводе. И можно не сомневаться, что выдающееся произведение современной болгарской литературы найдет признание у советского читателя.

С. МАШИНСКИЙ

ГОРЫ НЕ КЛОНЯТСЯ

Мицос Александропулос. Горы. Перевод с греческого С. Ильинской. Редактор В. Кошкарева. Предисловие Б. Полевого. Москва, «Молодая гвардия», 1967.

Сейчас, когда вновь переполнены тюрьмы Греции, гремят выстрелы и льется кровь, с особым волнением читаешь страницы, посвященные подвигу вольнолюбивого и героического народа в памятные дни второй мировой войны.

«Преодолеем и эту бурю. Кто много выстрадал... тот горой стоит на своем, не сгибается и не клонится, как горы». Двадцать с лишним лет назад произнес эти слова один из героев нового романа Мицоса Александропулоса «Горы», старый коммунист Спирос, но как сурово и грозно звучат они сегодня!

Горы Греции... Еще детьми мы прочли их названия в «Мифах классической древности», узнавая, что на Олимпе живут боги, а Парнас облюбовали поэты. Но вот совсем недавно один греческий товарищ рассказывал мне: «На Олимпе партизанить плохо, там везде асфальтированные дороги, все открыто. А на Парнасе хорошо — он весь в лесах». Герои Александропулоса носят порой мифологические имена—вы столкнетесь там и с Гефестом, и с Гермесом,— но молодые партизанки уже берут себе имена героинь революции 1821 года, а скромный учитель Телемах становится комиссаром Леоном... Сорок две вершины Олимпа соединились в одном партизанском объятии с кручами Астраса, и нет той силы, которая могла бы одолеть их.

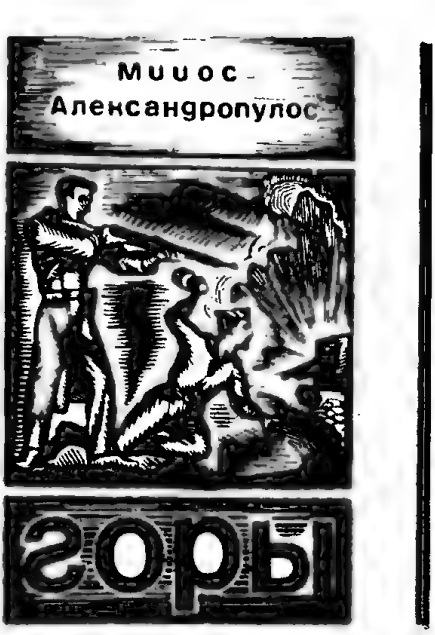
Вместе с двадцатилетним коммунистом Космасом мы с вами попадаем к партизанам Астраса. Идет война. В Греции хозяйничают гитлеровские оккупанты. Им помогают организованные правительством воеиные отряды предателей — цольясов. В горах создаются националистические партизанские соединения для борьбы с фашистами, однако они занимают выжидательную позицию. И лишь Народно-освободительная армия — ЭЛАС — отстаивает дело свободы и независимости. В первых рядах ее идут греческие коммунисты.

У ЭЛАС нет ни еды, ни оружия — только то, что захвачено в бою. Правда, им помогают «союзники»...

Эти самые «союзники» — в данном случае английская миссия — и оказываются, на поверку, врагами греческого народа. Немцы в этот период уже ослаблены, война на континенте подходит к концу, но разве можно позволить, чтобы победу одержали силы демократии? И в тюках с оружием, сброшенных английскими самолетами, партизаны находят по четыре ствола на два лафета, пулеметы без ножек, а если сбрасывается обувь, то — «ботинки были крепкими, всех размеров, но только на правую ногу». Одни лишь пилотки годны к носке, и старый партизан Герасиматос иронически констатирует: «Тут уж они ничего не могут поделать. Хотят они или нет, а носить эти пилотки будут левые головы».

Потом, когда победа над гитлеровцами будет одержана, «союзники» перейдут к прямой войне против сил демократии. Они и сейчас убивают даже своих, если те всерьез сочувствуют партизанам — так был прикончен в горном проходе офицер миссии Уорреи.

Мицос Александропулос ведет нас от вершин Астраса в Афины, в греческую провинцию, ведет по времени — сквозь партизанские бои, временную передышку после победы, новые схватки с оккупантами и националистами. Космас, его главный герой,



мог бы повторить слова Блока: «И вечный бой... Покой нам только снится». Космас теряет в бою руку, на улицах Афин погибает вместе с не родившимся еще ребенком любимая им женщина, и, закрывая последнюю страницу, мы покидаем этого совсем еще молодого человека, коммуниста в фашистском застенке. Но что бы с ним ни случалось, он верен своему народу: «Люди и горы не хотели расставаться, они вместе вошли в душу Космаса, и он нес их в себе вместе. Два образа слились в один, прямой и суровый, как горы, мягкий и горячий, как люди...»

Сводки с фронтов далекой России, когда в Москве гремели салюты освободителям Европы, вдохновляли борцов Астраса и Олимпа. И вот уже возникает партизанская «байка» о том, что у маршала Толбухина мать — гречанка. А каратели, сжигая деревню и убивая мирных жителей, заявляют: «Не деревня, а Москва номер два». Мицос Александропулос — сам участник Сопротивления, и эти строчки в романе больше чем повествование писателя: они — свидетельство очевидца.

Да и весь роман написан так, что у читателя возникает «эффект присутствия», словно ты сам сидишь у партизанского костра или идешь по разгромленным улицам Афин, по которым только что прогрохотали английские (тогда английские) танки. От страницы к странице все дороже и ближе тебе несгибаемые и веселые люди, действующие в этой книге.

Хватко берет за сердце происходящее в романе. Хочу просто привести хотя бы одно место — сцену убийства Янны, жены и соратницы Космаса. Ее убивают на глазах у тетушки Ольги—старая женщина пытается умолить бандитов: «Нет, сынок, нет!.. Она беременна... Она мать!»

«— Одним большевиком меньше! — рявкнул сверху грубый бас.

Большой нож глубоко вошел в живот — легко и бесшумно, как в тесто.

— И меня! — тающим голосом прошептала старушка.

— И тебя!

Она увидела над собой красный клинок, он падал и закрывал от нее землю, словно красное окровавленное небо, обволакивающее весь мир от горизонта до горизонта».

Это не натурализм, а горькая и жестокая правда, показанная художником.

Роман Мицоса Александропулоса трагичен, потому что борьба за справедливость — не прогулка по аллеям парка. Да, льется кровь, гибнут люди и горят здания. Но это оптимистическая трагедия, ибо она освящена знаменем свободы и высокой надеждой.

И хотя говорится в книге о времени, казалось бы, уже отошедшем в прошлое, звучит она, особенно в эти дни, необычайно современно.

А советский читатель еще раз утвердил свою веру в то, что народ, поднявшийся за свое счастье, свободу и независимость, нельзя, невозможно победить.

Горы не клонятся.

МАРК СОБОЛЬ

ЭСТЕТИКА СПРАВЕДЛИВОСТИ

И. Анисимов. Новая эпоха всемирной литературы. Москва, «Советский писатель», 1966.

Книга И. Анисимова «Новая эпоха всемирной литературы» — один из ярких примеров глубины и объективности, достигаемой творческим применением марксистско-ленинской методологии к изучению противоречивого литературного процесса современности. Как неоднократно показывает автор, «буржуазная история литературы — один из наименее объективных жанров». Наоборот, марксистское литературоведение основывается на стремлении понять искусство и жизнь такими, как они есть, хорошо представляя себе высший смысл, который обретает наука, когда она служит делу революционного обновления человечества.

И. Анисимов, крупнейший советский ученый, глубоко сознавал этот смысл, во многом опираясь в своем убеждении на опыт самой литературы, лучших ее представителей, например Барбюса, чья эстетика была основана на уверенности, что «правда революционна», или Брехта, который в разгар борьбы с фашизмом утверждал, что художник должен обладать не только «мужеством, необходимым, чтобы писать правду», но также «умением превращать правду в боевое оружие». Книга И. Анисимова свидетельствует о смелости и последовательности ученого, который, анализируя важнейшие явления всемирной литературы XX века, сумел превратить научную объективность в боевое оружие.

И. Анисимов исследовал процесс революционизации творчества крупнейших писателей века, не обходя противоречия, отступления, поражения некоторых из них. Процесс, в котором обозначились два этапа, тесно связанных между собой, что подчеркнуто построением монографии: часть первая охватывает период, включающий Октябрьскую революцию и две мировые войны; часть вторая — современность.

От Октября до победы над фашизмом пролегает четверть века колоссальных сдвигов, время постепенного разрыва крупнейших писателей мира — старых и молодых — со многими буржуазными иллюзиями. Происходит небывалая прежде консолидация «мастеров культуры» в защиту социализма, против фашистского мракобесия. Это период разительного воздействия первых социалистических преобразований, успехов молодой советской литературы на мировоззрение и творчество талантливых художников Европы, Азии, Америки. И. Анисимов исследует именно этот фактор, обнаруживая его действие во многих писательских судьбах, часто по-новому освещая их.

Один из выразительных примеров — глава о Драйзере, в которой позитивная концеп-

ция создается в ходе острой, аргументированной полемики с буржуазной критикой.

В центре полемики — антология критических статей «Облик Теодора Драйзера», выпущенная в 1955 году университетом Индианы (США),— образец буржуазной клеветы, попытка похоронить Драйзера под аккомпанемент суждений, наряженных в мимонаучную объективность. «Под маркой университета Индианы,— пишет И. Анисимов,— было предпринято нечто такое, к чему подлинная наука не имеет никакого отношения, и если говорить о методологии, которой пользовались составители сборника, то ее лучше всего назвать методологией подтасовок».

И. Анисимов не оставляет без тщательного разбора ухищрения буржуазных драйзероведов. Он показывает, например, как реставрируются сегодня политические провокации, предпринятые в свое время против Драйзера в связи с романом «Гений». Более того, «антология полностью игнорирует и такое всемирно-историческое событие, как Октябрьская революция в России. Это показывает, какова объективность составителей и как далеко они заходят в подтасовке фактов».

Для нас Т. Драйзер — «явление всемирно-историческое». Он проложил американской литературе путь к вершинам критического реализма и — что особенно важно—к социалистическому реализму. И. Анисимов разоблачает атаку буржуазных историков литературы прежде всего в этом пункте. Мы убеждаемся, насколько изощренной и коварной становится реакционная критика после выхода в свет «Американской трагедии». Авторы антологии обходят молчанием поездку писателя в СССР и книгу впечатлений «Драйзер смотрит на Россию», а также одно из самых воинствующих произведений — «Трагическую Америку». «Это безмолвие показывает, с какой предубежденностью подходит к Драйзеру официальная американская критика».

Зато антология подняла на щит ходкую 20 лет назад нелепую выдумку Джона Чемберлена, будто романист во всех своих образах выводит самого себя, вплоть до Клайда Гриффитса из «Американской трагедии», который якобы представляет «портрет Драйзера в молодости». Автор предисловия к антологии Альфред Казин вторит Чемберлену, выдавая Драйзера за бесстрастного натуралиста, писателя, великого... своей безыдейностью. Усиленно раздувается версия Лайонеля Триллинга о том, что Драйзер на закате своей жизни впал в мистицизм. Чтобы доказать недоказуемое, Грэнвил Хикс осмеливается назвать «фарсом» вступление Драйзера в преследуемую партию коммунистов, не пожелав (как и другие авторы антологии) обратиться к первоисточникам—письму на имя Уильяма Фостера и к заявлениям Драйзера, опубликованным газетами. Дело дошло до того, что Дж. Фаррел предоставил в распоряжение фальсификаторов свою переписку с Драйзером, хотя в письмах художника, произвольно цитируемых, все равно нет того, чего бы хотелось ученым из университета Индианы.

И. Анисимов недвусмысленно высказывается «об основной причине исступления, с каким набрасываются на Драйзера... Она называется коммунизмом».

Мы привели только один пример. С глубоким проникновением в сложнейшие проблемы мировоззрения и творчества писателей выполнил И. Анисимов очистительную работу, исследуя подлинный облик Джона Рида, Барбюса, Роллана, Шоу и многих других.

Чрезвычайно интересна заключительная глава первой части — «Современная дилемма». Показывая диалектику новых закономерностей развития и взаимодействия критического и социалистического реализма, И. Анисимов формулирует один из важнейших уроков, который дает литература XX века: «Социалистическая революция или буржуазный мир с его привычными устоями — рано или поздно надо выбирать между ними». «Современную дилемму обязан решить для себя каждый значительный писатель нашего времени» — столь бескомпромиссный вывод покоится на тщательном исследовании творчества крупнейших представителей мировой литературы.

Стержневая тема монографии — история становления социалистического реализма в зарубежных литературах, опыт его утверждения в борьбе с эстетикой декаданса, благотворное воздействие нового искусства на весь мировой литературный процесс. От главы-панорамы «Всемирная литература и социалистическая революция» до конца первой части книги перед читателем проходит эпоха созревания новых закономерностей литературного развития, исторически неизбежных и необратимых. Вторая часть посвящена исследованию этих новых закономерностей как определяющего фактора современной литературной действительности.

Здесь, как и в первой части, главы-портреты играют важную роль, сообщая изложению в целом насыщенность творческим опытом таких мастеров, как Бехер, Арагон, Пуйманова, Садовяну. История и теория социалистического реализма, вырастающая

из конкретного анализа классических произведений новой зарубежной литературы, обретает многостороннее и цельное освещение в обобщающих разделах второй части: «Социалистический реализм и современная литература», «Творчество, метод и индивидуальность», «Современные проблемы гуманизма», «Текущий момент».

Соединение исторического исследования, злободневной критики и теории в единое научное полотно создает прочный фундамент концепции И. Анисимова. Ее актуальность и значительность, осмысленность фактами и аргументами трудно переоценить.

«Можно сказать, что буржуазное литературоведение страдает боязнью исторических воспоминаний»,— говорит автор, обращаясь к проблеме генезиса социалистического реализма в свете известной формулы Арагона о том, что эта недавно возникшая форма искусства является результатом долгой истории человечества.

Большое место в этой связи уделено своеобразному действию в современных условиях ленинского учения о двух культурах в каждой национальной культуре и проблеме диалектических взаимоотношений между настоящим и прошлым художественного развития. Это — «один из основных элементов теории социалистического реализма, отчетливо осознанный прежде, чем была сформулирована теория в целом». Отсюда «необходимость гораздо более углубленного изучения всех других направлений в литературе... Особенно это касается грандиозной проблемы романтизма». Отсюда же следующее утверждение: «критический реализм — соратник социалистического реализма. Взаимная связь двух видов современного реализма — характерное явление всемирной литературы в нашу эпоху».

Раскрывая эти положения на обширном фактическом материале, И. Анисимов показывает, что «развитие социалистического реализма вступило в новую фазу вслед за теми историческими изменениями, которые произошли в мире после второй мировой войны», когда не только в литературах социалистических стран, но и в произведениях художников капиталистического мира «проблематика нового заняла господствующее место».

Из поля зрения автора монографии не выпадает ни одно значительное имя в зарубежной литературе XX века, ни одна из важных или спорных проблем. Всестороннее рассматривается и вопрос о современном художественном декадансе. Несмотря на то, что, как констатирует И. Анисимов, «буржуазное литературоведение либо вовсе отклоняет понятие метода, либо не уделяет ему надлежащего внимания, метод деградирующей буржуазной литературы существует, он несомненно представляет важнейшую цель изучения». Советский ученый справедливо выступает против упрощений в этой области и, в равной мере, против эстетической всеядности. «Проблематика метода,— пишет И. Анисимов,— это важнейшая область теории литературы, и, вступая в эту область, мы должны осветить ее всю с разных сторон, не оставляя затененных участков... Необходимы сложные формулы, охватывающие все богатство современной литературной действительности».

И. Анисимов именно так и поступает. Мировоззрение и творческая индивидуальность, свобода творчества и ответственность писателя, гуманизм литературы социалистического реализма и модернистское искусство унижения человека, пафос нового, выраженного формулой Элюара «от горизонта одного к горизонту всех», и принцип декадентской литературы «отделение одного от многих» (Харри Левин) — вот круг вопросов, которые рассматривает ученый.

«Проблемы реализма приобрели крайнюю остроту в наше время» — такова общая ситуация. «Спор о социалистическом реализме не скоро приобретет академический характер, что естественно, ибо речь идет здесь о том, быть ли литературе великой силой, изменяющей мир». Характеризуя ожесточенную борьбу, И. Анисимов подчеркивает: «Теперь уже совершенно ясно, что за критикой социалистического реализма скрывалось намерение вернуть литературу на путь декадентского бесплодия».

Борьба продолжается. С тем большим основанием и озабоченностью «мы думаем не только о настоящем, но и о будущем. Это будущее всемирной литературы стремительно приближается, и мы знаем, что наступит время, когда социалистические литературы будут доминировать, оттесняя все попирающие человеческое достоинство литературные уродства на свалку истории».

Социалистический реализм рассматривается, таким образом, как закономерность поступательного развития искусства, с позиции светлого будущего всемирной литературы.

Книга И. Анисимова еще раз убедительно свидетельствует о том, что научная объективность современного литературоведения определяется в исходном пункте партийностью исследования, и, если результатом буржуазного образа мышления являются, как правило, «парады мракобесия», о коммунистической партийности в применении к литературоведению лучше всего сказать словами Горького: «эстетика справедливости». Этой же формулой — «эстетика справедливости» — мы хотим охарактеризовать самое яркое качество большого труда И. Анисимова — его воинствующую партийность.

Монография И. Анисимова несомненно может быть названа одной из капитальных работ современного марксистского литературоведения. Она существенно обогащает историю и теорию литературы, устраняет многие из упрощенческих и вульгаризаторских наслоений, имевших место в дискуссиях последних лет, дает отпор фальсификаторам. Книга вооружает читателя широким и верным пониманием сложных явлений, от-

крывает плодотворные перспективы для научной мысли.

Это итог многолетней деятельности ученого, который еще в 20-х годах выдвинул ряд плодотворных положений, ставших ныне общепринятыми.

Безвременно оборвалась жизнь выдающегося литературоведа, но на каждой странице его итогового труда лежит печать личности автора. Читатель узнает здесь страстного исследователя-коммуниста, завоевавшего высокий международный авторитет строителя социалистической науки и культуры.

Поэтому совершенно закономерно, что сегодня, когда наше литературоведение демонстрирует свои достижения вместе с успехами всей страны, празднующей полувековой юбилей Октября, фундаментальный труд И. Анисимова активно служит борьбе за социалистический реализм.

В. ДМИТРИЕВ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Здесь и трава родится красной. Стихи поэтов Анголы, Мозамбика, островов Зеленого Мыса и Сан-Томе. Перевод с португальского. Составитель и автор примечаний Л. Некрасова. Редактор Д. Самойлов. Москва, «Прогресс», 1967.

Поэзия португальских колоний Африки уже давно пользуется вниманием советского читателя. Она привлекает своей самобытностью, художественной зрелостью, глубоким пониманием чувств и чаяний народа. Стихи поэтов этих колоний многократно печатались на русском и других языках народов СССР как в антологиях, так и на страницах периодической печати, однако в виде отдельного сборника они публикуются впервые.

Что побудило составителя собрать в одной книжке поэтов стран, территориально столь разрозненных, как Мозамбик, находящийся на юго-восточном побережье Африки, Ангола, расположенная на юго-западе материка, острова Зеленого Мыса, омываемые Атлантическим океаном, и остров Сан-Томе, лежащий в Гвинейском заливе? То, что коренное население этих стран, относящееся к народам единой языковой семьи банту, живет в одинаково тяжелых условиях колониального режима, что многие формы национальной культуры здесь не только выстояли перед натиском колониализма, но и вышли из этой неравной борьбы победителями, хотя писателям и приходится пользоваться навязанным им языком колонизаторов.

В настоящее время народы португальских колоний продолжают кровопролитную борьбу за свободу, и на переднем крае этой борьбы стоят писатели.

Подавляющая часть поэтов, вошедших в сборник (их 28 человек), не раз подвергалась репрессиям за революционную деятельность, причем некоторые погибли, а некоторые отбывают сейчас длительные сроки тюремного заключения. Осужден на 14 лет каторги Луандину Виейра, известный советскому читателю по повести «Путь Домингуша Шавиера» *. В 1964 году португальское общество писателей присудило ему премию за сборник рассказов «Луанда». В ответ на это колониальные власти, истолковав факт награждения осужденного как политическую демонстрацию, решили разогнать общество писателей.

«Я и мои товарищи приняли решение использовать поэзию для ознакомления мира с жизнью нашего народа, для достижения скорейшего взаимопонимания и помощи нашим братьям со стороны всех боевых сил антиколониализма»,— таков пролог к анголъскому разделу сборника. Эти слова принадлежат Агуштиньо Нету — известному поэту и председателю партии Народного движения за освобождение Анголы. Ощущение неизбывного горя и вместе с тем стремление к свободе, к объединению сил для борьбы с общим врагом — вот мотивы, преобладающие в творчестве поэтов португальских колоний Африки. Их стихи вызывают не чувство отчаяния и обреченности, а желание идти в бой с угнетателями.

С большой силой звучит этот боевой призыв в стихотворении «Песня человека, закованного в кандалы» мозамбикского поэта Жозе Краверинью:

Если б ты видел, как я пел,
Миллионы раз умирая и истекая
кровью.
Говорю тебе, брат-европеец,
Ты бы родился,
Ты бы рыдал,
Ты бы пел,
Ты бы кричал
И умирал, истекая кровью,
Миллионы раз, так же как я!

Перевод Л. Некрасовой

* Эта повесть была опубликована под псевдонимом Мундиле диа Кванзы в журнале «Иностранная литература» № 9 за 1963 год.

Поэтесса Анголы Алда Лара, белая, ставшая на сторону угнетенных африканцев, как бы откликается на это обращение:

Идем, товарищ...
Время настало!
Сердце мое
Твоей болью болеет,
А радость твоя
Его радует, брат.
И руки мои,
Мои белые руки,
Пожать твою черную руку хотят.

(«Путь». Перевод М. Кудинова)

Есть в сборнике и глубоко лирические стихи, которые выражают понятные и близкие всем чувства тоски по родине, по любимому человеку... Очень талантливо стихотворение Мариу Антониу «Четвертая линия», пользующееся широкой популярностью среди молодежи:

Автобус тесный четвертой линии
нас мчит все дальше. И так же в жизни.
И так же в жизни — вверх по дороге...
И так же в жизни.

Люблю я молча — ведь жизнь такая!
Люблю я молча — ведь ты со мною:
мы вместе, вместе — зачем мечтанья?
Зачем слова?

(Перевод И. Тыняновой)

В сборнике участвует Марселину душ Сантуш — один из виднейших мозамбикских поэтов, публицистов и общественных деятелей, активный участник движения солидарности афро-азиатских писателей, награжденный медалью Всемирного Совета Мира. Советскому читателю он известен по опубликованному у нас в стране в 1963 году сборнику стихов «Песня истинной любви»*. Для Марселину душ Сантуша жить — значит искать счастье в борьбе своего народа, значит

Шагать сегодня,
Отыскивая краски завтрашнего дня
В том мире, где царит единство.

(«Что значит жить?» Перевод Л. Некрасовой)

Одна из тем творчества мозамбикской поэтессы Ноэмьи ди Соуза — горькая доля африканской женщины, вынужденной продавать себя ради куска хлеба. Этому, в частности, посвящено стихотворение «Девушки из доков»:

...мы пришли, потому что невмоготу,
нас надежда гонит, подобно кнуту,
наши тела горячие каждый купить готов...

(Перевод П. Грушко)

В стихотворении «Отпусти мой народ» поэтесса говорит о своих братьях — американских неграх, живущих одной с ней надеждой, надеждой на освобождение.

Но голоса из Америки мне
потрясают душу!
И Мариан, и Робсон
Поют для меня
Священные песни негров Гарлема...

(Перевод Л. Некрасовой)

А поэт Антониу Томаш Медейруш, избранный секретарем Комитета освобождения островов Сан-Томе и Принсипе, в своеобразном обращении к Николасу Гильену пишет:

Угнетатели наши странно похожи на тех,
кто вас угнетал...

(«Сокопэ Николасу Гильену». Перевод М. Самсева)

Поэзия островов Зеленого Мыса, начавшая развиваться в двадцатые годы нынешнего столетия, тоже отражает специфические черты современной действительности. Источником творчества целого поколения поэтов были трагические сюжеты, бытующие в народе о рабской доле, о побеге рабов с островов и расплате за это (стихи Жоржи Барбозы, Овидиу Мартинша, Агиналду Фонсеки и других). Но для революционера — борца против рабства поэзия — это не только кровь и страдания народа, народа-раба:

...поэзия — это также голос восстанья
И голос Свободы!

(Кабвердиану Дамбара. «Поэзия». Перевод Л. Некрасовой)

Появление на русском языке сборника «Здесь и трава родится красной» (название заимствовано у анголького поэта Кошту ди Андради) — событие, заметное в нашей литературной жизни. Стихи звучат искренне и достоверно, они написаны кровью сердца. В них много глубокого лиризма и много гражданственности, той гражданственности, которая делает поэта не только выразителем народного горя, но и факелом, освещающим путь к победе над тиранией колониализма. В этом их покоряющая сила.

К. ЧУГУНОВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ БОРЬБЫ И БРАТСТВА

Polska poezja rewolucyjna 1878—1945. Wybór i opracowanie Stefan Kłonowski. Warszawa, PIW, 1966.

«Польская революционная поэзия. 1878—1945»... Эту книгу хочется назвать не антологией, а арсеналом, в котором собрано «старое, но грозное оружие». Перед читателем разворачивается величественная летопись борьбы польского пролетариата, запечатленная в поэзии. В годы массового рабочего движения и у его колыбели, на баррикадах 1905 года и в польских революционных полках, защищавших молодую Страну Советов, в царских застенках и тюрьмах Пилсудского, в жестоких классовых битвах междувоенного двадцатилетия, и интербригадах республиканской

* Рецензия на этот сборник была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 3 за 1964 год.

Испании, в лагерях смерти и гетто, в антифашистском Сопротивлении и народном Войске Польском — всюду поэтическое слово было верным боевым спутником трудящихся Польши.

Поэзию польского пролетариата питал городской и сельский фольклор. В ней чувствуются отголоски вольнолюбивой поэзии других народов, в том числе русского и украинского. В пламенных тираноборческих стихах В. Свенцицкого, Б. Червенского, Х. Трушковского и других певцов пробуждающегося рабочего класса улавливается прямая связь с лучшими национальными традициями революционного романтизма. Символичен тот факт, что написанная в царской тюрьме «Варшавянка», которую Владислав Броневский назвал «первым гимном пролетарской поэзии», была передана на волю зашифрованной между строк поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш».

Многие произведения зачинателей революционной поэзии, ставшие песнями, ныне, в год 50-летия Октября, читаются с особым волнением. Эти песни взяли на вооружение русские революционеры, их любил Ленин и разучивал на польском языке в Сибири с помощью поляка — товарища по ссылке.

Характерно, что на протяжении всей истории рабочего движения со стихами выступали его активисты и вожаки Людвик Варынский и Феликс Кон, закладывавшие основы партии марксистского типа, Станислав Будзынский — один из организаторов Коммунистической партии Польши и ее генеральный секретарь Юлиан Лещинский. А в годы антифашистского Сопротивления многие профессиональные поэты, не прекращая творчества, становились агитаторами, работниками партийной печати и подпольного аппарата Польской рабочей партии.

Особый интерес представляет раздел поэзии Сопротивления. Броневский пророчески предсказывал, что в годину тяжких испытаний никто не откажет родине в крови и песне. Действительно, период антифашистской борьбы был отмечен не только массовым героизмом, но и поистине массовой поэтической активностью. В каждом партизанском отряде был свой поэт.

Однажды, уже после победы, В. Махееку довелось брать необычное интервью — в тюрьме, у военного преступника Хейнемайера, бывшего начальника отдела краковского гестапо. Вспоминая одну из своих жертв, секретаря подпольного горкома поэта И. Фика, фашистский палач сказал: «Его стихи стрелялн. Плохие стихи. Литератор должен быть гуманистом». Комментируя эти слова, Махеек заметил, что гестаповец, стремясь, ради преуменьшения своей вины, принизить значение творчества Фнка, невольно воздал должное «поэзии подвига и революции, той поэзии, которой фашизм панически боится».

Призывом к подвигу проникнуты стихи Я. Бжехвы, Ю. Пшибося, М. Яструна, С. Полляка, Е. Юрандота и других. Да и само сотрудничество в подпольных изданиях было подвигом, великолепной школой гражданственности.

Передовым силам приходилось вести борьбу на два фронта — против оккупантов и отечественной реакции. Это находило отзвук и в поэзии. В едкой фрашке С. Е. Леца фигурирует господин, жалующийся на мозоли. «Немудрено: ты слишком застоялся, держа свое оружие к ноге»,— иронизирует поэт, прозрачно намекая на политику реакционеров.

Составитель антологии С. Кленовский (он же автор комментариев) проделал огромную подготовительную работу в польских и советских архивах. Ему удалось установить авторство некоторых произведений, ранее считавшихся анонимными, уточнить историю создания ряда стихов. Удачна композиция книги. Она передает рост мастерства и динамичность революционной поэзии, оперативно откликавшейся на важнейшие события общественной жизни. Антология радует своей представительностью. В одном ряду со стихами В. Броневского, Б. Ясенского, С. Р. Станде, В. Вандурского, С. Р. Добровольского, Л. Пастернака, Э. Шиманского, А. Стерна и других известных поэтов мы видим произведения начинающих поэтесс В. Зеленчик и З. Ярошевич, которые погибли совсем молодыми. С. Кленовский стремился никого не обойти в этой своеобразной перекличке создателей революционной поэзии.

Сколько необыкновенных судеб кроется за стихотворными строфами. Вот М. Калиновский, автор задорной молодежной песни 1921 года «Нет лучше, чем в коммуне...». Осенью 1943 года он пал в бою под Ленино, ведя в атаку солдат-костюшковцев. Его однополчанин Л. Шенвальд написал «Элегию на смерть Мечислава Калиновского». Так погибший поэт-воин стал героем новой, сражающейся польской литературы...

Со страниц антологии встает монументальный собирательный образ «атакующего класса». И рядом с польским пролетарием — его единомышленник и союзник русский рабочий класс. У них общие цели, одни и те же песни, отражающие разные

этапы борьбы: «Колодники», «Кто под землей и на земле», «Мы кузнецы», «Мы молодая гвардия», «По долинам и по взгорьям». В польских переводах, часто вольных, эти песни названы иначе, но содержание остается боевым, наступательным.

Авторы многих стихов обращаются мыслению к Советскому Союзу. Отблеск зарева над домнами Урала озаряет камеру узников санации в классическом стихотворении В. Броневского «Магнитогорск, или Разговор с Яном». «Советы нам протянут руку»,— утверждает А. Чак, автор «Марша бригады Домбровского». Я. Выка в «Балладе о карабине» восклицает:

Друг боевой нам карабин вручит,
Что Октябрем у палачей был отнят...

Духом пролетарской солидарности, духом Октября проникнута эта замечательная книга.

М. ИГНАТОВ

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ ПОТЬЕ

Eugène Pottier, ouvrier, poète, communard, auteur de l'Internationale. Œuvres complètes réunies et présentées par Pierre Brochon. A Paris, chez Français Maspero, «Voix» № 15, 1966.

Имя Эжена Потье, автора «Интернационала», известно широко. Велика заслуга поэта, создавшего в июне 1871 года боевой пролетарский гимн, которого дотоле не было ни во Франции, ни в других странах.

Но пути славы так прихотливы. Всесветная популярность «Интернационала» как бы невольно противопоставила эту песню Потье всему остальному его творчеству, даже словно затмила его. А между тем Потье вовсе не был поэтом одного-единственного стихотворения; французские критики 80-х годов недаром писали о нем как о преемнике Беранже, как о новом великом мастере народной песни. Поэзия Потье, развивавшаяся свыше полувека, широко и страстно откликалась на события национальной истории, на борьбу и судьбы трудовых масс. Она — наиболее выдающийся памятник французской революционно-демократической пролетарской поэзии XIX века.

Минувший юбилей Потье (в октябре 1966 года) ознаменовался во Франции изданием первого полного собрания сочинений поэта под редакцией известного исследователя французской политической песни Пьера Брошона. Эта книга позволит наконец по-настоящему оценить творчество Эжена Потье, понять все своеобразие почерка этого поэта-философа, революционного гуманиста.

Книгу эту мы ожидали давно с нетерпением. Ведь даже французскому читателю был доступен лишь сборник «Революционные песни», вышедший в 1937 году третьим изданием (первое, прижизненное, было в 1887 году, второе, сокращенное,— в 1908). Что касается других поэтических сборников Потье, то все они — и «Юная муза» (1831, перизд. в 1832), и «Песни мастерской» (1848), и «Кто же безумен?» (1884), и сборник сонетов (1884), и некоторые другие — давно уже превратились в библиографическую редкость.

Советским читателям тоже известны лишь избранные стихотворения Потье: первые издания их русских переводов появились только после Октябрьской революции. К минувшему юбилею поэта вышла книга: Эжен Потье. «Песни, стихи и поэмы», переводы А. Гатова, издательство «Наука».

В свой объемистый, прекрасно изданный том Брошон включил стихотворения Потье из его сборников, из листовок 1848 года, из некоторых журналов 80-х годов, а также все, посмертно опубликованное Эрнестом Мюзё, первым биографом поэта.

Так собран громадный массив песен Потье, во многом остававшихся недоступными современному читателю. Немало в книге и нового, впервые публикуемого самим Брошоном (ряд песен 1848—1850 годов и последующего периода, а также стихотворения, полученные от внучки поэта).

Заслуга Брошона и в том, что им проведена немалая текстологическая работа. Разночтения и многочисленные опечатки в песнях Потье, разнобой в заглавиях некоторых песен теперь почти повсюду устранены, уточнена датировка многих песен. Нельзя не испытывать благодарности за такую кропотливую работу. Правда, в отдельных случаях встречаются и промахи. Печатая на стр. 165 окончательный авторский вариант песни «Не умерла Коммуна», который на две строфы короче ее первоначального, журнального варианта, Брошон правильно поступает, приводя эти две строфы в сноске. Но он уже не прав, когда в песне «Белый террор» тоже сводит три ее строфы (стр. 100): окончательного авторского варианта этой песни нет, а после первой журнальной публикации в 1885 году она поянилась, неведомо кем сокращенная, лишь в посмертном издании «Революционных песен» 1908 года. Для перенесения части этой песни в сноску оснований не было.

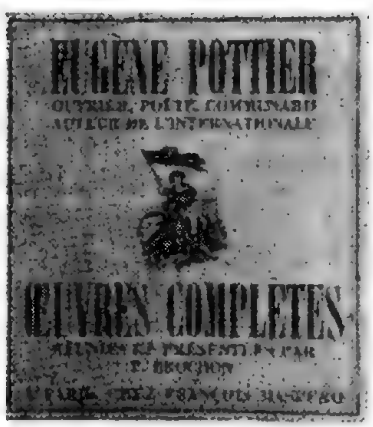
Весьма спорна позиция Брошона относительно «Интернационала». Неужели Брошону остались неизвестны разночтения между окончательным текстом песни и той ее первой редакцией, которую опубликовал в 1961 году Юлиус Браунталь в своем труде об истории Международного товарищества рабочих? Но вместо анализа этих авторских вариантов Брошон привел лишь искажения, внесенные в песню Потье анархистами...

Все стихотворения Потье расположены в книге в хронологическом порядке: так зримей становится тесная связь творчества поэта с событиями окружающей действительности, с революционным движением. Одиако этот принцип неизбежно привел к разрушению состава отдельных сборников Потье (исключая «Юную музу»), а иному

читателю, может быть, небезынтересно, как конструировал свои сборники сам поэт. Есть противоречия между датировкой в тексте книги и в оглавлении. Так на стр. 100 приведена уточненная дата «Белого террора», а в оглавлении осталась прежняя (стр. 252). То же и с песней «Путь народа» (стр. 168 и 253). Песня «Изгнанницы 1871 года» написана в 1886 году (а не в 1880), как отклик на издание первого сборника стихов Шатлена.

Как ни громадна работа, проведенная Брошоном, издание которого можно отныне считать основополагающим для изучения Потье, все же остаются неразрешенными некоторые вопросы, волнующие каждого исследователя и переводчика поэта. Дело в том, что в книге почти ничего не говорится о судьбе литературного архива Эжена Потье, а ведь в сборнике «Революционных песен» 1887 года Потье указал, что готовит к печати еще три книги. Первая из них, «Premières pousses. Chansons et poésies de jeunesse» («Первые побеги, песни и стихи юности»), вероятно, включала бы помимо «Юной музы» и стихотворения за время с 1833 по 1946 год, доныне оставшиеся неизвестными; вторая, «Cantique de beuverie» («Песнь попойки»), по-видимому, содержала бы большой цикл о вине в прямом и в раблезианском понимании «божественной бутылки» (ряд таких песен — в сборнике «Кто же безумен?»); третья была жанрово разнородная: «Graines voyageuses, compte rendu d'exil. anecdotes, discours et poésies» («Летучие семена, пережитое в эмиграции, анекдоты, речи, стихи»). Содержание и судьба этих рукописных сборников неведомы, а потому нельзя определить, насколько широко использовал Эрнест Мюзё их материалы в своих многочисленных, после смерти Потье, публикациях. Кроме того, как явствует из библиографических указаний, Брошон не искал стихотворений Потье ни в журнале Фовети, ни в оппозиционной прессе конца Второй империи, ни в большинстве газет революционно-демократического лагеря 80-х годов. Не удалось ему опубликовать и стихотворения Потье, хранимые наследниками композитора Аллира Бюро. Следовательно, можно надеяться, что кое-что из произведений Потье еще станет известно в будущем.

В этом же удостоверяет и весь тот раздел книги, где собраны речи поэта (всего две!), его письма (только четыре!), немногочисленные политические и иного характера документы, в том числе очень ценный автобиографический документ 1875 года, связанный с первоначальным вступлением Потье в масонскую ложу. Скудость раздела, конечно, только побудит французских исследователей к дальнейшим поискам.



Книге предшествует обширная вводная статья о Потье. При немногочисленности сохранившихся биографических сведений о поэте велика ценность каждой новой детали. Таких деталей, уточняющих многие стороны жизни поэта, Брошон разыскал множество. Но не во всем можно согласиться с его оценкой мировоззрения поэта.

Брошон склонен рассматривать Потье, даже в конце его жизни, в основном как фурьериста и прудониста. Правда, он признает «возможным, что Потье начал, косвенно, в общении с американскими социалистами (в эмиграции 70-х гг.— *Ю. Д.*) усваивать идеи марксизма, особенно марксистскую критику капиталистического общества» (стр. 20). Но Брошон полагает, что если Потье и сблизился в 80-х годах с гедистами, то «неизвестно, какое знакомство мог он иметь с теорией Маркса, очень мало популярной во Франции в ту пору». С такой мыслью согласиться невозможно: сближение Потье с Гедом и Лафаргом, пропагандистами марксизма, тем и объяснялось, что поэт давно уже разделял их воззрения. Неудивительно, что Гед называл Эжена Потье «Тиртеем нашей Рабочей партии» и говорил в некрологе, что «научный социализм» утратил в его лице «своего поэта, своего вдохновенного певца».

Нет сомнения, что у Потье в конце жизни оставались кое-какие противоречия, таившие пережитки старых его взглядов. Но динамику вызревания окончательных убеждений поэта нельзя выразить, не акцентируя на тенденциях нового. Брошон не прав и в своей попытке сблизить Потье с анархистами (на основании письма поэта в 1885 году к Аржириадису). В письме 1884 года к Лафаргу поэт тоже говорил о своем «анархистском динамите», но лишь в смысле революционно непримиримой борьбы с аполитизмом ортодоксальных учеников Фурье. Потье никогда не был анархистом и, напротив, восставал против анархистских лозунгов (песни: «Согрейся, дрова — твои!», «Путь народа» и др.). Вопрос о мировоззрении Потье в 80-х годах еще не прояснен окончательно, но невозможно сомневаться в давнем уже сближении поэта с идеями научного коммунизма.

Большой ценностью книги является обширная библиография изданий Потье и литературы о нем как во Франции, так и за ее рубежом.

Брошон выразил благодарность советскому поэту-переводчику В. Дмитриеву за помощь в составлении библиографии и за разыскание ряда песен Потье.

Рецензируемая книга — ценнейший вклад в изучение творчества Потье, великого пролетарского поэта Франции.

Ю. ДАНИЛИН

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции берлинское издательство «Ауфбау-ферлаг» (ГДР) выпустило иллюстрированный сборник «Смена эпох», в который вошли сорок четыре рассказа и очерка советских писателей. Наряду с произведениями Горького, Шолохова, Паустовского, Алексея Толстого и Бабеля составитель включил и менее известные широкому немецкому читателю произведения Веселого, Кольцова, Пильняка, Платонова и других авторов.

В берлинском издательстве «Ойленшпигель» к юбилею Октября выпущен сборник рассказов М. Шолохова, Л. Леонова, А. Толстого, М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, К. Федина, В. Некрасова, В. Аксенова и др.

В Дели, Бомбее, Калькутте, Мадрасе, Хайдарабаде, Лакнау, Ахмадабаде и других городах Индии началась широкая продажа книг, тематически связанных с борьбой за победу Октябрьской революции в России.

В числе этих произведений — «Мать» М. Горького, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Донские рассказы» М. Шолохова, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Одиночество» Н. Вирты, «Синяя тетрадь» Э. Казакевича и др.

Много интересных публикаций подготовили к 50-летию Великого Октября польские издательства.

«Маленькая железная дверь в стене» В. Катаева вышла в издательстве «Ксёнжка и ведза». Государственный издательский институт (ПИВ) подготовил новое издание в серии «Библиотека романов XX века» «Тихого Дона» М. Шолохова. Два сборника под названием «Песни Октября» под редакцией Леона Пастернака вышли в издательстве «Искры». Там же подготовлены новые издания романа «Молодая Гвардия» А. Фадеева и повести С. Мстиславского «Грач — птица весенняя».

Издательство «Чительнии» выпустило антологию революционной поэзии европейских социалистических стран под названием «Независимый серп и молот» — по инициативе писательских организаций этих стран.

Среди литературоведческих работ — книга польского автора А. Дравича «50 лет советской литературы» (издательство ПВН), а также очерки о современной советской литературе Р. Сливовского (ПИВ).

К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции Издательство министерства национальной обороны Польши выпустило в свет роман Александра Серафимовича «Железный поток». В предисловии к книге сказано: «Железный поток», написанный в первые годы после революции с большой страстностью и эпическим размахом, продолжает оставаться необыкновенной, талантливой книгой, показывающей исторический перелом, каким явилась Октябрьская революция».

В издательстве Центрального совета профсоюзов Польши вышел сборник «50-летие Великого Октября. Поэзия. Песня. Проза», в который включены произведения советских, польских, французских, испанских, немецких, турецких и других писателей. В книгу вошли также воспоминания поляков — участников Октябрьской революции.

В связи с 50-летием Октябрьской революции итальянская кинофирма «Унителефильм» сняла цветной документальный фильм, посвященный советским плакатам периода революции и первых послереволюционных лет. Режиссер фильма Джованни Анджело. В плакатах, которым посвящен фильм, как отмечают рецензенты, «с большой выразительностью переданы образы, чувства, идеи, проблемы, волновавшие советских трудящихся и творческую интеллигенцию в пламенные годы гражданской войны и социалистического строительства».

Чехословацкое молодежное издательство «Млада фронта» выпустило в честь 50-летия Октября четырехтомник под общим названием «Золотая печать». В него вошли: роман «Чапаев» Д. Фурманова, повесть «Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Донские рассказы» М. Шолохова, а также «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида.

Радиопьеса по повести Л. Сейфуллиной «Виринея» была передана пражским радио 25 июня 1967 г. Эта передача была первой из цикла, посвященного 50-летию Октябрьской революции. За ней последовали «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Егор Булычев и другие» М. Горького, «Бег» М. Булгакова, «Беспокойная старость» Р. Рахманова.

Венгерское издательство «Гелиион» в честь юбилея Октября выпустило собрание сочинений Ленина в трех томах и отдельно его работу «Государство и революция», роман «Железный поток» Серафимовича, рассказ «Судьба человека» Шолохова, поэму «Оза» Вознесенского, а также повесть «Поединок» Куприна, собрание сочинений Л. Толстого, старославянские легенды.

Тем же издательством выпущена книга-фотоальбом о Москве. В ней рассказано о прошлом и настоящем столицы Советского Союза, использованы архивные фотодокументы. О сегодняшнем дне Москвы повествуют снимки, сделанные фотокорреспондентом Венгерского телеграфного агентства Кароем Гинком. В качестве сопроводительных текстов использованы отрывки из произведений Пушкина, Л. Толстого, Герцена, Горького.

„Искусство масс — молодая советская поэзия" — так назвала французская газета «Монд» напечатанную на двух полосах газеты подборку стихов советских поэтов. Сюда вошли стихи Маяковского, Винокурова, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Сосноры, Окуджавы и других.

Издательство Болгарской коммунистической партии выпустило воспоминания Н. К. Крупской под названием «Октябрьские дни».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

УСПЕХ «ТРЕХ СЕСТЕР»

Лоуренс Оливье поставил в Национальном театре пьесу Чехова «Три сестры». Успех постановки превзошел все ожидания: уже давно сдержанные на похвалы лондонские газеты не выражали столь бурного восторга по поводу театральных постановок. Высокие оценки даются работе режиссера и занятых в спектакле актеров.

Критик еженедельника «Обзёрвер» назвал спектакль «мировым шедевром». Он отметил также великолепную игру Джоан Плоурайт (супруги Лоуренса Оливье) в роли Маши. По отзывам критики, впечатляет оригинально задуманный и исполненный прием: периодически на занавес проецируются силуэты церковных куполов и крыш старой Москвы.

«Постановка пьесы Чехова Лоуренсом Оливье принесла нам одно из редчайших и незабываемых театральных зрелищ,— писал обозреватель газеты «Морнинг стар» Джек Сазерленд.— «Три сестры» — картина загнивания общества; это отражается в жизни каждого из персонажей. Все они потрясены бессмысленностью, пустотой современного им общества, пытаются найти какой-то смысл, какую-то цель в своей жизни. Лучшие из чеховских героев приходят к пониманию того, что только труд может изменить их будущее. Чеховский оптимизм отнюдь не неясный, туманный намек: в репликах сестер в финале пьесы он выражен вполне конкретно. Особое впечатление в этой постановке, сделанной в духе самого здорового реализма, производит то, как четко обрисованы все главные персонажи. Они настолько выразительны, что остается полное ощущение реальности этих людей».

Сцена из спектакля «Три сестры» в Национальном театре.

(Газета «Морнинг стар»)

БОЛГАРИЯ

«ОКТЯБРЬ 1917 г. И БОЛГАРСКАЯ ДРАМА»

Под таким заголовком еженедельник «Литературен фронт» опубликовал статью Александра Дунчева, в которой прослеживается влияние Великого Октября на развитие болгарской драматургии.

«Если задаться вопросом, в чем в первую очередь проявились роль и значение Октября в исторических судьбах нашей драматургии, то наиболее точным, по моему мнению, был бы такой ответ: он вернул болгарскому народу истинно народное искусство, насильственно отнятое у него буржуазией, и создал предпосылки для наиболее полного развития его национального характера...— пишет автор статьи.— Кроме того, влияние Октября на болгарскую драматургию выразилось и в коренном изменении мировоззрения наших драматургов. После 1944 года они обратились к изображению новой действительности, разных сторон реальных социальных конфликтов, к показу тех сил, которые стояли за этими

В Болгарии пользуется популярностью творчество художника Любена Диманова. На снимке: литография Диманова «На берегу».

(Еженедельник «Литературен фронт»)

конфликтами. Мы видим разоблачение антинародной сущности монархизма в пьесе «Царская милость», отвратительное обличье капитализма в «Селе Борове», разиузданность реакционной военщины в «Разведке», подлый и хитрый механизм полиции в «Вере», героику народного штурма в «Незабываемых днях», врача-приспособленца в «Борсанови», омещанившегося карьериста в «Розах для доктора Шомова» и так далее».

Подобно советским писателям, болгарские драматурги обращаются к героико-патриотической теме революционной борьбы, продолжает автор статьи, а также к теме социалистического строительства и борьбы за сохранение мира.

Наши драматурги в неоплатном долгу перед Октябрьской революцией, пишет в заключение Дунчев. Им еще предстоит развить эту тему в своих сценических произведениях.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОКТЯБРЕ

Издательство Болгарской коммунистической партии выпустило книгу «Об Октябрьской революции», в которой собраны воспоминания иностранцев — участников или очевидцев событий Великого Октября. На страницах книги выступают болгары, венгры, румыны, немцы, поляки, югославы, чехи и словаки, а также представители других национальностей. В сборнике помещены и воспоминания болгар — участников Октябрьской революции: Г. Михайлова-Добрева, К. Тинневой, П. Смилова и С. Черкезова.

ГДР

«ВОЛОДЯ, АЛЕША И Я»

В честь 50-летия Советской власти шесть молодых литераторов—студентов Литературного института имени Иоганнеса Бехера под руководством известного драматурга Ганса Пфейффера написали пьесу «Володя, Алеша и я». Содержание ее вкратце таково: готовясь к праздничному спектаклю, несколько молодых людей репетируют отрывки из пьес Вишневского и Розова. Эта репетиция превращается в дискуссию о роли искусства в жизни молодежи, о влиянии революционных традиций на жизнь современной немецкой молодежи. В дискуссии принимают участие и появляющиеся на сцене советские драматурги.

На вопрос одного из участников репетиции: «Что же мы будем ставить к 50-летию Октября? Что будем играть — «Оптимистическую трагедию» Вишневского, «В дороге» Розова или наш спектакль про «оптимизм в дороге»?»—другой участник репетиции отвечает: «Лучше всего, если мы будем играть самих себя, нашу встречу с Алексеем и Володей, нашу встречу с 1917 годом в 1967 году».

Журнал «Нейе дейче литератур», напечатавший пьесу «Володя, Алеша и я», предпослал ей большую статью Ганса Пфейффера, рассказавшего о том, как проходила творческая работа молодых литераторов.

СМЕЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Вилли Гинцерт и Вольфганг Пинтцка создали либретто балета по драме Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Музыку к балету написали немецкий композитор Гаис Гельмут Хунгер и ленинградский композитор Александр Чериов.

«Этот смелый эксперимент посвящен знаменательной дате — 50-летию Великой Октябрьской революции»,— пишет рецензент газеты «Нейес Дейчланд».

Балет предназначен для очередного фестиваля рабочей самодеятельности округа Дрезден и предварительно был показан на сцене берлинского театра «Фольксбюне». Наряду с профессиональными актерами, приглашенными на главные роли из крупнейших немецких театров и московского Большого театра, в спектакле заняты силы самодеятельного искусства.

«Этот спектакль — свидетельство советско-немецкой дружбы,— продолжает рецензент.— Одновременно он показал, насколько может быть плодотворным сотрудничество самодеятельности и профессионального искусства».

ФРГ

500 ОТВЕТОВ МИХЕЛЮ АНДЕРСУ

«Что может сделать для сохранения мира каждый человек в отдельности? Каковы его силы и возможности?» С такими вопросами, по сообщению дюссельдорфской газеты «Дейче фолькс-цейтунг», четыре года назад обратился Михель Андерс, составитель сборника «Война стала неприемлемой», к известным писателям, ученым, политическим и общественным деятелям, а также к некоторым организациям. За это время Андерс получил более пятисот ответов, среди них — от Генриха Бёля, Макса Брода, Иоганнеса Дикмана, Марии Домбровской, Марни Лунзы Кашниц, Джона Кеннеди, Мартина Нимёллера, папы Павла VI, Эрвина Пискатора, У Тана, Карла Ясперса и объединил их в книгу, которая выйдет к концу нынешнего года в издательстве «Дикси-прессе-дienст-Г. Гермес» в Херренберге.

ГОЛЛАНДИЯ

«Ленин» — рисунок художника-коммуниста Петера Алмы, полученный редакцией «Иностранной литературы» в оригинале.

ИНДИЯ

КРЕПИТЬ ДРУЖБУ

Выступая в Дели по случаю пятнадцатой годовщины создания Общества индийско-советской дружбы, известный индийский писатель Мулк Радж Ананд говорил о необходимости дальнейшего укрепления дружбы между народами Индии и Советского Союза, между деятелями литературы и искусства обеих стран, о необходимости проведения конкурсов на лучшее литературное произведение, посвященное дружбе народов Индии и Советского Союза.

С большой теплотой отозвался писатель о встречах с советскими людьми — с простыми читателями и известными писателями. «Я должен, однако, отметить,— сказал он,— что мы, жители Индии, знаем гораздо меньше о советских писателях, чем советские читатели знают об индийских. В Советском Союзе публикуется раз в двадцать больше книг индийских писателей, чем в Индии выходит произведений советских писателей. Я думаю, кое-что для исправления этого положения может сделать «Сахитьи академи» («Литературная академия».— Прим. ред.). Нужно, чтобы произведения Шолохова были переведены на все четырнадцать языков Индии».

ИТАЛИЯ

ПЕЧАТЬ — О КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ В СССР

В связи с пятидесятой годовщиной Великого Октября в Италии заметно вырос интерес к культурной жизни в Советском Союзе. Газеты и журналы много пишут о советской литературе и искусстве. Еженедельный журнал «Ринашита», например, в нескольких номерах опубликовал серию статей, посвященных истории советской культуры за 50 лет.

Один из последних номеров ежемесячника «Контемпоранео» почти целиком посвящен культурной жизни в СССР. На его страницах делятся своими впечатлениями о поездке в СССР два известных в Италии критика — Антонио дель Гуерчо и Луиджи Пестaлоцца. «Отличительная черта советского искусства и литературы,— пишет Антонио дель Гуерчо,— прочная связь с классическими традициями прошлых веков. Эти традиции нашли своеобразное преломление в богатой и чрезвычайно разнообразной советской культуре... Деятели культуры, с которыми я встречался,— продолжает дель Гуерчо,— полны сознанием величия нынешнего исторического момента и важности своей роли в социалистическом об-

ществе. Они выражают готовность приложить все силы к тому, чтобы поднять на новый, еще более высокий уровень культуру страны, которая стоит ныне в центре всех самых важных процессов, происходящих в современном мире. Если бы меня попросили в нескольких словах выразить то главное, что характерно для деятелей советской культуры, я бы сказал: они любят жизнь. И у них есть все условия, чтобы правдиво отображать эту жизнь».

На критика Луиджи Пестало́цца в Советском Союзе большое впечатление произвела массовость советской культуры. «Меня поразила,— пишет он,— интенсивность культурной жизни в СССР, огромное количество книг, журналов, выставок, театров, концертов. Такого не встретишь ни в какой другой стране мира». Октябрьская революция, делает вывод критик, создала условия для небывалого культурного скачка всех многочисленных национальностей советской страны.

С большой статьей в журнале «Контемпоранео» выступает его редактор Бруно Шакерл. Он пишет: «Мы уделяем так много внимания Октябрьской революции и советской культуре потому, что эта революция явилась поворотным пунктом в истории человечества, она решающим образом повлияла и на историю и на культуру Италии».

Бруно Шакерл в своей статье дает решительный отпор попыткам представить культурную жизнь в СССР в искаженном виде: «Мы отвергаем всяческие спекуляции вокруг проблем советской культурной жизни. Мы решительно выступали и будем выступать против всяческих нападок на советское искусство и литературу. Никому не удастся преуменьшить значение Великой Октябрьской социалистической революции, которая в свою очередь обусловила революцию во всей мировой культуре».

На протяжении нескольких последних месяцев газета «Унита» два раза в неделю отводит целую полосу материалам об Октябре. Здесь — рассказ о событиях тех дней, выдержки из выступлений В. И. Ленина, отрывки из воспоминаний Н. К. Крупской о вожде революции, фрагменты художественных произведений советских писателей, посвященных Октябрю, а также многочисленные фотодокументы.

■ ■ ■

Как сообщает печать, Научный институт Итальянской коммунистической партии в Риме провел четырехдневную конференцию, посвященную историческому значению Октябрьской революции. Выступавшие говорили о всемирном значении социалистической революции, а также о том, что она оказала непосредственное влияние на рабочее движение, общественную и культурную жизнь Италии.

ПРЕМИЯ «СТРЕГА 1967»

Литературной премии «Стрега», которая наряду с «Виареджо» является основной ежегодной премией в Италии, исполнилось двадцать лет.

В этом году премия «Стрега» присуждена за роман «Бедные и простые» писательнице Ание-Марии Ортезе. Она была до сих пор известна читателям как автор имевшего успех романа «Море не плещется у Неаполя».

Действие романа «Бедные и простые» происходит в конце пятидесятых годов в Милане. Его герои — молодые люди, которым приходится вести упорную борьбу за существование в стране «экономического чуда».

Новый роман Анны-Марии Ортезе вызвал живой интерес. Известный поэт Альфонсо Гатто опубликовал в газете «Паэзе сера» восторженный отзыв на книгу. «Это эмоциональный, блестящий рассказ о жизни,— пишет он,— созданный большим мастером, который нашел удивительные слова, исходящие из самых глубин человеческого сердца».

Литературный критик газеты «Унита» Микеле Раго, признавая бесспорные достоинства книги, отмечает вместе с тем, что автор слишком часто подменяет действие психоаналитическими исследованиями мыслей героев. «Герои романа надеются на социализм, говорят о всеобщем братстве людей, но мы не видим, как они приходят к этим убеждениям, как борются за них,— пишет Раго.— Они только говорят и мечтают. На страницах романа вы не найдете, сколько ни ищите, истории суровой борьбы, которую вели в те годы все левые и демократические силы Италии».

Однако в целом итальянская критика признает, что роман Анны-Марии Ортезе «Бедные и простые» — несомненное достижение писательницы.

«КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ»

В течение многих лет — чуть ли не полвека — итальянские трудящиеся поют революционные песни, автор которых — народный поэт, коммунист из Анконы, выбравший себе псевдоним Спартакус Пиченус — Спартак из Пичено (так некогда называлась область Италии на побережье Адриатического моря, где расположена Анкона). Эти песни пели в годы подъема рабочего движения после первой мировой войны, пели в тюрьмах и ссылке во времена фашизма, в дни Сопротивления. Многие из них пользовались огромной популярностью, их помнят и поют до сих пор, они неоднократно издавались вместе с нотами, но очень маленькими тиражами в виде тонких брошюрок или листовок. Теперь, наконец, все они объединены в большой сборник, выпущенный как приложение к коммунистическому массовому журналу «Календарио дель попоро» («Народный календарь»), редактируемому литературоведом Карло Салинари. Сборник произведений Спартакуса Пиченуса называется «Коммунистические песни».

КАНАДА

В городском театре Стрэтфорда поставлен «Ревизор» Гоголя. На снимке: сцена из спектакля. В роли Хлестакова — Уильям Хатт (слева).

(Газета «Кенэдиен трибюн»)

КОЛУМБИЯ

«ЖИВАЯ ВОДА ВЬЕТНАМА»

Так названа антология вьетнамской поэзии, вышедшая в издательстве «Новая Колумбия» с предисловием известного писателя Хорхе Саламеа.

Колумбийский журнал «Магасино домнникаль» публикует рецензию на эту антологию. В ней, в частности, говорится: «Верность Саламеа принципам равенства и свободы хорошо известна в Колумбии, в Америке, во всем современном мире... Это побудило его теперь стать составителем сборника поэзии Вьетнама и написать предисловие — резкое и, если хотите, беспощадное, но несомненно справедливое.

Народ Вьетнама,— продолжает рецензент «Магасино домнникаль»,— переживает страшную трагедию... Потому вьетнамские песни полны боли и горечи. Не криков или проклятий, а горечи. Но эта горечь неотделима от надежды, от веры в новую жизнь, в лучшее будущее, в грядущий мир и радость. Все эти бесхитростные стихотворения отмечены одной печатью, печатью любви к родине, страданий за родину и надежд на близкий восход солнца».

ЛИВАН

НОВАЯ ПЬЕСА МИХАИЛА НУАЙМЕ

Как сообщает бейрутская газета «Аль-Ахбар», старейший ливанский писатель Михаил Нуайме написал пьесу «Иов», навеянную библейской «Книгой Иова».

По словам писателя, в своей новой пьесе он пытался осмыслить причины человеческих страданий и несчастий в современном мире.

«Иов» — вторая пьеса Михаила Нуайме. Первая его пьеса была написана 50 лет назад и называлась «Отцы и дети». (Критики не без основания усматривают в этой пьесе молодого Нуайме влияние Тургенева. Известно, что М. Нуайме в юные годы учился в Полтавской семинарии в России, откуда был исключен за участие в революционной сходке студентов. В России он хорошо познакомился с русской литературой.)

МЕКСИКА

«СЬЕМПРЕ» — ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Популярный мексиканский журнал «Сьемпре» значительную часть одного из своих последних номеров посвятил пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции.

В редакционной статье, предваряющей традиционный раздел журнала «Культура в Мексике», раздел который на этот раз называется «Советский Союз к пятидесятилетию Октябрьской революции», говорится: «В этом году исполняется полвека самой значительной в истории революции. Речь идет не только о революции, происшедшей в стране, территория которой занимает одну шестую часть земного шара, но и о новых идеях, новых силах и отношениях, революционных переменах, которые коренным образом изменили облик мира.

Люди — прежде всего латиноамериканцы — задают себе вопрос, что представляет собой Советский Союз после пятидесяти лет строительства социализма. Выдумка о «железном занавесе», политическая борьба и враждебная пропаганда мешают получить правильное представление о том, что произошло в СССР за это длительное время. Чтобы ответить на этот вопрос, «Сьемпре» поручил своему сотруднику Хосе Нативидад Росалесу собрать необходимые материалы в самой Москве. Располагая этими материалами, почти целиком составленными видными советскими специалистами и деятелями в связи с юбилеем, мы подготовили сдвоенный номер, посвященный годовщине Октябрьской революции. Мы сознаем, что наши возможности весьма ограничены, поскольку потребовалось бы несколько томов для того, чтобы дать ясное представление об истории, политике, экономике, социальных, научных и культурных свершениях в этой стране...

Тот факт, что авторами этих материалов являются советские люди, дает нам возможность передать без каких-либо искажений или ошибочных интерпретаций «слово и дух», господствующие в Советском Союзе и определяющие нормы его жизни. Следовательно, то, что мы здесь публикуем,— документы первостепенной важности. Все это потребовало от нас больших усилий, и мы надеемся, что наш труд будет содействовать лучшему взаимопониманию между Мексикой и ее многолетним другом — Советским Союзом».

Среди материалов, подготовленных редакцией журнала совместно с АПН и опубликованных в этом номере «Сьемпре»,— фрагменты из книги Герберта Уэллса «Россия во мгле» с репродукцией известной фотографии В. И. Ленина с Г. Уэллсом, статьи И. Краснова «Джон Рид и русская революция», К. Загорского «Советская культурная революция», летчика-космонавта СССР Ю. Гагарина «Успехи и перспективы», вице-президента Общества «СССР — Мексика» Ю. Дашкевича «Читая письмо Эмилиано Сапаты...», интервью с Д. Шостаковичем и ныне покойным И. Эренбургом, заметки о театральной жизни Москвы и др.

В этом же номере журнал напечатал письма в редакцию ветерана мексиканской революции, лауреата Международной Ленинской премии мира, генерала Эриберто Хары и Пабло Неруды, который пишет:

«Я выражаю свое восхищение тем, что номер «Сьемпре» посвящается первым пятидесяти советским годам. И это — главная цель моего письма. Хорошо известно, что произошло тогда: власть перешла в руки великого многомиллионного народа. Полвека подтвердили, что система живет. Живет и здравствует. Здравствует, несмотря на гражданскую войну, чужеземных захватчиков, историческую отсталость, которые мешали новой системе набирать силы. Без всякой поддержки (если не считать всенародной веры в эту систему) она победила своих врагов, воздвигла себе крепости и школы, создала свою науку, испекла хлеб и разделила его среди своих людей, весть о ней пронеслась по всей земле, Советская Россия шагнула к звездам...

Из того немногого, что я знаю и понимаю, я уже вижу, что у Советского Союза — великие планы. И он удивит нас еще очень много раз своим могуществом, своей мудростью и своим нескончаемым созиданием.

Поэтому меня радует начинание «Сьемпре», которому надо идти дальше, вперед: к номеру о столетии советской жизни — его увидят глаза нового мира».

Как уже сообщалось в печати, государственный департамент США по-своему реагировал на выход этого номера «Сьемпре»: главному редактору-издателю журнала Хосе Пахесу Льерго отказано в визе на въезд в Соединенные Штаты.

МОНГОЛИЯ

ЗАДАЧИ МОНГОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Событием в культурной жизни Монголии стал IV съезд писателей страны, итоги которого широко обсуждаются на страницах монгольской печати.

В отчетном докладе «Задачи монгольской литературы в воспитании нового человека» председатель Союза монгольских писателей С. Удвал подробно охарактеризовала путь, проделанный монгольской литературой за пять лет, прошедшие между Третьим и Четвертым съездами.

«Одно из самых больших достижений нашей литературы между двумя съездами писателей,— отметила С. Удвал,— это становление и формирование монгольского романа. Если на III съезде мы говорили о трех-четырех романах, то ныне мы говорим о романе как о самостоятельном жанре, занявшем должное место в нашей литературе.

К удачным произведениям этого жанра докладчик относит «Кочевье» Тудэва, «На перекрестке дорог» Мягмара, «Оттепель» Цэдэнжава, «Росу» Чойжилсурэна и другие.

Основным творческим методом в монгольской литературе, как отмечается в докладе, стал социалистический реализм.

«Необходимо подчеркнуть,— продолжала С. Удвал,— что советские товарищи оказали нам немалую помощь в деле художественного перевода мировой, в особенности самой передовой в мире советской, литературы на монгольский язык. У нас выросло много талантливых переводчиков, среди которых можно назвать Б. Ринчина, Ц. Дамдинсурэна, Х. Пэрлэ, Д. Сэнгээ, Ч. Чимида, С. Бадра и многих других. Писатели должны активно участвовать в переводческой работе. Целесообразно в дальнейшем провести совещания и семинары переводчиков, пригласить в Монголию иностранных переводчиков монгольской литературы на другие языки, чтобы они имели возможность ознакомиться с жизнью нашей страны.

Оглядываясь на пройденный путь, на все, что воздвигнуто руками нашего героического народа на древней монгольской земле,— сказала далее С. Удвал,— мы прежде всего с чувством глубокой признательности отмечаем животворное влияние Великой Октябрьской социалистической революции на судьбу нашей страны. Благодаря многолетней нерушимой дружбе с советским народом, с родиной Октября, Монгольская Народная Республика успешно строит новую жизнь, являясь членом великого содружества социалистических стран».

Как отмечалось на съезде, сейчас перед монгольскими писателями стоят большие задачи, связанные с отображением в своих произведениях двух великих событий: 50-летия со дня победы народной революции в Монголии и столетия со дня рождения В. И. Ленина.

НОРВЕГИЯ

«СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИБСЕНУ»

Творчество великого норвежского драматурга Генрика Ибсена привлекает внимание многих исследователей. Недавно в Дании вышла книга Эльзе Хост о пьесе «Дикая утка», а также материалы ибсеновского семинара, который проходил в Осло в августе 1965 года, объединенные под общим заголовком «Современный подход к Ибсену».

Постоянный обозреватель отдела литературы и искусства газеты «Фрихетен» Мартин Наг дал высокую оценку работе Эльзе Хост. Среди материалов семинара Мартин Наг выделяет два исследования. Первое из них посвящено языку Ибсена-портретиста, другое — анализу связи творчества Ибсена и Чехова.

Творчество Ибсена настолько многогранно и глубоко, отмечает Наг, что «оно будет и в дальнейшем давать пищу для исследований». В частности, он указывает на проблему иностранных влияний на Ибсена, в особенности Достоевского.

ОАР

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАЛЕТНОЙ ШКОЛЫ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Каире состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым пятидесяти выпускникам балетной школы.

Министр культуры ОАР тепло поздравил молодых египетских балерин и танцоров, а также их учителей — советских мастеров балета.

НЕИЗВЕСТНАЯ РУКОПИСЬ ОМАРА ХАЙЯМА

Известные египетские ученые Абд аль-Азым Аннс и Мухаммед Мурси Ахмад в настоящее время работают над составлением комментария к рукописи, которая включает в себя три письма по математике, написанные великим персидским ученым и поэтом Омаром Хайямом на арабском языке.

Рукопись была недавно обнаружена в советских архивах.

Советские ученые передали ее в дар Объединенной Арабской Республике, где она будет скоро опубликована.

ПЕРУ

ЛИТЕРАТУРА И ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

На эту тему, как сообщает латиноамериканская печать, сделал доклад в перуанском Доме культуры (Лима) уругвайский литератор Карлос Мартинес Морено. Свой доклад Морено посвятил положению писателя в странах Латинской Америки. Ниже приведены основные тезисы его выступления:

1. В Латинской Америке писатель не может жить своим трудом.

Существуют лишь некоторые исключения из этого правила.

2. Официальное отношение к писателю оставляет желать много лучшего.

В современных политических условиях Латинской Америки писатель обычно является объектом подозрений или гонений, так как его деятельность часто побуждает его обнажать основы общества, в котором он живет. Это видно на примере Марио Варгаса Льосы и Карлоса Фуэнтеса.

3. Во многих случаях эмиграция становится для писателя обязательной.

4. Писатель должен иметь также и другую профессию.

Если суммировать все трудности политического и экономического характера, стоящие на пути латиноамериканских писателей, можно понять, почему подавляющее большинство литераторов работает в качестве адвокатов, журналистов и т. п. и занимается литературным творчеством лишь в свободное от основной работы время.

ПОЛЬША

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

С 21 апреля по настоящее время в кинотеатрах городов и сел Польши проходит фестиваль советских кинофильмов. Польские зрители знакомятся с советскими фильмами 20—30-х годов, а также с последними произведениями советской кинематографии.

Рецензент газеты «Трибуна люду» Ящ пишет, что польские зрители с восхищением приняли такие исторические картины, как «Человек с ружьем», «Мы из Кронштадта», «Сердце матери». Но особенной популярностью и всеобщим признанием пользуется фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

«Его создатель,— пишет Ящ,— величайший деятель советского кино, практик и теоретик... «Броненосец «Потемкин» появился 42 года назад, но удел и его автора, и самого произведения — бессмертие: созданную Эйзенштейном теорию кино будут точно так же изучать в киношколах через сто лет, как сейчас ее изучают будущие кинематографисты, а «Броненосец «Потемкин» наши внуки будут смотреть

К 50-летию Октября в Польше издана книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

с таким же волнением, с каким его смотрят наши современники».

Польские зрители, пишет в заключение Ящ, с интересом просмотрели новые советские фильмы «Дети Дон Кихота», «Хевсурская баллада», «Лебедев против Лебедеаа» и др.

■ ■ ■

В Гдыие в клубе Международной печати и книги открылась выставка работ Влодзимежа Закшевского, которую художник назвал «По ленинским местам». Замысел создаиия такого цикла возник у художника в 1953 году. Всего в Гдыие выставлеио пятьдесят работ разиых лет. Среди иих пейзажи Ульяновска, Ленинграда, Казани, Куйбышева и Москвы. Отдельные работы посвящены пребыванию Ленина за границей.

■ ■ ■

Материалы, посвящеиные 50-й годовщиие Великой Октябрьской социалистической революции, публикуются польской печатью, передаются по радио и телевндению. Видную роль в популяризации достижений Советского Союза играет иллюстрированный еженедельный журнал «Пшиязиь» («Дружба») — орган главного правления Общества польско-советской дружбы.

На протяжении иескольких месяцев редакция журнала «Пшиязнь» издает специальные номера, посвященные отдельным советским республикам. Этот интересиый цикл монографических «республиканских» иомеров завершает специальиый номер, выпущенный к годовщиие Октября, который посвящен достижениям Советского Союза за полвека.

Другое интересное мероприятие, проведеииое по инициативе еженедельиика, — международная викторина, организованная по случаю 50-й годовщиины Октябрьской революции совместно с братскими журналами из других социалистических стран: с редакцией «Фрейе вельт» (ГДР), «Свет социализму» и «Свет Совету» (ЧССР), «Орсаг вилаг» (Венгрия), «Блгаро-советска дружба» (Болгария) и с советской стороны — с АПН.

Коикурс-викторина тематически связаи с историей Советского Союза и с достижениями советской власти иа протяженин 50-летия.

ПРЕМИЯ ЛЕОПОЛЬДУ ЛЕВИНУ

Известному поэту и переводчику Леопольду Левину присуждеиа ежегодиая литературиая премия миинстра национальной обороны ПНР за переводы произведений русских и советских поэтов.

В связи с присуждением премии Леопольд Левин рассказал корреспонденту еженедельника «Польское обозрение»: «Я начал переводить русскую поэзию с классиков — Пушкииа, Лермонтова, Жуковского. В 1951 году вышел сборник «Избранное» Некрасова в моих переводах. Позднее я подготовнл к печати двухтомник Некрасова. В него вошли переводы стихотворений, сделанные известными польскими писателями, в том числе Тувимом.

Я переводил стихи Фета и Брюсоаа. Потом пришла очередь поэм «Иван да Марья» Симонова, «Суд памяти» Исаева и «За далью даль» Твардовского. Все они изданы отдельными томикамн. Мне довелось переводить, пожалуй, всех зиачительиых русских поэтов двадцатого века — Маяковского, Есенина, Асеева, Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Евтушенко, Виокурова, Вознесенского и многнх других. Мне очень полюбилась грузинская поэзия. Издательством «Чительиик» выпущена в свет составленная мной антология грузинской поэзии в переводах крупнейших польских поэтов. В иее вошли произведения грузинских классиков, от представителей романтизма девятнадцатого века до современных поэтов, средн которых я больше всего ценю Симона Чиковани и Георгия Леоиидзе.

Я работал также над переводами белорусской, украинской и литовской поэзии. Кроме того, мне принадлежит перевод поэмы крупнейшего азербайджанского поэта Самеда Вургуна «Говорит негр». Несколько лет назад вышла моя книга «У друзей», которая раскрывает богатство и миогообразие советской поэзии. В прошлом году вышло ее второе, расширенное издание. Это антология русской, белорусской, украинской, грузинской и литовской поэзии. Наряду с перечисленными произаедениями в нее вошли стихотворения Мартыиова, Тихоиова, Щипачева, Сельвинского, Слуцкого, Солоухина, Окуджавы и других».

«СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ РАЗ В ДЕНЬ»

Кинорежиссер Геирик Клюба дебютировал недавно фильмом «Худой и другие» (см. сообщение в «Иностраниой литературе» № 6, 1967), который получил высокую оценку зрителей и критики. В иастоящее время, как пишет корреспоидеит еженедельиика «Экран», Клюба занят работой над новым фильмом под названием «Солице восходит раз в день». Он расскажет о простых людях — излюблеиных героях режиссера. Действие фильма будет происходить в первые годы народной власти.

— Меня интересуют главным образом взаимоотношения между рождающейся народной властью и самим народом,— рассказал Клюба в интервью корреспонденту.— Я обратился к истории, взяв в качестве свидетелей простых людей... Мие приглянулся крестьянии, определенный тип поляка, у которого много сомиений, но который с самого начала интуитивио принимает сторону социализма...

События развертываются в гориой деревушке Одкшас в Бещадах, где крестьянами верховодит староста Гаратык, который упрямо пытается держаться старого, привычиого уклада жизни.

Геирик Клюба, как и в

фильме «Худой и другне», обратился к повести Веслава Дымного, который пишет о труженнках деревии. Дымный — автор сценария, в котором, по словам Клюбы, «удачио сочетаются творческая фантазия режиссера и сценариста».

«Можно миогого ожидать от дальнейшего сотрудничества писателя, о котором говорят, что ои исходил пешком всю Польшу, и режиссера, который, прекрасио разбираясь в направлениях развития современного искусства, ищет в ием собствеиные нехоженые пути к правде о людях нашей родины»,— пишет в заключение корреспондент «Экрана».

«ФРОНТ В ДЖУНГЛЯХ»

«Иностранная литература» уже сообщала (№ 8, 1966 и № 6, 1967) о том, что польская писательница Моника Варненская, находясь в Демократической Республике Вьетнам, присылает оттуда репортажи о варварских бомбардировках вьетнамских городов и сел самолетами США, о мужественной борьбе вьетнамского иарода против американской агрессии. Как известно, за эти репортажи Монике Варненской была присуждеиа премия министра культуры и искусства Польши за 1967 год.

Недавио писательиица вернулась из своей третьей поездки во Вьетнам. Почти одновремеино из печати вышла ее книга «Фронт в джунглях», посвященная героическим солдатам Армии освобождения Южного Вьетиама и простым труженикам, которые делают все возможное для завоевания независимости и изгнания из страиы американских агрессоров.

«Фронт в джуиглях» — книга, написанная простым язьиком, безо всяких претензий на изысканность и иа литературную эффектиость. И именно в этом ее сила,— пишет рецеизеит газеты «Трибуна люду».— Это рассказ о том, что писательница видела и перечувствовала в этой стране, описаиия встреч с людьми, их судеб, зачастую трагических и почти всегда геронческих, рассказ об их идейиых взглядах, боевом духе, об их воле к борьбе».

«Фронт в джунглях» третья киига Вариенской о Вьетнаме. Первая иосила название «Мост на реке Бен Хай», вторая, выпущеиная Харцерским издательством,— «Тревога на рисовых полях».

ПОРТУГАЛИЯ

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ПОЭТА

В нынешнем году в Португалии впервые за сорок с лишним лет существоваиия салазаровской диктатуры зазвучали стихи советского поэта.

Находившийся в Испании Евгений Евтушенко был приглашен португальским издательством «Дон Кихот» провести несколько дней в Португалии. О пребывании Евтушенко в Португалии писали газеты и журналы, состоялась пресс-конфереиция поэта. Португальские писатели организовали встречу с ним. На ней присутствовали видные представители современиой португальской литературы — поэты Фериандо Намора и Жозе Карлос де Васконселос, романисты Виржилио Феррейра и Жозе Кардозо Пирес и др.

Евтушенко дважды выступил перед переполненной аудиторией с чтением своих стихов.

США

«МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Монография под таким иазванием выпущеиа Американским институтом марксистских исследований. В ее основу положен доклад профессора Темплского университета Гэйлорда С. Лероя, прочитанный им на симпозиуме по марксистской методологии в Пенсильванском университете 13 ноября 1965 года.

Во вступлении Лерой пишет: «...Я стараюсь дать представление о некоторых важных чертах марксистской критики сегодия, в той мере, в какой это касается современной литературы. Вслед за этим эссе будет издаио два тома переводов литературно-критических работ, которые появились в Советском Союзе и в социалистических страиах Восточной Европы после 1960 года... Цель этого эссе — показать, что марксизм дает нам не только ключ к поииманию общества, но также необходимое

РУМЫНИЯ

На студии «Бухарест» режиссер Маноле Маркус закончил работу над фильмом о современной румынской молодежи под названием «Судьба сыновей». На снимке: один из эпизодов фильма.

(Журнал «Флакэра»)

оснащение для прогресса в области различных научных дисциплии, в том числе и литературной критики. Ведь критик подобно любому другому исследователю должен способствовать возможно более глубокому изучению проблем современиого мира...»

В монографии Лероя освещены такие актуальные темы, как взаимозависимость между литературой и действительностью, проблемы формы, реализма, модернизма, вопросы, связанные с методом социалистического реализма.

Выпустнвший монографию Лероя Амернканский иистнтут марксистских исследований — учебное и научно-исследовательское учреждение, которое ставит своей целью изучение марксистской теории.

ПЬЕСА О ДЖОНЕ БРАУНЕ

Один из лучших современных театров Америки — театр Тайрона Гатрн в Миннеаполисе — поставил недавно драму Бэрри Стэвиса «Харперс Ферри», посвященную великому борцу за освобождение негров Джону Брауну.

Харперс Ферри — местность, где отряд под предводительством Джона Брауна, состоявший из белых и негров, одержал вначале блестящую победу над сторонниками рабства, захватив арсенал с оружием, а затем вынуждеи был сдаться превосходящим силам правительственных войск. Джон Браун предстал перед судом и был прнговорен к смертиой казни. На суде он произнес речь, в которой заявил, что рабство должно быть уиичтожено. Это произошло за два года до иачала гражданской войны между Севером и Югом.

Все эти события нашли отражеиие в пьесе Бэрри Стэвиса, которая пользуется большой популярностью у публики.

Одиако официальиая точка зрения на пьесу крайне отрицательиая. Против иее ополчился критик газеты «Нью-Йорк таймс» Уолтер Керр, который выступил с разгромной рецензией. В

Эдвард Биннс в роли Джона Брауна в спектакле «Харперс Ферри».
(Газета «Трибуна люду»)

США говорят, что от рецензии, опубликоваиной в этой газете, в зиачительной степени зависит успех или провал той или иной пьесы.

Однако в данном случае рецензия реакционного критика не смогла повлиять на дальнейшую судьбу пьесы о Джоне Брауне. Корреспондент польской газеты «Трибуна люду» Роман Шидловский был на представлении «Харперс Ферри» через месяц после опубликования рецензии Уолтера Керра. В зале, насчитывающем 1400 мест, пишет он, трудно было отыскать свободное кресло.

«Пьеса Стэвиса реализует программу театра идейного, театра «ангажироваиного» и борющегося. Этот рассказ о подлинном американском герое,— пишет Шидловский,— нельзя назвать литературиым шедевром... Это эпическое повествование, простое, как жизнь. Но у него есть одно главное достоинство: все это произошло в действительности. Пьеса затрагивает проблему, которая до сегодняшнего дня волнует миллионы американцев, в ней есть убедительный образ Джона Брауиа, который главеиствует над всем действием, и есть жар писателя, который стремился сказать зрителям что-то очеиь важиое не только для Америки 1859 года, но также для Соединениых Штатов 1967 года».

«В театр вторглась реальная жизнь,— продолжает корреспоидент.— Театр повел настоящий разговор со своими зрителями. Никто в тот деиь ие остался равнодушным в театре Тайрона Гатри. Все думали о борьбе Джоиа Брауна и о том, что эта борьба по сей день не закончилась».

ТУРЦИЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АЗИЗА НЕСИНА

Известный турецкнй писатель Азиз Несин, присутствовавший в качестве гостя на торжествах, посвященных классику азербайджаиской литературы Мамедкулизаде в Баку, по возвращении в Стамбул был задержан полицией и доставлен в управление безопасности, где его почти сутки подвергали непрерывному допросу.

В этой связи писатель опубликовал в крупнейшей газете Стамбула «Акшам» открытое письмо премьер-министру Турции Демирелю. В своем письме писатель сообщает, что во время допроса он подвергался оскорблениям и угрозам со стороны полицейских чинов. «Я, конечио, не смогу доказать это, ибо, еслн бы я смог прнзвать этих чиновнников к ответу перед судом, они стали бы все отрицать, хотя сами, допрашивая людей, требуют: «Говори только правду!» Между тем они распространяли обо мне заведомую ложь. Например, вместе с прочими бумагами в моем доме были изъяты фотографни, где я возлагаю венок на могилу. И хотя я объясиил им, что это могила классика азербайджанской литературы Мамедкулизаде, они сообщили газетам, что я возлагаю венок на могилу Ленина, и правая печать завопила: «Вот улики!» Возлагать венок на могилу Леиина, между тем, не преступление и не бесчестие, а совсем напротив, большая честь. Именио поэтому венки к Мавзолею Ленина возлагали такие крупные государствеиные деятели Турции, как Исмет Иненю, Суад Хайри Ургюплю, Феррух Бозбейли и миогие другие! Мне хотелось бы, чтобы вы прочли, что сказано о Ленине в

учебнике истории, который был написан по указанию Ататюрка, но вы этого, вероятно, не знаете, так же как и ваша политическая полиция. Я не возложил венка к Мавзолею Ленина лишь потому, что счел себя недостойным этой чести...»

Несин подробно рассказал о том, каким издевательствам и унижениям он подвергся в управлении безопасности. В заключение он пишет:

«Уважаемый Демирель! В речах и выступлениях Вы часто говорите о своем уважении к демократии и конституции. Действия вашей политической полиции в отношении меня противоречат и демократии, и конституции. Она на ложном пути. Сообщаю Вам об этом, полагая, что Вы этого не знаете, а между тем знать Вам это нужно.

С уважением, Азиз Несин».

ФРАНЦИЯ

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Издательство «Ранконтр» осуществляет издание первой на французском языке антологии русской литературы XIX в. под названием «От Пушкина до Горького». Из двенадцати намеченных к опубликованию томов вышли уже восемь. В первый том вошли произведения Пушкина, во второй — Чаадаева, Грибоедова, Лермонтова, в третий — Гоголя, в четвертый—Аксакова и Герцена, в пятый — Тургенева, в шестой — пьесы Гоголя, Сухово-Кобылина, Островского, Алексея Толстого, Горького, в седьмой том — Гончарова, Мельникова-Печерского, в восьмой том — Лескова.

Еженедельник «Леттр франсез» поместил рецензию на это издание, в которой говорится: «Это блестящая панорама русской литературы, творчества народа, сумевшего преобразовать лицо вселенной. Не совсем точно называть это издание антологией. Никакая антология не может охватить необычайное многообразие русской литературы. В серию вошли и всем известные шедевры, и впервые публикуемые на французском языке произведения. Перед нами образцы русской литературы, которая достигла мирового признания при самом своем возникновении».

Шедеврам русской литературы XIX века посвящена серия в сорока томах, выходящая в издательстве «Серкль де библиофил». В нее войдут романы, сборники пьес и рассказов наиболее известных русских писателей.

Издательство Галлимара приступило к выпуску полного собрания сочинений Н. В. Гоголя в серии «Библиотек де ла плейад». Вышел с портретом писателя первый том, в который включены письма Гоголя.

«ДАЛЕКО ОТ ВЬЕТНАМА»

Премьера фильма Криса Маркера «Далеко от Вьетнама» на VIII Международном кинофестивале в Мореале, по сообщениям печати, произвела в соседней стране, США, впечатление разорвавшейся бомбы.

Картина вобрала в себя все то главное, что было сказано о Вьетнаме, включая документальные и художественные фильмы. В ней использованы кадры, снятые Ренэ, Клейном, Ивенсом, Вардой, Лелушем, Годаром и другими кинорежиссерами и операторами.

В титрах фильма говорится, что кинематографисты средствами своего искусства решили заявить протест против американской агрессии во Вьетнаме и выразить солидарность с борющимся вьетнамским народом. «Наша цель состояла не столько в том, чтобы сделать документальный фильм о Вьетнаме,— сказано там,— а в том, чтобы заставить людей задуматься над этой войной»...

Рецензент еженедельника «Леттр франсез» высоко оценивает фильм, подчеркивая, что Крис Маркер достиг выдающихся результатов: «Фильм впечатляет и убеждает. Он являет собой беспрецедентный пример диалектической мысли в применении к современным событиям».

Фильм состоит из нескольких эпизодов, рассказывающих о событиях, связанных с войной во Вьетнаме. Клод Лелуш снял приготовления к боевому вылету на борту американского авианосца в Тонкинском заливе. Йорис Ивенс продемонстрировал спокойствие и мужественную решимость гражданского населения Северного Вьетнама, подвергающегося ежедневным варварским бомбардировкам. Ален Ренэ передал угрызения совести, душевную боль интеллигента, раздираемого внутренними противоречиями, вызванными этой преступной войной...

По словам Криса Маркера, цель его — заставить людей проникнуться убеждением, что нельзя оставаться посторонним созерцателем того, что происходит «далеко во Вьетнаме». «Творческий «почерк» Маркера — необычайно лаконичен и четок,— пишет рецензент еженедельника «Леттр франсез».— Фильм убеждает, вызывает волнение. Он показывает вьетнамскую драму в ее историческом и экономическом аспектах, ее противоречия и иллюзии тех, кто считает, что они «далеко от Вьетнама».

ЮГОСЛАВИЯ

КНИГА ОБ ОКТЯБРЕ

В канун празднования 50-летия Великого Октября белградское издательство «Младост» выпустило книгу Слободана Боснльчнча «Октябрьская революция 1917 г.». Как сообщает корреспондент газеты «Политика», это не стереотипный перечень событий, а «увлекательное и волнующее повествование об Октябрьской революции и первых годах Советской власти».

«На трехстах страницах большого формата, с сотнями фотографий,—пишет кор-

респондент,—повествуется о рожденнн первой страны соцнализма. Убеднтельнее любого текста редкне снимки, рассказывающне о тех днях, когда русскнй народ с рабочнм классом во главе произвел небывалый в нсторнн переворот».

Предисловие к книге написал известный югославский историк Родолюб Чолакович. «Полвека прошло с тех дней, которые «потрясли мнр»,— пишет он.—Реакционеры н невежды считали эти событня случайным эпизодом в истории человечества. В действительности же революция явилась началом распада капиталистического общественного порядка, распада, предопределенного неотвратимыми законами исторнн, снмптомом всеобщего кризиса капитализма, из которого нет нного выхода».

ЮБИЛЕЙ ИВО АНДРИЧА

Исполнилось 75 лет выдающемуся писателю Югославнн, почетному академнку, лауреату нацнональных лнтературных премнй и Нобелевской премнн Иво Андрнчу.

Творчество Иво Андрича получнло международное прнзнание. В 1961 году ему была присуждена Нобелевская премия в областн литературы — за творчество в целом и, в частности, за роман «Мост на Дрине». Основные произведення писателя — романы «Мост на Дрине», «Травницкая хроннка», повесть «Проклятый двор», а также его рассказы — нздавались у нас в переводе на русский, украинский, латышский, эстонский и другне языки многотысячнымн тиражами.

Иво Андрич писатель-интернацноналнст, большой друг советской литературы. Под его редакцией в Белграде издано полное (в 30 томах) собрание сочнненнй М. Горького, которому Андрич посвятил статьи «Моя первая встреча с произведениями М. Горького» и «Рука художника».

«Иностранная лнтература» сообщала в свое время (№ 1, 1962) о факте, который характеризует Иво Андрича — писателя н человека: сразу же после получения в Стокгольме Нобелевской премии лауреат передал 18 миллионов динаров в фонд помощи библнотекам Босннн н Герцеговины.

В конце своей речн прн вручении ему Нобелевской премнн Иво Андрич сказал: «...Дозволено, я полагаю, в конце концов, пожелать, чтобы повесть, которую рассказывает людям своего времени сегодняшний рассказчик, безотносительно к форме ее н теме, не была бы отравлена ненавистью, не была бы заглушена грохотом смертоносного оружня, а как можно больше была бы двнжима любовью и ведома широтой н ясностью свободного человеческого духа. Ибо рассказчик и его творение не служат ничему, если тем нлн иным способом не служат человеку н человечности».

ЯПОНИЯ

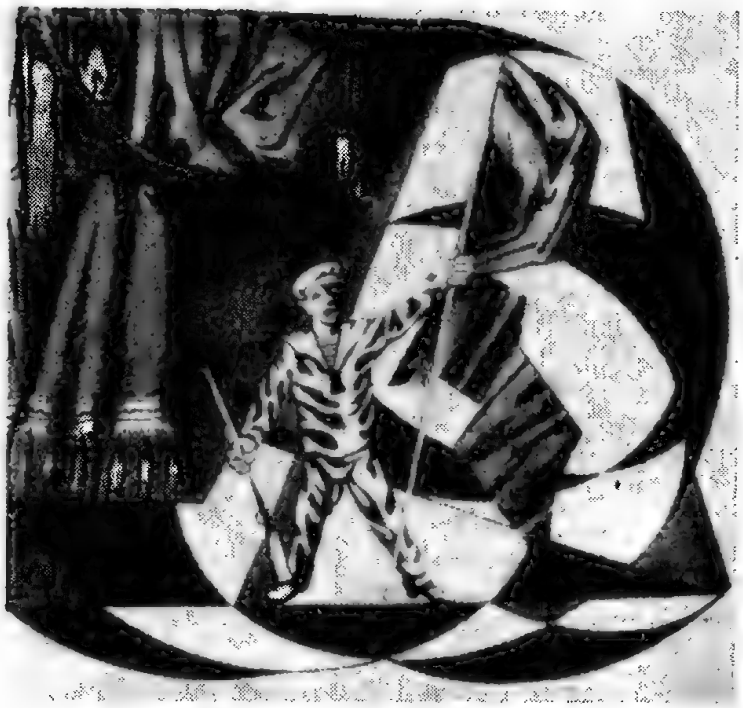
БИКЭН КИТАМУРА О ФИЛЬМЕ «ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ»

«На корабле «Туркмения», на котором я плыл нз порта Находкв в Японню, нвм показали восхитнтельный фильм»,— пишет в журнале «Сиинихон бунгаку» критнк Бикэн Кнтамура, участнник состоявшейся в этом году в Бейруте конференцнн писателей стран Азии и Африкн. Фильм этот назывался «Ленин в Польше».

Коротко передав содержанне фильма, японскнй критнк пишет далее, что «Ленин в Польше» произвел на него сильное впечатление. Кнтамура вновь ощутил огромную человечность Ленина. Великолепно, по его мнению, подобран актер на роль Ленина. Ему удалось создать убеднтельный н правдивый образ вождя мирового пролетариата.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Рисунок художника Адольфа Гофмейстера «Октябрь», присланный автором в редакцию «Иностранной литературы».



Авторы этого номера

Одиннадцатый номер «Иностранной литературы» открывается подборкой стихов болгарских поэтов. В ней представлены и зачинатели революционной поэзии, и их духовные наследники, поэты социалистической Болгарии.

ХРИСТО СМИРНЕНСКИЙ (1898—1923).

Выдающийся поэт-коммунист, на творчество которого оказала огромное влияние Великая Октябрьская социалистическая революция. В своих произведениях Христо Смирненский призывал народ к революционной борьбе, создал образы рабочих, воодушевленных верой в победу своего дела. Ряд стихотворений Х. Смирненский посвятил Советской России.

ДИМИТР ПОЛЯНОВ (1876—1953).

Один из основоположников пролетарской поэзии в Болгарии. С 1892 года Д. Полянов связал свою жизнь с революционным движением, был редактором ряда партийных журналов. Его лучшие стихи вошли в сборники «Морские капли» (1907), «Железные стихи» (1921), «Белый голубь» (1951) и другие. Много стихов поэт посвятил Великой Октябрьской революции.

ЭММАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ (1887—1943).

Известный поэт-лирик, прозаик и драматург. Э. Попдимитров — автор книг стихов «Песни о Родине» (1912), «Плакучие ивы» (1914), «Стихи и песни» (1921), «Корабли» (1923), поэм и прозаических произведений.

ХРИСТО ЯСЕНОВ (1889—1925).

Поэт, автор сборника стихов «Рыцарский замок» (1921). Под влиянием Октябрьской революции и революционных событий в Болгарии Х. Ясенов в 1919 году вступил в Болгарскую коммунистическую партию. Поэт был убит полицией в 1925 г.

НИКОЛА ВАПЦАРОВ (1909—1942).

Выдающийся поэт-коммунист, продолжатель традиций революционной поэзии Х. Ботева и Х. Смирненского. В его знаменитом сборнике стихов «Песни мотора» (1940) отрвзились подъем освободительного движения, оптимизм и убежденность коммуниста. Поэт был расстрелян фашистами 23 июля 1942 года. Посмертно, в 1954 году ему присуждена Международная премия мира.

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ (род. в 1903 г.).

Поэт, дважды лауреат Димитровской премии. Произведения Н. Фурнаджиева составили несколько книг стихов. Ему принадлежит много переводов из русской и советской поэзии. В нашей стране в переводе на русский язык выпущен его поэтический сборник «Солнце над горами».

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ (род. в 1918 г.).

Поэт, лауреат Димитровской премии. В годы борьбы против фашизма В. Андреев был комиссаром первой софийской партизанской бригады «Чавдар», он — автор популярного марша чавдарцев. Широкой известностью пользуются книги его стихов «Партизанские песни» (1947), «В Лопянском лесу» (1947), сборник рассказов «Партизанские рассказы» (1963), один из которых «Двое и серна» опубликован в № 9 нашего журнала за 1964 г.

ИВАН ДАВИДКОВ (род. в 1926 г.).

Поэт-лирик, автор сборников стихов «Знамя с пятиконечной звездой» (1949), «Трамвай» (1950), «Дружно вперед» (1953), «Дома» (1956), «Блеск инея» (1957), «Днепр течет под моим окном» (1960), «Радость стоит у каждого порога» (1961), «Холмы под вечерней звездой» (1966) и др. И. Давидков много переводит из украинской поэзии. Его стихи неоднократно печатались в советских журналах, в «Иностранной литературе» см. № 9 за 1962 г.

РАДОЙ РАЛИН (род. в 1923 г.).

Поэт-сатирик. Р. Ралин начал печататься, еще будучи студентом Софийского университета. Был редактором сатирической газеты «Стыршел». Ему принадлежат стихотворные сборники «Сорок дней» (1950), «Солдатская тетрадь» (1955), «Непредвиденные чувства» (1959), «Булавки» (1960), «Лирика» (1966) и др., а также несколько сборников юмористических рассказов.

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ (род. в 1925 г.).

Известный поэт и драматург Г. Джагаров принадлежит к поколению, которое вошло в литературу после освобождения страны от фашистских захватчиков. Героическая борьба болгарского народа против фашизма стала одной из основных тем его творчества. За пьесу «Прокурор» писатель был удостоен Димитровской премии. Г. Джагаров — председатель Союза болгарских писателей.

На русском языке в переводе Евг. Евтушенко вышел сборник стихов Г. Джагарова «На колени не падать!». Его стихи неоднократно печатались в советских периодических изданиях, в нашем журнале см. № 11 за 1960 г.

ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ (1919—1966).

Знаком советским читателям по вышедшему в русском переводе сборнику стихов «Лирика». Неодиократно стихи В. Ханчева публиковались на страницах нашего журнала (см. № 9, 1962, № 1, 1963) и других периодических изданий.

Первый сборнк его стихов «Испания на кресте» вышел в 1937 году. Пафосом освободительной войны против фашизма проникнуты его произведения, вошедшие в сборник «Стихи в обоймах» (1954).

Дважды лауреат Димитровской премии, В. Ханчев известен и как переводчик советской, французской и польской поэзии.

■

РОЖЕ ШАТОНЁ — ROGER CHATEAUNEU (род. в 1920 г.)

Романом «Искры» («Les brasiers», 1964) мы впервые знакомим советских читателей с творчеством этого французского писателя.

Рассказ автора о себе и своем творчестве см. на стр. 123.

■

КАРЛОС АУГУСТО ЛЕОН — CARLOS AUGUSTO LEÓN (род. в 1914 г.).

Известный венесуэльский поэт, публицист, общественный деятель, лауреат нескольких национальных премий, награжден Золотой медалью Всемирного Совета мира. Автор поэтических сборников «Живые шаги» («Los pasos vivientes», 1940), «Волшебные камни» («Las piedras mágicas», 1945), «Имена жизни» («Los nombres de la vida», 1947), «Москва — город человека» («Moscú — ciudad del hombre», 1949), «Человек и звезда» («El hombre y la estrella», 1964) и др.

В «Иностранной литературе» см. цикл его стихов в № 11 за 1964 г.

Публикуемое в этом номере стихотворение написано поэтом для нашего журнала.

■

Напечатанные в этом номере стихи чешских и словацких поэтов «Ритмы времени» взяты из сборника «СССР в поэзии Чехословакии», вышедшего в Праге в 1936 году с предисловием чешского критика Б. Вацлавека. Среди авторов:

ЙОЗЕФ ГОРА — JOSEF HORA (1891—1945).

Чешский поэт, получивший посмертно звание Народного художника ЧССР. Перу Й. Горы принадлежат книги стихов «Дерево в цвету» («Strom v květu», 1920), «Струны на ветру» («Struny ve větru», 1927), «Твой голос» («Tvůj hlas», 1930), «Родина» («Domov», 1938) и др.

Й. Гора известен также как переводчик русских классиков и советских поэтов на чешский язык. Им переведены произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького, Блока, Пастернака, Есенина и др.

ФРАНТИШЕК ГАЛАС — FRANTIŠEK HALAS (1901—1949).

Чешский поэт, начавший свою литературную деятельность в 1927 году. Его стихотворения составили несколько сборников, в том числе «Сепии» («Sépie», 1927), «Лицо» («Tvář», 1931), «Баррикада» («Barikáda», 1945), «Я туда вернусь» («Já se tam vrátím», 1947).

ЯН РОБ ПОНИЧАН — JÁN ROB PONIČAN (род. в 1904 г.).

Словацкий поэт. Первый сборник его стихов «Я есть» («Som») вышел в 1923 году. В последующие годы вышли сборники «Демонтаж» («Demontáž», 1929), «Ангара» («Angara», 1934) и две пьесы.

СТАНИСЛАВ КОСТКА НЕЙМАН — STANISLAV KOSTKA NEUMANN (1875—1947).

Чешский поэт, Народный художник ЧССР, автор многих книг стихов. Среди них наиболее известны «Чешские песни» («České zpěvy», 1910), «Новые песни» («Nové zpěvy», 1918), «Любовь» («Láska», 1933), «Сердце и тучи» («Srdce a mračna», 1935), «Бездонный год» («Bezedný rok», 1945), «Отравленные годы» («Zamořená léta», 1946). В двух последних книгах нашли отражение тяжелые годы оккупации.

ЭЛЬ-КАР — псевдоним чехословацкого поэта Карела Ирачека (Karel Jiráček).

ЯРОСЛАВ СЕЙФЕРТ — JAROSLAV SEIFERT (род. в 1901 г.).

Чешский поэт. Его первая книга стихов «Город в слезах» («Město v slzách») вышла в 1921 году и сразу принесла поэту широкую известность. Затем вышли «Только любовь» («Samá láska», 1923), «Соловей поет плохо» («Slavík zpívá špatně», 1926), «Почтовый голубь» («Poštovní holub», 1929), «Погасите огни» («Zhasněte světla», 1938), «Шлем Земли» («Přilíba hlíny», 1945) и др. В 1965 г. поэт был удостоен Государственной премии, а в следующем году Ярославу Сейферту было присвоено почетное звание Народного художника ЧССР.

ИРЖИ ТАУФЕР — JIŘÍ TAUFER (род. в 1911 г.).

Стихи чешского поэта, критика и переводчика Иржи Тауфера часто публикуются в советских периодических изданиях, неоднократно печатались они и в нашем журнале (см. №№ 2 и 5, 1958, № 12, 1959, № 5, 1966, № 3, 1967). Наиболее популярный сборник стихов И. Тауфера «Летопись» («Letopis», 1958) в 1961 году вышел в русском переводе. Большое место в творчестве поэта занимают переводы советской поэзии и литературоведческие работы.

■

ФРАНЦ ФЮМАН — FRANZ FÜHMANN (род. в 1922 г.).

Немецкий поэт и прозаик (ГДР), один из талантливых немецких писателей, прошедших через огонь войны и запечатлевших в своем творчестве горький опыт этих трагических лет. Ф. Фюман — признанный на родине писатель, автор нескольких книг стихов и рассказов. Его творчество отмечено премиями — Национальной, именя Генриха Манна и Иоганнеса Бехера. На русский язык переведены некоторые его стихи, рассказы «Однополчане», «Богемия у моря»; в 1966 году в русском переводе вышла книга под названием «Суд божий» (так называется один из опубликованных в ней рассказов).

В этом номере мы знакомим читателей с повестью Ф. Фюмаиа «Барлах в Гюстрове» («Barlach in Güstrow»), взятой нами из его книги «Царь Эдип» («König Ödipus», 1966). Впервые эта повесть была опубликована в немецком журнале «Зинн унд форм» в 1963 г.

■

МУХАММЕД ДИБ — MOHAMMED DIB (род. в 1920 г.).

Известный алжирский поэт и прозаик, хорошо знакомый советским читателям. Его трилогия «Алжир», включающая романы «Большой дом», «Пожар» и «Ремесло ткача», переведеиа на русский язык. («Большой дом» был напечатан «Иностранной литературой» в 1955 г., №№ 5, 6). В русском переводе вышли также роман «Африканское лето» и сборник новелл «В кафе». В нашем журнале неоднократно печатались его стихи и новеллы (см. №№ 7 и 9, 1961 г., № 7, 1964, № 8, 1965).

В этом номере публикуются рассказы М. Диба, взятые из сборника «Талисман», («Talisman», 1966).

■

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — VLADIMIR POZNER (род. в 1905 г.).

Французскнй писатель, публицист, общественный деятель, в годы войны с фашизмом был участником Сопротивления. Советские читатели знают В. Познера по переведенным на русский язык его книгам «Кто убил Барреля?», «До свиданья, Париж», «Место казни». Недавно в «Иностранной литературе» был опубликован роман В. Познера «Испания — первая любовь» (№ 6, 1967).

Публикуемый в этом номере очерк «Мера времени» получен от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафоитова**

Адрес редакции: Пятницкая, 41. Телефон В 3-51-47.

А 14914. Сдано в производство 7/IX-67 г. Подписано к печати 28/XI-67 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч. изд. л. 28,24. Зак. 2996.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПУБЛИКУЕТ РОМАНЫ И ПОВЕСТИ, СТИХИ И РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ — ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА.

Журнал будет помещать статьи, посвященные важным вопросам развития зарубежных литератур и творчеству известных зарубежных писателей. Мы систематически знакомим читателей с новинками иностранной литературы, печатая рецензии на новые книги, вышедшие за рубежом и переведенные у нас в стране. Журнал предоставляет свои страницы видным писателям, деятелям культуры, ученым для выступления по важнейшим проблемам современности. Как и в прошлые годы, читатели найдут в журнале материалы дискуссий, обзоры, полемические заметки, дневники, письма, воспоминания. Читатели ознакомятся с интересными работами зарубежных художников, графиков, скульпторов, узнают о новостях зарубежного театра и кино.

В каждом номере журнала — обширная хроника литературной и культурной жизни за рубежом.

Подписная цена

На 12 мес.— 9 р. 60 к.
на 6 мес.— 4 р. 80 к.
на 3 мес.— 2 р. 40 к.

Цена одного номера — 80 к.

В 1968 г. редакция журнала предполагает напечатать следующие произведения:

Питер Абрахамс (ЮАР)
Их собственная ночь (Роман)
Мигель Анхель Астуриас (Гватемала)
Незаконнорожденный (Роман)
Марио Бенедетти (Уругвай)
Спасибо за огонек (Роман)
Богуслав Бржезовский (Чехословакия)
Вечно влюбленные (Роман)
Мишель Бютор (Франция)
Изменение (Роман)
Уильям Голдинг (Англия)
Шпиль (Роман)
Алфредо Диас Гомес (Бразилия)
Колыбель героя (Пьеса)
Гюнтер Грасс (ФРГ)
Кот и мышь (Повесть)
Алекс Ла Гума (ЮАР)
Каменная страна (Роман)
Юлиан Кавалец (Польша)
Танцующий ястреб (Роман)
Р. К. Нарайан (Индия)
Продавец сладостей (Роман)
Пабло Неруда (Чили)
Хоакин Муриэта (Пьеса)
Джеймс Олдридж (Англия)
Дилогия
Джованни Пирелли (Италия)
По поводу одной машины (Роман)
Нгуен Динь Тхи (Вьетнам)
Линия фронта прочерчивает небо (Повесть)
Сембен Усман (Сенегал)
Соратницы (Роман)
Карлос Фуэнтес (Мексика)
Новый роман
Тамара Хови (США)
Стремление маленькой мошки (Роман)
Кришан Чандар (Индия)
Чинары моей юности (Повесть)
Эрвин Штриттматтер (ГДР)
Листки из календаря

Редакция рассматривает также новые произведения ХОСЕ МАРИА АРГЕДАСА, ЖОАНА ГИМАРАЭНСА РОЗЫ, ПАМЕЛЫ ХЭНСФОРД ДЖОНСОН, АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА, ДЖОНА ОЛИВЕРА КИЛЛЕНЗА, ФРАНСИСКО КОЛОАНЕ, ХУЛИО КОРТАСАРА, ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА, ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ, УИЛЬЯМА СТАЙРОНА, АНРИ ТРУАЙЯ, ЛАДИСЛАВА ТЯЖКОГО, НИКОЛАЯ ХАЙТОВА, ЛОРЕЙН ХЭНСБЕРИ и др.

Мы предполагаем опубликовать стихи МИХАЯ ВАЦИ, РЕНЕ ДЕПЕСТРА, НЕЛЛИ ЗАКС, ЭНРИКЕ ЛИНА, ПАБЛО НЕРУДЫ, МИГЕЛЯ ОТЕРО СИЛЬВЫ, СЕНДЖОН ПЕРСА, ИВАНА СКАЛЫ, РОБЕРТО ФЕРНАНДЕСА РЕТАМАРА, ФЕЛИКСА ПИТЫ РОДРИГЕСА, ХОРХЕ САЛАМЕА, ТО ХЫУ, ХЮИ КАНА, ИШТВАНА ШИМОНА, МИГЕЛЯ ЭРНАНДЕСА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.